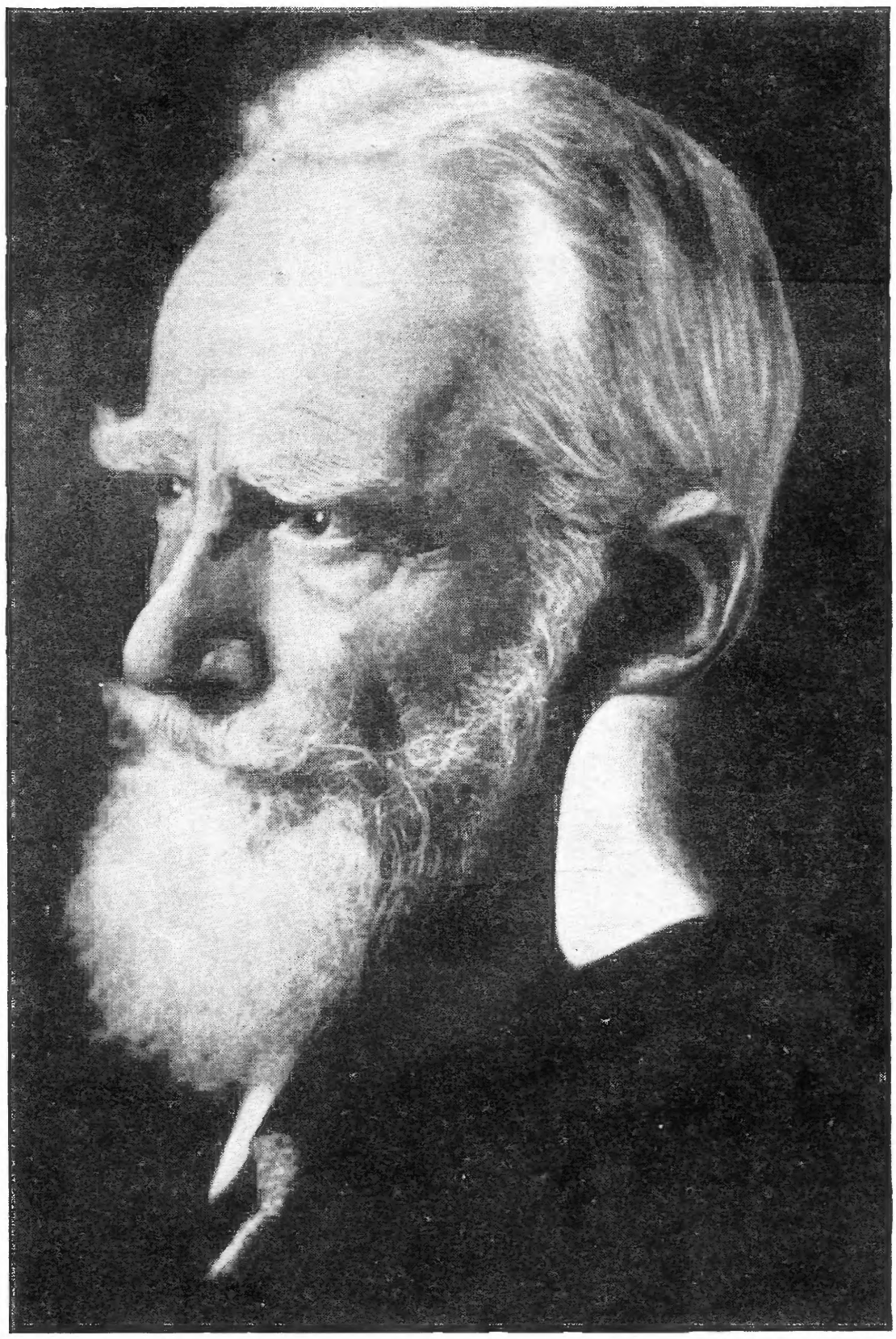
ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

7

ИЮЛЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ



БЕРНАРД ШОУ

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Содержание

ЛУИС ФЮРНБЕРГ — Прозрение (фрагменты из поэмы „Брат Безымянный“) 3
ЯН ОТЧЕНАШЕК — Гражданин Брих (Роман) . . 9
МАГДА ИСАНОС — Стихи 73
ГЕНРИХ БЁЛЬ — Молчание доктора Мурке (Рассказ) 76
ГРЭХЕМ ГРИН — Тихий американец (Роман. Окончание) 90
Душан КОСТИЧ — После всего (Стихотворение) 165
Десанка МАКСИМОВИЧ — Хлеб месят (Стихотворение) 166

К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ БЕРНАРДА ШОУ

ШОН О'КЕЙСИ — О Бернарде Шоу 167

КРИТИКА

Д. ЗАСЛАВСКИЙ — Буржуазные критики о Достоевском 170
Б. ЛИСИЦА — Мао Дунь 175
Л. КОПЕЛЕВ — Слева, где сердце 182

РЕЦЕНЗИИ

Н. ТОЛЧЕНОВА — С чувством исторической перспективы 189
Я. ФРИД — Роже Вайян и его роман „325 000 франков“ 193

ТВОРЧЕСКАЯ ТРИБУНА

Обсуждение романа Грэхема Грина „Тихий американец“ 198

ОТКЛИКИ НА ПИСЬМО М. ШОЛОХОВА В РЕДАКЦИЮ „ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ“ 207

ПУБЛИЦИСТИКА

СТИВ НЕЛСОН — Тринадцатый присяжный . . . 220

7

1956

ИЮЛЬ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

Е. КИБРИК — Мексиканская графика 245

СРЕДИ КНИГ

В. ГЬЕЧИ — Народные албанские песни. ☐ И. РАДВОЛИНА — Партизаны Югославии. ☐ Н. ЭЙШИСКИНА — „...тот наследует ветер". ☐ Е. ГАЛЬПЕРИНА — Алжирские рассказы. ☐ И. ЛЕВИДОВА — История Дженет Прентис. ☐ Ю. ЯХНИНА — Книга, которую отрадно читать. ☐ В. ОСТРОВСКИЙ. — „Малайские пантуны". ☐ Н. СТАЛЬСКИЙ — Ветви дерева свободы. ☐ Л. СИМОНЯН — Книга Людвига Ренна. ☐ Л. СТЕПАНОВ — Ливанские пословицы и поговорки 250

НАША ПОЧТА 261

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ (Хроника) . . . 265

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ 286

Луис Фюрнберг

Прозрение

ФРАГМЕНТЫ ИЗ ПОЭМЫ „БРАТ БЕЗЫМЯННЫЙ"

Перевод с немецкого Льва Гинзбурга

Имя Луиса Фюрнберга (род. в 1909 г.) мало известно советскому читателю. Фрагменты из поэмы «Брат Безымянный» — первое его произведение, переведенное на русский язык.

Творчество Луиса Фюрнберга тесно связано с прогрессивной чехословацкой литературой. Поэт родился и долгие годы жил в Праге, и хотя писал на немецком языке, по сути дела, являлся чехословацким писателем. Перу Фюрнберга, кроме поэмы «Брат Безымянный», принадлежат сборники: «Ад, ненависть и любовь», «Утренний странник», «Испанская свадьба», «Новелла о Моцарте» и ряд других книг.

Много своих лучших стихов Фюрнберг посвятил Чехословакии, ее природе, ее мужественным и свободолюбивым людям, борьбе ее рабочего класса. Вместе с эмигрировавшим в Чехословакию Кубой, первым литературным наставником которого он был, Фюрнберг организовывал революционные агитбригады, творческие коллективы, выступавшие среди чешских рабочих, выпускал антифашистскую литературу, которую подпольщики перебрасывали в Германию.

Когда гитлеровцы вторглись в Чехословакию, Фюрнберга арестовали и подвергли небывалой пытке. Его поставили на грузовик, подвозили к зданиям рабочих библиотек и на голову ему сбрасывали сотни томов конфискуемой литературы. В стихах, написанных в заключении, Фюрнберг выражал твердую веру в победу социализма над фашизмом. Поэт воспевал солидарность международного пролетариата, освободительную миссию Советской Армии.

Значительная часть послевоенной лирики Фюрнберга посвящена народно-демократической Чехословакии, историческим завоеваниям чешского и словацкого народов, строительству социализма.

Два года назад Фюрнберг переехал в Германскую Демократическую Республику. Он живет в Веймаре, где возглавляет местное отделение Союза немецких писателей.

Поэма «Брат Безымянный» (первая ее редакция была напечатана в Базеле в 1947 году) писалась Фюрнбергом в течение тридцати лет и была окончательно завершена лишь в 1955 году. Поэма принесла поэту огромную популярность. Демократическая немецкая печать оценила ее, как выдающееся явление современной немецкой поэзии. Еще покойный Эгон Эрвин Киш, ознакомившийся с первым вариантом поэмы, писал, что «в «Брате Безымянном» Фюрнберг изображает свой путь к современности, путь от мечты к действию».

Поэма задумана как своего рода поэтическая исповедь. Ее лирический герой — западный интеллигент, писатель, который на собственном опыте познает фальшь буржуазной «цивилизации» и приходит к рабочему классу, к его партии. В первой

части Фюрнберг говорит об «иллюзиях» молодости, о поисках эстетического идеала, об увлечении Рембо и Рильке, в стихах которых он мечтал найти ответ на мучившие его вопросы. Вторая часть — своеобразная полемика с Рильке. Выстрелы, которыми была разогнана демонстрация чешских рабочих, требовавших свободы и политических прав, впервые заставили поэта задуматься над своим местом в общечеловеческой борьбе за гуманизм. Третью часть поэмы можно условно назвать словом «прозрение». Вчерашний мечтатель новыми глазами смотрит на окружающий мир. Великий Ленин, Коммунистическая партия — вот кто единственно способен дать ответ на «проклятые вопросы», указать путь к спасению. Наступает тот перелом в судьбе героя, который выводит его из одиночества, приобщает к труду и к борьбе миллионов. Заключительные строки поэмы посвящены новому времени, великому счастью писателя быть со своим народом, работать на свободной земле. Это в равной мере относится к народной Чехословакии и демократической Германии.

Поэма Фюрнберга написана очень своеобразно. Она состоит из ряда отдельных стихотворений, образующих единое целое.

Выступая на 4-м съезде немецких писателей в январе 1956 г., поэт Георг Маурер в докладе о современной немецкой поэзии так отозвался о поэме Фюрнберга: «Брат Безымянный» не что иное, как захватывающая полемика с Рильке и его миром, полемика, которая кончилась тем, что сын Праги принял в свою поэзию мир рабочих, борющихся за достойную человека жизнь».

И ВНОВЬ ИДУ Я В ШКОЛУ,

в тот самый младший класс,
и вижу вдруг, что лишь теперь
учусь я в первый раз.

Я в свой букварь сегодня
вгрызаюсь до основ
и сознаю по-новому
значенье букв и слов.

Решаю я задачи
и вижу без труда,
что все расчеты прежние —
сплошная ерунда.

Историю читаю —
спадает с глаз туман:
ведь все, что раньше я зубрил,
то был один обман.

И вот верчу я глобус,
согрет земли огнем...
...Весь мир казался мне чужим,
и что я знал о нем?

ТЫ ДНЕЙ НЕ СЧИТАЕШЬ. ПУСТЬ ПРОЖИТО
МАЛО ИЛЬ МНОГО —
тебе безразлично. Тебя не тревожит вопрос:
куда ты стремишься и долго ль продлится дорога?
В какую канаву, как лист, тебя ветер занес?

Звезда над тобой побледнела. И сам себя муча,
ты мыкаешь горе, причины не зная, поверь.
И ненависть плотно тебя обступает, как туча,
и призраки ночью нахально стучат в твою дверь.

Ты скажешь: «Войдите!» — никто не войдет в это зданье
Ты глянешь в окошко — не будет вокруг ни души.
Ты ляжешь вздремнуть и во сне ты услышишь рыданье.
Ты встанешь с постели и голос прикажет: «Ищи!»

Но ты не найдешь. Это кроется в стенах, в обоях,
может быть в половицах, что стонут, кряхтят под ногой.
Ты будешь кричать — и откликнется эхо глухое,
отраженное гулкой, зияющей пустотой.

Даже книги — священный огонь в переплете, —
что дарили тебе всемогущего знанья лучи,
вдруг лишившись огня, крови, запаха, плоти,
будут грустно смотреть, как слепой ты блуждаешь в ночи.

Называй имена — все равно не найдешь себе друга.
Ничего позади. Ничего впереди.
Каждый день, одинокий, ты бродишь по кругу
со скулящим сомненьем в груди.

О, Я ЗНАЮ: ОНИ
вознесут твой стих,
потому что ты
не похож на них.

Заклинаешь ты призраков,
духам друг,
получаешь виденья
«из первых рук»...

Изложи их в прозе,
вмести их в стих —
с удовольствием
публика купит их.

Не ленись за модою
поспевать —
тебя можно к ужину
подавать.

Не теряй притом
«необычных» черт,
и съедят твои песенки
на десерт.

ГДЕ НАЙДУ Я ТОГО, КТО МЕНЯ ПОЙМЕТ

и кто сможет мне дать ответ,
и лица при этом не отвернет
потому, что стих мой «по нервам бьет»...
Где найду я того, кто меня поймет
и кто сможет мне дать ответ?..

ПРАВО, ХУЖЕ ВСЕГО — БОЛЬШИХ ГОРОДОВ ОДИНОЧЕСТВО

Люди ищут друг друга, но нет никого вокруг.
Улицы словно проклятые. Их поразил испуг.
О, как ты беден, наверно, когда ты бредешь, мой друг,
в водовороте людей...
Хуже всего — больших городов одиночество

Мерцают экраны кино, надрываются в парках капеллы,
посуда звенит в ресторанах, и город, как мир, широк.
Но одинокий бредет через людской поток,
и никому до него нет никакого дела...
Хуже всего — больших городов одиночество.

Тот, с кем ты говоришь, — не тот, кто тебе нужен.
Ты ищешь твердого слова, не зная, куда итти.
А тот, кто ищет тебя, не может тебя найти
в водовороте людей на улицах, после пяти,
и жжет твое сердце тоска, и сам ты словно контужен...
Право, хуже всего — больших городов одиночество.

МНЕ НАДОЕЛИ ВСЕ МЕТАМОРФОЗЫ,

в которых мир свою являет суть.
Последний облетает лист с березы...
Что ж, сердце, собирайся в зимний путь.

Простись с землей и не ищи лазейки —
ведь все дороги застелила мгла.
В продрогшем парке убраны скамейки...
Но что за книга в руки мне легла?

И что в ней проку? — Слабое лекарство,
Насмешка над конвульсией души.
Про революцию и государство
здесь говорится... Сердце, не спеши!

С нас хватит без того литературы.
Нас залечили до смерти, хоть плачь,
давая нам сердечные микстуры,
поэт-аптекарь и философ-врач.

Что, новый Фауст? Тешь себя гордыней
но не тревожь ни сердца, ни ума.
Стал сладкий плод горчайшею полынью.
Не знает утешения зима.

НО ЭТА КНИГА ЖГЛА СИЛЬНЕЙ ОГНЯ.
Еще рука ее раскрыть не смела,
а имя — Ленин — прямо на меня
с обложки строгой пристально смотрело.

Впервые имя Ленин встретил я,
одним искусством занятый всецело,
и долго ждал, пока душа моя
раскрыть мне книгу жизни повелела.

Так что за маг околдовал меня,
заполнив разом все мои пробелы?
О, эта книга жгла сильней огня.
Как сердце заглянуть в нее сумело?

Кем вдруг была расколота броня,
которую земное зло надело?
Как я в ночи увидел близость дня
и как завеса с глаз моих слетела?

Каким лучом мой разум осеня,
ко мне явилась радость без предела?..
В тот самый день, когда он спас меня,
земля в предзимней хмури опустела.

Но, зиму наступавшую гоня
и затопив вселенские пределы,
весна победно песнь свою запела
в тот самый день, когда он спас меня!

К ТЕБЕ ПОЛЕЗУТ СПРАШИВАТЬ: — КУДА ЖЕ
ты крылья нежной лирики девал?
И толпы подлецов и надувал
начнут тебя жалеть и хныкать даже.

И некий господин, что до сих пор
орудовал не лирой, а кастетом,
прикинувшись изысканным эстетом,
в тебя нацелит огорченный взор.

Прожженные пройдохи и дельцы
напишут о твоем угасшем духе
и зарыдают плакальщицы — шлюхи,
кропя слезой газетные столбцы.

И те, кто хохотали над тобой,
да и стихов твоих не знали сроду,
заголосят: — «Ты потерял свободу!
Очнись, талант! Что сделал ты с собой?»

Песни — лишь почки на дереве жизни,
почки, да веточки, да лепестки.
Почки раскроются, сок из них брызнет,
если у дерева корни крепки.

Ношу неси, хоть твой груз и рискован.
Песня тогда тебя не устыдит.
Или за свой ты боишься кредит?
К времени будь, как к галере, прикован!

КЕМ Я БЫЛ, ПОКА НЕ СТАЛ Я,
жизнь, навек твоим, скажи?
Горевал я, тосковал я,
утопал я в море лжи.

Славен будь, в моей судьбине
наступивший перелом!
Светлолик мой сон отныне,
каждый новый день весом.

Жизнь меня вчера давила,
а сегодня подняла
и дала тепло и силу
сердцу, что морозом жгла.

Был вчера я обворован,
путь мой вьюги замели.
А сегодня, зачарован,
в день иду, что уготован
для народов всей земли.

Это счастье — в вольном крае
послужить земле своей,
рыть породу, одаряя
чистым золотом людей,

смело гнать беду несущий
призрак ночи и старья
нашей правдой вечно сущей
и готовить день грядущий,
в дне сегодняшнем творя!

Ян Отченашек

Гражданин Брих

РОМАН

Перевод с чешского Т. и Юр. Аксель.

1

Тонкий, как серебряная игла, звон проник сквозь стены. Он нарастает, словно приближаясь со скоростью света, и будит спящего. Очнувшись, человек мигает спросонья; на губах его мелькает улыбка. Еще через минуту бравурная музыка окончательно разрывает тонкую пряжу сна.

Взволнованный бас звучит по радио.

Брих вырывается из теплого объятия постели — раз, два! — босиком подходит к окну, в котором пробивается рассвет, трет руками припухшее от сна лицо, потягивается и зевает.

Снег запорошил жижковские * крыши. Ах, эта призрачная белизна! Снег сыплется из серых туч, гонимых ветром, и бесшумно ложится на мостовые и дома. Следы утренних пешеходов пятнают тонкую снежную пелену, но новые снежинки также быстро сглаживают их. Будничный февральский день встает над кособокой жижковской улицей. Мальчишка из булочной несет плетеную корзинку; балуясь, он перепрыгивает через скребок привратницы, счищающей снег с тротуара. Почтальон поскользнулся на мостовой и взмахнул руками, удерживая равновесие. Из ворот дома напротив выползла старушонка в черном вязаном платке и спустила с цепочки кривоногого дрожащего пинчера, который тотчас задрал ногу на углу, у трактира.

Снег, снег! Бриху вспоминается картинка в школьной хрестоматии, одна из тех, которые таят очарование детства: «Пришел белый конь, занял весь двор»,— гласила подпись под картинкой. Помнишь? Мама, мамочка, снег на дворе!

Бас по радио отвлекает Бриха от мимолетного воспоминания. Сколько пафоса! Слышны только отрывки речи — радио находится за стеной, у соседа Патеры, откуда доносится крик новорожденного и стук совка о ведро с углем.

Что там еще? Что он болтает? Послушаем.

«...Политическая обстановка складывается... пытаются подорвать... В этот ответственный момент... рабочие, крестьяне, все честные...»

Брих вспоминает, в чем дело. Еще вчера, за ужином в трактире, уткнувшись в учебник, он краем уха слышал о борьбе в правительстве, об отставке нескольких министров и еще о чем-то в этом роде. Тьфу! Эти вечные межпартийные склоки усиливаются, повторяются до отвра-

---

* Жижков — район Праги.

щения. Все об одном и том же, что давно уже известно! Злоупотребления в текстильной промышленности, план Маршалла — принять или не принять его? — налог на миллионеров... Брих, правда, выписывал «Свободни новины» * и иногда просматривал статью, случайно привлекшую его внимание, но в общем политика его мало интересовала. Вернее, он был ей совсем чужд. Брих объяснял это обилием работы. Человек, который после нескольких лет «протекторатного» перерыва в учении сумел в кратчайший срок закончить юридический факультет, не может разрешить себе торчать на собраниях и препираться с запальчивыми членами разных партий о свободе личности, масариковской демократии, социализме и всех тех истинах, которые Брих и без того считал вполне ясными и давно признанными. Его даже слегка раздражала партийная слепота многих университетских коллег, желчная злоба одних и твердокаменная убежденность других. Надо сохранять объективность суждений! Может быть, без таких стычек и нельзя, но разве это основание для того, чтобы он, человек, у которого есть и желание, и шансы кое-чего достичь в жизни, чтобы еще и он совался со своей ложкой в этот кипящий котел политических страстей. Особенно сейчас, когда ему надо так много сделать! В бухгалтерии он работает временно, это дело ему чуждо, его хотят назначить юрисконсультом экспортного управления. К этому надо основательно подготовиться, приобрести дополнительные знания, которых ему не дал факультет. Международная торговля — сложное дело, а директор экспортного управления Барох возлагает на Бриха немалые надежды. Обманывать такие надежды Брих не привык. Долголетняя привычка учиться, особенно сказавшаяся сейчас, после бесплодных лет «протектората», сделала свое дело: ученье вошло в плоть и кровь Бриха, оно становится его коньком, страстью, первейшей необходимостью.

Брих отошел от окна, холод заставил его двигаться. Бр-р-р! Пора заняться неизбежными бытовыми мелочами. Это не так уж неприятно, ибо вносит известный распорядок в его холостяцкую жизнь: умыться до пояса холодной водой, затопить печку и не забыть об утренней гимнастике, потом соорудить на примусе яичницу, съесть в один присест мизерный месячный паек и запить его горячим чаем. Брих снял с крючка стальные гимнастические пружины и начал упражняться. Раз, два! Гимнастику он ввел в свой обиход с тех времен, когда приходилось ночами просиживать над учебниками и мышцам грозила дряблость. Тогда он растягивал три пружины, сегодня уже пять и повторяет это упражнение почти двадцать раз. Так, хватит! Кровь быстрее циркулирует по всему телу и разгоняет сонную одурь.

Бреясь, Брих гримасничал перед зеркалом: бритва была туповата. Холодное стекло отражало длинное лицо под гривой каштановых волос; карие глаза глядели испытующе. «Это глупо, — подумал Брих и показал себе язык. — Взгляни на морщинки у глаз. Стареешь, братец!.. Что за вздор! Что значат морщинки, если человеку только тридцать лет! Да и вообще...» Тетка Пошвица, которая иногда приезжает для генеральной уборки холостяцкой берлоги Бриха, до сих пор называет его «парнишка», хотя она была на защите его диплома и, помнится, даже всплакнула от избытка чувств. Тетка, тетушка, вдова почтаря, похожая на отца, каким Брих помнит его на пожелтевшей фотографии! Единственная любимая родственница. Надо будет навестить ее и купить по дороге кулек ее любимых мятных конфет, подсластить бедную жизнь пенсионерки. Теперь хватит пустых размышлений, за дело! Короткий отпуск,

---

* «Свободни новины» — реакционная газета; издавалась до февраля 1948 года.

который Брих себе исхлопотал, сегодня кончается; надо выжать из него все, что можно.

Печка загудела, Брих уселся за стол над раскрытым учебником английского языка; французский он уже сдал на государственных экзаменах, а осенью возьмется за русский. Работы по горло! Брих не намерен останавливаться на полпути, к языкам у него способности. Он погружается в работу, по обыкновению делает много заметок и выписок. Сколько полосок бумаги он уже исписал и выбросил!

Опять голос по радио! Отвлекает, мешает работать! Брих бросает карандаш на стол и, тщетно стараясь разобрать слова, недовольно встает. «Какое мне, собственно, до всего этого дело? Зря я трачу драгоценное время!»

Подойдя к окну, он видит на углу своего приятеля Андрея Ража. Андрей в шубе, он осторожно шагает по заснеженному тротуару. Почему он пришел пешком? Обычно он является в черном «БМВ», привлекающем внимание всех соседских мальчишек; они собираются около черной блестящей машины и молча созерцают ее, засунув руки в карманы и обмениваясь взглядами знатоков.

Андрей вошел не постучав, внес с собой холод улицы, швырнул мокрую шляпу на вешалку у дверей.

— У-у, тут у тебя холодно, юрист!

Не снимая шубы, он развалился в просиженном кресле — значит, забежал только на минутку, — предложил Бриху дорогую английскую сигарету и закурил сам.

— Ну, как? — осведомился Брих после минутного молчания.

— Как? — слегка усмехнувшись, повторил Раж. — Хорошо ли изволили почивать, господин юрист? В городе все идет вверх тормашками, а он тут сидит и зубрит. «Что я, меня это не касается!» — не так ли?

— Ты об отставке министров?

— Вот именно. Вчера наши ушли из правительства. Я говорил с Зуной и думаю, что решающий момент близок.

Брих махнул рукой.

— Покричат, тем и кончится. Опять возрождаются довоенные политические нравы.

— Погоди, не говори глупостей, — прервал его Раж; видно было, что он не выспался. — Они готовят какой-то спектакль на Староместской. Видно, решили идти напролом. — Он взял со стола учебник и перелистал его, размышляя о чем-то своем.— Не думаю, чтобы наши были так глупы и попались на эту удочку, — продолжал он вслух. — Мы хозяева положения и действуем обдуманно.

— Ты слышал радио?

— Оно против нас, черт его дери.

Настойчивый детский плач у соседей врезался в утреннюю тишину. Раж встал, поглядел в окно на усиливающуюся мятель и потер руки.

— Изрядный мороз! Эта стужа для нас как по заказу, они там отморозят себе морды. Февраль — не время для революций, об этом вы забыли, господа. В цивилизованных странах политика не делается на улице. Они заставят своих людей померзнуть на мостовой, а решится всё, в конце концов, у калориферов центрального отопления. Наш народ не таков, и кучка фанатиков...

— Хочешь чаю?

— Не беспокойся. Пойдем-ка лучше поглядим, что творится. Кстати, мне нужно позвонить Ирене, я сегодня не ночевал дома. Почему ты не показываешься у нас? Мы не виделись с того дня, как ты получил диплом. Только не уверяй меня, что вечные занятия мешают тебе даже снять телефонную трубку...

«Что я буду ему рассказывать? — подумал Брих и промолчал. — Мне просто не хотелось звонить. Покой для работы — вот все, что мне нужно».

Он молча оделся, и они вышли из комнаты.

Стужа сразу охватила Бриха. Ледяной ветер невидимой рукой бросал пригоршни снежинок в узкий колодец двора и кружил их над трубами и шестами сиротливых антенн.

Улица встретила их морозным дыханием. Жалобно пели колеса трамваев. Раж и Брих молча шагали рядом. Из пригорода с грохотом промчалась вереница грузовиков, крытых брезентом, под которым теснились и пели кутавшиеся в пальто люди. Грузовики пронеслись так быстро, что Брих даже не успел прочитать написанные на них лозунги и разобрать слова песни. За ними, как буран, пронеслась еще одна колонна автомашин, оставив после себя запах бензина и колею на талом снегу.

— Вызвали своих людей с периферии, лишь бы было побольше! — проворчал Раж.

Ближе к центру города на улицах стало людно. Когда друзья проходили под виадуком, над головами у них прогремел утренний поезд, и Брих влюбленно оглянулся на него. Поезда с детства были его слабостью. Еще мальчишкой он, бывало, часами высиживал у железнодорожного туннеля и глядел на мощных потных железных коней, которые, пыхтя, мчались наперегонки с ветром. Тра-та-та, тра-та-та!

В десять лет Брих непоколебимо решил стать машинистом, как и отец, которого он никогда в жизни не видел. Ох, эти мальчишеские мечты, сколько их сменилось у Бриха! В десять лет — машинист, в двенадцать лет — летчик, в четырнадцать — сыщик, потом — лирический поэт и бог весть, что еще. Жизнь изменила интересы, и все же, хоть в столе у тебя диплом юриста и уже не жаль утраченной мальчишеской мечты, при виде локомотива в тебе пробуждаются давние воспоминания.

Кипучая волна необычно оживленного движения шумно катилась через пороги перекрестков; трамваи, надрывно звеня, шли не по маршруту, объезжая быстрину толпы, — верный признак того, что на пражских улицах происходят крупные события.

Брих наблюдал прохожих. Они казались ему не такими, как вчера. Он не узнавал обычно торопливых и немного безразличных ко всему пешеходов, каждый из которых думает о своем. Лица были возбуждены. У одних людей в бегающих глазах виднелись озабоченность и испуг, у других взгляд стал строже и пристальнее, походка решительнее и быстрее. Люди спешили, но останавливались у газетных киосков, разворачивали газетные простыни, не обращая внимания на мороз, на снег. Снежинки таяли на волосах, на шубах, в горячем дыхании. Около громкоговорителя, перед зданием издательства «Мелантрих», возникали и вновь распадались ожесточенно споривщие группки. Брих видел десятки лиц, взволнованных, сердитых, насмешливых, любопытных, равнодушных. Тут были и рассудительные «папаши», и пылкие спорщики, были просто зеваки, любители уличных сенсаций, и насмешники, умеющие одной репликой превратить в потеху ожесточенный спор; были серьезные граждане, понимавшие все значение этого дня, были всезнайки и язвительные комментаторы, переходившие от группы к группе. Слышался говор и шум, колючий смех, а надо всем этим гремел из репродукторов духовой оркестр. Внимание, передают что-то важное!.. В репродукторе слышен треск, потом взрыв аплодисментов и приветственные возгласы.

Глядя поверх толпы людей в мокрых шляпах, Брих заметил знакомое лицо: Индра Беран, приятель времен войны, сейчас студент-медик и дружок кузины Бриха — Иржины Мизина. Брих сразу узнал этого здоровяка, его крепкие скулы и упрямую шевелюру, на которой таял

снег. «Он здесь в своей стихии», — подумал Брих. Индра стоял против солидного гражданина в роговых очках, который, усиленно жестикулируя, что-то доказывал ему, стоял спокойно, с лукавым превосходством поглядывая на кипятившегося спорщика, давал ему выговориться. Тот объявил, что, отказавшись от участия в плане Маршалла, Чехословакия совершила «экономическое самоубийство», и предсказал крах национализированного хозяйства. Индра не спеша приподнял свои густые брови, не спеша начал отвечать. Под одобрительный смех окружающих он короткими залпами фраз сокрушил аргументы противника. Разговор перешел в спор об освобождении Праги и, видимо, был нескончаем.

— Долго ты еще намерен слушать это переливание из пустого в порожнее, юрист? — Раж толкнул прислушивавшегося Бриха в бок и сделал скучающее лицо. — Этот тип просто кретин! — сказал он, когда они перешли на другую сторону. — Спорить о том, кто освободил Прагу? Каждый видел своими глазами, что русские! Ну и что ж? Сейчас уже сорок восьмой год, обстановка изменилась, пыл поостыл. Вы нас освободили, — благодарим покорно, но порядки у себя мы установим, какие нам нравятся. А этот дяденька до умопомрачения спорит с агитатором.

— Таких немало в вашей партии. Тоже фанатики.

— Безусловно. Их даже большинство. И они нужны, это тело партии. Но ее голова в другом месте. Почешите языками, братья *, пусть поработают ваши куриные мозги.

— Это цинизм! — возмущенно возразил Брих.

— Нет, политический реализм, непонятный человеку с таким куцым взглядом на политику, как у тебя. Политика на улице — эффектная вещь, но решения принимаются в другом месте и главное — другими людьми.

Безлюдным пассажем, где гулял пронзительный сквозняк, они пошли на Пшикопы. В пассаже им встретился владелец оптовой торговли мехами Калоус. Брих видел его прежде только в гостях у Ража, но сразу узнал этого круглоголового, подвижного коротышку с брюшком, живыми глазами и седыми щеточками на висках. Его обычно бодрое лицо сегодня не сияло улыбкой; коротышка семенил, позвякивая ключами в кармане шубы с каракулевым воротником. Раж окликнул его, и Калоус вздрогнул, но тотчас же его ротик расплылся в улыбку.

— Отрадно встретить на улице добрых приятелей! — облегченно воскликнул он.

— Куда вы так спешите, господин Калоус? — спросил Раж, пожимая ему руку.

Тот беспокойно оглянулся с видом заговорщика.

— На сегодня я закрыл торговлю, приятели. Вы слышали, вчера арестовали Рудольфа? Звоню в наш партийный центр — никакого толку! Весь свет сошел с ума, черт знает, что может статься... Рабочие на улицах! Жена мне звонила. Вот я и спешу домой...

— Чем же пахнет дело? — насмешливо осведомился Раж.

Не дав ему договорить, Калоус втащил их в какой-то подъезд и у входа в лифт вытащил руку из кармана. На его пухлой ладони лежал маленький револьвер; было видно, что Калоус сам побаивается этого холодного предмета, который он сразу же сунул обратно в карман.

— Вот чем пахнет!

— Не паникуйте, милый человек! — прыснул Раж и хлопнул Калоуса по спине. — Пока ничего страшного не случилось. Шумиха и больше ничего. А вы с револьвером! Хотите играть в гражданскую вой-

---

* В партии чешских национальных социалистов было принято обращение «брат».

ну? На этот счет я в вас сильно сомневаюсь. Оставьте лучше ваш пистолетик дома, а то невзначай сами себя подстрелите!

— Ну вас! — Калоус виновато улыбнулся, слова Ража, видимо, его успокоили. Но когда они опять вышли в пассаж, он излил им свои горести.

— Теперь трудно разобраться, что к чему, други! Вот вам пример. Звоню утром в наш партийный центр узнать, как дела. И представьте себе, каковы нахалы: с ними и не поговоришь! Важничают. Сейчас, мол, брат, нет времени на разговоры. Соблюдайте спокойствие, мы в курсе всего. Болтовня! Мне нужна уверенность, гарантия порядка, а не это «мы в курсе всего», — и повесил трубку наш брат-секретарь. Получать деньги да молоть языком о свободе — они мастера. Вечно тянули руку: «Вноси, брат, в избирательный фонд партии!» А сейчас, изволите ли видеть,— «нам, брат, не до разговоров с тобой!»

— Трусливый купчишка! — с облегчением сказал Брих, когда они отделались от Калоуса. — Этакая шкура. Буквально дрожит от страха.

— Ты прав! — согласился Раж, отрываясь от мыслей, которые заставили его нахмуриться, и добавил раздраженно: — В чем дело, черт возьми? Он хоть безвреден. Хотел бы я знать, за кого ты будешь голосовать на выборах, с кем ты?

— Я тебе скажу: если верх будут брать коммунисты, я проголосую за «католиков» * или за...

— А если верх будем брать мы?

— Тогда наверняка за коммунистов. Демократия в нашей стране требует политического равновесия. Ей угрожают именно партийный фанатизм и догматизм — и левый, и правый.

— Законченная чушь, на которую способна лишь интеллигентская башка, — отрезал Раж, отшвырнув окурок. Грозил разразиться долгий спор, но ни у кого из них не нашлось достаточной охоты.— Я вижу, что у нас не хватает еще одной партии — интеллигентских фантазеров и либеральствующих кроликов. Политическое равновесие я представляю себе иначе, юрист! Здесь его нет, поэтому и начался этот бедлам, понятно? Нельзя ждать, пока нас проглотят, дражайший гуманист. То, что творится вокруг,— не случайность.

На Пшикопах резкий ветер стегнул их по лицу. Бриху показалось, что шествие демонстрантов бесконечно; колонны текли, как вздувшаяся река в крутых берегах домов. Вооруженная до зубов армия не так внушительна, как волнующийся поток людей в будничной одежде. А пение!

Ветер налетал на едва просохшие плакаты с лозунгами, качал их над головами людей. Женщины и мужчины, заводские рабочие в зимних пальто, ноги, шагающие по подмерзшей мостовой, гомон и смех, но вместе с тем дисциплина и гнев — такова была демонстрация, стекавшаяся на Пшикопы из переулков Старого города, залившая проспект во всю ширину, вплоть до магазинных витрин. Шествие двигалось все вперед и вперед, и поток засасывал Бриха и Ража. Они попытались перейти на другую сторону, их крутило, будто в водовороте половодья. Брих видел, как Андрей, действуя локтями, проталкивается через толпу, но она увлекает его с собой.

У театра их выбросило на тротуар. Андрей нетвердой рукой закурил папиросу. Молодой рабочий с портфелем подмышкой попросил у него огня. Раж молча протянул ему зажигалку и промолчал в ответ на благодарность.

Порыв ветра взметнул знамена. Шляпы и кепки слетели с голов; Раж и Брих тоже сняли шляпы и прислушивались к разговорам вокруг.

* Католическая или так называемая «народная» партия — одна из правобуржуазных партий, входившая до февраля 1948 года в Национальный фронт.

— Там, на площади, всем не хватит места! — сказал человек рядом.

— Ну, нет, — возразил другой, — сегодня без меня не обойдется!

— Морозец хватает за пальцы, — сказал еще один. — По крайней мере, не станешь клевать носом, будешь как встрепанный... Спал я сегодня на верстаке, напильник вместо подушки!

— Глотни из термоса. Моя мама обо мне позаботилась, дала чаю.

— Эй, товарищ Ванек, товарищ Ванек!

Толпа шумно принялась звать: «Товарищ Ванек, где товарищ Ванек?»

Вездесущий весельчак тотчас добавил, рассмешив всех:

— Его ищет жена с дитём!

Наконец товарищ Ванек нашелся — проворный старикан-рабочий. В толпе снова прокатился смех.

— Ну, я... В чем дело? — отозвался Ванек.

— Запереть мастерскую не забыл?

— Это я чтобы забыл? Ах, козел тебя забодай! Тридцать пять лет не забываю.

— Смотри, не примерзни к мостовой!

— Ну, ясное дело: господа Зенкл и Дртина!.. * Слушай-ка, умник, месяц назад ты их ни за что бы не дал в обиду.

— То месяц назад, а сейчас я их сам обижу. И нечего меня подзуживать.

— А кто с ними заодно?

— Ясно, кто: господин Летрих! **

— Его лучше не тронь, он духовное лицо, еще пожалуется святому Петру и тебя не пустят в рай.

Взрыв смеха покрыл последние слова. Кто-то крикнул:

— Продается дюжина министров. Годны только в утиль! По дешевке!

Смех, и опять лица серьезны.

— Пойдем отсюда, — скомандовал Раж и тронулся с места. Пройти назад было невозможно, и они стали пробираться вперед, но застряли. Человеческий поток влек их мимо магазинов со спущенными шторами и вынес на площадь. Какой здесь холодный воздух!

Раж и Брих стояли, притиснутые к какому-то подъезду; перед ними чернело море голов, разлившееся по простору Староместской площади. Друзья молчали и поглядывали вокруг. «Зря я дал оторвать себя от работы», — беспокойно подумал Брих и простуженно засопел.

Раж упорно курил и отбрасывал недокуренные сигареты.

Снег падал на город, ветер выл над крышами, раздувал знамена, качал плакаты — читай! Каменный Ян Гус, покрытый рваным снежным покрывалом, высился над морем голов, прямой и строгий. Стая голубей поднялась с купола Тынского храма и полетела к крышам Старого города. Хлопая крыльями, они миновали полуразрушенную башню ратуши, торчащую над заполненной толпой площадью ***.

Кто-то говорит речь. Замерзшие лица людей обращены к каменному балкону ратуши; эти лица сосредоточены и вдумчивы, спокойны и строги, минуты волнующего ожидания наложили на них свой отпечаток.

Брих почувствовал, что Раж коснулся его руки.

— Пошли, — мрачно произнес он. — Это становится скучным. Спектакль кончается, постановка была слабая: ничего нового!

---

* Зенкл и Дртина — министры, подавшие в отставку, лидеры реакционных партий.

** Летрих — лидер реакционной словацкой «демократической» партии.

*** Историческое здание пражской ратуши со знаменитыми башенными часами «Орлой» сильно пострадало в конце войны; сейчас оно полностью восстановлено.

Он попытался зевнуть и говорил, поджимая губы, но Бриху было ясно, что он притворяется и на него тоже произвела впечатление сила, которая окружала их. Это было заметно по беспокойному взгляду Андрея, по участившемуся дыханию. Вот она, такая минута, когда сердце словно зажато в тиски, — так было в тридцать восьмом году, так было три года назад, в мае! «Начались события, которые вновь изменят судьбы людей», — мелькнуло в мыслях у ошеломленного Бриха. «Какое сегодня число? Час назад для меня начался будничный день, а теперь?»

Суббота, двадцать первого февраля 1948 года!

Толпа бурлит, несутся восторженные приветствия: на балконе появился долгожданный оратор, человек в черной барашковой шапке.

Погляди только на лица людей, на руки, поднятые над головой, взгляни в глаза!

Брих толкает товарища в бок.

— Сегодня ты сказал, что политика делается в тепло натопленной комнате. Ты и сейчас настаиваешь на этом?

Все остальные слова утонули в буре приветственных возгласов, которая прокатилась по площади и утихла по мановению руки оратора. В прерывисто дышащую, взволнованную толпу упали первые слова, раздавшиеся на всю страну, подобно звону набата.

— Граждане и гражданки!

2

Вчера вечером Патера поехал на завод. Он помнил, что над страной собираются тучи, что близка буря.

На завод! Не праздное любопытство влекло туда Патеру. Все важные этапы его жизни были связаны с заводом: стачка и увольнение в 1933 году, потом осень 1938 года, когда они шли демонстрировать к парламенту. А ненастный март девятьсот тридцать девятого! Мимо заводских ворот мчались в город немецкие мотоциклисты. Все это Патера пережил на заводе, в кругу близких товарищей; он знал завод, как свою крепость. Гестаповцы увели его прямо с работы, даже не разрешили помыть руки и снять спецовку. Им так не терпелось расправиться с Патерой, что они избили его еще на заводе, около проходной, в полутемной комнатке. Когда оккупантов прогнали, Патера вернулся на завод и вместе с товарищами пробуждал его от тяжелого молчания, устранял разрушения, которые нанесли ему американские бомбардировщики за две недели до конца войны. Тут он встретил всех своих. Вместе они ругались, сердито плевались и неутомимо работали. А вскоре осознали, что это их завод: его национализировали.

Патера переступил порог проходной и сразу же словно попал в водоворот. В цехе его встретили оглушительным гомоном приветствий, дружеские кулаки замолотили по его спине, десятки жилистых рук ухватили Патеру — как ни вертись, поздравительного битья не миновать. Клепальщики — увы! — не отличаются деликатностью барышень, и Патеру потрепали как полагается. И все же он чувствовал, что, несмотря на громкий смех и крепкие шуточки, которыми товарищи потчевали его всю смену, настроение на заводе серьезное. Близился решающий момент, и это отражалось на лицах рабочих. Патера видел, как озабочены Адамек и Машек. Вон там, среди металлических шаблонов, пружинистым шагом прохаживается красавец Сантар — на заводе его прозвали «кабальеро», а на ящике сидит сухонький старичок Митиска и что-то взволнованно втолковывает мастеру Тот только машет рукой и, как ошалелая муха, носится в своем белом халате между железными кон-

струкциями. Патера кивает головой поджарому Ферде Мрачеку, кому-то машет рукой, с кем-то перекидывается словами.

Его напарник Пепик Ворачек здоровается, не меняя обычного угрюмого выражения лица, неловко бормочет слова поздравления: «Так у тебя мальчишка, а? Ну, ну...» и, быстро наклонившись, принимается подключать пневматический молоток к компрессору. Больше этот молчальник ничего не скажет. Патера знает его уже второй год.

— Ну, Пепик, как шла работа?

— М-м-м... Ничего.

Такой бирюк Пепик: тихий, серьезный, чистоплотный и всегда аккуратный, пружинистый, как мяч. Он один из лучших боксеров полусреднего веса в заводской команде. Ходит он немного боком, помахивая руками, всегда готовый вскинуть их к мускулистой груди и принять боксерскую позицию. Перед матчем Пепик бывает сосредоточенно молчалив, из него слова не вытянешь. Придешь в раздевалку, а он там в уголке, около душевой упражняется, делает выпады, молниеносно выбрасывая в воздух левую руку: раз-два, левой, правой. Атака на воображаемого противника заканчивается мощным боковым ударом и прыжком назад. Пепик замечает, что на него смотрят, смущенно опускает руки и объясняет, отводя взгляд: «Вечером у меня схватка с Бу́рдой. Теперь он не возьмет меня неожиданным ложным выпадом!» Пустив душ, он с наслаждением пыхтит под струей ледяной воды.

Патера его любит. Однажды он попытался вовлечь Пепика в партию. Тот внимательно его выслушал, наморщив лоб, кивнул головой и ничего не сказал. Он думал. Анкету он взял, тщательно сложил пополам и запер в свой ящик. Больше они на эту тему не говорили. Патера знал этого работящего парня, знал, что, хотя Пепика интересует спорт, а не политика, Пепик — свой человек.

— Ну, взяли, Пепик!

Молоток Патеры выстреливает первую очередь по листовому железу, его стук сливается с грохотом, от которого сотрясаются своды цеха. Кажется, что ты на фронте во время ожесточенной перестрелки. Тра-та-та, тра-та-та, стучит молоток по головкам заклепок, которые Пепик вгоняет в просверленные отверстия. Тра-та-та! Адский грохот, не слышно даже песенки, которую сам насвистываешь.

Пепик уходит подогреть заклепки и, вернувшись, наклоняется к Патере. Лицо у него серьезное.

— В городе что-то неладно. Сегодня об этом в газетах... да и сейчас мне сказали...

Патера прекращает работу, отирает лоб тыльной стороной руки, вешает молоток на кронштейн и привычным движением лезет в карман. Перекурить для успокоения!

— Этого надо было ожидать.

Коротко проголосил гудок, грохот умолк. Рабочие уселись завтракать, неторопливо жевали еду. Не успел Патера вынуть из своего мешочка кусок хлеба, как Тоник Ирасек тронул его за плечо. «Иозеф, на партком, внеочередное заседание!» И помчался дальше. Патера стряхнул пыль и серебристую дюралевую стружку с головы и со спецовки и отправился в маленькую комнату для заседаний. Там его встретили возгласами «ура» и, прежде чем начать заседание, жали руку, хлопали по плечу. Вопросы:

— Иозеф, хвастай: сколько?

— Чего сколько?

— Килограммов, конечно!

— Мальчишка, небось, здоровяк, весь в папашку.

— Я думал, у тебя будет девочка, ты ведь тонкая штучка!

Адамек постучал карандашом по столу.

— Я думаю, каждый из вас понимает, какие события сейчас назрели...

Ни в тот день, ни на следующий Патера не вернулся к молотку; Пепик работал один. Собрания, собрания, собрания, телефонные звонки... Что нового в правительстве? Приходили то одни, то другие новости, в заводской столовой за обедом шли бурные споры. Кончилась утренняя смена, но мало кому хотелось домой. Завод кишел людьми, они толпились во дворе и в столовой, то и дело скрипела дверь цеха, люди собирались группами, слышались вопросы. Дед Митиска ковылял от группы к группе, взволнованно пыхтел своей короткой трубочкой и пророчествовал.

Все собрания да собрания! У Патеры уже болели глаза от едкого табачного дыма. Комнату проветривали и продолжали совещаться. До чего он устал! Немного довелось ему поспать в последние дни, мальчишка-то — крикун... Во время заседания, пока неистовый Батка, который вспыхивает при всяком удобном и неудобном случае, махал кулаками и стучал по столу, Патера вдруг почти с удивлением вспомнил всё и ему захотелось попросить слова и сказать: «Товарищи, у меня родился сын, слышите? Я знаю, вам это уже известно. Но ведь это имеет прямое отношение к тому, о чем мы сейчас говорим. Я из этого мальчишки сделаю настоящего человека. Обязательно! А что сделали бы из него о н и? Да посмей они только пальцем шевельнуть!..»

Они посмели!

Весть об отставке министров молнией пролетела по заводу; под сводами цеха стало тихо. Но только на мгновение, потом поднялся гомон. Патера увидел, что дед Митиска машет руками и пыхтит трубкой. Глаза у него сердито блестят из-под щеточек седоватых бровей. «Так и есть! Не говорил ли я! К черту этих жуликов!» У Патеры уже не было времени слушать возмущенного старика: в дверях стоял Адамек и звал его. Вместе с несколькими членами комитета Патера поспешил к высочанскому Народному дому. В тот же вечер в цеху было созвано общезаводское собрание. Никогда еще не собиралось там столько людей — все смены изо всех цехов! Кузнецы и токари, фрезеровщики и виртуозы-шлифовщики, такелажники и замазанные кочегары из котельной, служащие конторы, люди самых разных убеждений и взглядов; были среди них и интриганы, и зазнайки. Пришел директор и два его заместителя, один из них был известен как махровый национальный социалист; этот только сидел и испуганно хлопал глазами.

Люди стояли у конструкций, теснились у входа, сидели на ящиках и на столах; куда ни глянь — у всех в глазах один и тот же блеск.

Первым выступил Адамек, он говорил спокойно и деловито, но чуть взволнованнее обычного. Во время речи он жестикулировал и воздерживался от ругательств и крепких словечек.

— Мы все здесь разные люди,— обратился он к собравшимся,— об этом и говорить нечего. Одни соображают быстро, других нужно толкнуть в спину. По-моему, такие тугодумы сейчас получили этот толчок. Ладно. Вон там я вижу Сладека, мы с ним недавно поцапались, не так ли, Лойзик? Но это ничего, товарищи. Сейчас надо, чтобы все поняли — дело уже не в борьбе между партиями. Да, не в этом дело, товарищи! То, что сейчас происходит, касается нас всех, какие бы ни были у человека взгляды. Нас, трудящихся, тех, кому по-настоящему дорога республика. Нет, мы не застигнуты врасплох! Что сейчас нужно? Нужно, чтобы мы, рабочие, громко и со всей решительностью сказали тем господам: «Этот номер не пройдет! Этого мы не допустим, этому положим конец! Ловчили, спекулировали, подстрекали, а теперь предали...»

Голосом, разнесшимся по всему цеху, Патера прочитал резолюцию. За нее поднялись, кроме двух-трех, все руки. Голосовали в суровом молчании. Потом под сводами цеха грянул «Интернационал»; через приоткрытые ворота мелодия неслась в ночь.

И вот потянулась эта ночь, с пятницы на субботу. Почти все рабочие остались на заводе. Контрольные часы в проходной, постукивая, отмеривали время, оставшееся до утра; с неба сыпались снежинки, трепеща в желтоватом свете, падавшем из окон.

Завод бодрствовал.

Патера вернулся в цех с заседания комитета и в самом уголке, у парового отопления, увидел скорчившуюся сонную фигуру. Пепик Ворачек!

Пепик дремал, свесив голову на грудь и обхватив руками колени. Патера потряс его за плечо: «Вставай, кофе на столе!» Тот замигал, как разбуженная сова, вскочил, потянулся и зевнул.

Патера заметил, что товарищ как-то странно мнется.

— Ты что, Пепик?

Боксер подошел к нему и, отводя взгляд, подал ему сложенный листок.

— Слушай, Иозеф, сегодня ночью я заполнил ее... эту анкету. Отдашь ее там, а?

Он был не первый, кто этой ночью подходил к Патере с таким же делом. Подходили и другие, но Патеру особенно тронул простой и решительный тон напарника. Они сели рядом, Пепик поделился с Патерой хлебом и колбасой, за которыми вечером сбегал к матери. Они съели этот завтрак в один присест и оба почувствовали себя бодрее.

Часа через два все рабочие вышли в распахнутые ворота на улицу. Был крепкий мороз. Плотной толпой они шли по заснеженной дороге, сливаясь с толпами рабочих других заводов, шли, и их согревало собственное дыхание, гнев и эта ходьба... Патера шагал рядом с Ворачеком, рядом со всеми.

И они пели!

Так все это было. «А теперь — спать! Хорошенько высплюсь к завтрашнему дню», — думает Патера, шагая по ночной улице. Он прибавляет шагу, и через минуту его ботинки уже стучат по деревянной лестнице и подковки звякают на кафельном полу галереи.

В лицо пахнуло теплом. Патера поспешно закрывает дверь и на цыпочках подходит к постели жены. При слабом свете затемненной настольной лампы он видит, что жена еще не спит, глаза ее полуоткрыты. Детская кроватка таинственно тиха.

— Не спишь?

— Нет. Жду тебя.

Патера виновато опускает голову. От его пальто все еще веет холодом улицы.

— Видишь ли, мне пришлось остаться там... Вчера вечером...

— Знаю. Мама принесла мне газету.

Патера с молчаливой гордостью глядит на жену и кивает. Неловкими пальцами он приподнимает покрывало над кроваткой и смотрит в темное углубление, где тихо дышит дитя. Ш-ш-ш!

Присев на скамейку у погасшей печки, Патера с волчьим аппетитом съедает картофельные кнедлики с луком. В полутьме он нащупывает кофейник с еще теплым суррогатным кофе и запивает свой ужин, чувствуя, что ему стало теплее и прибавилось сил, потом потягивается и зевает. Жена уже уснула. Теперь еще пару затяжек — и на боковую. «Э, нет, здесь курить нельзя, надо приучиться выходить на лестницу. Черт бы побрал заведующего жилищным бюро, теснимся в одной ком-

нате с крохотной каморкой для матери, а он, пока к нему не придешь с криком и шумом, палец о палец не ударит. Свинство!»

Патера покурил на галерее, опершись о железные перила и глядя в темный двор. Во всех окнах уже темно, только окна студии под крышей бросают в ночь яркий сноп света. На галерее безлюдно и тихо, все соседи спят. Откуда-то сверху слышится скрип двери, на секунду доносится музыка радио и тотчас смолкает.

По телу Патеры вдруг пробегает озноб, начинает ныть правая рука. Патера трет ее ладонью. Во время оккупации он схватил ревматизм, который временами дает себя знать; подлая штука — даже не разберешься точно, где болит, а боль от этого не меньше. Ах, черт ее дери! Патера бросает окурок в темноту и входит в переднюю. Мгновение он колеблется, потом стучит к соседу.

— Не спите?

— Нет, заходите

Брих в лыжном костюме сидит за столом, по студенческой привычке укутав шею шарфом и подперев голову руками. Перед ним раскрытая книга. Неподвижный, сосредоточенный, он неутомимо подчеркивает красным карандашом целые абзацы. Слабо светит настольная лампочка.

Патера останавливается на пороге.

— Не хотел вам мешать... но вижу под дверью свет, дай, думаю, загляну...

Брих захлопывает книгу.

— Не беспокойтесь, заходите. Я ночная птица, раньше полуночи не ложусь.

— А после полуночи вам не дает спать наш крикун, а?

— Не беда, я сплю, как сурок. Иногда я не прочь услышать детский крик, от него веселей.

— У нашего голос, как иерихонская труба, — улыбается Патера. Он оглядывает холодную комнату, нюхает воздух. — Печка у вас дымит немного...

С мужской сноровкой он наклоняется к печке, минуту возится там, что-то бормоча про себя, прочищает решетку, ворошит кочергой горячий пепел. Печка снова разгорается и начинает гудеть.

— Готово. Печке нужен свежий воздух, как и человеку; ничего не попишешь.

По комнате разливается тепло. Патера потирает руки и обводит взглядом комнату, не проявляя, однако, чрезмерного любопытства. Он никогда не бывал у Бриха, хотя у них общая передняя. Общение соседей ограничивалось двумя-тремя фразами, которыми они обменивались на ходу. Да и Брих лишь недавно впервые в жизни переступил порог комнаты Патеры, чтобы помочь в трудный момент, когда у соседки начались родовые схватки; растерявшаяся старушка-мать позвала его на помощь. Он сделал тогда все, что мог, и опять укрылся в своей холостяцкой берлоге. Только Андулка иногда забегала к нему поболтать, он любил эту девчушку. Но от квартиры Патеры Бриха отделяла лишь тонкая стена, сквозь которую было слышно каждое громкое слово; в этой стене была дверь, заставленная с одной стороны пузатым комодом, который Брих унаследовал от матери, а с другой — комнатным рукомойником Патеры. Иногда происходили забавные эпизоды, свидетельствовавшие о добрососедских отношениях: Брих громко чихал, и за стеной слышалось дружеское «Будьте здоровы!» «Спасибо!» — отвечал Брих. Бывало и наоборот: музыку граммпластинок, которые с увлечением собирал Брих, слушали у Патеры, хотя вкусы не совпадали. Брих любил произведения Сметаны, концерт для виолончели Дворжака, Дебюсси и

Моцарта. Звуки этой музыки заставляли умолкнуть шум у соседей. «Странный человек этот юрист», — не раз думал Патера. Его интересовал замкнутый одиночка Брих, но, чувствуя, что сосед дорожит своим одиночеством и трудовым покоем, Патера не вторгался в этот покой.

И вот он впервые стоит в комнате Бриха. Патера бросает быстрый взгляд на какую-то очень странную картину — невразумительную путаницу пятен и линий. «Что же такое хотел нарисовать художник? Черт его знает, я этого не пойму!»

— Это полотно Брака, — говорит Брих из-за стола.

Патера кивает и учтиво воздерживается от комментариев. Глаза его пробегают по корешкам книг, разбросанных по комнате. Большинство незнакомо Патере, хотя он большой охотник до чтения. Много английских и французских авторов в подлиннике, много юридической литературы и всевозможных научных книг: биология и астрономия, экономический атлас мира, на ночном столике — «Записки» Шальды *, «Эмиль» Руссо, «Кандид» Вольтера и толстый томик пьес Шекспира на английском языке. Из знакомых Патере книг он заметил «Жана Кристофа», «Обыкновенную жизнь» и «Кракатит» Чапека. Со шкафа на него глядит фарфоровая сова в очках, он знает ее со слов Андулки, рассказывавшей с ней с восторгом. Там же виднеется запыленная статуэтка Будды. У стены возле окна стоит пианино, звуков которого Патера никогда не слышал. Это его немного удивило, но он не стал расспрашивать.

— Что ж вы не садитесь? — пригласил Брих, и Патера уселся в потертое кресло. Широко зевнув, он отказался от дорогой сигареты из коробки, которую оставил на столе Раж, и закурил «партизанку».

— Я привык к этим... Во время войны курил всякий мусор, однажды даже чай для ревматиков. От ревматизма он не помогал, но в трубке был просто роскошь. От дорогого табака у меня всегда болит голова... Я, собственно, зашел поблагодарить вас, сосед. Мы все просто с ног сбились, мать у меня старая и глухая, и вдруг эти роды как снег на голову.

Смущенный Брих поспешил переменить тему разговора. Тепло от печки волнами плыло по комнате, и от этого в ней стало уютнее. Брих добросовестно старался не затрагивать в разговоре событий, о которых думали оба, но эта тема точно нависла над ними.

Задрожала оконная рама, ветер был назойлив, как приблудная собачонка. Брих и Патера помолчали. После тягостной паузы раздался вопрос, заставивший Бриха поднять голову.

— Как вы, сосед, смотрите на все это?

Брих сунул окурок в пепельницу и пожал плечами.

— Что вы хотите знать? На какую карту я ставлю? Мой ответ вам не понравится: я не могу поставить на ту, на которую хотел бы.

— Я не понимаю вас.

— Это довольно просто. Только, пожалуйста, не зовите меня в вашу партию. Я вас уважаю, Патера, но должен разочаровать: я не состою ни в какой партии.

— Я же не для этого... я не буду, если не хотите, — сказал Патера. — Сегодня утром мы были на Староместской. Туда пришли и беспартийные, и даже...

— Я был там тоже.

— С чем вы вернулись оттуда?

Брих наклонил голову, сплел тонкие пальцы и выгнул руки так, что у него хрустнули суставы.

— Буду откровенен: с путаницей в голове. И немного встревоженный. Обе стороны приводят свои доводы; боюсь, что обе они кое в чем

---

* Известный чешский литературный критик.

правы — со своей, чисто партийной точки зрения. Но я верю, что все кончится разумным соглашением, ибо верю в здравый смысл. Слишком серьезные вещи оказались под угрозой для обеих сторон, поверьте!

— Что именно?

— К чему говорить об этом? Повторять фразы, уже затасканные во всех газетах? Но я на собственном опыте убедился, что это не пустые слова. Демократия, свобода! Человечество веками боролось за них, этим нельзя играть, Патера! Не спорю, митинг на площади был внушительным зрелищем. Но это еще не значит, что провозглашенные там лозунги правильны.

— Важно, почему была демонстрация, вот что! Знаете вы точно, чего хотят демонстранты?

Патера наклонился над столом, и его взгляд упал на старый номер «Свободни новины» с передовицей, написанной редактором этой газеты. Патера пробежал глазами несколько строчек и кивнул головой, потом постучал пальцем по газетному листу.

— А что вы думаете об этом?

Брих неохотно пожал плечами.

— Не скажу, что я согласен с ним целиком. Но я тоже думаю, что правду надо искать без митинговщины и пропагандистского шума, смотреть на вещи объективно, а не через очки партийных доктрин.

Патера откинулся на спинку кресла. Он разомлел от тепла, глаза у него смыкались.

— Не думайте, что я собираюсь агитировать вас и долго не давать вам спать. Это мне, наверное, и не удалось бы: вы ведь образованный человек и иначе смотрите на вещи.

Брих примирительно улыбнулся.

— Вы правы. Но, по-моему, все честные люди в нашей стране стремятся к одному и тому же... По крайней мере, об этом твердят все политические партии. Я верю в согласие, в разум...

— Не знаю, какое может быть согласие... — Патера с сомнением покачал головой. — С предателями не договоришься! В газетах много чего болтают, а на деле все иначе. Вчера стало ясным, кто всерьез хочет социализма, а кто на него косится и... изменяет.

Брих нетерпеливо встал и сказал глухим голосом:

— Худо было бы, если бы вы оказались правы. Я мог бы ответить вам аргументами тех, кто вчера подал в отставку, и мы бы с вами поссорились. У них, видимо, тоже есть своя правда...

— Нету! — тихо и упрямо произнес Патера. Сильными пальцами он обхватил колено, долго и хмуро глядел в одну точку, потом заговорил.

— Своя правда? Мне, например, свою не пришлось особенно искать, я ее еще мальчишкой почувствовал на собственной спине. Я был в ученье у жестянщика: нас совсем сопляками пристраивали к делу. Не хотел бы я, чтобы мой сын отведал такой жизни, не для этого он родился... Два года я ходил без работы. Лучше об этом не вспоминать. А спросите-ка мою жену, какое у нее было детство... Она росла на кирпичном заводе. Надо было с этим покончить, а? Сейчас кучка шкурников опять пытается вернуть старое... Не пройдет! Знаем мы, чего они хотят! — Он нахмурился и отвел взгляд, потом вдруг воодушевился и стукнул кулаком по ручке кресла. — Ради этого мы выйдем на улицы, а если надо будет, не моргнув глазом, решимся и на большее! Пусть кричат о красном терроре, нас они не собьют с толку, для нас это дело самое ясное — решается вопрос о хлебе насущном. Старым порядкам не бывать!

— По-вашему, значит, я хочу, чтобы вернулась первая республика? — прервал его Брих. — Моя мать была прачкой, а я прирабатывал частными уроками. Я мог бы вам порассказать, как нам жилось! Пого-

дите, не перебивайте! И все же я не могу и не хочу отказаться от того, что делает жизнь достойной. Подумайте, была война...

— А почему она была? — уже рассерженно спросил Патера.

— Ладно... я хочу сказать, что она была не только за хлеб. Смысл этой бойни был в том, чтобы разгромить темные нечеловеческие силы, душившие свободу. Силы, которые стремились превратить свободных людей в рабов, хотели распоряжаться человеком, как скотом. Я испытал это на себе и извлек уроки. Мы, видно, не договоримся, что такое «свобода», мы ее по-разному понимаем!

Он зашагал по комнате, от двери к окну, и ему казалось, что он говорит сам с собой, потому что Патера уже не отзывался. За окном темной мутью висела ночь, поблескивали огоньки людских жилищ. Брих коснулся лбом холодного стекла. Освежить бы голову! Ох, эти мысли, они, как металлические осколки, засевшие в черепе.

Спокойно, ничего страшного еще не случилось! Внизу молчит Прага, но Брих знает, что город не спит. Такой день! Жестокая борьба идет сейчас не на морозе, а в домах, при свете лампочек. Накапливаются силы, будет взрыв. Ротационки гудят, печатая слова, которые с рассветом затопят страну, обрушатся на человеческие мозги. Звонят телефоны. Сколько спящих будет сегодня беспокойно ворочаться в постели? В центре города, наверное, еще и сейчас вспыхивают споры около громкоговорителей. Бриху вспомнился Индра Беран. Может быть, будет и стрельба, может быть, страна разделится на два непримиримых лагеря. «Этот человек, что сидит у меня в комнате, знает, против кого он обратит оружие. И Андрей Раж знает, и Индра Беран. А я? С кем, собственно, я?» — подумал Брих бог весть в который раз за этот день.

В печке потух огонь, и Бриха начал пробирать холод. Он поежился, подтянул рукава лыжной куртки и, обернувшись к своему гостю, не мог удержаться от улыбки. Притулившись в кресле, свесив голову на плечо, Патера спокойно дышал, чуть выпятив губы. Руки у него были сложены на коленях, с лица не сходило спокойное выражение человека с чистой совестью.

Это было просто и не оскорбительно: он спал

3

Мастер стекольного завода Страка морозным вечером вернулся домой. Было слышно, как он топчется на половичке у дверей, стряхивая с ног снег, и потирает замерзшие руки. Войдя в теплую комнату, старик увидел сына Вацлава: поставив ногу на скамейку, тот шнуровал высокие ботинки. Страка остановился и помедлил, хрипя больными бронхами.

— Паскудная погода, — пробормотал он, словно упрекая кого-то, и неторопливо повесил кепку на крюк. Никто не отозвался. Невестка Божка, отвернувшись, возилась у плиты, громыхая кастрюлями; маленький Вашек сопел в кроватке с сеткой, а его четырехлетняя сестренка Ганночка, упершись подбородком в деревянное изголовье кровати, сонными глазами следила за каждым движением отца.

Готово, ботинки зашнурованы. Страка младший выпрямился — его широкая фигура высилась чуть не до потолка — притопнул ногой и только потом взглянул на отца, который неловко переминался на месте, словно хотел что-то сказать и не знал, как начать. Потом решил, что лучше не начинать напрямик.

— Есть там у тебя малость кофе, Божка? — спросил он.

Невестка кивнула, поставила на стол две жестяные кружки. Отец с сыном уселись друг против друга и угрюмо пили кофе, стараясь не встречаться глазами. Потом Вашек поставил кружку на стол и решительно встал

— Ну, мне пора.

Он надел куртку на кроличьем меху, закутал шею шарфом и проверил содержимое карманов. Документы, мандат на съезд, носовой платок, карманный нож, пачка папирос, спички — все на месте. Остается только поцеловать Божку, — «Не бойся, девочка, завтра к ночи я буду обратно. Как часы.» — погладить малыша, ущипнуть Ганку и марш на поезд. Вашек быстро делает все это, не позволяя себе смотреть в испуганные глаза жены, берет сумку и идет к дверям.

— Там в сумке у тебя хлеб с салом, — шепчет жена и прячет лицо в тени. «О, господи, — думает тронутый Вашек, — словно бы я шел на кровавый бой, а не на съезд». Но он держит себя в руках и только еще раз гладит жену по голове. Потом, уже взявшись за ручку двери, поворачивается и глядит на отца. Старик хочет что-то сказать. Он стоит у стола с кружкой недопитого кофе в руке и чуть шевелит губами.

— До свиданья, отец.

— Ты... это... того... — шепчет старый Страка и хрипло откашливается. — Гляди, не впутайся там в какую-нибудь заваруху... У тебя семья... вот что...

— Не беспокойтесь, папаша, — недовольно прерывает его Вашек.— Уж если где будет какая заваруха, я обязательно впутаюсь, вы меня знаете.

Вот-вот вспыхнет спор, но быстрый взгляд на стенные часы вразумляет Вашека. Через полчаса отходит поезд в Манин, а оттуда скорый на Прагу. Надо спешить.

— Раз уж ты будешь в Праге, — говорит вдруг отец осевшим голосом и быстро опускает глаза, словно пряча затаенную мысль, — так загляни-ка... я думаю... к Ирене. Последнее время девчонка совсем не пишет...

Старик нелепо машет рукой, скребет редкую седину на висках, он явно смущен. Наконец-то сказал, что хотел, черт возьми! Если этот норовистый мальчишка откажется, пусть ему будет совестно взглянуть на портрет покойной матери.

Но Вашек пристально смотрит на отца и не говорит ни слова. Его совсем не удивила просьба, он и сам подумывал об этом, но так и не пришел к определенному решению. Что ответить? Ничего. Там видно будет, подумаю по дороге.

Пожав плечами, Вашек выходит из дому.

Шагая по заснеженной дороге к вокзалу, он оглядывается на свой домик. В окнах горит свет. Домик вместе с еще несколькими такими же сидит, как грибок во мху, в потемках февральской ночи. «Какой мороз! Хорошо ли я закутал розы под окнами?» — мелькает в сознании Вацлава, но мысль об этом пустяке тотчас вытесняют другие, более важные и серьезные размышления. Остались позади последние домики рабочего поселка, надо пройти огородами между городком и поселком, миновать полуразрушенную ограду кладбища и ярко освещенные ворота стекольного завода «Тайхман и сыновья». Здесь работают Страка старший и младший. Дед Вашека тоже проработал на этом заводе всю жизнь, а вслед за ним — отец. Сорок лет Страка старший надрывал легкие у печи, выбился в мастера, теперь его перевели на склад. Сам Вашек работает тут не первый год, но не у печи, а в новой шлифовалке. Шлифовщик Вацлав Страка младший! Хорошая работа! Вацлаву тоже довелось узнать тяжкий труд и обиды. Сколько оплеух он получил, в скольких шлифовалках на севере страны поработал, сколько стекла испортил, пока из жалкого недотепы-ученика вышел настоящий шлифовщик, пока неуверенные руки стали послушными. Не хочется вспоминать эти горькие годы. И все-таки — Вацлав готов спорить на что угод-

но! — нет на свете лучше работы, чем шлифовать стекло! Шлифовщиков считают аристократами среди ремесленников и, надо признать безо всякого зазнайства и цеховой узости, — не зря. Художественное ремесло!

Резкий ветер с реки, огибающей обширный сад, в середине которого стоит роскошная вилла Тайхманов, щипал лицо Вацлава. Чувствуя, что у него мерзнут щеки, Вацлав старался двигать мышцами лица. Снежные хлопья летели в лицо, от мороза ломило пальцы. Вацлав сунул руки в карманы и прибавил шагу. В широких окнах особняка Тайхманов еще горел свет, но в доме было тихо. Казалось, дом испуганно глядит широко раскрытыми глазами на четкие контуры пяти трехэтажных заводских зданий и двух труб, торчащих, как стволы сосен, исхлестанные ветрами.

Проходя мимо главных ворот, Страка заглянул в жарко натопленную проходную.

— А-а, это Вашек! — послышались из душного полумрака приветственные голоса. На койках сидело несколько мужчин в расстегнутых пальто. Они непрерывно курили и молчали. Сторож дремал у стола, подперев голову рукой; сегодня он был не одинок на своем посту. На полочке у стены тихо бормотало радио. Кто-то подошел со двора к окошку проходной и постучал по стеклу пальцем. При свете фонарей Вашек узнал круглое лицо кочегара Бателки. Бателка и еще несколько товарищей дежурили во дворе.

— Как дела? — спросил Вашек, стоя в дверях. Люди задвигались в полутьме, лица у них были усталые от бессонницы.

— Все в порядке. Дежурим по часу. Чертовский мороз!

— Какие новости?

— Резолюцию Войта уже отправил. Только что Бателка вытурил управляющего. Тот хотел пройти в контору, мол, забыл там что-то. Даже совал Бателке сигареты, чтобы тот его впустил. Олух! Пришлось мне вмешаться, а то Войта дал бы ему по шее, ты ведь его знаешь, парень горячий! Я говорю управляющему: «Идите на боковую, господин управляющий, нашли время заниматься делами! Не вертитесь тут, времена нынче тревожные. Спорить с вами у нас нет охоты. Потерпите!»

На койках засмеялись.

— А он что?

— Ну, ясно, стал болтать, что, мол, это не по закону. Я ему говорю: «Истинная правда, господин управляющий! Ежели у вас совесть чиста, можете спокойно подождать, пока все станет по закону». Он давай грозить, мол, посадит нас за решетку. Потом у ворот заспорил с Гейной, который был у них в партии, стал его корить. Тот его отбрил и кинул ему партийный документ под ноги. Видно, образумился. Тут управляющий завернул оглобли. Надо приглядывать за ним.

— Тайхман не показывался?

— Куда там! Он и его сыночки не хотят подпалить себе крылышки. Послал своего холуя, а сам остался где потише.

— Гм... Дайте мне прикурить. — Вашек вытащил из кармана сигарету, кто-то чиркнул спичкой. —С районом есть контакт? — спросил он между двумя затяжками.

— Там от нас сидит Пепик Ваня. Он только что звонил, что все в порядке. Есть еще пара отсталых, но после выступления Готвальда, кажется, и у них прояснилось в головах.

— Ну, мне надо поторапливаться. Счастливо!

Вацлав быстро зашагал по улицам спящего городка, его одинокие шаги отдавались по заснеженной мостовой. Вашек не чувствовал себя одиноким, и это было хорошее чувство! Казалось — весь завод, две сот-

ни рабочих ног шагают вместе с ним, с председателем заводского комитета Вацлавом Стракой.

...За окном темнота февральской ночи, колеса торопливо выстукивают убаюкивающий ритм, от которого смыкаются глаза. Напротив Вашека дремлет усталый железнодорожник с морщинистым небритым лицом. Тепло из-под сиденья пробегает по телу, вызывает приятную расслабленность.

Мысли тянутся, то вялые и дремотные, то сосредоточенные, когда Вашек заставляет себя очнуться. Завод, товарищи... Завтра он будет голосовать от их имени спокойно, без колебаний. Он знает почему, за кого и против кого он голосует. Буря, поднявшаяся во всей стране, не была неожиданной для Вашека, он знал, что она неизбежна, знал, кто ее вызовет и кого она сметет. Слушая утром по радио речь, произнесенную на Староместской площади, он представлял себе лицо человека, который выступал.

Чего только не произошло сегодня с утра! В среду они послали первую резолюцию, вчера вторую, а сегодня третью, и эта была уже вполне определенной. Когда за нее голосовали, ни одна рука не поднялась «против». Только трое воздержались.

Кое-кто голосовал «за» только потому, что боялся изоляции; Вашек и его товарищи знали, кто эти люди. События развивались стремительно. Создана заводская милиция. Пусть Тайхманы хоть взвоют со злости!..

Поезд, наконец, дотащился до Манина. Здесь придется мерзнуть два часа, пока придет скорый на Прагу. Вашек вышел на открытый перрон и увидел там несколько знакомых лиц — товарищей с текстильных фабрик около Яворжа. Обрадованный, он окликнул их. Они тоже ехали на профсоюзный съезд.

Когда три часа спустя они вышли из вокзала на морозные пражские улицы, на белых мостовых столицы уже просыпался в предрассветных сумерках новый день — двадцать второе февраля.

4

Вход в виллу был укрыт в красивой нише, кругом стояла внушительная тишина богатого квартала. Красная плетеная дорожка заглушала стук подкованных ботинок Вашека. Это немного смущало его; Вашеку казалось, что он кот, неслышно ступающий на мягких лапках.

Он оглянулся, присвистнул и покачал головой.

Вот где она живет!

Можно было бы даже не читать на улице, при свете зажигалки, табличку у ворот, потому что в тишине вдруг послышались звуки рояля. Они становились все громче, по мере того как Вашек поднимался по ступенькам. Где-то над его головой легкие пальцы бегали по клавиатуре, хрупкая, почти прозрачная мелодия возникала в инструменте, разлеталась по безмолвному дому и, затихая, грустно трепетала, проникая в самое сердце. Внезапно музыка оборвалась, настали мгновения гулкой тишины, потом мелодия зазвучала снова, с каким-то озлобленным упорством, предвещающим быстрый спад.

Вашек узнал Шопена, исполняемого умелой рукой. Но ему что-то не нравилось в этом исполнении. «Я придираюсь, — подумал он. — Как будто Шопен может не нравиться, потому что она играет его в этом доме! Глупо. Решено, звоню!»

Он остановился перед белой дверью, протянул руку к звонку и опять — в который раз! — заколебался, недовольно взглянул на ручные часы и после минуты мучительного размышления, за которое обозлился на себя, решительно нажал кнопку и перевел дыхание.

Дрынь! Звонок прервал балладу Шопена. Стало тихо. Долго никто не отворял. Переминаясь с ноги на ногу на мягком половичке, Вашек снова твердил себе, что надо было идти с товарищами, а не в это вражье гнездо. После такого дня визит сюда действует, как ушат холодной воды. «Это отец меня подбил — подумал он. — Но что уж теперь говорить «если бы, да кабы...»

Ах, что это был за день! Все существо Вашека еще было полно восторга, ничего подобного он не испытывал в жизни. Часы, проведенные под высокими сводами Дворца промышленности, словно изменили облик, сознание, движения Вашека. Трудно рассказать, что с тобой произошло, но ты сознаешь, что туда, где были тьма и туман, упал мощный, всепроникающий луч света. Ты сам стал мыслить быстрее, исчезли твои колебания и нерешительность. «Вот он путь, гляди, Вацлав, тебе показали его, ты его видишь своими глазами в ярком солнечном свете, надо только стиснуть зубы и устремиться в бой... Скорей бы в Яворж! Что-то там делается?»

Вацлав долго колебался, мысль о сестре не давала ему покоя, он отгонял ее, но в спокойные минуты, во время обеда, который он проглотил наспех, чуть не стоя, эта мысль вернулась и жужжала в голове, как докучливая муха.

И вот он здесь.

Твердо решив навестить Ирену, Вацлав после закрытия съезда распрощался с товарищами. Они уезжали в девятом часу и сейчас сговаривались о встрече на вокзале и обменивались последними рукопожатиями, сторонясь шумных автобусов, которые, настойчиво сигналя, прокладывали себе дорогу к темнеющим улицам. До свиданья, товарищи!

Вашек неохотно расставался с ними. С утра они сидели вместе, потирая застывшие руки. В зале было холодно, несмотря на то, что в двух шагах от стула Вашека стояла жаровня с углем. Жаркое дыхание восьми тысяч делегатов давало куда больше тепла, чем эта жалкая жаровня. А руки лучше всего согревались, когда бурные аплодисменты вспыхивали в переполненном зале, взметались под потолок, нарастали, как предвесенняя буря, и вдруг обрывались, и воцарялась тишина, исполненная стихийной дисциплины, говорившая о грозной силе.

И речь продолжалась.

Выступал Готвальд. Спокойные слова, летевшие в зал, казалось, проникают в тебя, овладевают твоим сознанием, помогают распрямиться. Вацлав вытягивал шею, какие-то шапки мешали ему рассмотреть оратора. Вон там, под огромным изображением белого льва, он впервые увидел это знакомое, такое близкое лицо. Вашек следил за каждым проблеском спокойной улыбки. Железной уверенностью было исполнено каждое слово:

— Но реакция просчиталась. Она хотела повторить 1920 год, но забыла, что Готвальд не Тусар *...

Вашек сразу узнал и человека в очках около микрофона. Простое рабочее лицо... Это Запотоцкий. Вашеку хотелось толкнуть соседа в бок, сказать ему, кто это. Но сосед так сосредоточенно слушал, наморщив лоб... Зачем объяснять ему, он знает сам.

Накопившиеся в тебе негодование и гнев здесь вливаются в одно русло. Оратор словно указал пальцем на их причины. Кто сеет ветер, пожнет бурю. И вот эта очищающая грозная буря пришла. Слушаешь оратора и думаешь о заводе, мысленно видишь лица товарищей в полумраке жарко натопленной проходной, вспоминаешь, как ты вчера

---

* Тусар — лидер правых социал-демократов, возглавлявший правительство в 1919—1920 годах.

расставался с ними, видишь Божку, детей и отца... Был бы старик сейчас здесь, он бы понял! Ведь и у нас, на заводе, все было именно так, как говорит оратор: разве не пытался Тайхман и его приспешники подкупить кое-кого из наших? Даже и завком!..

Голосуют резолюцию. Какие могут быть колебания? За дальнейшую национализацию... в том числе и нашего завода! Небось вы этого не ждали, господа! Наконец Тайхман и сыновья перестанут доить завод и обворовывать государство, конец спекуляциям на рабочие деньги! Из поколения в поколение вы обирали нас, господа, еще во времена моего деда! И теперь мы только берем в свои руки то, что создали сами. Объявляем забастовку! Понюхайте вы все, тайхманы, чем пахнет пролетарская солидарность, как она сильна! Эта стачка — всего лишь проба, но если у вас все еще будут чесаться руки, дождетесь того, что мы лишим вас и воды, и света; лампочки не зажжете, чтобы пересчитать наворованные миллионы... Наши на фабрике наверняка слушают сейчас радио... Скорей бы быть вместе с ними. Надо им все, все рассказать, описать, пусть неловкими, нескладными словами, обстановку, настроение, это ощущение силы... Сумею ли только?

Охваченный энтузиазмом, словно наэлектризованный, Вацлав с тысячами других делегатов встает с шаткого стула, бьет в ладоши. Буря аплодисментов. Тебе кажется, что твоя рука одна поднимается, голосуя, но ты оглядываешься и видишь: лес рук. Это победа!

Наконец Вацлав встает, присоединяя свой чуть хрипловатый баритон к хору, сотрясающему стены, поет всей грудью, всем телом:

... И решительный бой,
С Интернационалом...

Когда позднее Вацлав, твердо решивший навестить сестру, очутился один на пражских улицах, у него все еще слегка кружилась голова. Он шел, чувствуя, что весь город охвачен возбуждением. Что делать дальше? Адреса Ирены он не знал. В дешевом трактирчике он раздобыл потрепанную телефонную книгу и стал водить пальцем по столбцам. Ага, вот оно: Андрей Раж, Бжевнов.

В переполненном трамвае, притиснутый к холодному тормозному колесу, Вацлав доехал до центра, пересел на другой трамвай и поехал дальше. Лупоглазый мальчуган, которого отец на плечах внес в трамвай, загудел в картонную трубу над самым ухом Вацлава и улыбнулся ему щербатым ртом; видимо, он возвращался с народного гулянья на «матвеевской ярмарке». Вацлав дружески улыбнулся малышу и легонько ухватил его пальцами за курносый нос.

...Вацлав уже хотел повернуться и уйти, но, поколебавшись, еще раз нажал кнопку звонка. Дверь отворилась, на пороге стояла Ирена.

— Вашек!

— Угу! — сказал он стесненно. — Это я. Приехал в Прагу, дай, думаю, зайду поглядеть на тебя. Вот и пришел.

Ирена торопливо запахнула клетчатый халат и отбросила со лба русую прядь. Вашеку был так знаком этот жест. Опомнившись от изумления, Ирена обняла брата и восторженно поцеловала в щеку.

— Вашек! Ты это или твой призрак?

— А ну тебя! Ощупай меня, очень я похож на призрак, дамочка? Погоди, дай мне отряхнуться.

Он решительно вошел в переднюю, снял плоскую кепку, но портфель не выпустил из рук, словно боясь, что его могут украсть, и, нимало не смущаясь, ступил подкованными ботинками на дорогой ковер. Ирена засыпала брата вопросами, на которые он еле успевал отвечать.

«Ишь ты! — подумал он. — Похоже, что она вправду рада меня видеть. Ладно, посмотрим».

Не снимая куртки, он вошел в комнату и оглядел обстановку — пестрые кресла под торшером, открытый рояль с приподнятой крышкой — хорош инструмент! — потрогал великолепную радиолу и задержался взглядом на полированном секретере красного дерева с поставцом для напитков и полками для книг. Тут Вашек не сдержался и снова присвистнул, не вынимая рук из карманов.

— Ого-го! — грубовато сказал он. — Живешь ты, я вижу, как барыня. Неудивительно, что тебя не тянет домой. Лучше я дальше не пойду, еще наслежу там у тебя.

Ирена беспомощно улыбнулась, сделав вид, что не замечает укоризны в его словах. Вацлав почувствовал это и немного смягчился. Только сейчас она оправилась от удивления, но в ее неуверенных движениях брат видел беспокойство и испуг. Говорила она как-то торопливо, и Вашек почувствовал в сестре что-то новое, чего прежде не знал.

— Садись же, Вашек, не заставляй просить себя. И скажи, чем тебя угостить.

Вашек упрямо покачал головой и замахал руками. Ирена так настойчиво заставляла его снять куртку, как будто это было ей бог весть как важно. Но Вашек не дался. Наконец она все-таки усадила его в мягкое кресло. Вашеку, просидевшему целый день на жестком стуле, было не по себе в теплом объятии этого кресла, предназначенного для ленивых сибаритов. Стараясь не поддаваться этому чувству, он оперся локтями о мягкие ручки, передвинулся на самый краешек кресла и сидел, выжидательно наклонившись вперед.

— Вашек, Вашек, как ты меня обрадовал! Ты не представляешь себе, до чего нам было тогда досадно. Ондра * даже хотел послать за тобой машину...

— Слушай-ка, — решительно прервал ее брат, — не будем говорить об этом. Я пришел сюда не для упреков. Вижу, что ты здорова... и супруг, наверное, тоже, так о чем беспокоиться?..

Ирена уселась против него на низеньком пуфе, запахнула на колене непослушный халат и смущенно предложила брату дорогую сигарету из металлической шкатулки. Вашек отказался и от сигареты, но примирительно улыбнулся сестре.

— Не беспокойся обо мне, ради бога. Я сегодня уже накурился вдоволь и пришел не затем, чтобы тебя объедать. Ты одна дома?

— Одна. Ондра где-то бегает, у него сейчас много хлопот.

— Я думаю! — усмехнулся он. — Тем лучше. Поболтаем, да я побегу на поезд. Я ведь тут не на отдыхе: был на профсоюзном съезде, а теперь пора назад, на завод. Сама знаешь, что делается.

Ирена предложила согреть ему чаю, но Вашек отказался. Вытащив из портфеля краюху хлеба с салом, он с аппетитом откусывал от нее и кивал головой, слушая сестру. В конце концов он все же позволил налить себе рюмку спиртного, залпом осушил ее, глазом знатока осмотрел граненый хрусталь и поставил на стол.

— Чистая работа,— одобрительно проворчал он.— С севера.— И со снисходительным лицом повернулся к Ирене, забрасывавшей его вопросами. Отвечал он лаконично, помогая себе жестами. Так, мол, и так. Все, мол, здоровы. Отца малость беспокоят бронхи, ну, он их довольно натрудил за свою жизнь. В Яворже никаких новостей, только вот старый Яната помер, да у Веверки из поселка родился пятый ребенок; старик, наверное, со временем сможет сформировать собственную футболь-

* Ондра — уменьшительное от имени Андрей.

ную команду... Божка здорова, дети тоже. У Вашека режутся зубки, он немного хнычет. Да ты его и не видела? Этакий бутуз!

Вацлав усердно рассказывал, время от времени бросая взгляд на сестру. Он был недоволен ею и не умел этого скрыть. А почему, собственно? Ирена была как Ирена. Он узнавал в ней девчонку с косичками, ту самую, что еще подростком носил на плечах, своенравную, упрямую девчонку, а позднее длинноногую девушку за стареньким пианино, которое он сам когда-то привез на телеге домой. Это была все та же Ирена, только похудевшая и со следами усталости на лице. Ее живые, быстрые глаза, в которых при вспышках гнева из-под опущенных ресниц сверкал зеленый огонек, немного крупный рот, подвижные ноздри и пышные русые волосы, упорно падающие на лоб, — все это осталось. «Она теперь даже красивее»,— подумал Вацлав. И вместе с тем Ирена стала какой-то чужой. Эта салонная дама в противном блестящем халате и с накрашенными губами — разве это та самая Иренка, которая, подоткнув юбку, возилась, бывало, на глинистом речном берегу и сиплым голосом переругивалась с мальчишками с кирпичного завода, брызгавшими на нее водой? Иной раз Вашеку приходилось вступаться за сестру, потому что она была слабее других замарашек из поселка, немного балованная и плакса. Баловень Иренка. Нежная и дикая натура. Вашек, бывало, дернет ее, шутки ради, за косу, а она куснет его за руку, как злая собачонка, и тотчас же расхохочется. Вашеку вспомнилось это, и им вдруг овладела ревнивая злость на то, что Ирена так изменилась.

В теплой комнате он отошел, освободился от чувства неловкости и решил напрямик поговорить с сестрой. Ее нервное состояние побуждало его к этому.

— Как тебе живется? — спросил он. — Вижу, что по-царски,— он кивнул на обстановку в комнате. — Супругу, видимо, приходится побегать, чтобы положить к твоим ногам все эти штучки. М-да... Главное, не закружилась ли у тебя от этого голова?

— Но, Вашек...

— Я тебя ничем не корю, черт возьми! — прервал он ее попытку оправдаться. — И не завидую тебе, ты же меня знаешь. Ты его любишь, по крайней мере я так думаю, а всю эту роскошь ты получила в прибавку... Твое дело.

— Ондра — хороший человек, Вашек. Если бы ты его знал...

— Насчет этого я с тобой не стану спорить. Бывает так, а бывает иначе. Иной человек у себя дома заправский ягненок. Не думай, я не буду настраивать тебя против мужа. Я просто так... У тебя ведь своя голова и ты знаешь, что сейчас происходит. Я против него лично ничего не имею, но, сама понимаешь, мы с ним не пара. Факт. Если он в самом деле хороший человек, это будет видно, когда мы крепко возьмемся за него и таких, как он. Тогда они, наверное, обернутся кусачими хорьками...

— Прошу тебя, не говори так, Вашек,— покраснев, сказала Ирена. — Я даже не знаю толком, что за события сейчас происходят. Признаюсь тебе, не понимаю я всего этого...

— Вот в том-то и дело.

— Ладно. Но, боже мой, не перестали же люди быть людьми! Что тебе, собственно, не нравится в Андрее? Ты его совсем не знаешь!

Вашек сделал нетерпеливый жест.

— Ладно, ладно, не будем об этом, сестренка... Может быть, и вправду... — Он наклонился к ней и продолжал, постукивая кулаком одной руки по ладони другой, словно затруднялся точно выразить свою мысль. — Пойми, лично против него я ничего не имею. Но я слышал о нем... Я хочу, чтобы ты призадумалась как следует и не забывала, что

ты дочь рабочего. Твой муж для меня прежде всего капиталист, и тем самым — классовый враг. А ты попросту ребенок и не понимаешь, что вокруг тебя делается. Сегодня на съезде я голосовал против них. Они обирают народ. Это факт, нравится он тебе или нет! Погляди на обстановочку в твоей квартире. Ее не наживешь праведным трудом. Все это спекуляции и темные делишки. Я голосовал и против твоего мужа, девочка. Руками и ногами готов был голосовать, говорю тебе! Глазом не моргнул, можешь поверить. Вот как!

Он не замолчал, хотя заметил, что Ирена протестующе качает головой и явно подавляет желание заткнуть уши. На ее бледном лице появились красные пятна, она нервным жестом поставила чашку кофе на столик и встала.

— Ты пристрастен, Вашек... Ты совсем не изменился.

Прижав руки к вискам, она прошлась по ковру и подошла к брату.

— Дурной! Зачем ты говоришь мне все это? По-твоему, я должна переехать в скверную квартиру только для того, чтобы помнить, что я из рабочей семьи? Или ты хочешь, чтобы я ни с того ни с сего развелась с Андреем? Не вижу причин! Он зарабатывает большие деньги? А разве это запрещено? Мой Ондра честный человек...

— Это мы еще увидим.

— Нет, это и так ясно! Я рада была твоему приходу, Вашек, но сейчас...

— Извини, дамочка, если я малость задел тебя за живое...

— Хватит, Вашек, прекратим это. Ты предубежден, как все...

— Коммунисты? — Вацлав хлопнул кулаком по колену. — Да, ты права. С папашей тебе проще было бы договориться, он на все это падок, ему легко отвести глаза. А мне — нет! Ты говоришь, я предубежден? Да, и очень. Сегодня еще больше обычного. Причин для этого тысяча!

— Чего ты, собственно, от меня хочешь? — крикнула она.

— Чтобы ты была настороже, больше ничего. Чтобы ты не дала увлечь себя против нас. В конечном счете это было бы и против тебя самой. Вот увидишь...

— Ах, отстань! Все это затасканные фразы. Начни еще втолковывать мне, что Ондра эксплуататор... Человек, которого ты в жизни не видел! И что я...

— Так я и говорю, Ирена, и это факт! Каждый ребенок...

— Ладно уж! — воскликнула она и села против него, красная от волнения, нервно теребя кружевной платок. — Ладно! Значит, для тебя и для этих твоих коммунистов я тоже эксплуататор?!

Она недоуменно покачала головой, и вид у нее был обиженный. Ирена слабо представляла себе, что такое эксплуататор, и взгляды ее на этот счет были довольно наивны. Во всяком случае это не ее Ондра! В дела мужа она никогда не вникала: он этого не любил. «Ты, невинный котеночек, сядь-ка лучше за рояль, — шутил он, — а всю эту нудную и обременительную возню предоставь мне. Политика и коммерция — мужские дела».

Ирена подняла глаза, и хмурая улыбка Вашека вывела ее из себя.

— Ты смешон! — вскипела она. — И ты злой! Я-то радовалась, что ко мне приехал брат, а оказалось, что это просто коммунистический агитатор и подстрекатель! Я, Вашек, плохо разбираюсь в политических спорах, но мне ясно одно: Ондра мой муж! Понятно? Ко мне он добр, и этого мне достаточно!

— Здóрово! — едко усмехнулся Вацлав и широким жестом указал на комнату. — Вот в этом вся суть? Хороши политические убеждения!

— Отстань ты от меня с политикой, это — твое дело. Ты пришел

оскорблять меня? Чего вы все хотите? Погубить Ондру? За что? Я с этим не соглашусь, Вашек, и отец тоже не согласится! А если вы его погубите, тогда я уж обязательно с ним останусь, понял? Назло всем вам. И буду против всех, даже против тебя, Вашек! Мне так горько от твоих разговоров и от всего этого...

Она замолчала и закрыла лицо руками. Такое разочарование!

Брат, ничего не понимая, сидел против нее. Он всегда боялся женских слез. Наконец он беспомощно пожал плечами и встал.

— Так я... пойду, — медленно сказал он, застегивая куртку; потом не сдержался и положил свою широкую ладонь на плечо Ирены. — Слушай, сестренка, бросим эти разговоры. Пусть меня гром разразит, если я не хочу тебе добра. Все будет зависеть от того, как поведет себя твой муж. Кто захочет честно работать, для того в нашей республике всегда открыты двери. А темным делам надо положить конец. Раскрой глаза, девочка, и я первый приду и скажу: вот моя рука, Ирена!

— Ты прав, не будем больше говорить об этом.

Она посмотрела на него влажными глазами, стараясь изобразить примирительную улыбку, но коротких минут, когда оба чувствовали свою кровную связь, нельзя уже было вернуть. Ирена перевела разговор на другое. Но чего бы она ни коснулась, отовсюду лезли колючки взаимного непонимания. Они старались говорить о пустяках, вспоминали Яворж, но разговор мельчал и истощался. Гармонии не было, каждый говорил в своем ключе. Вашек хмуро перевел речь на музыку, поинтересовался, когда будет концерт Ирены, почувствовал, что коснулся больного места, и замолк. «Может быть, у нее и с Шопеном не ладится?» — подумал он с горьким удовлетворением и обвел взглядом комнату. Все ему тут не нравилось, а особенно Ирена, ее халат и накрашенные губы, то, как она научилась держать сигарету, как пускает дым к потолку... Вашек показался себе персонажем из какого-то глупого американского фильма, который он однажды не досмотрел до конца.

Больше он ничего не говорил и стоял, как манекен, пока сестра совала ему в карманы шоколадки для детей. Ковер, казалось, жег ему ноги, во всем теле была усталость. Вацлав зевнул.

— Ну, будь здорова, сестренка. Я бегу на поезд. Ты... приезжай к нам. Мой Вашек тебе понравится... и Божка...

Он не докончил фразы. В темной передней лязгнул в замке ключ, стукнула дверь. Ирена нервным жестом поправила волосы, стараясь сохранить самообладание.

С Ражем они встретились уже в передней. Он причесывался перед зеркалом, машинально насвистывая модную песенку, и не подозревал, что в доме гость.

— Привет, киса! — обратился он к Ирене, и, увидев в дверях за ее спиной громоздкую мужскую фигуру, сдержал шутку, готовую сорваться с языка.

— Здравствуй, Ондра! — ответила она и прошептала после томительной паузы. — Это Вашек, мой брат... Я тебе рассказывала о нем. Он приехал в Прагу на...

— А-а, редкий гость! — сказал Раж, стараясь говорить веселым тоном, но замолк, взглянув на каменное лицо гостя, стоявшего в полутемной передней. Вашек, заочно составивший себе несколько смешное представление о зяте, был немного удивлен его крепкой, мужественной фигурой и приятным лицом, располагавшим к себе с первого взгляда. Так вот ты каков! Оба молча мерили друг друга сосредоточенным взглядом, и в этот критический момент каждый успел оценить другого.

Раж первым нарушил молчание.

— Очень приятно. Я — Раж, — невыразительно сказал он, явно стараясь, чтобы эта трафаретная фраза прозвучала как можно холоднее и послужила учтивым намеком, что гостю пора уйти. Ражу было совсем не до семейных разговоров.

Он протянул руку.

— Страка,— выпалил Вашек, и это прозвучало словно выстрел. «Прелестная свирепость!»— подумал Раж; его забавляло, что этот неотесанный пролетарий не скрывает своей классовой ненависти. «Поглядеть только, как у него напряглись скулы и углубились складки у рта. Весь как на ладони».

«Что же дальше, голодранец, покажи свои когти! Ну-ка!» — взглядом сказал Раж.

Это была ошибка.

Вашек заметил пренебрежительную улыбку и протянутую руку и, после короткого колебания, протянул свою и со всей силой сжал пальцы противника. А ну, еще покрепче! Вашек стиснул зубы, весь напрягшись в этом рукопожатии, вкладывая в него всю силу, всю классовую ненависть. Это было глупо, и Вашек чувствовал, что жмет не мягкую изнеженную ручку барчука, — нет, этот парень сопротивляется. Ну, я тебе покажу! Вашек сжал еще крепче. Рука Ража была, как в железных тисках, но он не пикнул, несмотря на острую боль. Ему даже удалось слегка улыбнуться, хотя на лбу у него выступил пот и в глазах потемнело. Выдержать! Прошло несколько ужасных секунд. Ирена затаила дыхание, испуганно глядя на них, замершая, онемевшая.

Вашек отпустил руку Ража, нахлобучив кепку на русую голову, пробурчал небрежное приветствие и быстро взялся за ручку двери. На пороге он обернулся и выразительно кивнул Ирене, не глядя на ее мужа, который приходил в себя и пытался пошевелить онемевшими пальцами.

Хлопнула дверь.

Торопливо шагая по сумеречной улице среди темных особняков, шлифовщик Вацлав Страка раздраженно фыркнул: «Привет, киса!» Он задумчиво покачал головой, подавляя в себе желание лягнуть переполненную урну, которая попалась ему на пути. Сунув руку в карман куртки, он нащупал кулек с размякшими шоколадками. «Олух я!» — подумал Вацлав, вытащил кулек и гневно швырнул его в канаву, словно избавляясь от ненужного груза, и даже сплюнул. Внутреннее напряжение ослабло, и Вацлав начал рассуждать трезво. Вот противная история!

Он прибавил шагу и вскочил в тронувшийся трамвай.

5

После ухода брата Ирена села на ручку кресла, опустив руки на колени. Стук захлопнутой двери вывел ее из какого-то мучительного и горького остолбенения. В ванной слышался плеск воды: усталый Ондра полоскался там под краном.

Ирена пошла к нему, стала, опершись о косяк, и молча, с отсутствующим выражением лица, смотрела, как он брызжется в холодной воде, пригоршнями бросая ее на лицо и шею. У него была красивая выпуклая грудь, словно вылепленная из гибких мускулов, при каждом движении ходивших под кожей. Подняв взгляд, он увидел в дверях жену и попытался улыбнуться ей.

— Ну, девочка, есть что-нибудь новое? — спросил он, с удовольствием растираясь полотенцем.

Она пожала плечами, оперлась руками о дверь и положила на них голову.

— Ты не сердишься?

Ондра даже перестал вытираться.

— За что? — удивился он.

— За Вашека.

Андрей весело покачал головой.

— Глупости! Все это в духе сегодняшних событий. Дорогой шурин не в состоянии вывести меня из равновесия. Вот жать руку — это он умеет. Надеюсь, что лекция красного агитатора не повредила твоему здоровью.

По быстрым движениям Андрея было видно, что у него нет сегодня ни времени, ни охоты вести пустяковые разговоры. Он надел рубашку, ласковым движением увел Ирену в комнату, кинулся на тахту у окна и закрыл глаза.

— Паршивый день, девочка, — сказал он устало. — Есть от чего приуныть. Не приходили ко мне Фальта и адвокат Лазецкий? Я их жду, нам сегодня еще надо кое-что обсудить.

Зевнув, он спросил, что Ирена делала днем и, не дождавшись ответа, уснул, закинув руки за голову. Когда Ирена зажгла стоячую лампу, он проснулся, ошалело поглядел на свет и взглянул на ручные часы.

— Как бежит время, черт его подери! Я спал как убитый. Ты не сердись, но сейчас, пожалуйста, не беспокой меня. Когда придут эти люди, проводи их ко мне.

Он отказался от ужина, потер еще сонное лицо и без дальнейших объяснений исчез у себя в кабинете. Было слышно, как он стучит на машинке, время от времени набирает телефонные номера и долго говорит с кем-то, понизив голос. Потом аппарат звякает — трубка положена — и опять начинает стучать машинка. Во время недолгих пауз слышатся быстрые шаги по паркету, от стола к окну и обратно. И снова стук машинки. Потом дверь кабинета быстро распахивается, Андрей нетерпеливо высовывает голову.

— Еще не пришли?

На лбу у него глубокая складка, он недоуменно глядит на часы и качает головой.

Ирена сидит в кресле, положив книгу на колени. Не читается. Постепенно Ireной овладевает беспокойство, она чувствует его в кончиках пальцев. Отложив книгу на стол, она включает радио и машинально шарит в эфире. Мир звучит для нее протяжным воем и треском; вот мелькнул возбужденный разговор на незнакомом языке, закончившийся громким выстрелом. Наплыла минорная мелодия джаза с истерически звучащим кларнетом... Одним делением дальше захлебывается словами радиокомментатор; с быстротой граммпластинки, пущенной на предельную скорость, он выстреливает в эфир английские фразы. Ирена различает названия «Чехословакия» и «Прага» в сочетании со словами, которые она в последние дни постоянно слышит вокруг. На соседнем делении передается то же самое, но на языке, который Ирена немного понимает. Мир нацелил свои радиожерла на Прагу. Ирена быстро переключает диапазон, поворачивает рукоятку, и из приемника обрушиваются громовые аплодисменты и скандированные возгласы, на фоне которых звучит знакомый голос. «Товарищи... Они хотят создать антинародное правительство и постепенно подорвать завоевания нашей революции... Внутренняя реакция ни перед чем не останавливается...» Буря возгласов заглушает слова оратора: «За-щи-тим рес-пуб-ли-ку!» Остальное Ирена не разобрала.

Она приглушила радио и закрыла глаза. Но хаос в голове оставался. Мысли, слова, чувства неслись сплошным потоком. «Ты пристрастен, Вашек, ты злой! Это не так!»,— снова и снова вела она горький внутренний спор.— «Я не согласна, я знать ничего не хочу!» Широкоскулое лицо брата хмуро глядело на нее, серьезное, злое, озабоченное.

«Оглянись же, Ирена, посмотри, все это спекуляция, темные делишки. Я хочу, чтобы ты призадумалась, чтобы ты не дала себя увлечь... чтобы ты не забывала...»

Что, собственно, творится? Ах, этот Вашек! Мысли о нем почему-то заставляли Ирену стыдиться. Никогда она не видела брата таким ожесточенным, таким мрачным и воинственным, как сегодня. Как он изменился! Все изменились... Словно их втянул какой-то смерч, бросил человека против человека, всех наполнил ненавистью и злобой.

В кабинете звякнул телефон, Ондра долго говорил с кем-то. Что происходит? В последние дни Ирена почти не выходила из дому, она снова пыталась заниматься музыкой. Шум борьбы, охватившей страну, долетал до нее лишь издалека; кое-что она улавливала в коротких репликах мужа. Газет Ирена не читала, ей хотелось целиком погрузиться в музыку, наверстать упущенное в течение целых месяцев. Вид открытого рояля терзал ее совесть, вызывал чувство собственной ненужности и вечного тоскливого одиночества в громадной квартире.

Знал бы Вашек, как гнетет меня эта квартира! Он прав, я живу зря, живу пустой жизнью! Все же некая затаенная мысль, вернее, какое-то смутное чувство выводило Ирену из апатии, обещало придать смысл этому комфортабельному прозябанию, пробуждало охоту к труду. Это чувство вначале возникло как неясное и смущающее предчувствие, а три дня назад стало несомненным. Это ее тайна! Ирена думала о ней, и горячая волна радости вызывала краску на ее щеках. Она все еще молчала, ждала подходящего момента, минутки нежности между нею и Ондрой, когда можно будет поделиться с ним всем этим, и не находила. «Если бы он чуть внимательнее пригляделся ко мне, он догадался бы сам», — с огорчением думала она, но старалась отогнать мрачные мысли. У Ондры много забот, надо считаться с этим!

Ирена повернула ручку радио, и звуки рояля, как весенний ливень, заполнили комнату. Нежная мелодия покачивалась в игривом и вместе с тем мечтательном пианиссимо и вдруг зазвучала трепетно и взволнованно. Ирена сразу узнала: Рахманинов! Сейчас будет трудное место!.. Незримый пианист легко преодолел его, показав блестящую технику и понимание музыки. Ирена одобрительно кивнула. Музыка волновала, проникала все ее существо; она воспринимала звуки почти физически, мысли были подчинены быстрому танцующему ритму, который заставлял видеть с закрытыми глазами быстро сменяющиеся картины.

Несколько лет она была бедной студенткой консерватории, питалась в столовке скверными, чуть не на бегу съеденными обедами, дополняя их одними надеждами. Почему не поймет этого Вашек? За что он меня упрекает? За эту квартиру? За платья, которые я теперь могу купить, не обрекая себя при этом на жизнь впроголодь?

Успех? Стоять у рояля в затихшем зале Рудольфинума, кланяться и внутренне трепетать под ливнем аплодисментов, взметнувшихся из темной пропасти зрительного зала. Кто-то сует тебе красивый букет. Вспотевший дирижер спускается со своего возвышения и жмет руку. Взволнованная всем этим, ты выходишь на свежий воздух набережной. А там, под развесистой липой, стоит кто-то в плаще, раздуваемом ветром, с букетиком фиалок — это ждет тебя близкий человек... Так представляла Ирена свой творческий триумф. Но эта девичья мечта сбылась только однажды, на выпускном концерте. Она играла Равеля и Сметану и имела успех, но многое, очень многое вышло совсем по-иному. Никто не ждал ее на набережной; вместо этого ей принесли дорогой букет от Ондры и письмо, в котором он извинялся, что не пришел сам: коммерческие дела одолели! Ирена знала, что серьезная музыка его не интересует, просила Ондру не притворяться и преодолела легкое разочаро-

вание. Товарищи по выпуску потащили ее в прокуренный ресторанчик, она пела вместе со всеми, стараясь веселиться. Утром она вернулась домой в переполненном трамвае, с трещавшей головой и пеплом на платье. И это все? Потом опять потянулись часы за роялем, напряженная учеба, бесконечные, утомительные упражнения, от которых чуть не сводило пальцы. Голубые глаза профессора смотрят на нее чуть укоризненно. Он так верит в нее! «Сосредоточьтесь, Ирена, повторите вот это место. Еще раз! Чуть-чуть быстрее!.. Нет, не так быстро. Что с вами? Вы не высыпаетесь, Ирена. У вас талант, Ирена, вы чувствуете музыку, но... я боюсь за вас. Музыка требует дисциплины, подвижничества, это не розовые грезы. Будьте терпеливой! Кому много дано, с того много и спрашивается». Но сколько можно терпеть такую жизнь: бегать в школу, дрожа зимой в пальтишке, в котором стыдно показаться при ярком свете, ездить рабочим поездом в Яворж, радоваться жалкому приработку, когда удается — иной раз без всякой охоты — поиграть мамашам и папашам на школьном вечере. Не иметь приличного жилья и ютиться квартиранткой или, как перелетная птица, кочевать от подруги к подруге и стучать зубами на садовой скамейке в те вечера, когда к подруге приходит «он». Переживать нищенскую студенческую любовь, любовь без пристанища, встречи в дождливом парке или на скрипучих креслах дешевых кино и ждать, ждать, бесконечно ждать, когда же придет иная жизнь. «Держитесь, Ирена!» А ведь так хочется жить по-человечески, любить и быть любимой... и нравиться; ведь я женщина, господин профессор, — хотелось ей сказать иногда, — есть же у меня право жить, как человек, а не как машина, не как музыкальный инструмент! Из честолюбивой усердной пианистки она постепенно стала обленившейся богатой дамочкой... Так сказал бы Вашек. Ирене было тяжело, она отчаянно искала выхода. Нет, так нельзя жить, не такой жизни она хотела! Я должна воспрянуть духом... Ах, как я не умею жить!

Ирена выключила приемник и опять села к роялю, прошлась по клавишам. Безотчетная тоска вновь сжала ей сердце. Вашек! Зачем он приходил? Чтобы лишить меня покоя? Я должна играть, должна работать! Должна работать, чтобы не задохнуться в этой комфортабельной тюрьме. И мне будет ради чего работать! Она ударила по клавишам, пытаясь отогнать гнетущие мысли, заиграла балладу Шопена G-moll, но получилось неумело, топорно. Ирена не понимала, в чем дело. На душе было пусто и тревожно. Повторить! Она уже плохо помнила балладу и потянулась было за нотами. В этот момент укоризненный голос сказал у нее за спиной:

— Не могла бы ты сегодня не играть, Ирена? У меня срочная работа.

Ирена пошла вслед за мужем, остановилась в дверях его кабинета и молча смотрела, как он работает. Он поднял на нее беглый взгляд, думая о своем. На столе перед ним были разложены папки, он нервно рылся в них, упорно курил, подливал себе из откупоренной бутылки прозрачную водку и не замечал Ирены, пока она не заговорила сама.

— Ондра!

— Что? — пробормотал он, не вынимая сигареты изо рта и не отрываясь от бумаг.

— Мне нужно с тобой поговорить...

Андрей потушил окурок в переполненной пепельнице.

— Если это ненадолго и не по пустякам, я слушаю. — Он даже не старался скрыть, что недоволен ее вторжением. — Понимаешь, происходят ужасные вещи... вернее, могут произойти. Садись здесь, киса. Ну, говори.

Ирена молчала. Он поднял взгляд от бумаг и снизу вверх посмотрел на нее. Абажур ограничивал свет настольной лампы, оставляя лицо Ирены в желтоватом полумраке, но Раж все же заметил странно задумчивое выражение этого лица и блестящие глаза.

— Ну?

Она помолчала, не обращая внимания на нетерпеливое постукивание карандаша о стол.

— Ондра, я хотела бы знать... очень важна для тебя твоя работа?

Он покачал головой — странный вопрос!

— Как это понимать? Пожалуйста, не смотри на меня так загадочно и поясни вопрос. Я не понимаю...

— Я хочу сказать... мог бы ты жить без завода, без своих торговых дел и без всего этого... ну, как простой человек... как мой отец... я хочу сказать... без денег, без такой квартиры, без автомобиля... совсем скромно...

Раж удивленно всплеснул руками и добродушно рассмеялся.

— Фантазерка! Я привык к твоим причудам, они меня даже развлекают. Когда женщина мудрит, в этом есть своя прелесть. Но сейчас ты уж слишком загнула...

— Мог бы ты так жить? — с непонятным упрямством настаивала она.

Раж стал серьезным. Он наклонился над столом и закурил новую сигарету.

— Ты хочешь знать? Не мог бы, Ирена, — произнес он, выпустив облако ароматного дыма.— Жить — нет! Только существовать, но это огромная разница. Существовать можно и в тюрьме, на границе рабства и смерти. А мне нужна свобода рук. Мне нужен взлет. Я не спорю — да и к чему, это было бы пошло и неискренне — мне нужно много больше, чем имеют другие. В том числе и эта удобная квартира, автомашина, хорошая одежда...

— И жена...

— Да, и жена, — недовольно прервал он и продолжал еще настойчивее. — Нужна ты, Ирена! Пусть даже ты поставила это в такой неприятный контекст. Я человек по натуре практический, не сентиментальный. У коммерсанта нет времени мудрствовать. Это я предоставляю таким заучившимся интеллигентам, как наш милый Брих. Ты увлекаешься музыкой, я ничего не имею против, ведь это тебе приятно. А у меня натура предпринимателя, и, думается, у тебя нет оснований жаловаться на это. Я тоже не жалуюсь, мне нравится мое дело. Я не люблю распространяться на эту тему, ты в этом ничего не смыслишь, но если ты спрашиваешь, скажу. Я не мог бы жить иначе. Коммунистическим побасенкам я не верю и не хочу верить. Это было бы гибельно для меня, да и для тебя тоже. Одни должны быть предпринимателями и фабрикантами, другие — работать на них. В этом нет ничего ненормального или несправедливого: и те и другие трудятся, и это правильно. Если в жизни есть иные интересы, кроме того чтобы поесть, напиться и вдохнуть столько-то кубических метров воздуха, то именно в этом смысл моей жизни. Я не скучаю, поверь, предпринимательство для меня почти спорт. Бороться, напрягать мысль, на каждом шагу рисковать всем...

— Добывать деньги... — не шевелясь, сказала Ирена.

— Конечно! А ты против денег? Может быть, ты хотела бы стоять у корыта или, в лучшем случае, болтаться по провинции и за гроши бренчать на рояле? Быть богатым — в этом нет ничего плохого.

— Разумеется, если... — вырвалось у нее.

— Если — что?

— Если деньги заработаны честно...

Раж присвистнул. Он отодвинул стул и встал, лицо его очутилось в тени.

— Вот в чем дело! Вижу, что братец навестил тебя не только ради запоздалых родственных чувств. Аргументы из своих газет, которые они твердят, как попугаи, и сбивают людей с толку, он, видимо, принес и сюда, в мой дом. Я мог бы только посмеяться над этим, но ты моя жена, Ирена, и я не намерен терпеть... понятно?

— Все-таки... все-таки я хочу знать, понимаешь ли ты меня. Мне это нужно знать, Ондра. Нужно!

— Да что такое ты хочешь знать? — воскликнул он уже раздраженно, зашагал по скользкому паркету, и, сунув руки в карманы, остановился у окна. Глядя на безлюдную улицу, Раж усиленно дымил сигаретой и не оборачивался, хотя чувствовал на себе пристальный взгляд Ирены. Успокоившись, он устало улыбнулся и пожал плечами.

— Извини, я сегодня немного нервничаю. Так вот что: есть люди — в том числе, к сожалению, и твой милый братец, которые с серьезным лицом уверяют, что всякая торговля — спекуляция, а доход торговца — краденые деньги. Пусть себе орут. Низкая зависть, и больше ничего! Сегодня, например, они проголосовали, — разумеется, с ревом и боем в пропагандистские литавры — за дальнейшую национализацию. Что ж, посмотрим... Торговля остается торговлей... Иной раз трудно определить, где она кончается... особенно в нашем нынешнем государстве, которое со всеми потрохами запродано Востоку. Впрочем, я на эти темы не философствую. Я делаю товары, продаю их, я предприниматель-практик, и поверь, что моя совесть вполне чиста... хоть она и не такая, как у твоего братца.

Раж с беспокойством чувствовал, что в нем нарастает злоба, которую он сдерживал не без труда. Злоба на всех... даже на Ирену! Ее взбудоражил этот прохвост с завода. Даже в дом ко мне лезут! Но что делать? Пока я тут болтаю вздор, они там... Что делается на заводе? Надо было не надеяться на Фальту и съездить туда еще вчера, заткнуть ненасытные глотки всех этих крикунов, если там есть такие. Фальта — доверчивый балбес. Ну, там видно будет. Спокойствие и выдержка—это главное.

Ирена не успела заговорить: в передней звякнул звонок.

— Это они, — оживился Раж и пошел в переднюю. — Наконец-то! Теперь оставь нас наедине, девочка. Для сумасбродных разговоров сейчас уже нет времени, пойми!

Проводив гостей, Раж вошел к Ирене изменившийся, оживленный. Под его улыбкой чувствовались утомление и тревога, но в движениях появилась решительность. Он обнял жену сзади за плечи и встряхнул ее, словно для того, чтобы вывести из дремоты.

— Ну, что, Золушка? Вставай, не умерла ты тут от скуки? Что с тобой, у тебя такой вид, словно ты с луны свалилась? Знаешь что, надень-ка самое лучшее платье, и поехали. Заедем на минутку в контору, а потом закатимся куда-нибудь, где я могу похвастать красивой женой. Брось глупые мысли, киса, забудем их, сейчас не время. И вообще, я не позволяю тебе хмуриться!

6

На Вацлавской площади вечерняя жизнь била ключом. Подняв воротник пальто и засунув руки в карманы, Борис Тайхман шел мимо групп спорщиков, нестовствовавших у фонарных столбов. Борису было скучновато. Иной раз он останавливался, небрежно прислушиваясь к резкому обмену мнениями, и тотчас снова устремлялся по течению людского

потока. «Изрядная заварилась каша, — думал он. — Кто бы сказал, что дойдет до такого накала!» Он наблюдал возбуждение на улицах, с неудовольствием отмечая, как невыгодно изменилась улица за ту неделю, что он провел в туристском домике близ горного курорта Шпиндлеров млин.

Борис любил ритм жизни большого города и умел наслаждаться им. Прожив столько лет в захолустном Яворже, сумеешь оценить волнующие прогулки по оживленным столичным улицам, где можно полюбоваться на залитые светом витрины, на фотоснимки кинозвезд и на точеные женские ножки, пробегающие мимо.

Борис вернулся вчера вечером, забежал на факультет и попал в самый разгар событий. По дороге к университету ему пришлось проталкиваться через толпу людей, шагавших к Староместской площади. А что творилось на факультете! Сходки, собрания, громкие споры и перешептывания в коридорах; обе стороны к чему-то готовятся, всюду беготня и лихорадочная деятельность — и в аудиториях, и перед зданием факультета, где с реки дует пронзительный ветер. В руководстве партии, как ему сообщили, возникли распри. Все это было явно более серьезно, чем бурные студенческие сходки, которые Борис любил. Сейчас решаются дела поважнее. Борис болтался на факультете и вынюхивал. Еще в машине по пути в Прагу он раздумывал обо всей этой заварухе в связи с отставкой министров и решил, что это — отрадная разрядка после бесконечных и уже прискучивших ему политических споров, в которых проходила в последнее время факультетская жизнь. Ушли в отставку — отлично, теперь мы и у нас на факультете покажем красным, почем фунт изюму! Но Борис был удивлен и раздосадован, убедившись, что на факультете все настроены страшно серьезно. Даже Рансдорф, — Борис заметил это с первого взгляда. Днем состоялись наспех созванные собрания национальных социалистов, — принадлежностью к которым гордился Борис, — вместе с членами католической партии, и было с энтузиазмом решено выйти на улицы и «повести народ на смертный бой против красного террора, угрожающего демократии».

Борис не увлекался политикой и принял участие во всем этом, желая поддержать собственный престиж и потому, что считал борьбу против коммунистов столь несомненным личным долгом, что нечего и раздумывать. В состав комитета он вошел скорее ради почета, ибо не любил связывать себя общественной работой. В конце концов, все это страшная ерундистика!

В подворотне, где гулял ветер, Борис остановился и оглядел улицу. На ближайшем углу собирались немногочисленные группки молодых людей в шубах. Борис заметил нескольких коллег по факультету, но ему не хотелось присоединяться к ним. Их было смехотворно мало, и они терялись в густой толпе. Что здесь происходит?

Кто-то что-то выкрикивал, махая руками над головой, но толпа молодых людей все таяла и таяла; кое-кто потихоньку отошел и смешался с прохожими; оставшиеся зябко переминались с ноги на ногу, поворачивались во все стороны, дышали на руки и молчали. Толпа на тротуарах не обращала на них внимания. Юнцы ждали «красного террора», а дождались пренебрежительного безразличия. «Это наши»,— разочарованно подумал Борис.

Группы студентов скандировали рифмованный лозунг, он повис в морозном воздухе, несколько голосов нестройно откликнулось, но этот отклик был едва слышен в шуме взбудораженной улицы.

«Пражане, не теряй отвагу,
Студенты защищают Прагу!»

Юнцы стыдливо отводили глаза. Изо ртов на морозе шел пар. На

тротуаре две-три головы повернулись в их сторону, кто-то замахал шляпой, но в общем отклик был слабый.

Духовая музыка по радио заглушила замиравшие возгласы:

«Ввести у нас не разрешим
Тоталитарный режим!»

И снова: «Ввести у нас не разрешим ...»

А ну их к бесу! Борис с досадой отвернулся и пошел по краю тротуара. Пустой номер! И это «гигантская манифестация, которая увлечет народ в бой против красных»? Нечего сказать!

По мостовой от музея тянулось шествие молодежи со знаменем и лозунгами, поющие лица разрумянились от мороза. «Эгей, пеклу не бывать, рай себе добудем!» Борис смотрел на них с ненавистью и интересом: это о н и! Те, другие! Это молодежь с фабрик и заводов, но видны и лица, знакомые по бурным студенческим сходкам. Комсомольцы, ишь ты! Чтобы не оказаться среди этих демонстрантов, Борис перешел на тротуар и прислонился к голому стволу дерева. Бедлам да и только! «Может быть, будет драка, — подумал он с волнением, и сердце у него учащенно забилось.— Пусть, пусть подерутся!» Ему почти хотелось этого. «Может, и стрелять будут. Вот и был бы террор! Сейчас две демонстрации столкнутся и начнется свалка!»

Но свалка не началась. Несмотря на шум, гомон, скандирование лозунгов и перебранку, царили непостижимые выдержка и дисциплинированность, которые смущали Бориса. У него голова закружилась, в душе смещались злоба и страх, возникла бессмысленная боязнь палок и ударов, но Борис подавил ее и почувствовал охоту выкинуть какой-нибудь безрассудно смелый фортель, что-то такое, от чего сердце забьется в груди, на чем можно испытать свою отвагу... Но что же, что?

Борис оглянулся и в двух шагах от себя увидел рабочего-милиционера. Повернувшись лицом к мостовой, человек в зимней куртке, с сигаретой в зубах, был недвижим, как изваяние. Прищуренными глазами он наблюдал движение на улице. Какое невозмутимое лицо!

Двумя шагами дальше стоял другой милиционер, за ним третий. Борис заметил, что они оцепили всю улицу. Стоят и караулят, больше ничего, но от самого их присутствия мурашки пробегают по спине и становится сухо во рту.

К тому милиционеру, что стоял ближе к Борису, подошел другой, плечистый парень в высоких сапогах, подпоясанный ремнем. Они обменялись короткими фразами, потом кто-то крикнул: «Патера, Пепик, найдется у тебя закурить?» Рабочий сунул руку в карман и молча протянул пачку через плечо. У него было крупное лицо с широкими скулами, глубокие морщины сбегались на крепком подбородке, все лицо выражало скрытую силу. «Чем-то все они похожи друг на друга, — подумал Борис.— У нас на заводе тоже вот такие». Его охватила странная злость на самого себя и одновременно легкий озноб, хотелось предпринять что-то...

Сейчас! Точно понукаемый кем-то, он почти вплотную подошел к рабочему и уперся в него вызывающим взглядом, словно хотел прогнать его отсюда, уничтожить, подавить своим гневом и презрением. Рабочий не отводил сощуренных глаз. С минуту они глядели друг на друга. Казалось, ничто не сможет вывести крепыша из равновесия.

— Тебе что-нибудь надо, приятель? — спросил рабочий с добродушной снисходительностью.

Борис перевел дыхание, потом опустил взгляд.

— Д-да... Не найдется ли у вас огонька?

И он вытащил портсигар.

— Есть. Закуривайте сами, а то ветрено.

Борис еще не успел отойти от него, ноги что-то ослабли, и вдруг услышал, как этот широкоплечий детина рассказывает кому-то:

— Хотел я ему дать разок, а потом думаю: поднимет крик, мол, диктатура! Лучше уноси ноги, петушок, пока я тебя не трогаю. А то нос отморозишь.

Поздней ночью, возвращаясь домой по безлюдным улицам, Андрей и Ирена думали каждый о своем. Неудачный вечер! Отзвуки политической борьбы проникли с улиц в полумрак бара и создали хмурое настроение. В каждой рюмке словно бы таилось мрачное предзнаменование. А тут еще этот болтунишка Борис! Ирена промолчала весь вечер и отказалась танцевать.

Андрей осторожно вел машину по скользкому асфальту и поглядывал в зеркальце на Ирену. Ее лицо было бледно, задумчиво, непроницаемо. Андрей сразу понял, что у нее неспокойно на душе, и решил лучше не расспрашивать. Он знал ее характер: впечатлительна, переменчива, как весенняя погода, вспыльчива и в то же время мягка и мечтательна. А какая упрямая! Лобовым ударом ее не возьмешь, но, если знать ее натуру, можно мастерски играть на клавиатуре ее настроений и слабостей. Она по-детски бесхитростна: скажи ей в нужный момент доброе слово, ласково погляди на нее, и она у тебя в руках. Такую он ее и любил, нежную, хрупкую, беззаветно покорную. Иногда у них бывали ссоры, но всегда по его вине, из-за его неверной тактики, из-за его упрямства. А сегодня! Эти ее странные вопросы! Раж чувствовал в них непонятную ему строптивость, воинственное, хотя и смутное несогласие, а может быть, и больше — недоверие и подозрение.

— Ты устала? — спросил он тихо, не поворачивая головы.

Она слегка кивнула и закрыла глаза.

Потом они лежали рядом под стегаными одеялами и молчали. От парового отопления дышало теплом. Раж повернулся к жене, хотел привлечь ее, но она как-то замкнулась в себе. Ему захотелось властно подчинить ее, рассеять ее задумчивость объятиями, но он разумно отказался от этого. Ирена уклонялась сдержанно, но упорно и наконец отодвинулась от него. Андрей слышал ее прерывистое дыхание. Он нашел ее тонкую беспокойную руку и положил себе на грудь: она любила засыпать так. Под тонкой кожей чуть ощутимо бился пульс, как бьется в руках пойманная птичка.

— Спишь?

— Нет.

Через минуту:

— Что с тобой, Ирена?

— Я боюсь.

— Глупая, для этого нет причины. Чего ты боишься?

Она вздохнула и убрала руку.

— Не знаю. Мне кажется, что сегодня я заглянула в свою жизнь, как в колодец... Он высох...

— Братец, видно, постарался, — бесстрастно констатировал Раж, хотя в душе его вспыхнула ярость. — Родственные визиты иной раз бывают не к месту.

— Нет, не только в этом дело, Ондра! — настойчивым шепотом прервала его Ирена. — Как мы живем? Что будет дальше, ты знаешь? Я страшно боюсь, Ондра, всего боюсь! Боюсь того, что творится кругом... я этого не понимаю, мне кажется, что я слепая или замурованная... И тебя я боюсь тоже...

Андрей нащупал выключатель, зажег лампу и, наклонившись над Иреной, пристально поглядел ей в лицо.

— Дуришь, Ирена! Что я тебе сделал?.. Ну, хватит похоронных разговоров, девочка. У меня забот выше головы, а ты...

— Я не знаю... Не знаю, что ты, собственно, за человек... Скажи, мне, что будет дальше, что произойдет... Ведь ты мой муж, и я не хочу, чтобы ты от меня что-то скрывал.

Он долго и усиленно обдумывал, что ей сказать. Наконец, утвердительно кивнул.

— Ты права, сейчас не время для идиллий, нужен трезвый взгляд на вещи. Тебе он тоже нужен, Ирена! Я старался, чтобы ты не узнала всей этой мути и жестокости, всего того, что называется политикой. Но, может быть, и в самом деле нужно, чтобы ты уже сейчас считалась с любой возможностью. Сама видишь, что происходит. Не хочу расстраивать тебя, но скажу: мне самому страшно. Они поднимают руку на все... Улица сорвалась с цепи, могут произойти события, гибельные для нас обоих. Если они добьются своего, мы всего лишимся. За себя я не боюсь, но...

— Что тогда? — тихо спросила она. — Если они добьются?..

— Тогда для нас все потеряно. Я уже сейчас учитываю такую возможность. Нам останется один выход: бежать отсюда, уехать как можно скорее, пока не...

— Уехать... куда?

— Куда? Ты дурочка! У меня есть связи. В Бельгии или в Англии нам будет не хуже...

Она закрыла глаза руками.

— Но это... Я не могу... Это... невозможно, Ондра!

— Не только возможно, но даже необходимо. Пока преждевременно говорить об этом. Ты моя жена, Ирена, и знаешь, как я тебя люблю. Мы уехали бы вместе, ничего страшного, верь мне! Наступит день, когда мы вернемся, в этом я уверен. Наступит такой день...

Он лег на спину, потушил лампочку на ночном столике, но не спал, курил, смотрел в темноту и думал. Его поразило ее несогласие. Ничего, со временем смирится. Он снова заговорил, вдаваясь в ненужные подробности, вслух излагая свои планы, закуривая новые и новые сигареты.

— ...Пока все в порядке. В игре много козырей, и только глупец может думать, что наши враги уже выиграли. Не ломай над этим голову, девочка, — в темноте он погладил ее по руке.

Ирена сжалась в комок под одеялом, ее знобило. Она зажмурила глаза. Спать, спать и не думать, заткнуть уши и не слышать его слов, которые перекатываются через нее, словно мутный поток. Как остановить их?!

— Ондра! — с трудом произнесла она, и этот тоскливый возглас прозвучал, как вопль. Раж замолк и ждал.

— Ондра... я должна сказать тебе... послушай меня, пожалуйста... у нас будет ребенок. Три дня назад доктор сказал мне...

Тайна воплотилась в слово, и это слово затрепетало, как подстреленная птица. Настала пустая, неживая тишина, Ирене даже показалось, что муж на минуту перестал дышать. Пусть он знает! Снова послышался его голос, но Ирена заткнула уши. Сегодня она больше ничего не хочет слышать. Она отвернулась от мужа, свернулась в клубок и молчала, охваченная смутным страхом. Ее жизнь словно вышла из колеи, скользнула по грязной дороге, а теперь валится под откос... Так казалось Ирене.

Она решительно открыла глаза и взглянула в окно. Потемки, как черная лава, текли над уснувшим городом, подкрашенные снизу желтым светом уличного фонаря. Эти потемки показались Ирене злыми, всеобъемлющими, враждебными. Что будет дальше?

7

Поверхностный наблюдатель решил бы, что и в понедельник кипение улицы не проникло за железобетонные стены громадного здания Компании химических фабрикатов; в длинных коридорах пульсировала повседневная жизнь, за дверями слышался пулеметный треск машинок и звонки телефонов. Все как в обычный, будний день.

Но Бартоша не обманула эта видимая повседневность. Он хорошо знал сложный аппарат дирекции, знал, что делается в его глубинах, знал людей, заполнявших семиэтажное здание.

Подгоняемый нетерпением и легким беспокойством, он поспешно шел утром от трамвая к кованым воротам Компании и вместе с группой сослуживцев вошел в хорошо натопленный вестибюль. Отщелкнув на контрольных часах карточку, он со всех ног устремился к своей каморке на пятом этаже. Резиновые дорожки длинного коридора скрипели под ногами. Бартош кивал направо и налево, на повороте ему встретился курьер с почтой, выступавший со своими папками походкой церемониймейстера. Он с обычной солидностью поздоровался с Бартошем: «Добрый день!»

Едва Бартош успел снять поношенную шубу в своем крохотном кабинетике, зазвонил телефон, и председатель партийной организации позвал его в малый зал, тремя этажами ниже, на заседание парткома. Все члены комитета уже собрались, курили и тихо разговаривали. Председатель без лишних вступлений поставил единственный вопрос.

— Я думаю, всем ясно, что нам делать, товарищи... Привет, товарищ Бартош!.. Мы должны точно представить себе, какова наша задача и как с ней справиться... Верно, надо создать комитет действия. По-моему, на наш местком и вообще на профсоюзную организацию полностью полагаться нельзя, ведь у нас не завод, а учреждение. Так что, прошу, высказывайтесь насчет того, как нам взяться за дело. Надо немедля наладить связь с районом, созвониться с предприятиями...

Бартош даже не успел как следует отогреться на заседании; через несколько минут он уже спешил по морозцу в район за инструкциями. «Ты член райкома, — сказали ему товарищи, — вот сам туда и сходи». Бартош пошел. Обратно он возвращался, торопливо скользя по грязным комьям снега, намерзшим на тротуарах. «Застать бы их всех вместе!» — думал он и прибавлял шагу. Проходя мимо буфета, он хотел зайти и глотнуть чего-нибудь горячего, но, взглянув на часы, отказался от этого намерения: надо поторапливаться, политическая обстановка в Компании не такова, чтобы можно было прохлаждаться. Желудок Бартоша уже сводило голодной спазмой, и он угрожающе побаливал. «Наверное, помучит меня сегодня, черт его дери!» — подумал Бартош, но не сдался.

Парткомовцы еще сидели над списками людей. После недолгого обсуждения кандидатуры в комитет действия были выдвинуты. Привлечь всех намеченных и организовать комитет оказалось, правда, не так-то легко; пришлось беседовать с колеблющимися, убеждать членов других партий. Иные немного струхнули и стали отговариваться. Однако к полудню комитет действия был создан и собрался на первое заседание. Председателем выбрали Бартоша, он принял это невозмутимо, с обычной серьезностью, не обращая внимания на кислое выражение некоторых лиц. Для многих он был бельмом на глазу.

После коротких, но резких прений о некоторых острых формулировках комитет действия принял и направил в правительство резолюцию, осуждающую отставку министров. Потом члены комитета договорились о взаимном контакте и перед обедом разошлись.

Пока они заседали в клубах табачного дыма, под обманчивой по-

верхностью канцелярских будней по всему зданию растеклись шепотки и слухи. Разнеслись новости — панические, преувеличенные, противоречивые. Они летели из отдела в отдел, из уст в уста, жужжа, как обозленные осы.

Возвращаясь к себе, Бартош ощутил в коридорах эту напряженную атмосферу. Шу-шу, шу-шу... «Вы слышали, коллега?» — «Что-то будет с «Китом»? — «От социал-демократов в этот их комитет действия вошел инженер Скала» — «А председателем там...» — Разговоры велись шепотком, люди стояли тесными кучками, наклоняясь друг к другу и озираясь по сторонам. Бартоша провожали любопытными взглядами. Одни сотрудники были безмятежно спокойны, другие задумчивы и полны сомнений, некоторые проникнуты враждой и злобой. Около лифта Бартоша засыпали вопросами, в другом месте его подчеркнуто игнорировали.

«Берегитесь, о н идет!— разносилось всюду, где проходил Бартош.— Ш-ш-ш-ш!»

Но, поглядев по сторонам, Бартош видел только нескольких сотрудников, которые болтали как ни в чем не бывало и небрежно бормотали приветствие.

«Ага, — спокойно и с удовлетворением подумал Бартош, — перетрусили! Многие заячьи души уже испуганы, полны паники, вот откуда такой лихорадочный интерес к моей особе. А я-то думал, что я — самая заурядная личность на свете».

Бартош даже покосился в зеркало, проходя по коридору. Худое, небритое лицо, темные круги под глазами. Неказист, в самом деле! Но хватит глупить, Бартош, надо поторапливаться, атмосфера накаляется. Он слышал, что утром собирались комитеты национальных социалистов и католиков и, хотя не знал, что было на этих заседаниях, слегка улыбнулся, представив себе, как «братья» разинули рты, услышав, сколько их единомышленников даже из партийного руководства вошло в комитет действия в качестве представителей своей партии или профсоюза. Но улыбка быстро сбежала с лица Бартоша: желудок давал себя знать, в нем возникла резкая боль.

Закончив в своем кабинетике важнейшие разговоры, Бартош спустился пообедать. В столовой было тепло, даже душно, стояла обычная смесь запахов, все было по-старому, и все же Бартош заметил, что возбуждение проникло и сюда, и на него, Бартоша, смотрят.

Аппетита у него не было. Желудок, расстроенный нерегулярным питанием и никотином, не принимал скверного картофельного супа. Бартош с усилием съел несколько ложек. «Экая чертовщина, надо, наконец, сходить к доктору, — в сотый раз твердил он себе. — Это просто нестерпимо!» Но вскоре боль в желудке прошла, и он забыл об этом благом намерении. Времени нет! Телефонограммы, сводки с предприятий накапливались на столе. Отличные новости: повсюду создаются комитеты действия.

— Алло, говорят Дольшаны! Товарищ Бартош, чест праци! Дело обстоит так...

Компания химических фабрикатов была гигантским, все еще разраставшимся концерном, объединявшим предприятия во всех концах страны. Крупнейшие заводы и ветхие, почти разваливающиеся фабрички, расположенные где-то в глуши, вливались в Компанию после национализации, как крупная рыба и мелкая плотва в гигантскую пасть кита. Компания легко заглатывала их. Краткая пометка в списках, газетное объявление о слиянии, новая вывеска на воротах, пачка новых счетов в главной дирекции — и предприятие могло спокойно дышать под охраняющим крылом наседки-концерна. Почти полсотни производственных объектов объединила Компания.

— Говорит Быстрицкий завод! Это главная дирекция? Чест праци...

Бартош был в своей стихии. Сколько долгих и трудных лет ждал он этого дня! И день настал! Бартош хрипло кричал в трубку, договариваясь с товарищами на другом конце провода, записывал на разлинованном листе бумаги названия предприятий и всякие дополнительные сведения, размечал этот список цветными карандашами, так что в конце концов получился точнейший «баланс». Член парткома Мареда зашел к нему и изумленно покачал головой.

— Похоже на бухгалтерский отчет, товарищ Бартош, — улыбнулся он и постучал карандашом по бумаге. — А ведь это политическая борьба, а не...

— Верно, товарищ Мареда, — серьезно возразил Бартош, — но и в бою нужен порядок. Чтобы была хорошо видна позиция

Он вставил половину сигареты в изгрызенный вишневый мундштук и окутался сизым дымом. Рябоватый Мареда сделал кислое лицо, кивнул и переменил тему.

— Встретил я в коридоре Бриха, юриста, что работает у старого Казды, и подумал: а не ввести ли нам его в комитет действия? Он беспартийный, но, кажется, порядочный человек. На контокоррентах не могут нахвалиться его работой. Какого ты о нем мнения?

Бартош смотрел перед собой и не отвечал, только пожал плечами. С минуту они молчали, Мареда оглядел полутемную комнатку.

— Ну и клетушка! Как ты выдерживаешь тут целый день? Я бы взбунтовался.

Бартош не успел ответить — зазвонил телефон. Секретарша управляющего бухгалтериями Компании прощебетала, что господин управляющий желает немедля переговорить с Бартошем, поэтому пусть господин Бартош будет так любезен... и так далее. Бартош пробурчал, что сейчас придет, и, положив трубку, слегка улыбнулся Мареде:

— Уже сказывается создание комитета действия: «Кит» дает мне аудиенцию. Видно, ему что-то не по вкусу. Ну, посмотрю, что это за сюрприз.

За Маредой закрылась дверь, Бартош неспеша прибрал у себя на столе. Он был педантически аккуратен, к этому его приучила профессия. Вытряхнув пепельницу за окно, он поставил портрет матери около пучка зелени, увядавшей на столе от недостатка воздуха и избытка табачного дыма. «Как-то поживает моя старушка? Надо бы навестить ее»,— и тщательно запер комнатку.

Без особого волнения шел он в другой конец коридора. Бартош слишком хорошо знал управляющего, чтобы не догадаться, о чем намерен говорить с ним «премногоуважаемый брат» и вожак национальных социалистов в Компании. «Кит»! Меткое прозвище для этого рослого самоуверенного типа. Его стремительная карьера, казалось, подтверждала фальшивую теорию о прирожденных вожаках. Но дело было совсем в другом. Стареющий щеголь своевременно женился на крупной акционерке бывшего концерна, благодаря чему обрел положение и апломб, при которых мог легко «съесть любого специалиста, посмевшего посягнуть на его место. Он стал грозой всех бухгалтерий.

Коммунистов в Компании «Кит» люто ненавидел, особенно Бартоша. Бартош это знал, и они наблюдали друг за другом, как боксеры на ринге, каждый из которых ждет ошибки противника, чтобы загнать его в угол. У «Кита» был в руках крупный козырь — власть. Он поместил Бартоша в самую скверную комнатку, чтобы изолировать этого твердокаменного от коллектива, взвалил на него нудную и кропотливую работу — множество всяких статистических отчетов и сводок — и пришел в ярость, когда Бартош с дерзким хладнокровием обосновал бесцель-

ность многих из этих сводок и назвал распоряжение Кита вредной бюрократической затеей. Остальные сводки Бартош составлял с безупречной точностью, не оставляющей никаких возможностей для придирок. «Кит» уже предвкушал другие способы расправы с Бартошем, но его мстительным замыслам помешала новая политическая обстановка.

Когда Бартош вошел, «Кит» стоял у окна, повернув к вошедшему широкую спину со сложенными за ней руками. На звук открываемой двери он обернулся.

— А-а, господин Бартош! Заходите.

Он приветливо указал на стул, окинув испытующим взглядом сухую фигуру подчиненного, которая всегда напоминала ему недокуренную дешевую сигарету.

— Я искал вас еще днем, — продолжал он чуть укоризненно, но с миролюбивой улыбкой, усаживаясь в кресло за громадным столом.

— Да, я знаю, — кивнул Бартош. — Но у меня было важное заседание. Оборотную ведомость я еще вчера сдал секретарше.

— Дело не только в ведомости. Во всяком случае, спасибо за нее. Уверен, что она, как всегда, в полном порядке.

Он предложил Бартошу сигару из стоявшей перед ним коробки, но тот отказался. «Кит» пожал плечами и закурил сам, сквозь клубы дыма глядя на подчиненного. Они ощупывали друг друга взглядами, и Бартош намеренно затянул паузу. Внушительно постукивали большие стоячие часы, с улицы слышались звуки радио.

Наконец «Кит» сам начал разговор.

— Я хотел еще раньше поговорить с вами по довольно несложному вопросу, господин бухгалтер. Недавно я обходил наши помещения, заглянул и к вам. Скверная комната, не правда ли? Первоначально я полагал, что она подойдет вам, поскольку характер вашей работы требует уединения и полной тишины, но, побывав там, убедился, что она никуда не годится. Поэтому я решил устроить там склад бумаги, а вас мы переведем в другое место. Это необходимо сделать, но я не знаю, где вы предпочитаете сидеть, и хотел бы слышать ваше мнение.

Бартош слегка улыбался. «Кит» заметил и тотчас понял эту улыбку. «Глупо, — говорила она, — глупо, господин управляющий. Хочешь подкупить меня в самый последний момент. До чего вы хитры и вместе глупы!»

Бартош считал мстительность недостойной чертой, но сейчас, лицом к лицу с врагом, не удержался, чтобы не ответить слегка ехидно:

— Спасибо, не беспокойтесь. Теперь недолго осталось, выдержу и там.

Массивная физиономия управляющего окаменела.

— Как хотите. Не буду вас вынуждать, у меня были самые лучшие намерения. — Он атаковал напрямик. — Вы, я вижу, считаете их как раз обратными, не так ли?

— Это, мне кажется, не важно.

— Для меня важно! Для меня важно, господин бухгалтер!

«Кит» зажег погасшую сигару. «Он подтрунивает надо мной», — мелькнуло у него. «Кит» с трудом подавлял ярость. Его охватила сложная смесь чувств — опасения, боязни, унижения и мучительной обиды. С самого утра ему мерещилось худое лицо Бартоша, его пронзительный взгляд, и сейчас он вспыхнул, стараясь избавиться от угнетавших его опасений.

— Не будем играть в прятки, господин бухгалтер! У нас разные взгляды, но это не значит, что мы должны вести себя по-мальчишески, не так ли? Мне кажется, — продолжал он, насмешливо поджав губы под седой щеточкой усов, — что отныне вы считаете себя видной фигурой

в Компании. Еще бы: председатель комитета действия! Остается только поздравить. Но я, ответственный руководитель бухгалтерий, вижу в этом маленький порок...

— Какой же?

— Этот комитет создан незаконно, — воскликнул «Кит». — Абсолютно незаконно!

— Сегодня в ваших партийных центрах было обнаружено оружие. Может быть, это законно?

— Нет, это вымысел! Демагогия ваших газет! Чего вы хотите?

— Того же, чего большинство честных граждан нашей страны.

— Здесь, в Компании, за вами нет большинства.

— Во-первых, вы глубоко ошибаетесь, — спокойно возразил Бартош. — А во-вторых, господин управляющий, Компания — это не только главная дирекция, а еще и сорок девять предприятий. Если вы хотите знать мнение явного большинства трудящихся, могу познакомить вас с перечнем предприятий нашей Компании, на которых, как и у нас сегодня, созданы незаконные, по вашему мнению, комитеты действия.

— Я их знать не хочу! — закричал «Кит». — Ваша тактика известна: резолюции и факельные шествия по улицам! Захватить власть и задушить последние остатки демократии и свободы! Простой расчет, но он сорвется. Не для этого чехи терпели лишения при Гитлере!

— Насколько мне известно, — холодно возразил Бартош, — вы особых лишений не терпели.

«Кит» не дал ему договорить.

— Вот для чего затеяны все эти спектакли на улицах! Играете в революцию, но надорветесь, господин бухгалтер. В том числе и вы! Вы это сами знаете. Руководить государством вы не сможете, вы умеете только сокрушать...

— В отставку, однако, подали в а ш и министры.

— Правильно! Правильно поступили! Согласен полностью! Вы создали нестерпимую обстановку. И здесь, у нас, тоже!

— Да, создали и сделаем ее еще более нестерпимой для спекулянтов, капиталистических хищников, иностранных агентов, антисоветских элементов... сделаем, можете быть уверены! — все более волнуясь, воскликнул Бартош. Резкая боль опять, как когтями, вцепилась в желудок, Бартош стиснул кулаки. «Скорей бы уйти отсюда»,— подумал он устало, чувствуя, что лоб покрылся потом, в глазах замелькал пестрый узор ковра. «Выдержка, черт возьми!» — думал Бартош. Стук часов глухо отдавался в мозгу. Лицо его исказилось, боль приковала его к месту. Но «Кит» ничего не замечал, он пытался вернуть себе хоть долю былого апломба.

— Я вижу, мы не договоримся. Оставим этот разговор, господин бухгалтер.

События сегодняшнего утра полностью вывели «Кита» из равновесия. Это был просто крах. Каковы трусы! «Киту» с трудом удалось собрать комитет их организации: вчерашний профсоюзный съезд гнетуще подействовал на взвинченные нервы единомышленников. Эти господа побаиваются лезть в огонь. Трое не пришли, сославшись на срочную работу. Двое «заболели»! Подальше, мол, от риска! Партийный корабль получил пробоину и с каждым часом все больше наполняется водой. Трое окончательно откололись, а вечный бунтарь инженер Кжиж даже очутился в комитете действия. Ему, мол, давно не нравится наша политика. Предатель! «Католики» — пустое место. Пришло их всего трое, хлопали глазами, как недоросли, «мы, мол, подождем указаний». Ждите, ждите, дурачки, вашему преподобному лидеру тоже приходится несладко. Поговорили о том, что «Бенеш не подпишет», он мол, не имеет

права, и после недолгой трепотни разлетелись, как воробушки, спугнутые хлопком в ладоши. В партийных центрах растерянность, улица распоясалась! «Кит» вспомнил, как сам радовался, узнав об отставке министров: теперь, мол, мы зададим перцу коммунистам! Все, казалось, было рассчитано с математической точностью, все хронометрировано, все козыри в руках. Так уверял районный секретарь национальных социалистов. А теперь? Теперь перед тобой торчит этот тощий черт, председатель комитета действия! «Кит» всегда инстинктивно опасался, что эта красная мумия когда-нибудь возьмет его за глотку.

Он с трудом поднял взгляд.

— Жаль, что мы не можем договориться. Я ценил вас как работника, господин бухгалтер, хотя принципиально не доверяю людям, которые так упорно прячут свое честолюбие. Ведь это здоровое качество. А вы действуете исподволь, но с бóльшим размахом, не так ли?

— Что вы этим хотите сказать?

— Очень простую вещь, — устало улыбнулся «Кит». — Ваш партийный билет поднимается в цене, верно? Отличный трамплин. С него можно прыгнуть прямо на мое место. Превосходно задумано. Охотно уступлю... хоть сейчас. Извольте, занимайте, господин бухгалтер!

— Я не обижаюсь. Это смешно, господин управляющий.

— Вы уже дерзите, господин бухгалтер. Чувствуете себя на коне. Не рано ли? Или, быть может, вы допускаете, что я останусь на своем посту?

— Это решит комитет действия, господин управляющий. Я один не решаю. И позвольте мне уйти, у меня нет времени на принципиальные споры.

— Еще бы! — «Кит» хлопнул ладонью по столу. — Вы загружены политическими и государственными делами. Пожалуйста, можете идти. Я не мелочен, но извольте отдать себе отчет, что этими своими революционными делишками вы занимаетесь в служебное время и вопреки прямому запрету своего начальника, господин бухгалтер.

— Разрешу себе от имени всех честных людей попросить вас, господин...

— И неизбежные последствия этого...

— Я беру на себя! — вспыхнул Бартош.

Разговор был окончен.

Бартош быстро нажал ручку двери и натолкнулся на человека с испуганным выражением лица. Тот, видимо, подслушивал и был застигнут врасплох. Бартош узнал Мизину, заместителя главного бухгалтера контокоррентного отдела. С минуту он потешался над растерянностью Мизины, потом уступил ему дорогу. «Пожалуйста, заходите!»

— Г-км... — бормотал покрасневший Мизина. — Я как раз иду к господину управляющему... по срочному делу... Надеюсь, он меня примет...

Ковыляя по коридору и радуясь, что боль в желудке опять прошла, Бартош думал о Мизине. Он хорошо знал цену этому человеку: мещанин, стяжатель, больше ничего. Именно с помощью таких людей всякие «киты» строят свою карьеру.

На повороте коридора Бартош, вторично за этот день, встретил Бриха и оглянулся на него, открывая дверь своей каморки. Его интересовал этот долговязый юрист, племянник Мизины, который, несмотря на университетский диплом, продолжал работать у дядюшки, в контокоррентном отделе. Что же ты за птица, что представляешь собой, интеллигент? В бухгалтерию Брих поступил недавно, после того, как отслужил срок в армии, и Бартош знал, что Брих скоро перейдет в экспортное управление. Это правильно: человек с таким образованием и знанием

языков должен давать больше, чем можно дать в бухгалтерии. Иногда он встречал Бриха в коридоре или оказывался рядом с ним за обедом в столовке, они обменивались незначительными фразами, и Брих исчезал. Что он за человек? Ни рыба, ни мясо!

Бартош еще раз вспомнил о Брихе, когда поздно вечером, после третьего заседания, возвращался домой на Малую Сторону. Жизненный опыт приучил Бартоша анализировать людей. Привычка к этому сложилась у него давно и со временем превратилась в подлинное увлечение. Больше всего на свете его интересовали люди. Он привык терпеливо выслушивать их, не задавая назойливых вопросов, которые могли бы вызвать подозрение в чрезмерном любопытстве. На службе его считали сухарем и педантом, безразличным к людям. Он знал это, знал и то, что у товарищей по парторганизации он, видимо, вызывал неясное и беспричинное опасение: этакий педантичный старый холостяк, который никогда цифры не перепутает, и вдруг член партии! От него веет холодом — механизм, а не человек. На производстве ли, в партийных ли делах — машина, точная и надежная. Партийные денежные отчеты, протоколы собраний он вел с гнетущим совершенством. Все знали его как честного и культурного коммуниста, и все же...

Бартош наблюдал людей, размышлял о них и даже записывал свои наблюдения аккуратным почерком в блокнот. Сколько он исписал таких блокнотов? Много, последний был за номером 37, это не шутка! На линованной в клеточку бумаге сошлась пестрая компания — коммунисты, мещане, подлецы, доносчики и заключенные — женщины и мужчины. Характеристики гестаповцев из Дахау чередовались с характеристиками сотрудников бухгалтерии и других отделов. Чего только не было в этих блокнотах: лица, повадки, словечки, странные увлечения, отрывочные сведения наряду с глубокими характеристиками, которых писателю хватило бы на несколько лет работы. Рассказывалось там и о неудачах, и о несбывшихся надеждах...

«Перелистай блокноты и изумишься, как многообразна и сложна жизнь, какой в ней небухгалтерский хаос! Бр-р-р! Как ни старайся, опыт, заключенный в этих тридцати семи блокнотах, не приведешь к общему знаменателю, не разложишь по полочкам. Скользишь по поверхности и сознаешь это. Человек! Завести бы картотеку, такую же многочисленную, как само человечество. Итак, буду писать дальше! Хладнокровно, методично, с исследовательской объективностью и глухим сознанием тщетности этого занятия, глупой, пустой забавы старого холостяка, живущего, как одинокий филин». — Так иногда думал Бартош, но продолжал вести записи. Он редко перечитывал написанное и, махнув рукой, клал исписанный блокнот на дно сундука вместе с другими.

«Пригодятся ли они мне когда-нибудь? Сомневаюсь!»

Днем, во время недолгого отдыха, Бартош вынул из кармана блокнот, перелистал его. Тут написано о Мареде... он только что заходил ко мне. «Хороший человек, спокойный, как все рыболовы. Кто бы подумал, что он в разводе с женой. Почему? Он простой и сердечный, с ним чувствуешь себя легко, нам нужны такие люди. Из всего комитета он мне по-человечески ближе всех, он единственный иногда находит путь...» Вот еще одна запись: «Мария Ланд из контокоррентного отдела, 33 года, внебрачный ребенок, видимо, неудавшаяся жизнь. Недоверчива, робка и наивна. В ее книжке «Песнь о Бернадетте» * лежала фотография Масарика. Зачем-то носит очки в темной роговой оправе, ведь они ей не нужны... Впечатлительна? Нет, скорее сентиментальна. Наверняка хранит все письма, перевязав их ленточкой. Политически неразвита, но

* Книжка религиозного содержания: Бернадетта — католическая святая.

явно против нас. Взглянешь ей в лицо — опускает глаза. Машинистка отличная».

«Вздор, — недовольно подумал Бартош. — Что, собственно, я о ней знаю? Пару пустяков!» Он вынул автоматический карандаш и после недолгого размышления начал новую запись: «Юрист Франтишек Брих».

Зазвенел телефон. Звонили из райкома. Бартош торопливо сунул блокнот в карман и надел пальто. «Думаю о пустяках, а тут такие события! Комитет действия! Все поставлено на карту, завтра забастовка протеста, я должен обеспечить, чтобы все прошло гладко, надо действовать быстро!»

Ничего не поделаешь, записи о Брихе пока что не будет.

8

Обстановка в городе становилась все напряженнее, хотя на улицах было спокойно. Это спокойствие гранитной скалы действовало Бриху на нервы. Боже, как может разбухнуть одно слово, взволнованно повторяемое тысячами уст, — одними с гнетущим опасением, другими с железной настойчивостью. Оно подобно туче гнева, грозящей ливнем.

Отставка! Принять отставку!

Вчера вечером, прогуливаясь после службы, Брих заметил на мостовой группки студентов. Юноши бесцельно плелись по улицам, словно бы не шли никуда. В них не видно было ни подъема, ни отваги. Вот она, последняя жалкая армия, наспех согнанная вожаками национальных социалистов и католиков и посланная в заранее проигранный бой против материализованной воли. От них веет унынием и безнадежностью. Осипшие голоса замерзших юнцов, чьи велеречивые лидеры уже укладывают чемоданы, были чуть слышны в морозном воздухе. Конец детской игре, начинается серьезное дело.

Брих с содроганием признался себе, что возврата уже нет. Нелепые фантазии о возможности политического согласия в стране рассеялись как дым.

— Что, сосед? — спросил сегодня утром Патера, когда они встретились на полутемной лестнице. — Протерли вы глаза? — И, приложив палец к козырьку, устремился вниз по ступенькам. Он явно спешил, насвистывая на ходу, и, видимо, был в хорошем настроении. Брих остался стоять столбом.

В восемь часов Брих, как всегда, уселся за стол в контокоррентном отделе, на пятом этаже здания Компании. Работалось ему плохо, и думал он о чем угодно, только не о погашении счетов фирмой Матиашек и К° в Нижней Храставе. С минуту он глядел на рубрики дебета и кредита, потом бросил счет на столик своей машинистки — барышни Ланд. Та заложила в машинку бланк и стала выстукивать тонкими пальцами осточертевшую формулу напоминания: «При просмотре наших записей мы, с сожалением, обнаружили, что наш счет номер такой-то от такого-то числа еще не погашен Вами. Просим...» и так далее.

Ланд — превосходная машинистка, прямо-таки пулемет, канцелярская лошадка: тянет, не ропща, словно вся ее жизнь ограничена этими отупляющими фразами, начинается и кончается у машинки. Хрупкие плечи ее согнуты, каштановые волосы собраны в прозаический узел, робкий взгляд за темными кругами слабых очков сосредоточен на работе. Глаза у нее добрые и серые, как и ее платья, как вся Ланд. Иногда Брих пытался завязать с ней разговор, но обычно наталкивался на стену робости и какого-то стеснительного безразличия. Интересно, о чем она думает, стуча на машинке? В бухгалтерии знали, что у нее внебрачный

ребенок, она этого не скрывала, но ревниво оберегала от всех свою личную жизнь. Брих относился к ней с дружеским уважением.

— Запишите, пожалуйста,— и он диктует ей напоминание о платеже, заключив его юридически безупречной формулой: «против злостных неплательщиков будут приняты меры судебного воздействия».

— Пошлите им к сведению.

Потом он снимает трубку и звонит секретарше экспортного директора Бароха. Но сегодня, как и вчера, попытка неудачна: «У господина директора сейчас важное совещание, — слышен тоненький голос секретарши. — Я вам позвоню завтра, господин Брих».

«Ладно, подожду до завтра», — думает Брих, кладя трубку. Теперь уже не к спеху, теперь это дело верное. Недолго сидеть ему здесь, в бухгалтерии. Не для того он кончил университет, чтобы диктовать платежные уведомления. С Барохом у него договорено: он перейдет туда в марте. Брих рад, что наконец возьмется за интересную и серьезную работу. Барох — мастак в экспортных делах, старый зубр международной торговли, у него можно многому научиться. Ему нужен юрист со знанием иностранных языков, а Бриху есть чем похвастать в этой области. Еще во время войны, находясь в «райхе», он не расставался с учебником французского языка, учился даже на лагерной койке, и если «райх» чем-нибудь ему был полезен, то только возможностью практиковаться в языке с тотально мобилизованными французами. После войны Брих взялся за английский. «Сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек», — гласит поговорка. Языки легко давались Бриху, у него явно был к ним талант, и Брих не зарывал его в землю. Осенью он начнет изучать русский язык. Столько работы впереди! Специалист по международной торговле должен знать весь мир, как свои пять пальцев. Надо всегда быть в курсе всего, все время пополнять знания, не коснеть; ведь эта работа, кроме массы специальных знаний, требует также громадного опыта. Зато возможность приложения способностей неисчерпаема. После стольких лет выжидания и блужданий, после протекторатного прозябания — наконец-то настоящее дело!

Брих закурил и оглядел своих сослуживцев. Кроме Марии Ланд, в контокоррентном отделе работали Главач, старик Штетка и машинистка Врзал.

Во вторник утром в здании Компании было беспокойно, коридоры всех этажей гудели разговорами, слышались возбужденные споры, чувствовалось, что скрытая, но острая борьба нарушила рабочую атмосферу. Никто не думал всерьез о работе. «Комитет действия взялся за дело, слыхали?» — «Кит» пошатнулся!» — «Что скажете о забастовке?» — «Нет, президент не подпишет!»

«Пора разоблачить и наших господ!» — говорили иные. «У нас тоже творятся безобразия, сами знаете». Одни были «за», другие «против». Слова, слова! Проникали они и в контокоррентный отдел. Вопросы сыпались, как камни.

— Чем только все это кончится? — спрашивает озабоченный Штетка. Карандаш еле держится в его дрожащей руке, он то и дело поворачивается к сидящему рядом Главачу и встревоженно задает ему вопросы.

Мария Ланд поднимает голову от машинки.

— Как вы думаете, господин Брих, будет в этом году сокольский слет, если...

— Откуда я могу знать? — недовольно отрезает Брих. Он погрузился в работу, не желая вникать в разговоры; вопрос машинистки вновь привлек его внимание к этим темам. Он тихо добавляет извиняющимся тоном. — Я не всезнайка и в политике не разбираюсь.

Кстати говоря, еще ничего не решено, — так будем пока сохранять спокойствие.

— Я... видите ли, я хотела... чтобы Машенька...

Перед обедом Бриху позвонила Ирена. Слышно было очень плохо, видимо, она говорила из автомата. Не успел Брих повесить трубку, как в коридорах завыла сирена: всеобщая стачка трудящихся республики! За дверями послышался шум голосов и шарканье ног, служащие со всех этажей спускались в зал.

— Пошли и мы! — уныло сказал Штетка, аккуратно снял сатиновые нарукавники, запер их в стол и торопливо пригладил зеленоватую, словно бы заплесневевшую седину на висках. — Как бы не было неприятностей. Надо показать свою сознательность. Плетью обуха не перешибешь...

— Ясное дело, пошли! — скомандовал франтоватый Главач. Он подтянул пестрый галстук, сунул в карман вечное перо и галантно предложил руку крашеной блондинке Врзал, своей машинистке. Нарушение канцелярской рутины вполне устраивало этого простодушного весельчака, чье мировоззрение можно было выразить одной фразой, которой он отделывался от всех забот: «Как-нибудь было, как-нибудь будет. Работать надо, это факт. Что мне политика!»

В дверях показалась голова Бартоша, все повернулись к нему. Он с порога поздоровался с присутствующими и, заметив, что Брих остался сидеть у себя за столом, подошел к нему.

— В столовой будет собрание, товарищ, — деловито сказал он и поднес вынувшему сигарету Бриху зажженную спичку, которая неведомым образом очутилась у него в руке. Брих хладнокровно кивнул.

— Вы не пойдете? — спросил Бартош.

— Это что, приказ? — отозвался Брих.

— Странный вы задаете вопрос, — спокойно улыбнулся Бартош. — Насколько мне известно, вы член профсоюза. В воскресенье был съезд профсоюзов. Если бы это был приказ, что тогда?

Брих не успел ответить. Из «аквариума» быстро вышел дядюшка Мизина, за ним робко следовал главбух Казда, как служка за священником.

— Пошли, пошли, господа, — энергично повторял Мизина. — Мы и так последние! А-а, товарищ Бартош! Мы уже идем, все как один! Если не возражаете, пойдем вместе. Я как раз говорю Казде: «Вот увидишь, Карел...»

Они вышли в коридор, где уже становилось тихо, и спустились по лестнице. Мизина ошеломлял всех водопадом слов и замолк только, когда они вошли в душную, битком набитую шумящими людьми столовую. Никогда здесь не бывало так тесно. Стоя между столами вплотную друг к другу, люди слушали речь по радио. Несмотря на пять работавших вентиляторов и открытые окна, в помещении стояли сизые тучи табачного дыма и не хватало свежего воздуха.

Итак, забастовка!

Тишина! Она слышна, почти ощутима. Она звучала, как раскаты грома перед бурей, она дышала силой. Шумный улей в здании Компании затих, слышалось капанье воды в раковину, из коридора доносились одинокие шаги, заглушенные резиновыми дорожками. Лишь несколько самых ярых противников режима остались за своими столами и делали вид, что усердно работают. Где-то на третьем этаже жутко стучала одинокая машинка: тук, тук, тук...

На пятом этаже остался только управляющий «Кит», решительно отказавшийся признать стачку. Коммунистическая провокация! Оставалось выдержать роль до конца. «Кит» неподвижно сидел за столом и ца-

рапал бумагу платиновым пером авторучки. В пепельнице противно чадил изгрызенный окурок сигары, дым лез в глаза и раздражал «Кита». Он нажал кнопку звонка, но никто не явился, секретарша была на собрании вместе со всеми. Пусть! «Кит» снял трубку и наугад набрал номер одного из отделов в другом конце коридора. Долгие гудки, которых не прекращала ничья рука, звучали заунывно. «Кит» сердито положил трубку на стол и встал.

«Трусы! — с презрением подумал он. — Все пошли туда, как бараны. Что теперь делать? Уйти, хлопнув дверью? Нет, еще не все решено!» Он не сдастся преждевременно, не признает этого смехотворного комитета действия. Президент еще не подписал отставки министров. Каково президенту сейчас, в этой тишине, в час стачки!.. Увы, он не такой человек, который сумел бы расправиться с красными. Еще до войны «Киту» не нравился Бенеш, он никогда полностью не доверял ему. Бенеш — наш Керенский, политический недоносок, он спасует в решающий момент...

Увидим!

С высоты пятого этажа «Кит» глядит на улицу. Несколько пешеходов неторопливо идут по мостовой, автомашины стоят у тротуаров, трамваи торчат у остановок, над крышами ползут серые тучи. «Кит» отходит от окна и закуривает новую сигару. Но она не доставляет ему удовольствия. Он гасит сигару в массивной пепельнице, садится в кресло, берет в руки оборотную ведомость. Э-э, к чему теперь заниматься ею! Вглядевшись, он узнает аккуратный, убористый почерк Бартоша. В памяти всплывает сухое лицо. «Кит» замечает, что у него дрожит рука.

— Спокойно!

Но в нем что-то слабеет и никнет. Рушится твердыня самоуверенности, державшаяся в последние дни лишь на песке надежд, но скрепленная упорной волей.

Через два часа в дверь дважды стучат — и в кабинет входят пять человек, которые, как он знает, являются членами комитета действия. Среди них «Кит» видит и ненавистное худое лицо, мерещившееся ему последние дни. Он уже нисколько не удивляется. Очнувшись от раздумья, он делает привычный директорский жест, в котором, однако, чувствуется свинцовая усталость, и говорит вялым, каким-то не своим голосом.

— Входите, господа. Я знаю, зачем вы пришли.

Четырьмя этажами ниже собрание выслушало речь по радио. После минуты стесненного молчания вспыхнули короткие прения. Большинство полностью согласилось с резолюцией профсоюзного съезда, но некоторые без колебаний выступали с возражениями. Опершись локтями на буфетный прилавок, к которому он протолкался, Бартош внимательно слушал, покачивая головой. Он был доволен ходом собрания; вот только — как пройдет голосование? Бартош обвел глазами лица и увидел Бриха: тот стоял у дверей около Мизины и старого Казды.

Этот Мизина! Бартош заметил, что эта старая речистая лиса поглядывает вокруг, наблюдает окружающих, улавливает каждый оттенок настроения. Слушал он с серьезным видом, но когда какое-то глупое замечание вызвало общий смех в зале, Мизина тоже сдержанно рассмеялся, прикрыв рот рукой.

Мареда умело вел собрание. Бартош следил за ним и с удовлетворением отметил, что толковый председатель нравится людям. Он дал высказаться желающим и не спеша приступил к голосованию.

— Кто «за»?

Руки начали медленно подниматься. Брих поглядел на дядюшку. Мизина, прислонясь к двери, несколько секунд, щурясь, оглядывал зал, потом поднял правую руку так быстро, что опередил остальных.

— Кто «против»? — послышался невозмутимый голос Мареды.

Никто? Нет, три-четыре руки медленно поднялись и как бы повисли в пустоте. Сотни глаз следили за ними.

— Одна, две... итого четыре голоса против. Спасибо, — хладнокровно сказал Мареда. Зал уже зашумел, но Мареда задал вопрос, заставивший собрание снова затихнуть.

— Воздержавшиеся есть?

Воцарилась выжидательная тишина. У дверей взметнулась одинокая рука. Бартош тотчас же узнал: Брих!

Да, это он. Держит руку над головой и упрямо смотрит перед собой неподвижным взглядом, чуть побледнев от волнения.

Брих опустил руку. В зале зашептались: он с ума сошел!

Прошел час — и в здании опять зашумели голоса. Люди облегченно вздохнули после долгого напряжения. По широкой лестнице, оживленно разговаривая, поднимались и спускались сотрудники. Все сознавали, что, какого бы мнения ни был каждый из них, какую бы ни занимал позицию, выбор здесь, у них, уже сделан.

Бартош догнал Бриха в коридоре пятого этажа и положил ему руку на плечо.

— Вы не голосовали?

Брих повернул голову и замедлил шаг, но не остановился; на его лице еще был румянец волнения, и он ответил несколько раздраженно.

— Вы не ошиблись.

— Почему? Как можно не голосовать в такой момент?

— Как видите, можно. По-вашему, это грозит мне неприятностями? Были и такие, которые просто голосовали с большинством. А я не трус. И вообще: совершил я что-нибудь недозволенное?

Бартош удивленно покачал головой и заметил, что Брих смотрит на его партийный значок, прикрепленный на отвороте пиджака.

— Вы сами знаете, что нет. Но вы не ответили на мой вопрос. Или вы не хотите отвечать?

Брих заметил, что дядюшка предостерегающе смотрит на него из дверей отдела, но игнорировал этот взгляд.

— Меня интересует одно: со мной говорит председатель комитета действия или сослуживец Бартош? — спросил он, стараясь спокойно улыбнуться.

— Какая разница? Я лично не отделяю одно от другого.

— Ладно, я отвечу коротко. Здесь голосовали за то, в правильности чего я далеко не уверен. Вот и все.

— За что же голосовали?

— За то, чтобы власть принадлежала одной стороне.

— Вы правы. А не интересует вас, справедливо это или нет? И какой стороне?

— Боюсь, что одной политической партии. Проще говоря — вашей.

— Это неверно. Голосовали все, не только коммунисты. Это — дело всего народа. Политические партии бывают разные. Некоторые из них затевают подлости, покрывают темные дела, мутят воду. Но политическая партия может драться и за правое дело, за прогресс... не сочтите это пропагандистской фразой. Партии — не самодовлеющие организации, это исполнительные органы, не так ли? В последние дни у многих раскрылись глаза и они оценили партии по их делам. Вы — нет?

— Я знаю одно: ставкой в этой игре оказались ценности, которых не найдешь ни в каком партийном центре, — серьезно сказал Брих.

Они в упор глядели друг на друга, и Бартошу постепенно становилось ясным умонастроение собеседника.

— Я могу назвать вам эти ценности, — сказал он и легкая улыбка

мелькнула на тонких губах. — Свобода, демократия, гуманность, не так ли? Скажу вполне серьезно: именно за эти ценности я и голосовал сегодня. Вы удивлены?

— Нет. Газеты всех партий пускают в ход эту испытанную фразеологию, когда хотят завоевать сторонников. Но дело не в этих ужасающе избитых и профанированных словах. Я боюсь, что наш народ на собственном опыте вскоре познает их смысл. Лишиться свободы очень легко.

— Вы вообще понимаете, что происходит в стране? Кто начал борьбу, кто подал в отставку и почему все так получилось? За какую свободу вы готовы были бы проголосовать? За свободу для фабрикантов, хищников, спекулянтов, которых было хоть отбавляй. Или за свободу без них? Сейчас надо выбирать, поймите.

— Все это красиво звучит, но я не умею мыслить пропагандистскими шаблонами, от какой бы партии они ни исходили. И не хочу этого. Партийная узость и драка за власть гибельны для страны. Я понимаю: тот, кто рвется к власти, должен обосновать это. И аргументы обычно находятся у всякого. Аргументы — дешевый товар, дорога правда! Но я боюсь, что мы начнем здесь, в коридоре, такой же бесплодный спор, каких много в городе, и все равно ни до чего не договоримся.

— Возможно, — тихо согласился Бартош и решительно задал уже проявлявшему нетерпение Бриху последний вопрос:

— Тогда мне непонятно, почему же вы не голосовали против?

— А мне понятно, — воскликнул Брих, но не успел он собрать беспорядочно скакавшие в голове мысли, как их прервали: из дверей его окликнула машинистка Врзал.

— Господин Брих, вас к телефону!

Брих пожал плечами и поспешил в отдел.

Оказалось, что это был тактический маневр дядюшки: никто не звонил Бриху, просто Мизина услышал его резкий спор с Бартошем и решил отвлечь племянника. Он ухватил Бриха за рукав и увел его в «аквариум». Там было пусто, Казда ушел к доктору. Мизина тщательно прикрыл дверь и уставил на Бриха указующий перст.

— Придется мне с тобой серьезно поговорить, ты, безрассудный юнец! Слышал я твою перепалку с ним... К чему это, скажи? — Дядюшка взволнованно ходил по вытертому ковру около безмолвного Бриха и все размашистее жестикулировал. — Как аукнется, так и откликнется, запомни это, Франтишек! Лбом стену не прошибешь. Разве ты не знаешь, с кем имеешь дело? Или тебе непонятно, что все уже решено, что о н и у власти? Фанфаронство в сторону, юноша. Слушая тебя, я думал, что меня хватит удар. Не знаешь ты их, что ли? С ними шутки плохи.

— К чему вы мне это говорите? — ощетинился Брих.

— Потому что ты сумасброд и фантазер! — вскричал Мизина и тотчас снизил голос до шепота. — Я обещал твоей покойной матери — да будет ей земля пухом! — позаботиться, чтобы из тебя вышел толк, чтобы ты стал человеком. Образование ты получил, голова у тебя хорошая, карьера перед тобой открыта. Думай об этом и не лезь не в свои дела, не туши, если не у тебя горит. Они не будут править вечно... Я тебя устроил на службу, у тебя отличные шансы, а ты выкидываешь штучки, которые грозят неприятностями не только тебе. Не забудь, что мы родня, и могут сказать...

— Ах, вот в чем дело!

— Да, и в этом. Никто не запрещает тебе думать что угодно, но придерживай язык, пока не влип. Много было таких горячих голов! Думаешь, ты в своих книжках набрался бог весть какой мудрости? Уж

очень вы, молодые, высокого о себе мнения! Вижу это и по нашей Иржине, она тоже...

— Знаете что, дядя, — хрипло прервал его Брих. — Подите вы к черту! Пекитесь лучше о себе! Не усердствуйте слишком в своих заботах, у меня своя голова на плечах.

Он резко шагнул, провел рукой по лицу, словно пробудившись от тяжкого сна, и вышел, хлопнув дверью. За столом он с отвращением взял в руки какие-то счета и уткнулся в них. Мысли разбегались во все стороны. Что же делать дальше?

Мария Ланд вернулась с обеда, Брих бросил ей на стол несколько неоплаченных счетов и молча смотрел, как она покорно нагнулась над машинкой, и ее тонкие, как тростник, пальцы забегали по клавишам. Тр-р-р-р-р, тр-р-р-р-р! «При просмотре наших записей мы обнаружили...» И опять: «При просмотре...»

Что же дальше? Что будет дальше? Этот вопрос назойливо сверлил сознание Бриха. Казалось, что-то рушится у него на глазах. Глупость?.. Нет, бессмыслица! Завтра побываю у Бароха, на самом деле, не пришел же конец света! Что нужно от меня этому Бартошу? Может быть, он следит, хочет поймать меня? Пусть! Надо иметь собственное достоинство, а не быть, как дядя, который ничем не гнушается. Приди сюда чапековские саламандры, он легко пристроился бы и к ним. У него резиновая спина и циничный взгляд на мир, думает он только о себе. И не он один, вот в чем беда! Свободу надо уметь защищать! Существуют же гордость и достоинство свободной личности. Вспомним историю нашего народа, — если в ней есть, чем гордиться, то именно этим! Что же предпринять? Выбежать на улицу и воззвать к толпе? Врываться в тесные группки людей, проникнутых ненавистью, и кричать им в лицо: «Что вы делаете! Вы все с ума сошли от фанатизма! Подрубаете сук, на котором сидите!»

Нет, с Бартошем ему не найти общего языка. Коммунисты сумели запутать яснейшие понятия. Но недавно жил в нашей стране старенький профессор, гуманнейший президент. Брих готов поклясться, что Масарик был живым олицетворением всех благородных идей. Брих учил о нем в школе, он рос под солнцем идей старенького профессора, был вскормлен ими; остальное питание зачастую состояло из тонких ломтей хлеба. Что сказал бы на это Бартош? Наверное, заговорил бы о «классовой борьбе»! На все у них есть готовый ответ. Конечно, и прежде была нужда. Брих изведал ее на собственной шкуре. И при президенте-гуманисте бывала безработица, несправедливость и прочее. Со многими такими явлениями надо бесповоротно покончить. Хоть бы и национализация, — он, Брих, за нее. Разве она не проводится у нас? Конечно, да! Но все это ни к чему, если нет главной духовной ценности. Жирный кусок не искупает неволи! Нужны разумные действия, соглашение, а не насилие. Этого факта ничем не изменишь, насилия не скроешь и примириться с ним невозможно. А ты, Брих? Ты хочешь работать; наконец-то, после стольких лет протекторатного прозябания ты начал человеческую жизнь, наметил перспективы, вздохнул полной грудью. Что же теперь?

Брих курил, мысли бессвязно метались в голове и расплывались без всяких выводов. Он не замечал стука пишущей машинки, и только когда Ланд перестала писать и начала ставить штемпель на письма, отвлекся от тягостного раздумья.

За спиной у него что-то шептал и бормотал Штетка. Этот паникер не находил покоя и пугался всякого пустяка. «Комитет действия, господа!» Когда стало известно, что «Кит» отстранен от дел и послан в отпуск, Штетку бросило в жар, словно следующая очередь была за ним. Говорят, что этот наш Бартош его прикончит...

— Так ведь то «Кит», — успокаивал его Главач. — Вы-то чего беспокоитесь? Что его жалеть? Он только и делал, что продвигал своих партийных «братцев». Мы для него были не люди.

— Вам смешки, господин Главач, — качал головой Штетка.— Будь я холостой, как вы, я бы тоже шляпу на бок и гоп-ля! Но у меня семья... Что, если вдруг...

— Ну и что ж? — уже раздраженно возразил Главач. — Разве вы фабрикант? Или нажили спекуляциями миллиончик и держите его под матрацем? О, господи! Вам-то какое дело! Будете вкалывать, как и прежде. И точка!

— А вдруг?..

— Какого черта! Послушайте, я политикой не занимаюсь, но уж если на то пошло, сегодня я голосовал по чистой совести. Живу я, как и вы, на трудовой заработок, из-за меня господам Зенклу и Дртине не пришлось бы подавать в отставку! А что у нас тоже жульничали — это факт. Как было в текстильной промышленности, пока их не застукали? На прилавке — ни дерюжки, а покажи кошелек — и тебя оденут в шелк и бархат. К чертовой бабушке такой порядок! Или вот наш сосед, строительный подрядчик! Вам бы иметь под старость хоть сотую долю нажитого им после войны на «черных» стройках, так вы могли бы поить семью птичьим молоком, а для своей канарейки купили бы запасные крылышки. Таких типов мне ни капельки не жалко, хоть я и не занимаюсь политикой!

Он помолчал и повернулся к задумавшемуся Бриху.

— Юрист, есть предложение: сыграем партию в шахматы после пяти? С вами ведь и не поговоришь, вы всё стараетесь постичь новую премудрость. Куда вы в конце концов ее денете? Или вы тоже струхнули, как господин бухгалтер, и боитесь, что национализируют ваш диплом и барахлишко?

Этот разговорчивый весельчак в конце концов заставил всех облегченно улыбнуться. Даже Штетка хихикнул. Но не прошло и четверти часа, как он снова обратился к Бриху с терзавшим его вопросом:

— Что вы скажете обо всем этом?

Вопросы, сплошные вопросы! Брих только пожал плечами и уставился в окно на крыши соседних домов. Слева снова затрещала машинка.

«Скорей бы убраться отсюда!» — вздохнув, подумал он.

9

Похожее на яичный желток февральское солнце плыло в синевато-серых облаках и поливало слабым, невеселым светом спящие поля, покрытые тонким снежным покровом. Близились сумерки, в бороздах уже залегли сизые тени и от них веяло холодом. Прямое асфальтированное шоссе вдруг пошло круто в гору, вырываясь из-под колес машины, покачалось на волнах невысоких холмов, прорезало тихие деревушки и снова побежало по холмистой местности.

Раж возвращался на своей машине с фабрики «Лабора» в Пшибане — производство предохранительных красок. Ему казалось, что он во сне едет по какому-то неведомому краю, — все выглядело иначе, чем несколько часов назад.

Фабрику «Лабора» Раж когда-то купил за гроши и не стал присваивать ей свое имя. Ему было чуждо мелкое тщеславие старого поколения фабрикантов — основателей предприятий. Обязательно совать в фабричную марку свое имя — устарелый пережиток доисторических времен предпринимательства! Раж прошел немалый путь: для него уже в прош-

лом старозаветная папашина торговля скобяными товарами; Андрей без сожаления расстался с нею. Это было копеечное дело, без риска, но и без настоящего размаха и инициативы. То, чем довольствовался отец, уже не удовлетворяло сына. Долой папашину лавку! Годы оккупации несколько подорвали торговлю Ража, но он быстро оправился. В 1945 году многие посмеивались над ним: ну и фабричка, «шарашкина контора», пара ветхих, крытых толем цехов, каждую осень сотрясаемых жестокими ветрами. Но смешная, ветхая фабричка оказалась золотым дном. Раж рассчитал правильно: скромный ассортимент простейших товаров, надежно охраняемых старыми патентами (для так называемого производства нужно лишь несколько химикатов и чанов), пустяковые эксплуатационные расходы — лишь бы фабричка совсем не рассыпалась, — и никаких капиталовложений. Остальное зависело от сбыта. Всем примитивным производством командовал управляющий Валеш, решительный мужчина, которому Раж доверял. У него в подчинении было два мастера и полсотни рабочих, дешевая рабочая сила, почти целиком набранная из сельских поденщиков, не имевших производственной квалификации. К тому же состав рабочих на фабрике умышленно и часто меняли.

Раж редко бывал на фабрике, он считал ее безропотной дойной коровой, и ему было ясно, что в конечном счете доходы от нее определяются находчивостью и инициативой дюжины хорошо вымуштрованных комивояжеров — его «стаи гончих», прожженных краснобаев, о которых он сам говаривал, что они «сумеют уговорить человека просверлить себе дыру в брюхе». «Лабора» работала бесперебойно и все более процветала. Раж поддерживал хитроумные связи с частными строительными фирмами, умело используя послевоенную конъюнктуру. Ему удалось завести и другие коммерческие дела, куда более рискованные, но и гораздо более доходные — экспорт и импорт. Какие безграничные и соблазнительные возможности таятся в этих знойных и волнующе опасных джунглях! Там побеждает только самый ловкий и хитрый, там можно приложить избыток энергии! Во многие министерства у Ража уже были протоптаны надежные дорожки. Круглые государственные печати послушно ложились на нужные документы, и ладони ведущих чиновников всегда с готовностью раскрывались. Так было до сих пор!

Раж нагнулся над рулем и погнал машину быстрее.

Какой олух этот Фальта! Нельзя было ему верить, нельзя было на него полагаться! Лучше сейчас не думать обо всем этом, до того противно!

В понедельник с утра Раж пытался дозвониться в Пшибань. Это удалось ему только во вторник, когда кончилась стачка. Он долго ждал у телефона, наконец, в трубке послышался незнакомый грубый голос: «Управляющего нет... Где — не знаю. Наверное, у себя дома, его еще вчера вечером отправили восвояси». — «Кто отправил?» — взревел Раж. — «Кто? Ну, известно, комитет действия». И неизвестный нахально повесил трубку.

Раж вызвал Фальту и коротко сказал ему: «На фабрике что-то стряслось, завтра я туда еду». Фальта попытался уверить его, что не может быть ничего серьезного. Мол, Валеш — стреляный воробей, он не растеряется. Рабочие там невежественные чурбаны, они ни на что не отважатся, это полностью исключено. Валеш умеет выбирать людей; насколько известно Фальте, на всю фабрику только два коммуниста, их нельзя было уволить: кроме них, никто не смыслит в оборудовании. Есть еще какой-то дряхлый старикашка, социал-демократ, остальные в порядке. Хорош порядок: комитет действия! Раж не придал значения успокоительным разглагольствованиям Фальты и сегодня утром выехал в Пшибань. По дороге он, как обычно, включил радио и еще в пути, среди го-

лого леса, услышал о принятии отставки министров. Раж остановил машину, выключил радио и вылез глотнуть свежего воздуха. Вздрагивая от холода, он присел на белый придорожный камень и закурил. «Какое ничтожество, какой трус! — пробормотал он вполголоса, вспомнив о человеке, который подписал полную капитуляцию, — тряпка!»

Раж сплюнул и опять пустился в путь.

Фабрику он увидел издалека, еще с шоссе. Она жалась к лесистому косогору и показалась Ражу унылой, чуждой и враждебной. Он остановил машину на шоссе, запер ее и быстро пошел навстречу пронзительному ветру, прямо к проходной. Чтобы не задерживаться, он не стал делать крюк к разбитой проселочной дороге, а шагал напрямик по твердой, как железо, неровной земле и, хотя спотыкался, не сбавлял шагу.

У дверей проходной его остановил молодой курчавый рабочий с красной повязкой на рукаве зимнего пальто, один из тех «неотесанных», от которых, по мнению Ража, всегда пахнет потом и луком. Он не считал нужным отличать их одного от другого, не знал и этого. Только когда парень не дал ему пройти, Раж пристально взглянул на него.

Рабочий стоял в узких дверях, загородив их широкими плечами, и упорно не отступал.

— У меня приказ никого не пускать, и все тут. — Он упрямо качал головой. Раж хотел заглянуть в проходную и даже попытался оттолкнуть парня, но тот точно в землю врос и, видно, готов был хоть в драку. Нужно было испробовать другой подход.

— Знаете вы, кто я? — спросил Раж.

— Знаю... Тем более!

— Советую вам образумиться. Нет такого закона, который запрещал бы владельцу фабрики доступ на свое предприятие. Это может плохо для вас кончиться, приятель. Подумайте!

Парень с минуту соображал, потом рассердился.

— Ну вас к бесу! Говорите с комитетом действия. Я вас не пущу, хоть на коленки станьте. И хватит разговоров!

— Ладно, соедините меня по телефону с председателем. Кто председатель?

— Не скажу. Сейчас они заседают. Вас я, во всяком случае, не соединю. Ни за что.

— Пожалеете! — холодно сказал Раж, прищурив глаза.

— За меня не беспокойтесь, я за себя отвечаю. Кончен разговор.

На шум спора вышло еще трое рабочих, они остановились у запертых решетчатых ворот, хмуро глядели на своего хозяина, покачивали головами и молчали. Потом один из них подбодрил товарища, загородившего дверь проходной.

— Правильно, Ирка, не уступай.

— Хватит, поработали на тебя! — сердито прокричал какой-то беззубый старик и помахал рукой, на которой не было большого и указательного пальцев. Его возглас привлек других рабочих в поношенных спецовках. Они сгрудились за воротами и стояли, держа руки в карманах. Среди них были две женщины. Люди, бродившие во дворе и стоявшие на открытом помосте, обернулись и уставились на ворота. Какими злыми показались Ражу грубые, морщинистые лица, измазанные разноцветной пылью, покрасневшие от мороза. И эти прищуренные глаза! На некоторых лицах он прочел робость и растерянность, стыдливый испуг перед бывшим хозяином и неуверенность в себе. Этих Раж заприметил и поглядел на них острым, понукающим взглядом; они — это брешь в стене. Двое, трое отвели взгляд, а один, тощий верзила с мешком на голове, поспешно стушевался. Но никто не поднял голоса в защиту Ража, большинство стояло, глядя на него, как на врага. Не-

долгой была его борьба. Потом раздался хриплый возглас, злые слова ударили Ража, как пригоршня камней.

— Заворачивай оглобли и катись, откуда пришел!

— Барин! — взметнулся пронзительный женский голос. — Прежде сюда не казал носу, а теперь, как прижали вам хвост, явился! Буржуй!

— Нос отморозишь, господин хозяин!

— Спокойно, товарищи! Что толку в перебранке? Прекратите!

— Ну что, все еще не поняли? Чего вы ждете?

— Извольте поворотить оглобли, господин фабрикант, вы нам тут не требуетесь.

Раж стоял и мрачно глядел в их лица. Этого он не ожидал. Вот так «чурбаны», как говорил Фальта! Круто повернувшись, Раж зашагал по твердым промерзшим кочкам обратно к своей машине. Это был не уход, это было бегство. Ветер, рвавшийся с косогора, толкал его в спину, как полицейский перепившегося гуляку, смешно раздувал полы зимнего пальто.

Раж вздрогнул от холода и прибавил шагу. Он поднял высокий меховой воротник, сунул руки в карманы и шел, спотыкаясь о кочки, чувствуя на себе десятки взглядов, гнавших его от фабрики. Что это, кошмар? Нет, все это было какую-нибудь минуту назад. Погоди, не расставайся с воспоминанием об этой минуте, в нем ты черпаешь ненависть на будущее. Если бы ты сейчас держал палец на спусковом крючке ружья или пулемета, если бы ты держал его на спуске орудия, нацеленного в толпу, там, у ворот, поколебался бы ты хоть секунду?

Три, четыре сотни шагов по заснеженному полю. Пройдя их, ты чувствуешь, что как-то дозрел... и даже постарел. «Спокойно, улыбнись!» — Раж всегда успокаивал себя этой фразой, испытывая свое самообладание в моменты, когда ярость дрожала в нем, как струна. Удалось! Теперь можно со стороны наблюдать знаменательный процесс, который происходит в тебе. Можно перевести дыхание. Проигранная битва — это не проигранная война, как говорят англичане. Война только начинается, вы, чурбаны!

Раж сел в машину, нажал на стартер, но застывший мотор не схватывал. Да ну же, наконец! Раж тщетно нажимал на стартер. Тут он заметил, что около машины собралось несколько оборванных деревенских мальчишек с сизыми от мороза лицами. Не шевелясь, они наблюдали шикарную машину и усилия водителя, потом начали давать советы. Раж опустил окно и, когда они предложили помочь, позволил покатить машину по шоссе. Подальше, прочь от фабрики!

Через несколько десятков метров мотор заработал, и Раж дал газ.

Только в среду после обеда Барох принял Бриха в своем светлом кабинете. Указав посетителю на стул, он сам расположился в кресле и закинул ногу на ногу.

— Присаживайтесь, — быстро произнес он и поднес к носу Бриха серебряную зажигалку. — Извините, что, несмотря на наш уговор, я не смог пригласить вас раньше... Нет, нет, не возражайте, я сторонник абсолютной точности в делах. Но в последние дни, как вы сами знаете... Боюсь, что и сейчас я не смогу уделить вам много времени...

Директор широко разветвленного экспортного управления Компании химических фабрикатов был приятный человек. Хорошо сохранившийся мужчина лет за пятьдесят, гладко выбритый, невысокая гибкая фигура, несмотря на маленькое брюшко. Костюм от первоклассного портного придавал Бароху еще больше лоску. Он курил, глядя в лицо Бриху с приветливой улыбкой умелого собеседника и дельца. При движении его руки блеснули два рубина в массивных кольцах. Совершенство, а не человек!

С первого взгляда виден один из тех путешественников, которых встречаешь на аэровокзалах всех столиц, на палубах трансатлантических пароходов и в просторных вестибюлях отелей, и даже затрудняешься определить их национальность. Говорит он без тени обидного безразличия гордецов, которые таким дешевым приемом демонстрируют свое место на социальной лестнице. У Бароха слова легко слетали с полных губ, вы сразу чувствовали, что внимание его целиком обращено на вас, хотя бы и ненадолго; в его речи был очень легкий и не оскорбительный оттенок поспешности, не сбивавший собеседника с толку, но побуждавший к деловой лаконичности и конкретности. Многолетний опыт научил Бароха твердо держать в руках бразды разговора и незаметно для собеседников направлять его кратчайшим путем к цели.

Беседа, которую Брих ждал с таким нетерпением, быстро превратилась в монолог директора: он взвешивал все «за» и «против», и Брих не знал, что еще сам может добавить.

И все же этот разговор ставил крест на всем...

— Дорогой друг, нам надо поговорить абсолютно откровенно. Я убежден, что вы, как и я, за откровенность. Я знаю вас как человека с ясной головой, со всеми данными, чтобы стать ценным специалистом. У вас есть образование и необходимое — подчеркиваю, необходимое — честолюбие. Я хотел вас выдвинуть, а потому обязан сказать, что сейчас для этого самый неблагоприятный момент, какой только можно было выбрать. Я полагаю, вы слышали по радио, что происходит в нашей стране и что произошло, в частности, сегодня. Я опускаю свои личные комментарии, мое дело — заграничная торговля, а не политика, хотя, к сожалению, эти две области тесно связаны. Но, разумеется, у меня есть собственная точка зрения. Короче говоря, внутриполитическая обстановка и ход недавних событий вынуждают меня взять обратно данное вам слово. Подчеркиваю: делаю это крайне неохотно. Вас это, очевидно, тоже огорчит... — Заметив недоумение на лице Бриха, Барох дружелюбно усмехнулся и продолжал: — Разумеется, причина не в том, что мне лично что-нибудь грозит со стороны этого... г-ммм... так называемого комитета действия, от оценки деятельности и целей которого я лучше воздержусь. Пока, как мне известно, для посягательств на меня не было оснований. Но практика международной торговли приучает человека быть предусмотрительным и заставляет его вычеркнуть из своего словаря обманчивое словечко «пока». Она учит мыслить практически, реально. Посягательств на меня не было, но я уже сейчас предвижу неизбежное снижение ценности работников моего типа в условиях, которые, несомненно, сложатся в нашей маленькой стране. Поэтому я не намерен больше оставаться на службе Компании. Причин много — в первую очередь, неприятие всей новой ситуации в целом. Во-вторых, у меня есть серьезные — и в свете моего опыта, я полагаю, обоснованные — сомнения в весе и значении нашей республики не только для западных демократий, но, что для меня особо важно, и в международной торговле. Не отрицаю, что налицо еще и чисто личные мотивы..

Брих впервые отозвался:

— А мог бы я знать, господин директор, — сказал он глухо, — на какое другое поприще... вы намерены...

Это был наивный вопрос, и Бароха тронула растерянность молодого человека.

Директор встал с кресла и, присев на край массивного стола, с конфиденциальным видом наклонился к неподвижному Бриху, минуту пристально смотрел на него, потом улыбнулся и заговорил.

— Хорошо, мой юный друг. Вы не возражаете против небольшого испытания по английскому языку, хотя нам обоим ясно, что практиче-

ского значения оно уже не может иметь? — спросил он по-английски. Его произношение и беглость речи были безупречны.

Брих машинально кивнул и так же машинально взял предложенную сигарету. Они сидели друг против друга, и через обитые двери к ним слабо доносился стук пишущих машинок и женские голоса.

— Мне неизвестны ваши политические взгляды, — начал Барох, — я могу только догадываться о них. Но я вам доверяю. Все же должен предупредить об абсолютной доверительности этого разговора. В нынешней обстановке это, вы понимаете, необходимо.

Брих молча поднял взгляд на Бароха, и тот продолжал. Его безупречные английские фразы, превосходный выговор, короткие паузы, чтобы собеседник лучше уяснил себе сказанное, — все, как пучок стрел, было направлено в одну цель.

— После войны я отчасти по сентиментальным мотивам вернулся в эту крохотную страну. В конце концов, я здесь родился, но бóльшую часть жизни провел за рубежом и всю войну работал в Англии; моя жена — англичанка, и, как она ни старалась, ей не удалось акклиматизироваться у нас. Разумеется, были и другие причины моего возвращения: развитая промышленность нашей страны обеспечивала ей замечательные перспективы, если бы... Но в том то и дело, что «если бы»! Будем откровенны: не думаете же вы, что у меня нет другого выхода — не говоря уже о желании — кроме как поставить свою квалификацию и опыт на службу невероятному режиму, который неизбежно воцарится здесь! Любовь к родине, знаете ли, отвлеченное понятие, а бизнес научил нас мыслить в других категориях. Я мог бы порассказать о себе, о том, как я умею торговать: еще двадцатипятилетним юношей я продал в Гамбурге пароход перца. Представляете себе: пароход перца! Говорю не для того, чтобы бахвалиться, вы понимаете, я хочу лишь, чтобы вы имели представление о масштабах моих дел и поняли, что мелкая кустарщина не для меня. Успех в международной торговле зависит прежде всего от связей: надо знать, к кому обратиться, кого заинтересовать, надо держаться солидных партнеров. Мне было бы стыдно представлять перед западными партнерами крохотную республику, которая даже не сумела уберечь свою свободу от красных. Так-то, милый Брих!

— Но что будет дальше? — беспокойно спросил Брих. — Страна ведь будет существовать, нельзя же...

Барох поднял голову, прищурившись, посмотрел перед собой и выпустил клуб дыма.

— Я не считаю, что ситуация так бесперспективна. Два-три года, по-моему, не больше. Что потом? Я представляю себе: хаос, хозяйственная разруха, естественно сопутствующее ей недовольство населения и политический распад. Логично, неправда ли? Потом война. Я, правда, не специалист в военных делах, но, по-моему, стратегическое положение нашей страны будет невыгодно для ее властителей. Да, — Барох ободряюще улыбнулся, — и я хотел бы когда-нибудь вернуться в эти милые края; многое здесь отрадно моему сердцу. У меня было немало родных... Увы, большинство из них погибло в газовых камерах Освенцима... Забудем об этом, я уже оплакал их. В общем, я возвращался сюда из честных, хотя и практических побуждений и вернусь только тогда, когда здесь восторжествуют демократия и нормальный образ жизни. Дело, однако, не во мне. Я уеду легально, я хотел сделать это еще раньше. «Лучше поздно, чем никогда», — говорит старая английская пословица. Но хватит об этом. Вы мне симпатичны, я был уверен, что мы с вами поладим, поэтому давайте поговорим о вас. Могу ли я спросить вас, что вы собираетесь предпринять?

— Не знаю, — по-чешски сказал Брих, пожал плечами и приложил руки к вискам, словно желая прекратить сумбурную скачку мыслей.

— Перед вами выбор, — продолжал Барох тоже по-чешски. — На мое место придет другой человек, я догадываюсь, кто это будет. — Он беззлобно усмехнулся и покачал головой. — Я уверен, что мой преемник гораздо больше сведущ в марксистской терминологии, чем в международной торговле. Недостаток настоящих специалистов во всех областях экономики вообще будет, по-моему, одним из важнейших факторов постепенного упадка коммунистического государства. Но у вас лично перспективы иные. Вы человек со способностями, наверняка выдвинетесь; у вас, как я убедился, хороший запас знаний, вы владеете иностранными языками, у вас есть честолюбие и настойчивость, вы можете подвизаться и в небольших масштабах, ставить заплаты на изношенный кафтан. Не сбижайтесь, пожалуйста! Вам нетрудно будет договориться с моим преемником, если ваши взгляды и гражданская совесть позволят вам служить этому режиму. Если это так, то ничто не помешает вам стать коллаборационистом.

Брих вскинул голову и поглядел на Бароха.

— Вы сказали — коллаборационист? Это слово звучит довольно одиозно в нашей стране, господин директор!

— Знаю, — невозмутимо отозвался Барох. — Хотя первоначально оно не имело такого смысла. В данном случае я сознательно употребил его... имея в виду ваше благо, друг мой. Но оставим этот вариант в стороне. Есть и другие возможности у человека с вашими данными. Не хочу, однако, вас уговаривать, у порядочных людей могут быть разные убеждения, а я сторонник терпимости.

— Мог бы я знать, что это за другие возможности, господин директор?

Барох вдруг замолк, пристально и словно в размышлении глядя на собеседника, потом соскочил со стола, вырвал листок из блокнота, начертил на нем золотым пером несколько слов и подал недоумевающему Бриху.

— Ничего особенного, мой лондонский адрес. Разбираете почерк? Фамилию я не пишу, вы ее знаете, имя мое — Оскар. Этого достаточно. Ну, берите, берите, вы ничем не рискуете, это только адрес; могут быть обстоятельства, при которых он вам пригодится. Мне хочется этим показать, что я отношусь к вам по-дружески и, быть может, немного компенсировать разочарование, которое я вам против своей воли принес.

Брих взял листок и молча положил в бумажник.

— Итак, мы условились быть взаимно откровенными, не правда ли? — спросил Барох.

— Да... — вздохнул Брих. — Но не знаю, что я могу вам сказать...

— Хотя бы и ничего, не в этом дело! — со смехом прервал его Барох. — Бывали вы когда-нибудь на Западе?

— Если не считать подневольного пребывания в Германии, где бомбы падали мне на голову, — нет.

— Ну-с? — Барох положил руки на стол, уставился на Бриха и выжидательно замолк. Молчание становилось напряженным. Брих наклонился на стуле и хрустнул сплетенными пальцами.

— Не знаю, что вам сказать, господин директор. Мне все это кажется более сложным. Во многом я с вами согласен... вполне согласен! Все же... нельзя закрывать глаза. Я просто не представляю, что мог бы эмигрировать... Ведь здесь моя родина... Подумать только, чем была для меня Прага в годы войны!.. Я бежал сюда из Германии.

— Страна и город действительно прекрасны.

— Кроме того... кое-что здесь изменилось к лучшему. Стоит только оглянуться и сразу видно: многие люди, пожалуй большинство,

ждут, что именно теперь жизнь станет лучше... Пусть даже для меня лично и не...

— Правильно, друг мой! Остается маленький вопрос: кому будет лучше? Боюсь, что отнюдь не юристам. И вообще не интеллигенции. Стоило бы вспомнить о советском примере, но мы, конечно, можем и не заимствовать его, обстановка у нас, да и во всем мире сейчас иная... Кстати, считаете ли вы нынешнее соотношение сил на земном шаре окончательным? Я — нет! Интеллигенция — по крайней мере настоящая, не продавшаяся, которая никогда не будет служить насилию и бесправию,— не поддержит нынешний режим. Есть, разумеется, и другая, их интеллигенция, этого я не оспариваю. Пора решать, теперь вы на распутье, мой дорогой. Я не сомневаюсь, что режим постарается использовать каждого специалиста, привлечь даже тех, кто пойдет на это с оговорками. Но все это только на определенный, ограниченный срок — до тех пор, пока режим создаст собственные благонадежные кадры. Видите, опять это словечко «пока». Вы с вашими способностями в любой момент найдете себе здесь применение. Но в один прекрасный день... Ладно, оставим эту тему, вы еще сами поразмыслите обо всем. Кстати, мы ведь встретились не для того, чтобы дискутировать, правда?

На столе зажужжал телефон, прервав Бароха. Он снял трубку, сказал несколько слов и обратился к неподвижному Бриху.

— Ну, друг мой, мои обязанности призывают меня. — Улыбаясь, он встал. — Извините и не обижайтесь. Кстати, по-моему, мы уже переговорили обо всем. Остается только пожать друг другу руки, и я пожелаю вам всяческого успеха. Не сомневаюсь, что вы найдете правильный путь...

Город словно весь изменился за сегодняшний день. Избегая главных улиц, Брих свернул в переулки и прибавил шагу. Спустившись к одному из проспектов, примыкающему к Вацлавской площади, он остановился: дорогу преградили отряды рабочей милиции. Им не было конца, они маршировали при свете высоких фонарей. Раз-два, раз-два! Твердым, почти солдатским шагом они шли по мостовой, свет падал на их прохваченные морозом лица, правые руки сжимали ремни винтовок, кепки были надвинуты на уши. Сотни спокойных, уверенных людей проходили мимо Бриха, изо ртов паром вырывалось дыхание. Раз-два, раз-два! Необычное зрелище приковало Бриха к месту, он стоял на краю тротуара, вздрагивая от холода. Равномерный топот подкованных сапог доводил его чуть не до головокружения, казалось, проникал до мозга костей. В рядах вдруг мелькнуло знакомое лицо: сосед Патера! Но прежде чем Брих успел разглядеть как следует, лицо проплыло мимо, наполовину скрытое тенью козырька, и смешалось с остальными.

Раз-два, раз-два! Человек в форме корпуса национальной безопасности, стоявший на краю тротуара, взял под козырек и опустил руку только, когда прошел первый отряд. Шум шагов затих, вечерняя улица опустела, Бриху казалось, что она замолкла в изумлении. Он сам был ошеломлен и сейчас приходил в себя. За эти пять бурных дней ничто не подействовало на него так сильно, как вид этого молчаливого, дисциплинированного шествия вооруженных людей, этой рабочей армии в простой одежде — армии, проникнутой железной решимостью и выросшей как бы из-под земли.

Это конец всему, конец глупеньким иллюзиям... Остается идти вперед. Вперед... но куда же, Брих?

Стараясь ни о чем не думать, Брих зашагал домой. Но на темной галерее, в уголке у лестницы, где из плохо закрытого крана шумно капала вода, Бриха ждала новая неожиданность: у дверей его квартиры, опершись о перила, стояла тонкая фигура.

Возможно ли? Что-то забытое, тяжелое нахлынуло на Бриха, сердце тревожно забилось. Так она, бывало, ждала его т о г д а!

Брих не верил глазам. Он рванулся к ней, ясно слыша, как расшатанные кафельные плитки ерзают у него под ногами. Только в трех шагах он увидел в душной темноте светлое пятно волос и услыхал знакомый голос. Да, это была Ирена!

10

На той стороне балкона осветилось окно, желтый отблеск упал на лицо Ирены. Она слегка пошевельнулась, смущенно улыбнулась и подала ему руку.

— Я жду тебя, Франтишек. Ондра, наверное, заедет за мной. Понимаешь... Я никак не могла высидеть одна в квартире... Ты удивлен?

Он попытался скрыть удивление веселой репликой.

— Нет, не удивлен, я слишком хорошо тебя знаю. Из всех возможностей ты всегда выбираешь самую необычную. Ну, заходи!

Он растерянно отпер комнату, прошел вперед и молча зажег настольную лампу, пользуясь паузой, чтобы оправиться от удивления.

— Не смотри, прошу тебя, вокруг, я сегодня не убирал! Сама знаешь, мужское хозяйство!

Он засуетился, стараясь как-нибудь навести порядок, сунул смятую пижаму в диван, прикрыл скрипучую дверь шкафа, потом зажег в печке старые бумаги и поставил на плитку кастрюльку с водой.

— Холодно, как в кутузке, — сказал он, потирая руки.

Каким привычным движением она села на свое всегдашнее место на диване! Словно еще вчера сидела тут... Ее тонкие, нервные пальцы прошлись по грубой мебельной ткани, она наклонила голову, и две пряди светлых волос упали на задумчивое лицо. Она чем-то расстроена.

— Давно я не была здесь!

— Пожалуй, целую вечность, — слегка улыбнулся он и сел напротив.

— Почему ты так говоришь?

— Не в упрек тебе, ты понимаешь.

Она отвела глаза и оглядела комнату. Пестрая диванная подушка, фарфоровый слоник на ночном столике и пятнышко на столе... Такое знакомое! Похоже на заячью голову, верно? Как давно это было! У того стула, что куплен у старьевщика, отваливается ножка. Видно ли еще днем из окна черного человека на крыше, измазанного сажей, — трубочиста, которым пугают всех малышей? Эй, трубочист, тронь меня на счастье! *

Ирена обвела взглядом знакомый мирок. Она была растрогана и старалась подавить в себе это чувство. Взгляд ее задержался на темном контуре пианино.

— С каких пор у тебя это?

— С некоего дня...

— Так... — прошептала Ирена и знакомым жестом отбросила со лба волосы.

Молчание громоздилось вокруг них, многозначительное, ненужное молчание, гнетущее бременем воспоминаний. Скорее бы снова заговорить — прервать это молчание какой-нибудь болтовней, дружеским поддразниванием и ворчливой обороной, которая вызовет отрезвляющий

* По старой примете считалось, что пачкающее прикосновение трубочиста приносит счастье.

смех. Сколько сил им в свое время стоило наладить отношения, чтобы можно было спокойно дышать, спокойно глядеть в глаза друг другу! Обычно помогало присутствие кого-нибудь третьего или нескольких людей; Брих и Ирена старались не оставаться наедине, оба подсознательно опасались пауз, недосказанных фраз, близких к скрытому упреку, звучавших ненужной горечью.

Ирена решительно встала, открыла пыльную крышку пианино и прошлась по клавишам. Быстрые тихие аккорды разнеслись по комнате, чужие и нестерпимо фальшивые: пианино было сильно расстроено. Ирена засмеялась и энергичнее ударила по клавишам. Плач встревоженного младенца в соседней комнате заставил ее остановиться.

— У соседей родился мальчик, — коротко объяснил Брих.

Ирене стало неловко, и она попыталась скрыть это вопросом:

— У Патеры?

— У тебя хорошая память, — засмеялся он и встал. — Как видишь, девочка, у меня все по-старому. Печка так же дымит, в приемнике надо заменить выходную лампу, а диск патефона попрежнему приходится раскручивать пальцем. Я — бездарность в технике. Ничто не изменилось в этой дыре и...

Ирена торопливо вернулась на диван. Она повернулась к Бриху, с лица ее вдруг исчезла улыбка.

— Ты тоже не изменился? — прервала она его на полуслове.

Он бросил на нее обеспокоенный взгляд и попытался улыбнуться.

— Я? Воспитание чувств, полученное с твоей помощью, раскрыло мне глаза, я вскачь окончил факультет, получил звание доктора прав, потом поступил на службу, снова глотаю знания, как прилежный ученик, и сейчас ты видишь перед собой человека with a great expectation, — как сказал старик Диккенс, человека с большими надеждами. К сожалению, он все ждет, пока сбудутся эти надежды и, судя по нынешней обстановке, долго еще будет ждать. Но он не хнычет. А сегодня...

— А сегодня тут снова сижу я, — прервала она.

— Да! — быстро сказал он и сел напротив. Стул под ним угрожающе закачался. — Что поделаешь! Остается только дружески сказать: добро пожаловать! Чай скоро закипит; надеюсь, ты пока не закоченеешь. Итак, добро пожаловать, хоть я и не знаю, какой ветер занес тебя сюда... в мою берлогу.

— Наверное, потребность выбирать самый необычный путь, как ты сказал.

— Ладно.

— Я поступила неправильно?

— Нет, — голос его был нетверд. — Конечно, с одним условием...

— Я его знаю, Франтишек.

Опять молчание. Вода в кастрюльке, наконец, закипела и дала Бриху желанную возможность встать и скрыть смущение. Он заварил чай, единственным достоинством которого была его температура, и они стали молча пить его, словно это было занятие, требовавшее максимального внимания. Ирена поставила чашку на ночной столик и расстегнула пальто, ей, видимо, стало теплее. Брих чувствовал на себе ее напряженный взгляд и упорно уклонялся от него, понимая, что рискованный разговор близок. Мысли обоих упорно стекались в одно русло.

Брих хотел заговорить, но она опередила его.

— Мы с тобой до конца жизни обречены на молчание?

Он машинально кивнул.

— Я думаю, что между нами есть безмолвный уговор — не раздувать огонь под пеплом. Это условие наших встреч... как друзей.

— Друзья могут быть откровенны и искренни. Иначе...

— Всякая дружба основана на каких-нибудь условиях.

Он выпрямился и заходил по комнате. Зачем она начала этот разговор? Нет, не надо разрывать могилу, где покоится мучительная любовь, рожденная годами оккупации и иссякшая, когда кончилась война. Хватит! Сколько душевных сил ему это стоило, сколько раз он стискивал зубы. Напряженная работа, надежды на будущее, упрямая воля к жизни помогли. Шрамы скрыты глубоко, но теперь могут воспалиться. Нет, нет, не могут, теперь все уже прошло! Должно пройти!

Брих сунул руки в карманы и перевел дыхание. Потом недовольно покачал головой, почти подозревая Ирену в том, что она пришла разыграть какую-то жестокую мелодраму. Зачем, со скуки, что ли? Лучше молчать! Но молчание опасно, оно тяжело, как свинец. Брих попытался успокоительно улыбнуться:

— Ты все та же!

Она понурилась, на лицо легла серая тень.

— Ты никогда не понимал меня. Но ты добрый, ты принял меня по-дружески, хоть и не веришь мне...

— Откуда ты знаешь?

— Не сердись, я чувствую. Не будем говорить об этом, Франтишек. Ничего ты не понял. Ты всегда видел во мне лишь поверхностную, шальную девчонку, капризную и балованную. Да, я оставила тебя и вышла замуж за Ондру... Он был богаче, щедрее, сильнее — так ты это себе представляешь? Что ж, я обманула доверие, вот и все. Сейчас ты спрашиваешь себя, зачем я пришла. Я скажу: потому что я тебе доверяю. Мне не с кем поговорить, я одинока, и у меня...

— И это говоришь мне ты, жена Ондры! По какому праву?

— Разве это важно?

— Очень важно! Кстати, ну и денек ты выбрала для этого. О господи!

— Пусть! Я не могла не прийти. Именно сегодня!

— Оглянись, посмотри, что делается вокруг. В последние дни произошли события, которые перевернут всю нашу жизнь. Я еще не разобрался как следует во всем, но я нутром чувствую это, девочка. Это будут памятные дни. Серьезно, Ирена, пустяки сейчас надо оставить. Я все уже давно в себе погасил... слава богу! А теперь...

— А теперь остается одно: политика! — гневно воскликнула она, но тотчас стихла и закрыла руками лицо. — Это похоже на заклинания: политика, эпоха... Я всегда считала, что мне до этого нет дела. При чем тут я, Франтишек? Все вы носитесь с политикой, как одержимые: Ондра, ты, мой брат... Я с ума сойду от этого! Ондра говорит: чего тебе не хватает, дурочка? Ты моя жена, политика — это гадость, грязь. Но ведь я тоже человек, а не бесчувственная кукла без воли и разума! Меня все это тоже касается, я знаю! Я хочу, чтобы кто-то поговорил со мной, чтобы мне помогли разобраться; мне кажется, что я блуждаю в тумане, и от этого мне страшно. И к кому было пойти, как не к тебе?

Брих всплеснул руками.

— Дорогая, боюсь, что ты выбрала неверный адрес. У меня самого ералаш в голове. Хаос! Я не знаю, что делать и что будет дальше... Как я могу помочь тебе разобраться? Что может объяснить человек, который сегодня, только сейчас, потерпел крах всех надежд? Да, да, Ирена! Я думал, что строю на прочном фундаменте: на знаниях, на своем дипломе. А что получается? Не знаю! Все покрыто мраком неизвестности. Я работал как вол и все ждал, ждал. Распланировал свою жизнь, свою работу... себя самого. А теперь мне кажется, что под ногами хрустят осколки разбитого вдребезги. Что будет дальше? Это я хотел бы знать! Ждать? Не знаю, сейчас вовсе не знаю, кто прав, кто неправ... — Он

умолк, подперев голову руками, глядя на женщину, сидевшую перед ним, и от усталости у него сомкнулись веки. Словно кто-то набросил на Бриха тяжелое одеяло: хотелось спать, только спать. Спать и не разговаривать, не думать, не чувствовать ничего... Он содрогнулся от холода и поднял голову, только когда за дверью послышались шорох и стук. Вошедший Раж застал их в унылом молчании.

— Что же вы, граждане, сидите тут, как монахи в великий пост?

Раж был немного навеселе, Брих заметил это по блеску его глаз и нетвердой походке. Они обменялись рукопожатиями, Раж повалился в кресло и устало запыхтел. Рассеянным взглядом он обвел комнату, слова не шли ему на язык, потом потер руками лицо и сказал:

— Нечего сказать, весело тут у тебя! Как раз подходящее для меня настроеньице! Запустить бы какую-нибудь заунывную пластинку, было бы в самый раз!.. Эх, если бы вы знали...

— Что с тобой? — спросил Брих.

— Ты еще спрашиваешь! — Раж, пошатываясь, встал, чтобы снять промокшее пальто, но ноги у него ослабели от алкоголя, и он снова плюхнулся в кресло.

— Промахнулись мы, юрист! — хрипло произнес он. — Все... все пошло к чертям! А ты все проповедуешь? Правильно, так нам и надо. Мы тоже проповедовали и играли в демократов, вместо того чтобы... Э-э, к черту все! Голова трещит! Надеюсь, наш юрист отвлек тебя от твоих мыслей, Ирена?

Она попыталась прервать его, но Раж отмахнулся.

— Ну, ладно, ладно, я только скажу пару слов нашему социалисту. Теперь ты видишь, Брих? Это грабители! Грабители и убийцы! Воры!

— Не кричи, рядом спят. Ты пьян, вот и все.

— Да, пьян. Почему мне не напиться? Ты можешь оставаться равнодушным. Ты всегда был нищим, мудрствующий интеллигент, тебе все трын-трава! Ты примиришься с этим. Похнычешь немного над утраченной свободой и демократией, а потом наденешь на себя хомут. Заткнешься и станешь ручным, я тебя знаю!

— Ты смешон, — отозвался Брих. — Шел бы ты спать!

Раж кивнул отяжелевшей головой.

— Ты прав, довольно мы с тобой наговорились за те годы, что знаем друг друга. Довольно поспорили! Демократия, свобода, социализм! Пхе! Сейчас не время спорить. Что такое свобода, черт возьми? Теперь ты это видишь. Дай черни свободу — и получишь нож в спину, как получил я! Бей тиранов, бей эксплуататоров! Видел бы ты это сегодня! Работнички умеют скалить зубы. Взять бы пулемет и загнать всю эту сволочь в их норы. Свинцом их кормить, а не речами.

— Извини, но я еще порядочный человек и не пал так низко, — возмущенно прервал Брих. — Не будь ты пьян, я бы открыл дверь и выставил тебя на мороз.

— Видишь, какой он, погляди только, Ирена, на этого беззубого демократа, — хрипло рассмеялся Раж, тыча пальцем в Бриха. — Ладно, ладно, поговори, пока они не взяли и тебя за горло. Не воображай, что вы, юристы, будете нужны! Пхе! На черта им ваши просвещенные мозги! Дадут вам немного поболтать, а потом марш в концлагерь. Шепчитесь там, братцы, сколько угодно о возвышенных идеалах. Ты это понимаешь не хуже меня!

Он взглянул на притихшую Ирену, и его смутил испуг на ее лице. Затаив дыхание, она не сводила с мужа глаз, расширенных страхом. Раж устало покачал головой и взял ее за руку. Рука была как неживая.

— Ничего, Ирена. Я немного перехватил, но скажи я тебе, что мне

пришлось сегодня перенести, ты поняла бы меня. Подлое время! А что мы тут с Брихом заспорили, — это старая привычка, еще с детских лет. Не обращай внимания. Тебя все это не касается, не принимай всерьез того, что я сказал.

Она вырвала руку и съежилась на диване.

— Касается, Ондра!

— То есть? Надеюсь, наш пророк не сбил тебя еще больше с толку?

— Можешь говорить что хочешь, — раздраженно сказал Брих. — Мои взгляды тебе известны: я не против социализма. Никакой разумный человек не может...

— Ага! — Раж с веселым видом хлопнул себя по колену. — Не говорил ли я! Ты и тебе подобные смиритесь! Придете в Каноссу! Хлеб насущный дороже разговорчиков. Правильно! Будешь вести себя хорошо — скоро станешь у коммунистов парторгом. При твоем-то усердии и сообразительности!

— Вздор! — возразил Брих. — Конечно, мы с тобой разные люди, и ты знаешь это. Твой отец был богачом, и ты пристрастен. Но ради кучки людей не должны повторяться былые несправедливости. Я за социализм, но не за то, что творится сейчас: надо искать другой путь, но не вспять.

— Интеллигентщина! — усмехнулся Раж. — Шли к лесу, звали волка, волк пришел и сожрал их с потрохами. А теперь они будут хныкать.

—Ничего ты не понимаешь!

Брих встал. Сунув руки в карманы и наклонив голову, он зашагал по комнате, чтобы согреться. Когда он напряженно думал, то не мог сидеть на месте, у него начинала кружиться голова и сердце сжимала тоска. Что будет дальше? Брих остановился у книжной полки и не без нежности потрогал корешки книг, которые покупал, отказывая себе в еде. Он вздохнул. Прощай, мятежник и бродяга Рембо, ты не понадобишься в мире, на пороге которого мы стоим. Кому нужны твои хрупкие образы, облеченные в трепетные слова, ты устарел. Прощайте, вечно недочитанные Пруст и Верлен, как вы ненужны и немы в наступающем веке тракторов и лопат! Вас заменят политические брошюры. У нашего века суровая правда жизни — хлеб. Тенденциозность во всем! В музыке понадобится разве гармоника: под нее хорошо орать песни трудовых бригад. Иная и поэзия нового века, она чужда мне, у нее вкус ржаного хлеба. Кого теперь волнуют Дебюсси и Равель? «Смиришься», сказал Раж. С чем? С крахом моих надежд, с миром, который нельзя не признать, но где я чувствую себя чужеземцем?

— Что вы соизволите предпринять, гражданин? — насмешливо произнес за его спиной Андрей. — Взбунтуетесь? Сядете в тюрьму как образцовый мученик за свободу?

Брих резко повернулся, но сдержался и только пожал плечами.

— Я? Нет. Это ни к чему. Понимаешь ли, я не уверен, что они не правы, вот в чем дело! Против кого бороться? Против рабочих? Я не сентиментален, но не смогу этого. Как хочешь, они во многом правы. Будь я уверен в обратном, не думай, я бы не колебался... Голова идет кругом! Я не примирюсь, но... Сегодня мне вспомнилась мать. Она надорвалась на работе, чтобы я мог выучиться и выйти в люди! Она не была коммунисткой, верила в боженьку и в католический рай. Обманутая нищая! Сердце сжимается, когда вспомнишь об этом. Будь она коммунисткой, мне не было бы так ее жалко. Коммунисты не были одиноки: в каждом из них жила надежда и ненависть. Ты этого никогда не поймешь.

Раж слушал, удобно развалившись в кресле и вытянув ноги.

— Что же ты предпримешь? — спросил он, покачивая головой.

— Не знаю, может быть, ничего. Постараюсь сохранить разум, сердце и чистые руки. Не впервые в истории людям, которые жаждут достойной жизни, приходится замыкаться в себе.

— И ждать!

— Может быть, и ждать, если есть чего. Но только не примириться со злом, из какого бы лагеря оно ни пришло. И не служить ему.

— Значит, загнивать. Короче говоря, ты проспал те блаженные времена демократии, когда можно было за кружкой пива поспорить о лучшем устройстве мира. Нынешнее время само хватает за фалды и без церемоний спрашивает: маленький человек, какова твоя позиция? Ты за или против? Можем мы на тебя рассчитывать или надо дать тебе почтительного пинка? Мы не намерены за тобой ухаживать и расспрашивать: что вас беспокоит, сударь?

— Мои мысли остаются со мной, вот здесь, — Брих постучал себя пальцем по лбу. — До них никому нет дела.

— Долго ты собираешься выдержать в такой позиции, приятель?

— Это мое дело! — вспылил, наконец, Брих. — Не сомневаюсь, что ты...

Раж тяжело встал.

— Разумеется. Я не опущу рук, я не интеллигент. Это не конец драки, а только начало.

Пошатываясь, он подошел к радиоприемнику, включил его и начал вертеть ручку. Брих не сводил с него глаз. Через минуту в приемнике послышалось хорошо знакомое: тра-та-та-там! Четыре удара в литавры с трудом доносились сквозь оглушительный шум и треск, и Бриху казалось, что они пронизывают его насквозь.

— Говорит Лондон. Начинаем нашу вечернюю передачу..

Брих сел на свое место, провел ладонью по пылающему лбу, чувствуя, что по спине у него пробежали мурашки. Слышишь! Вспомни ночи времен протектората: тра-та-та-там! Война продолжается! Твоя жизнь последних лет — лишь обманчивая интермедия в кровавом спектакле и больше ничего.

Диктор изрыгал поток новостей о Чехословакии. «Нью-Йорк геральд трибюн» сообщает о коммунистическом путче... Корреспондент парижского «Фигаро» передает из Праги... «Дейли мейл»: демократический мир возмущен поруганием свободы и демократии в Чехословакии... Массовые аресты, расстрел студентов... Опустился железный занавес, предсказанный Уинстоном Черчиллем! Франция: премьер-министр... Война, война, война!

Люди опять начнут спрашивать: будет война?

Брих с содроганием слушал радио, слова диктора захлестывали, как мутный поток. Он взглянул на Ирену. Она сидела на диване бледная и нервными пальцами теребила бахрому пестрой подушки. Их взгляды встретились. Что было в ее глазах? Только бессильный и безмолвный страх. Тра-та-та-там! Помнишь? «Берегись, нет ли кого-нибудь за дверью».

«Ирена, — говаривал он ей тогда, — война кончится! Представляешь себе? Перестанут выть сирены, мы не будем жаться у водосточной трубы... Как мы устроим свою жизнь? Ты не будешь ночами упаковывать гайки на заводе Юнкерса... Эти исцарапанные пальцы будут касаться только клавиш рояля. В мире настанет тишина, глубокая утренняя тишина, как после ночной бури. Только ветер будет шелестеть в густой листве...»

«Чехословакия в руках коммунистов — револьвер, направленный на Запад!..»

Мир! Как мы ждали его! Он казался тихим пристанищем затравленных, надежным берегом, где можно прилечь, дать отдохнуть измученному телу, затихнуть и ощущать, как сладка жизнь! Не беда, девочка, что у нас ничего нет. Мы уберем старый мамин комод и купим новый. Мы найдем себе квартиру. В ней все будет белое, светлое, как мир. В ней будут яркие лампочки! Ты права. Мы будем работать и жить друг для друга, вот увидишь, чего мы добьемся!

«...Западные государства получили новый урок», — пишет «Монд».

Как же все это случилось?.. Ирена сидит напротив, сложив руки на коленях, лицо ее в тени, в глазах испуг. Что сказать ей? Все растаяло, как снежная баба под лучами солнца, все было кончено... Вдруг вихрь этих пяти дней ворвался в твою жизнь, все в ней перепутал и вывернул наизнанку, перевернул весь твой мир. Брих вспомнил сегодняшний разговор с Барохом и ощутил бессильный гнев. Конец всему! Конец «выходу в люди», мама! «Смиришься, — говорит Андрей, — будешь служить». Как сказал этот приветливый, ловкий человек в директорском кабинете? «Станете коллаборационистом». От жалости к самому себе и к этой женщине у тебя перехватывает дыхание... Чего она боится?

Таков, стало быть, мир, о котором мы мечтали? Послушай, они лгут, люди из того лагеря, все лгут! Взгляни хоть на своего старого приятеля, вот он, Ондра, который столько раз выручал тебя при протекторате. Вы были друзьями, хоть это и странная дружба. А сейчас он согнулся у освещенного ящичка радио и впитывает в себя каждое слово, как высохшая земля впитывает дождь. Тра-та-та-там!

Раж выключил радио, выпрямился и потянулся, словно стряхивая пыль и усталость. Он вынул из кармана портсигар и закурил, сосредоточенно размышляя.

— Что будешь делать ты? — спросил Брих.

— Этот вопрос вполне ясен. По правде сказать, я учитывал все возможности. Ты меня знаешь. — Он самодовольно улыбнулся и выпустил дым. — Еще кое-какие дела закончу здесь, а потом за рубеж! Через западную границу! Ты поедешь с нами.

Он сказал это решительно и уверенно, и Брих внутренне весь ощетинился от протеста. Вечно одно и то же: Брих всегда упирался. Сегодня он лишь спокойно и решительно покачал головой.

— Не поеду. Это вздор.

— Поедешь, мой мальчик! У тебя гамлетовская натура: будешь долго колебаться, но, наконец, соберешь свои монатки и поедешь. Там за себя бояться нечего, а здесь тебе не будет жизни, — разве если дашь скрутить себя в бараний рог. Но ты честный человек и идеалист, я тебя знаю. А со мной ты не пропадешь, не бойся.

— А что потом?

Раж устало улыбнулся.

— Иные, может быть, будут призывать к сопротивлению, к подпольщине. Найдется немало сумасбродов, которые обожгутся на этом. Я не сторонник геройских поз и романтики. Это совершенно бесцельно, внутри страны не вырвешь власть из рук коммунистов. Я подхожу к вопросу практически: война! Верное дело, карта, которая не может быть бита, и выигрыша ждать недолго. На нее я ставлю, не колеблясь, мой мальчик.

— Таков, стало быть, выход? — ужаснулся Брих. — Нет, я его не принимаю.

— Можешь не принимать! — грубо крикнул Раж. — Мир наплюет на твое согласие, пацифист! Не приемлешь? Я бы тоже предпочел мирно заниматься торговлей. Но если иначе не выходит, — значит, берись за пулеметы. Я приемлю, тысячу раз приемлю!

В хмельном взгляде Ража была злоба, он представлял себе группы рабочих во дворе его фабрики, видел их лица, стиснутые зубы, сжатые кулаки. Сколько раз уже вставала сегодня в его сознании эта сцена!

— Так-то, друже! Это я называю отстаивать свободу делом, а не скулить об ее утрате. Так должно быть! Главный козырь в наших руках — это атомная бомба, если хочешь знать!

Раж почти выкрикнул эту фразу, стукнув кулаком по ручке кресла. В наступившей тишине вдруг раздался жалобный, укоризненный плач младенца, пробужденного от сладкой дремы. За стеной щелкнул выключатель, и было слышно, как мать убаюкивает ребенка.

Ирена больше не владела собой. Ошеломленный Брих слышал ее учащенное дыхание, похожее на всхлипывание. Подавив вопль, она впецилась пальцами в волосы, вскочила с места и без шляпки, в расстегнутом пальто, не оглядываясь, бросилась к выходу. Не успели мужчины опомниться, как Ирена исчезла во тьме.

(Продолжение следует)

Магда Исанос

Стихи

Биографию талантливой румынской поэтессы Магды Исанос можно рассказать в нескольких словах. Она родилась в 1916 году в Яссах, где закончила гимназию и юридический факультет. Тяжелая, неизлечимая болезнь оборвала жизнь Магды Исанос, когда поэтессе было всего 28 лет.

За год до ее смерти, в 1943 году, вышла в свет ее первая книга стихов. Два других поэтических сборника Магды Исанос — «Песни гор» и «Страна света» — появились уже посмертно, в 1945 и 1946 годах. Страдания, причиненные болезнью, не помешали творчеству поэтессы стать светлым гимном всепобеждающей любви к жизни, к природе, к людям.

Магда Исанос воспевала торжество жизни, радость творчества, непрерывного обновления всего живого, победного роста нового.

Стихи поэтессы проникнуты безграничной любовью к лесам и горам, к рекам и небу, к полям. Но больше всего насыщены они любовью к людям.

Стихи, написанные ею во время войны и вошедшие в сборник «Песни гор», рисуют образ поэтессы-патриотки.

Магда Исанос в годы войны своим творчеством боролась за то, чтобы на земле воцарился мир для всех простых людей. Эта мечта властно звучит во всех стихах поэтессы, отдавшей свой талант и искреннюю, горячую любовь родной стране.

Я НЕ МОГУ ПОНЯТЬ, ПОЧЕМУ...

Перевод с румынского М. Алигер

С белыми березами, с дубами
и они произрастают рядом.
Что же они горбятся так быстро?
Я не понимаю, почему?
Почему свой взгляд — не понимаю! —
опускают в землю, словно звери?

Люди, встаньте и расправьте плечи!
Вы, которые без птичьих крыльев
научились подниматься в небо,
пальцами короткими своими
изменяющие путь дождей,
след червя читающие, словно

вести из промчавшихся столетий,
почему вы умирать согласны
в унижении и в нищете?

Люди, отправляйтесь в путь-дорогу!
Будьте, как весенние потоки,
как они, пускайтесь, люди, в путь!
Знаю я: вы не боитесь смерти,
смерть вам служит лучшей похвалою.
Что же вы стоите без движенья?
Если б я могла своею смертью
ваш поход к грядущему ускорить —
вот, кинжал готов!
Дайте, люди, знамя!

О, КАК ЖДУ Я НАЧАЛА...

Перевод с румынского Ал. Ревича

О, как жду я начала —
жду первого мирного года.
Будет войнам конец, и наступит свобода
— Брат, прости, —
говорит мое сердце нередко, —
позабудь же вражду наших предков
и во имя людских страданий
руку дай мне.
Землю грызла и я,
подавляя рыданья.
Догорел мой очаг, и близких не стало,
а отчизна пылала.
Кровь струилась, как зарево,
а в далеком просторе
предо мной,
за моею спиной
подымались и падали зори.
Мы границы и реки пересекали,
хребты и степные дали,
и великими из великих
безымянные воины стали.

Отступали в страхе народы,
словно полые воды.
Мать с ребенком снаряд убивал
наповал
и в могилу их зарывал.
На полях опустевших
урожай сапогом был размолот,
и вставал призрак гибели — голод.

А в позолоте южного зноя
спокойная яхта плыла, горя белизною,
снежной чайкой парила над синевой океана.
Заморский магнат на борту
раскуривал смачно «гаванну»
и «нехудо устроенный мир» созерцал на просторе
этот червь, разжиревший
в гноящейся ране истории...

Брат, пора нам с прошлым расстаться,
с миром враждующих наций.
Ты всегда,
как и я, создаешь орудья труда.
Пашешь землю и пишешь, быть может, романы.
Есть лачуги убогие
в самых различных странах.
Брат мой, поздно ложишься ты спать,
подымаешься рано, —
вижу я на твоем лице
отпечаток труда и бессонницы.

Дай же руку, о брат мой, покончим с враждой.
Где бы ты ни был — приди, хотя б из могилы сырой.
Погляди: всходит солнце...

НЕ ИЩИ МЕНЯ, ДИТЯ РОДНОЕ

Перевод с румынского Ал. Ревича

Не ищи меня, дитя родное.
Пусть уйду — я навсегда с тобою.
Не горюй, что мамы нет на свете.
Ты найдешь меня в любой примете.

Стану я цветком в траве зеленой,
тучей проплыву по небосклону
и по кровле прозвеню покатой,
под которой я жила когда-то.

Позови меня в часы страданий,
сердцем я твою беду почую,
я приду из дали самой дальней,
над морскою бездной пролечу я.

Не страшись — я непохожей стану.
Скажешь: «Ты — не мама. Лик твой странный».
Только голос мой узнаешь сразу,
услыхав в деревьях шопот сказок.

По приметам ты узнаешь многим,
как склонюсь я над тобой в тревоге,
сквозь окно вдохну прохладный воздух,
тихо опущу на землю звезды.

Генрих Бёль

Молчание доктора Мурке

РАССКАЗ

Перевод с немецкого С. Фридлянд

Каждое утро, едва переступив порог Дома радио, доктор Мурке посвящал несколько секунд психической гимнастике: он вскакивал в кабину непрерывно движущегося лифта патерностер, но вместо того, чтобы выйти на втором этаже, где помещалась его редакция, проезжал выше — мимо третьего, четвертого, пятого, — и всякий раз, когда кабина поднималась над уровнем пятого и проходила над пустым пролетом, в то время как смазанные маслом железные цепи и кряхтящие барабаны с лязгом и скрипом переводили ее из подъемной шахты в спусковую, Мурке испытывал страх; в страхе смотрел он на это единственное ничем не прикрашенное место во всем здании, а когда кабина принимала нужное положение и, миновав это страшное место, начинала плавно спускаться мимо пятого, четвертого, третьего этажа, — Мурке облегченно вздыхал. Во втором этаже, где помещался отдел культуры, он выскакивал из лифта в наилучшем расположении духа. Четыре с половиной секунды страха были ему необходимы, как другим необходимы к завтраку кофе, овсяные хлопья или фруктовый сок. Отперев дверь редакции, он неторопливо подходил к своему креслу, усаживался в него и закуривал сигарету — он всегда первым являлся на службу. Он был молод, неглуп и чрезвычайно обходителен; и даже его высокомерие, которое по временам давало себя знать, ему легко прощали, зная, что, во-первых, он неглуп, а во-вторых — изучал психологию и кончил курс с отличием.

* * *

Вот уже два дня, как Мурке по некоторым причинам воздерживался от своей обычной порции страха к завтраку; он приходил на радио к восьми часам, немедленно шел в одну из студий и принимался за работу, так как получил от директора задание отредактировать два выступления великого Мур-Малотке о сущности искусства, уже записанные на пленку, и в соответствии с указаниями самого Бур-Малотке кое-что из них вырезать. Дело в том, что Бур-Малотке, которого захватил общий религиозный подъем 1945 года, однажды среди ночи, по его собственному выражению, «был охвачен сомнениями религиозного порядка», почему он и решил в двух своих получасовых выступлениях о сущности искусства вычеркнуть часто встречающееся слово «бог» и заменить его формулировкой, более соответствующей тому образу мыслей, которого Бур-Малотке придерживался до 1945 года. Бур-Малотке предложил ди-

ректору заменить слово «бог» выражением «то высшее существо, которое мы чтим». Но снова наговаривать всю пленку не пожелал и просил только вырезать слово «бог» и вклеить вместо него фразу «то высшее существо, которое мы чтим». Известно, что Бур-Малотке состоял в дружеских отношениях с директором, но не дружбой объяснялась уступчивость шефа: Бур-Малотке был не из тех, кому можно перечить. Во-первых, он написал уже девять книг критико-философско-религиозно-культурно-исторического содержания, во-вторых, сотрудничал в редакциях целого ряда газет и журналов и, наконец, занимал должность главного рецензента при одном из крупнейших издательств. Бур-Малотке изъявил готовность заехать в Дом радио в среду на четверть часа и столько же раз наговорить на пленку «то высшее существо, которое мы чтим», сколько раз встречалось у него слово «бог». В остальном же он вполне полагался на опыт и умение сотрудников редакции.

Шеф не любил Мурке, хотя в свое время он принял Мурке на службу, как только ему его порекомендовали: так директор зоопарка, всем сердцем приверженный к ланям и кроликам, приобретает хищных зверей, потому что какой же это зоопарк без хищников. Итак, шеф поручил Мурке вырезать кое-что из выступлений Бур-Малотке. Оба выступления значились в программе передач на четверг. Сомнения религиозного порядка обуяли Малотке в ночь с воскресенья на понедельник, и тому, кто осмелился бы вступить с ним в спор, лучше было сразу покончить жизнь самоубийством; шеф же был слишком полон жизненных сил, чтобы помышлять о самоубийстве.

В понедельник после обеда и во вторник утром Мурке трижды прослушал оба получасовых выступления о сущности искусства, вырезал слово «бог», а в короткие перерывы вместе с радиотехником молча курил, размышляя о жизненных силах шефа и о Бур-Малотке. До этого времени он не прочел ни одной строчки Бур-Малотке, не слышал ни одного его выступления. В ночь с понедельника на вторник он видел во сне лестницу, высокую и крутую, как Эйфелева башня; на эту лестницу загнал его шеф, и он уже лез наверх, но вдруг заметил, что ступеньки смазаны мылом, а внизу стоял шеф и кричал: «Ну, смелей, Мурке, смелей, покажите, на что вы способны!» В ночь со вторника на среду ему привиделся похожий сон: будто он попал на народное гулянье, решил прокатиться на американских горах и заплатил за вход тридцать пфеннигов какому-то человеку, чье лицо показалось ему знакомым. Но когда он поднялся на американские горы, то убедился, что высотой они не меньше десяти километров, а повернуть назад уже нельзя, и тут его осенило: человек, взявший с него тридцать пфеннигов, был сам шеф...

Естественно, что после таких снов Мурке уже не испытывал потребности в безобидной утренней порции страха.

* * *

Был уже четверг. Этой ночью ему не снились ни мыло, ни американские горы, ни шеф. Улыбаясь, он вошел в Дом радио, вскочил в патерностер, поднялся до пятого этажа — четыре с половиной секунды страха, лязг цепей, ничем не прикрашенное место — потом спустился на четвертый, выпрыгнул и пошел в студию, где договорился встретиться с Бур-Малотке. Без двух минут десять он опустился в зеленое кресло, поздоровался с техником и закурил сигарету. Спокойно вынул из нагрудного кармана записку и взглянул на часы: Бур-Малотке был пунктуален, во всяком случае, о его пунктуальности ходили легенды, и когда секундная стрелка отметила шестидесятую секунду, минутная переползла на

двенадцать, а часовая — на десять, — дверь распахнулась и в студию вошел Бур-Малотке. Мурке с любезной улыбкой встал навстречу Бур-Малотке и представился. Бур-Малотке пожал ему руку, тоже улыбнулся и сказал: «Что ж, начнем!»

Мурке взял со стола записку, сунул в рот сигарету и, заглянув в бумажку, сказал: — В ваших выступлениях «бог» встречается ровно двадцать семь раз. Следовательно, я должен просить вас двадцать семь раз сказать то, что нам надо вклеить вместо бога. Мы были бы вам признательны, если бы вы наговорили тридцать пять раз, чтобы при расклейке у нас имелся некоторый запас.

— Согласен, — улыбнулся Бур-Малотке и сел.

— Тут, правда, есть одно затруднение, — продолжал Мурке. — В вашем выступлении слово «бог» не требовало согласования с другими словами, а вот «то высшее существо, которое мы чтим» потребует согласования существительного с указательным местоимением и прилагательным. У нас здесь насчитывается, — он любезно улыбнулся Бур-Малотке, — десять именительных падежей и пять винительных, то есть пятнадцать раз надо сказать «то высшее существо, которое мы чтим», затем пять дательных, то есть «тому высшему существу, которое мы чтим», и, наконец, семь родительных — «того высшего существа, которое мы чтим». Остается еще звательный падеж — там, где вы говорите: «О боже!» Я позволил бы себе предложить вам сохранить звательный падеж и сказать: «О ты, высшее существо, которое мы чтим!»

Бур-Малотке явно не предвидел этих затруднений, он даже вспотел: история с падежами его крайне опечалила.

Мурке любезно продолжал:

— В общей сложности, если двадцать семь раз произнести вставленные слова, это займет одну минуту двадцать секунд, тогда как слово «бог», повторенное двадцать семь раз, занимало всего двадцать секунд. Следовательно, из-за внесенных дополнений нам придется сократить каждую передачу на полминуты за счет других слов.

Бур-Малотке обливался потом. Мысленно он выругал себя за непрошенные сомнения религиозного порядка, а вслух спросил:

— Вы уже вырезали бога?

— Да, — ответил Мурке, вытащил из кармана жестяную коробочку из-под сигарет, открыл ее и показал Бур-Малотке: там лежали крошечные темные обрезки пленки. Мурке тихо сказал:

— Вот бог, которого вы наговорили двадцать семь раз. Возьмете себе?

— Нет, — свирепо ответил Бур-Малотке. — Спасибо, я поговорю с шефом относительно этих полуминут. Какие передачи идут после меня?

— Завтра, — сказал Мурке, — обычный обзор культурной жизни, наша передача, ведет ее доктор Гром.

— Проклятье! — выругался Бур-Малотке. — С Громом не договоришься!

— А послезавтра, — продолжал Мурке, — за вашим выступлением идет передача «Мы пустились в пляс».

— Ведет Хуглием, — простонал Бур-Малотке. — В жизни еще не бывало, чтобы отдел развлечений уступил культуре хоть четверть минуты.

— Да, — подтвердил Мурке, — никогда не было, по крайней мере... — он постарался придать своему юношескому лицу выражение безграничной скромности... — по крайней мере с тех пор, как я здесь работаю.

— Ладно, — сказал Малотке и взглянул на часы, — за десять

минут мы, вероятно, управимся, потом я поговорю с директором насчет своей минуты. Начнем же. Вы можете мне дать вашу записочку?

— С удовольствием, — ответил Мурке, — я все цифры уже знаю наизусть.

Когда Мурке вошел в застекленную камеру, техник отложил газету. Он улыбнулся Мурке. За шесть часов совместной работы в понедельник и вторник, когда они прослушивали выступления Бур-Малотке и вырезали слово «бог», Мурке и техник не обменялись ни единым словом, не относящимся к работе. Они только посматривали друг на друга и в перерывах протягивали друг другу пачку сигарет: то техник Мурке, то Мурке технику, и когда теперь Мурке увидел его улыбку, он подумал: если существует на свете дружба, то этот человек — мне друг. Потом он положил на стол жестяную коробку с обрезками выступления Бур-Малотке и сказал вполголоса: — Итак, начали.

Мурке включил студию и сказал в микрофон: — Я считаю, господин профессор, что мы можем обойтись без пробы. Давайте сразу приступим. Я просил бы вас начать с именительного.

Бур-Малотке кивнул. Мурке отключился, нажал кнопку, в студии вспыхнула зеленая лампочка, и они услышали торжественный и хорошо поставленный голос: «То высшее существо, которое мы чтим», «то высшее существо...»

Губы Малотке тянулись к овальной рожице микрофона, словно он хотел поцеловать ее, пот струился по лицу Малотке, а Мурке сквозь стекло хладнокровно наблюдал за его мучениями. Потом он вдруг выключил аппарат, дал докрутиться до конца пленке, на которую записывали Малотке, и несколько секунд молча и с наслаждением рассматривал его сквозь стекло, как толстую красивую рыбу. Минуту спустя он включил студию и сухо сказал:

— Очень сожалею, но пленка оказалась испорченной. Я попрошу вас повторить именительный падеж.

Бур-Малотке разразился проклятиями, но это были немые проклятия, которые мог слышать только он один, потому что Мурке опять отключил студию и включил только тогда, когда Малотке начал говорить «то высшее существо...»

Мурке был слишком молод и считал себя слишком культурным, чтобы любить слово «ненависть», но здесь, глядя через стекло на Бур-Малотке, уже перешедшего к родительному падежу, он вдруг понял, что такое ненависть: он ненавидел этого высокого, толстого, красивого человека, книги которого в миллионах экземпляров наводняли тысячи библиотек, книжных шкафов и книжных магазинов, ненавидел и даже не пытался подавить свою ненависть. После того как Бур-Малотке наговорил два родительных падежа, Мурке опять подключился и спокойно сказал:

— Простите, что я вас перебиваю, именительный падеж просто превосходен, первый родительный тоже, но вот второй я попросил бы вас повторить чуть помягче, поровней, сейчас я вам прокручу все сначала.

И хотя Бур-Малотке решительно замотал головой, Мурке дал технику знак включить магнитофон.

Они видели, как Бур-Малотке вздрогнул, опять покрылся потом, зажал уши и не открывал их, пока лента не кончилась. Потом он что-то сказал, но Мурке с техником выключили его и потому ничего не слышали. Бур-Малотке разыгрывал сцену своего возмущения и отчаяния, как актер в немом кинофильме. Мурке хладнокровно выжидал и, увидев по губам Малотке, что тот опять приступил к высшему существу, запустил пленку. И Малотке принялся за дательный падеж: «Тому высшему существу, которое мы чтим».

Покончив с дательным, разъяренный Бур-Малотке скомкал записку Мурке и, вытирая пот, пошел к двери, но вкрадчивый и приветливый голос Мурке остановил его. Мурке сказал:

— Господин профессор, вы забыли про звательный падеж.

Бур-Малотке с ненавистью поглядел на него, вернулся и сказал в микрофон:

— О ты, высшее существо, которое мы чтим!

Затем он опять направился к двери, но приветливый юный голос Мурке снова остановил его.

— Простите, господин профессор, — заметил Мурке, — но эта фраза, произнесенная таким образом, никуда не годится.

— Ради бога, — шепнул техник, — не перехватите через край!

Бур-Малотке застыл спиной к двери, словно голос Мурке пригвоздил его к месту. С ним случилось то, чего никогда не случалось: он растерялся. Этот молодой, приветливый, безукоризненно корректный голос терзал его, как ничто и никогда не терзало.

Мурке продолжал: — Я, конечно, могу вклеить и в таком виде, но позвольте вам заметить, господин профессор, что это произведет нехорошее впечатление.

Бур-Малотке повернулся, подошел к микрофону и сказал негромко и торжественно: — О ты, высшее существо, которое мы чтим!

Не глядя на Мурке, он вышел из студии. Было ровно четверть одиннадцатого, и в дверях он столкнулся с молодой хорошенькой женщиной, которая держала в руках ноты. Волосы у нее были рыжие, вид — самый цветущий. Она энергично подошла к микрофону, повернула его и отодвинула стол, чтобы удобней было стоять перед микрофоном. В студии Мурке полминуты разговаривал с Хуглиемом — редактором отдела развлечений. Указывая на коробку из-под сигарет, Хуглием спросил:

— Она вам еще нужна? — и Мурке ответил: — Да, нужна.

А в студии уже пела рыжеволосая молодая женщина:

Целуй мои губы такие, как есть,
они ведь и так хороши.

Хуглием подключился и спокойно сказал:

— Заткнись еще секунд на двадцать, я не готов.

Женщина засмеялась, надула губы и ответила.

— Ах ты, пентюх!

— Я вернусь в одиннадцать, мы разрежем ленту и подклеим все как надо, — сказал Мурке технику.

— А прослушивать будем? — спросил техник.

— Нет, — ответил Мурке, — я и за миллион марок не стану еще раз слушать Малотке.

Техник кивнул, поставил ленту для рыжеволосой певицы, а Мурке ушел.

* * *

Он сунул в рот сигарету, но закуривать не стал, а пересек вестибюль, направляясь ко второму лифту в южной части здания, на котором спускались в буфет. Лестницы, ковры, мебель, картины — все раздражало его. Это были красивые лестницы, красивые ковры, красивая мебель и со вкусом подобранные картины, но Мурке вдруг захотелось увидеть где-нибудь на стене лубочную картинку с изображением сердца Христова, которую прислала ему мать. Он остановился, огляделся по сторонам, вытащил картинку из кармана и прикрепил ее к двери, ведущей в комнату помощника режиссера редакции музыкально-драматических передач. Картинка была пестрая, аляповатая, и под изображением сердца Христова стояло:

«Я молилась за тебя в церкви Санкт-Якоби».

* * *

Мурке дошел до патерностера, вскочил в кабину и поехал вниз. Эта часть Дома радио была уже оснащена пепельницами Шрершнауца, которые получили первую премию на конкурсе пепельниц. Они висели около каждой светящейся красной цифры, обозначавшей этаж: красная четверка и рядом пепельница Шрершнауца, красная тройка и рядом пепельница Шрершнауца, красная двойка и рядом пепельница Шрершнауца. Это были красивые медные пепельницы в форме раковины на медной же подставке, изображавшей какое-то морское растение, что-то вроде узловатых, причудливых водорослей, и каждая такая пепельница стоила ровно пятьдесят восемь марок семьдесят семь пфеннигов. Они были до того хороши, что Мурке еще ни разу не дерзнул осквернить это произведение искусства пеплом сигареты или, боже упаси, бросить окурок. Все курильщики, видимо, испытывали то же самое: пустые коробки из-под папирос, окурки и пепел постоянно усеивали пол под этими красивыми предметами; обращаться с ними, как с простыми пепельницами, никто не осмеливался; они были медные, сверкающие и всегда пустые.

Мурке увидел приближающуюся пятую пепельницу, а рядом с ней— красный ноль; потянуло теплом и запахами кухни. Мурке выпрыгнул и, пошатываясь, вошел в буфет.

В углу сидели три внештатных сотрудника. Столик был заставлен рюмками для яиц, тарелками с хлебом и кофейниками. Все трое сообща составили серию передач: «Легкое—внутренний орган человека», сообща получили гонорар, сообща позавтракали, сообща пропустили по рюмочке и теперь спорили, кому платить налог. Одного из них — Вендриха — Мурке хорошо знал, но Вендрих как раз воскликнул: «Искусство!» И потом опять: «Искусство! Искусство!..» Мурке испуганно дернулся, как лягушка, на которой Гальвани изучал действие тока. Слово «искусство» встречалось в выступлениях Бур-Малотке ровно сто тридцать четыре раза, а Мурке по три раза слушал каждое выступление, следовательно, слово «искусство» он слышал четыреста два раза — а это слишком много, чтобы испытывать хотя бы малейшее желание принять участие в беседе на тему об искусстве. Поэтому он пробрался, крадучись, мимо стойки к нише и облегченно вздохнул, увидев, что она никем не занята.

Усевшись в желтое мягкое кресло, Мурке, наконец, закурил сигарету и, когда к нему подошла Вулла-официантка, сказал ей: — Яблочного сока, пожалуйста! — К его радости, Вулла сразу же отошла. Он закрыл глаза, но невольно прислушивался к разговору в углу — там уже разгорелся яростный спор. Каждый раз, когда кто-нибудь из троих выкрикивал слово «искусство», Мурке вздрагивал. «Как от удара кнутом», — подумал он.

Вулла принесла яблочный сок и озабоченно посмотрела на него. Это была крупная и сильная, но не толстая женщина, со здоровым и веселым лицом. Наливая сок в стакан, она сказала:

— Вам надо бы взять отпуск, господин доктор, и потом бросить курить.

Раньше ее звали Вильфрида-Улла, но для простоты свели оба имени в одно — Вулла. К работникам отдела культуры Вулла относилась с особым почтением.

— Оставьте меня, — сказал Мурке. — Пожалуйста, оставьте меня.

— И еще вам надо бы сходить в кино с какой-нибудь немудрящей хорошей девушкой, — продолжала Вулла.

— Я это сделаю сегодня же вечером, — ответил Мурке, — даю вам слово.

— И вовсе не обязательно идти с какой-нибудь вертушкой, — сказала Вулла, — на свете найдется немало простых, хороших девушек с любящим сердцем.

— Знаю, что найдется, — сказал Мурке, — я даже знаком с одной из них.

«Ну то-то же», — подумала Вулла и подошла к авторам передачи «Легкое — внутренний орган человека»; один из них заказал три рюмки водки.

«Бедняги, — подумала она, — совсем свихнулись из-за своего искусства».

Мурке хлебнул соку, ткнул сигарету в пепельницу и с ужасом представил себе, как между одиннадцатью и часом они будут резать на куски сегодняшнюю запись голоса Бур-Малотке и потом вклеивать их в его выступление. В два часа шеф желает прослушать оба монтажа у себя. Мурке вспомнил про мыло, про лестницу — крутую лестницу, и про американские горы, потом про жизненные силы шефа, потом про Бур-Малотке... тут он увидел входящего в столовую Швендлинга и перепугался. Облаченный в клетчатую рубашку — крупные красные и черные клетки, — Швендлинг решительно направился к нише, в которой притаился Мурке. Он напевал модную песенку «Целуй мои губы такие, как есть!», но, увидев Мурке, запнулся и сказал:

— А, это ты? Я-то думал, что ты кромсаешь болтовню Бур-Малотке.

— В одиннадцать опять начнем, — отвечал Мурке.

— Вулла, кружку пива! — рявкнул Швендлинг, повернувшись к стойке, и продолжал, обращаясь к Мурке: — Ты заслужил внеочередной отпуск. Представляю себе, какой это ужас. Старик рассказывал мне, в чем там дело.

Мурке промолчал, и Швендлинг добавил:

— Ты знаешь последние новости о Муквице?

Мурке вяло помотал головой, но из вежливости спросил:

— А что такое?

Вулла принесла пиво. Швендлинг выпил, отдышался и, наконец, медленно изрек:

— Муквиц делает передачу про тайгу.

Мурке засмеялся и спросил:

— А Фенн что?

— Фенн делает передачу про тундру, — ответил Швендлинг.

— А Веггухт?

— Веггухт делает передачу про меня, а потом — я про него, ибо сказано: сделай передачу из меня, я сделаю передачу из тебя.

Один из внештатных сотрудников вдруг вскочил и заорал на всю столовую: — Искусство! Искусство! Искусство! Вот основа основ!

Мурке втянул голову в плечи, точно солдат в окопе, услышавший звук минометного выстрела. Он глотнул соку и снова вздрогнул, потому что из громкоговорителя раздался голос:

— Доктор Мурке, вас ожидают в студии номер тринадцать. Доктор Мурке, вас ожидают в студии номер тринадцать.

Мурке взглянул на часы. Всего половина одиннадцатого, но неумолимый голос продолжал:

— Доктор Мурке, вас ожидают в студии номер тринадцать. Доктор Мурке, вас ожидают в студии номер тринадцать.

Громкоговоритель висел над стойкой, чуть пониже лозунга, выведенного на стене по приказу директора: «Дисциплина — это все!»

— Ну, ступай, — сказал Швендлинг. — Ничего не поделаешь.

— Да, — согласился Мурке. — Ничего не поделаешь.

Он встал, положил на столик деньги за сок, проскользнул мимо

спорящих, вскочил в патерностер и снова поехал вверх мимо пяти пепельниц Шрершнауца, снова увидел Христово сердце у двери помощника режиссера и подумал:

— Ну, слава богу, теперь на радио есть хоть одна безвкусная картина.

* * *

Открыв дверь в студию, Мурке увидел техника, спокойно сидевшего перед четырьмя коробками, и устало спросил:

— Ну, в чем дело?

— Они управились раньше, чем рассчитывали, и мы выиграли полчаса, — сказал техник. — Я думал, что вы захотите воспользоваться этим получасом.

— Конечно, хочу, — ответил Мурке. — У меня в час свидание. Давайте начнем. Что это за коробки?

— У меня для каждого падежа своя коробка, — ответил техник, — в первой — именительный и винительный, во второй — родительный, в третьей — дательный, а в этой, — он указал на крайнюю справа маленькую коробочку с надписью «натуральный шоколад», — в этой оба звательных падежа, справа — удачный, слева — бракованный.

— Замечательно, — сказал Мурке, — вы уже успели разрезать это дерьмо на части?

— Да, — отвечал техник. — И если вы записали, в каком порядке вклеивать падежи, то мы управимся за какой-нибудь час. Вы записали?

— Да, — сказал Мурке. Он достал из кармана записку, на которой столбиком были выписаны цифры от 1 до 27, а против каждой цифры — название падежа.

— Сначала винительный, — начал Мурке. Техник сунул руку в первую коробку, вытащил отрезок ленты и вклеил в нужное место.

— Теперь дательный,— сказал Мурке. Работа шла быстро, и Мурке с облегчением вздохнул, убедившись, что никаких затруднений не предвидится.

— Так, теперь звательный, — продолжал Мурке. — Возьмем, разумеется, тот, что похуже.

Техник рассмеялся и вклеил в пленку бракованный звательный падеж Бур-Малотке. — Дальше что? — спросил он.

— Родительный, — ответил Мурке.

* * *

Директор имел обыкновение добросовестно прочитывать все письма радиослушателей. То, которое он читал сейчас, было следующего содержания:

«Дорогое радио! У тебя наверняка нет более преданной слушательницы, чем я. Я уже пожилая женщина, мне семьдесят семь лет. Я слушаю тебя ежедневно в течение тридцати лет и никогда не скупилась на похвалы. Ты, может быть, помнишь мое письмо о твоей передаче «Семь душ коровы Кавейды». Это была чудесная передача. Но теперь я на тебя сердита. Меня просто начинает возмущать то пренебрежение, с которым наше радиовещание относится к душам собак. И это ты называешь гуманизмом? У Гитлера были, конечно, свои недостатки; если верить всему, что о нем говорят, это вообще был ужасный человек. Но одного у него нельзя отнять: он любил собак и немало для них сделал. Когда же, наконец, собака займет подобающее ей место в немецком радиовещании?..»

Тут вошел Бур-Малотке. Он мог позволить себе входить в любое время без доклада и позволял себе это частенько. Он до сих пор был весь в поту и, тяжело опустившись на стул против директора, сказал:

— Итак, доброе утро.

— Доброе утро, — отозвался директор, отложив в сторону письмо радиослушательницы. — Чем могу служить?

— Я прошу вас об одной-единственной минуте,— сказал Бур-Малотке.

Директор сделал великолепный жест.

— Вам ли просить у меня минуту? Располагайте моими часами, днями, всем моим временем.

— Да нет, — сказал Бур-Малотке, — речь идет не о простой минуте, а о радиоминуте. Моя речь из-за внесенных в нее изменений стала длинней на одну минуту.

Директор стал серьезным, как сатрап, раздающий провинции.

— Надеюсь, после вас не политическая передача? — кисло спросил он.

— Нет, — ответил Малотке, — полминуты я прихвачу у местного отдела и полминуты у развлечений.

— Слава богу, — сказал директор, — у отдела развлечений перерасход в семьдесят девять секунд, а у местного — в девяносто четыре. Бур-Малотке, я охотно дарю вам эту минутку.

— Мне просто совестно, — сказал Бур-Малотке.

Директор повторил свой великолепный жест, но на этот раз как сатрап, уже раздавший провинции.

— Чем еще могу служить?

— Я был бы вам очень признателен, — ответил Бур-Малотке, — если бы мы в недалеком будущем могли подправить все записи моих выступлений начиная с сорок пятого года. Настанет день, — он провел рукой по лбу и горестно взглянул на подлинного Брюллера, висевшего над столом директора, — настанет день, и я... — он опять запнулся, столь прискорбен был для потомков факт, который он собирался сообщить, — ...и я покину этот мир, — новая пауза, давшая директору возможность ужаснуться и замахать руками, — и для меня невыносима мысль, что после моей смерти, быть может, будут передаваться выступления, где я излагаю взгляды, которых уже более не придерживаюсь. Особенно ужасно, что в угаре сорок пятого года я дал подстрекнуть себя на политические выступления, выступления, которые кажутся мне теперь в высшей степени сомнительными и которые я могу объяснить только юношеской пылкостью, свойственной моему характеру. Сейчас уже идет корректура моих печатных трудов, я прошу вас предоставить мне возможность внести поправки и в мои радиовыступления.

Директор промолчал и только крякнул, и мелкие капельки пота выступили у него на лбу: пока Малотке говорил, он прикинул в уме, что с 1945 года Бур-Малотке каждый месяц давал на радио, по крайней мере, часовую передачу, а двенадцать часов умножить на десять это будет сто двадцать часов сплошного Бур-Малотке.

— Только низкие души, — сказал Бур-Малотке, — могут считать педантичность недостойной гения. Но мы знаем, — директор был явно польщен, ибо это «мы» причислило его к разряду высоких душ, — мы знаем, что истинные, что величайшие гении всегда были педантами. Химмельсхейм велел однажды за свой счет заново набрать «Seelon» только потому, что три или четыре предложения в середине книги не соответствовали его новым взглядам. Для меня нестерпима мысль, что в эфир будут передаваться выступления, содержащие взгляды, которых я уже не разделял к моменту своей неизбежной кончины... просто нестерпима. Какой же выход из положения вы мне предложите?

Капли пота на лбу директора заметно увеличились.

— Надо бы составить перечень ваших передач и потом посмотреть в архиве, все ли пленки целы, — тихо сказал он.

— Полагаю, что ни одна пленка с моим выступлением не могла быть уничтожена без того, чтобы я не был поставлен об этом в известность, — ответил Бур-Малотке. — А меня никто ни о чем не уведомлял, следовательно, все пленки целы.

— Я постараюсь все устроить, — сказал директор.

— Очень вас прошу, — сухо заметил Бур-Малотке и встал. — Всего хорошего.

— Всего хорошего, — ответил директор и проводил Бур-Малотке до дверей.

* * *

Внештатные сотрудники решили заодно и пообедать. Разговор об искусстве велся с прежним пылом, хотя и принял более мирное направление. Когда к их столу подошел Вандербрун, они испуганно вскочили. Вандербрун был писатель — рослый, симпатичный, с меланхолическим лицом, на которое слава уже наложила свою печать.

— Друзья, — сказал Вандербрун, — дайте мне чего-нибудь выпить. В этом заведении мне всегда кажется, будто я вот-вот умру от жажды.

Ему дали остатки водки, смешанные с остатками минеральной воды. Вандербрун выпил, отставил стакан, обвел взглядом всех троих и сказал:

— Бегите от радио, это просто нужник, нарядный, разукрашенный, напомаженный нужник. Радио всех нас загонит в гроб.

Предостережение было самое искреннее и глубоко потрясло молодых людей. Правда, ни один из них не знал, что Вандербрун только что побывал в кассе, где получил солидный гонорар за небольшую переработку книги Иова.

— Оно нас всех загонит в гроб, — повторил Вандербрун, потом встал и направился к двери; плащ Вандербруна меланхолически развевался на ходу.

* * *

В двенадцать Мурке кончил расклейку. Как только они вклеили последний кусочек — дательный падеж, Мурке встал со стула; он уже взялся за дверную ручку, но тут техник сказал:

— Хотел бы и я иметь такую же чуткую и дорогостоящую совесть. А с этим что делать?

Он указал на жестяную коробку из-под сигарет, которая стояла на полке между картонками с неиспользованной пленкой.

— Пусть стоит, — ответил Мурке.

— Зачем?

— Может, еще понадобится.

— Вы допускаете, что его опять охватят сомнения?

— Кто знает? — сказал Мурке — Лучше подождем. До свидания.

Мурке пошел к патерностеру, спустился на второй этаж и впервые за день переступил порог своей редакции. Секретарша ушла обедать. Заведующий редакцией Хумкоке сидел у телефона и читал книгу. Увидев Мурке, он улыбнулся и встал.

— Так вы еще живы? Скажите, это ваша книга? Вы ее положили на письменный стол? — он показал книгу Мурке и тот ответил:

— Да, моя.

Книга была в серо-зелено-оранжевой суперобложке и называлась «Источники лирики Бэтли». Речь в ней шла о молодом английском писателе, который сто лет назад составил каталог лондонского слэнга.

— Превосходная книга, — сказал Мурке.

— Да, — согласился Хумкоке, — книга превосходная, но вы так никогда и не поймете...

Мурке вопросительно посмотрел на него.

— ...не поймете, что нельзя оставлять на столе превосходные книги, если в комнату может зайти Вандербрун, а он может зайти в любую минуту. Он ее сразу же заметил, раскрыл, полистал пять минут и, как по-вашему, что в результате?

Мурке молчал.

— В результате две часовые передачи Вандербруна о книге «Источники лирики». Этот человек в один прекрасный день сделает передачу из своей собственной бабушки. А самое страшное, что одна из его бабушек была также и моей бабушкой. Итак, Мурке, запомните раз и навсегда: никаких превосходных книг на столе, когда может прийти Вандербрун, а я повторяю вам: он может прийти в любую минуту. Теперь вы свободны, ступайте и отдохните остаток дня. Я считаю, что вы заслужили отдых. А эта дребедень готова? Вы ее прослушали еще раз?

— Все готово, — ответил Мурке, — а прослушивать еще раз я просто не в силах.

— Не в силах — это, знаете ли, звучит слишком по-детски, — сказал Хумкоке.

— Если я сегодня еще раз услышу слово «искусство», то со мной будет истерика.

— С вами и так истерика,— сказал Хумкоке,— впрочем, у вас имеются все основания для истерики. Три часа сплошного Бур-Малотке могут доконать самого сильного человека, а вы уж не такой сильный человек.

Бросив книгу на стул, он подошел к Мурке поближе и продолжал:

— Когда я был в вашем возрасте, мне поручили однажды сократить на три минуты четырехчасовую речь Гитлера. Я трижды прослушал эту речь, прежде чем мне дозволили предложить, какие именно три минуты надо вырезать. Когда мы запустили пленку в первый раз, я был еще убежденным нацистом. После третьего раза я уже не был нацистом. Это было мучительное, жестокое, но весьма эффективное лечение.

— Вы забываете,— возразил Мурке,— что от Бур-Малотке я излечился еще до того, как прослушал запись его выступления.

— Ну и фрукт же вы,— засмеялся Хумкоке,— ладно, идите. Директор будет прослушивать запись в два часа. Так что до трех вы должны быть в пределах досягаемости на случай, если что-нибудь окажется не в порядке.

— От двух до трех я буду дома,— ответил Мурке.

— И еще одно, — сказал Хумкоке, снимая с полки возле стола Мурке желтую коробку из-под печенья.— Что за обрезки вы здесь храните?

Мурке покраснел.— Это... начал он,— это... я собираю своего рода остатки.

— Какого же рода? — полюбопытствовал Хумкоке.

— Молчание, — отвечал Мурке, — я собираю молчание.

Хумкоке вопросительно взглянул на него. И Мурке пояснил:

— Когда мне приходится вырезать из ленты те места, где выступающие почему-либо молчали, делали паузу, вздыхали, переводили дух или просто безмолвствовали, я не выбрасываю их в корзину, а собираю. Но у Бур-Малотке не наберется и секунды молчания.

Хумкоке рассмеялся.

— Ясно, этот молчать не станет. А на что вам эти обрезки?

— Я склеиваю их и потом запускаю пленку, когда прихожу домой. У меня пока набралось очень мало — всего три минуты, но ведь и молчат у нас очень мало.

— Должен вам заметить, что уносить домой куски ленты строго запрещается.

— Даже молчание?— спросил Мурке.

Хумкоке рассмеялся и сказал:

— Ну, идите, идите.

Мурке ушел.

* * *

Когда в самом начале третьего директор заглянул в студию, там как раз началось прослушивание первого выступления Бур-Малотке:

«...и где только, как только, почему только и когда только разговор ни зайдет о сущности искусства, мы прежде всего должны обратить взоры к тому высшему существу, которое мы чтим, должны восславить то высшее существо, которое мы чтим, и принять искусство как великую милость из рук того высшего существа, которое мы чтим. Искусство...»

— Нет,— подумал директор,— не хватит у меня жестокости заставить кого-нибудь сто двадцать часов слушать Бур-Малотке! Есть вещи, которые выше сил человеческих, даже Мурке я этого не пожелаю.

Директор вернулся в свой кабинет и включил громкоговоритель. Из рупора послышался голос Бур-Малотке: «О ты, высшее существо, которое мы чтим...»

— Нет, — подумал директор, — нет, ни за что...

* * *

Мурке лежал на диване и курил. Возле него на стуле стояла чашка чаю. Мурке смотрел в белый потолок. У его письменного стола сидела прехорошенькая блондинка и неподвижным взглядом смотрела в окно.

На низком столике между Мурке и девушкой стоял включенный магнитофон. Но Мурке и девушка молчали, в комнате царила полная тишина. Девушка была так хороша и неподвижна, что могла бы служить отличным объектом для фотоаппарата, однако ее не снимали, а записывали.

Мурке думал об американских горах, о крутых лестницах, о целых грудах мыла и, главным образом, о жизненных силах директора.

— Я больше не могу,— сказала вдруг девушка,— не могу — и все. То, что ты требуешь, просто бесчеловечно. Есть мужчины, которые заставляют девушек делать всякие гадости, но, честное слово, то, что ты заставляешь меня делать, еще хуже.

Мурке вздохнул.

— О господи,— сказал он,— Рина, дорогая, теперь мне придется вырезывать все, что ты тут болтала. Будь умницей, намолчи мне еще хоть пять минуток!

— Намолчи!— промолвила девушка. Она сказала это таким тоном, который тридцать лет назад можно было бы назвать резким.— Намолчи! Это тоже твоя выдумка! Я с радостью наговорила бы пленку, но намолчать!..

Мурке поднялся с дивана и выключил магнитофон.

— Ах, Рина, Рина,— сказал он,— знала бы ты, как дорого мне твое молчание. По вечерам, когда я, усталый, сижу один дома, я включаю запись молчания. Ну, будь хорошей девочкой, намолчи хоть три минутки, чтобы мне не пришлось резать. Ты ведь знаешь, что для меня значит — резать.

— Ладно, — сказала девушка.— По крайней мере, дай мне сигарету.

Мурке улыбнулся, поцеловал девушку в лоб, дал ей сигарету и включил аппарат. Так они и сидели, не говоря ни слова, пока не зазвонил телефон.

Мурке опять выключил аппарат, подошел к телефону и снял трубку.

— Привет!— сказал Хумкоке.— Оба выступления сошли гладко. По крайней мере, шеф ни к чему не придрался. Можете идти в кино. И не забывайте про снег.

— Какой там еще снег?— крикнул Мурке, взглянув на улицу, залитую ослепительным летним солнцем.

— Господи!— возмутился Хумкоке.— Вы же знаете, что нам пора думать о зимней программе. Мне нужны снежные песни, снежные рассказы. Нельзя же всю жизнь сидеть на Шуберте и Штифтере, а никому даже в голову не приходит об этом позаботиться! Мы не напасемся снежных передач, если будет долгая и суровая зима. Сообразите-ка что-нибудь снежненькое!

— Хорошо,— ответил Мурке,— соображу!— но Хумкоке уже повесил трубку.

— Пошли!— сказал Мурке девушке.— Теперь мы можем идти в кино.

— И мне можно говорить?

— Сделай одолжение!..

* * *

А в это самое время помощник режиссера редакции музыкально-драматических передач последний раз прослушивал в студии № 13 сегодняшнюю вечернюю передачу. Передача ему понравилась, если не считать конца.

Помощник режиссера задумчиво сидел в застекленной камере рядом с техником и, жуя спичку, еще раз просматривал текст:

(Голос раздается под сводами пустой и огромной церкви.)

Атеист (*говорит громко и отчетливо*): Кто будет ждать меня, когда я обращусь в прах?

(Молчание.)

Атеист (*чуть погромче, почти вызывающе*): Кто вспомнит обо мне, когда я стану добычей червей?

(Молчание.)

Атеист (*еще громче, уже с возмущением*): А кто вспомнит обо мне, когда я опять травой поднимусь из земли?

(Молчание.)

Вопросов, которые атеист выкрикивал в церкви, было двенадцать, и после каждого вопроса в тексте стояло: «Молчание». Помощник режиссера вынул изо рта изжеванную спичку, отломал головку от новой, засунул спичку в рот и вопросительно поглядел на техника.

— Да,— сказал техник,— я лично считаю, что в передаче слишком много молчания.

— И мне так кажется,— сказал помощник режиссера,— сам автор тоже со мной согласился и разрешил мне заменить молчание голосом, который будет говорить «бог», но этот голос уже не должен разноситься под сводами пустой церкви. Ну, а что толку? Где я сейчас возьму голос?

Техник рассмеялся и схватил жестяную коробку, которая все еще стояла на полке.

— Вот, пожалуйста, очень приличный голос, говорит «бог», да еще в помещении, лишенном всякого резонанса.

От удивления помощник режиссера подавился спичкой и с трудом прокашлялся.

— Все очень просто,— улыбаясь, сказал техник,— вчера и позавчера мы двадцать семь раз вырезали это слово.

— Двадцать семь мне не нужно,— ответил помощник режиссера,— с меня хватит двенадцати.

— Мне ничего не стоит,— сказал техник,— вырезать молчание и двенадцать раз вклеить слово «бог», но только на вашу ответственность.

— Вы ангел, — сказал помощник режиссера, — конечно, на мою ответственность. — Он радостно посмотрел на маленькие матовые обрезки ленты в коробке Мурке.— Вы ангел,— повторил он.— Ну, давайте приступим.

Техник тоже радовался; он подумал, как много молчания он сможет подарить Мурке — почти целую минуту, а Мурке ему нравился.

— Хорошо,— улыбнулся он,— начнем.

Помощник режиссера полез в карман за пачкой сигарет. Вместе с сигаретами он вытащил смятую бумажку. Помощник режиссера разгладил ее и протянул технику.

— Смешно,— сказал он,— это я нашел у себя на двери.

Техник взял бумажку и прочел ее вслух:

«Я молилась за тебя в церкви Санкт-Якоби».

Грэхем Грин

Тихий американец

РОМАН

Перевод с английского Р. Райт-Ковалевой и С. Митиной

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Пайл навязался ко мне в гости — на выпивку, как он сказал, но я отлично знал, что он почти не пьет. Прошло несколько недель, и наша необычная встреча в Фат-Дьеме казалась совершенно фантастической; даже подробности нашего разговора стерлись в памяти — так стираются от времени надписи на римских гробницах, — и я, словно археолог, пытался по мере сил и возможностей восстановить их. Мне даже приходило в голову, что Пайл просто дурачил меня этими разговорами, стараясь прикрыть свою истинную цель: в Сайгоне уже ходили сплетни, что он работает по одному из тех заданий, которые так неудачно называют секретными. Может быть, он подготавливал американское оружие для третьей силы, скажем, для духового оркестра епископа: это было все, что осталось от его рекрутов, насмерть перепуганных юнцов, которым никто не платил. Телеграмму, полученную в Ханое, я спрятал в карман. Не стоило говорить Фуонг, не стоило отравлять слезами и ссорами те несколько месяцев, что нам остались. Я решил не брать разрешения на выезд до последней минуты — вдруг у нее окажутся родственники в отделе виз.

— Пайл придет в шесть часов, — сказал я ей.

— Я пойду к сестре, — сказала она.

— Наверное, ему хочется тебя видеть.

— Нет, я ему не нравлюсь, и мои родные тоже. Знаешь, когда тебя не было, он ни разу не зашел к сестре, хотя она его и звала. Она очень обиделась.

— Лучше не уходи.

— Если бы он хотел меня видеть, он пригласил бы нас в «Мажестик». Наверно, он хочет поговорить с тобой наедине — о своих делах.

— А какие у него дела?

— Говорят, он импортирует много всяких вещей.

— А что именно?

— Лекарства, наркотики...

— Это для отрядов по борьбе с трахомой на севере?

— Не знаю. Таможне запрещено вскрывать его посылки — они идут как дипломатическая почта. Один таможенник вскрыл, и его уволили. Первый секретарь миссии грозил прекратить весь импорт.

— А что было в ящике?

— Пластмасса.

— Зачем ему пластмасса? — спросил я лениво.

Когда Фуонг ушла, я сел писать домой. Один из сотрудников агент-

---

Окончание. Начало см. в № 6.

ства Рейтер через несколько дней уезжал в Гонконг и обещал отправить письмо оттуда. Я знал, что просьбы мои бесполезны, но не хотел потом упрекать себя, что сделал не все, что мог. Я написал главному редактору своей газеты, что сейчас не время сменять корреспондента. В Париже умирал генерал де Латтр, французы собирались совсем отступить от Хоа-Биня, никогда северу не грозила такая опасность. Я не подхожу для должности редактора иностранного отдела, писал я ему, я только репортер, у меня ни о чем нет определенного мнения. На последней странице я даже просил его пойти мне навстречу по личным причинам, но я сильно сомневался, что человеческим чувствам найдется место в беспощадном свете настольных ламп, среди зеленых козырьков, в треске стереотипных фраз: «Интересы газеты... обстановка требует...»

Все же я написал: «По личным причинам мне очень тяжело уезжать из Вьетнама. Думаю, что не смогу хорошо работать в Англии, где меня ждут не только материальные трудности, но и семейные осложнения. По правде сказать, если бы я мог, я бы скорее ушел из газеты, чем вернулся в Англию. Говорю об этом, чтобы вы поняли, насколько серьезны мои возражения. Мне кажется, вы считали меня неплохим корреспондентом, и я еще ни разу не просил вас об одолжении». Я отложил письмо и просмотрел свою статью о боях под Фат-Дьемом, чтобы и ее послать через Гонконг. Вряд ли французы станут возражать против нее — осада снята, и поражение теперь можно изобразить как победу. Потом я оторвал последнюю страничку своего письма — не стоило говорить о «личных мотивах», это только вызовет пошлые шутки. Считалось, что у каждого корреспондента обязательно есть своя местная девушка. Редактор перебросится шуточками с выпускающим, а тот с завистью будет думать об этом, возвращаясь в свой домишко в Стритеме и укладываясь спать рядом с верной супругой, которую он много лет назад привез с собой из родного Глазго. Я так ясно представил себе, какой у него дом: оттуда не жди пощады — там в коридоре стоит сломанный детский велосипед, кто-то нечаянно разбил любимую трубку, а в столовой валяется детская рубашка, к ней надо пришить пуговицу. «Личные причины!» Зачем мне нужно, чтобы потом, за выпивкой в Пресс-Клубе, они своими шуточками напоминали мне о Фуонг.

В дверь постучали. Я открыл Пайлу, но сначала вошла его черная собака. Пайл посмотрел через мое плечо и увидел пустую комнату. — Я один, — сказал я, — Фуонг у сестры. — Он густо покраснел. Я заметил, что на нем расписная гавайская рубашка, правда, сравнительно скромная по цвету и рисунку. Я даже удивился: неужто его обвинили в антиамериканской деятельности? * Он сказал: — Надеюсь, я не помешал?

— Ничуть. Хотите выпить?

— Спасибо. У вас есть пиво?

— К сожалению, нет. У нас нет холодильника — приходится покупать лед. Хотите виски?

— Только каплю, если не возражаете. Я не очень люблю крепкие напитки.

— Обет трезвости?

— Подлейте еще содовой, если у вас есть.

Я сказал: — Мы не виделись с Фат-Дьема.

— Но вы получили мое письмо, Томас?

Называя меня по имени, он словно хотел подчеркнуть, что отнюдь не шутил, не маскировался, что он действительно пришел за Фуонг. Я заметил, что он недавно подстригся. Может быть, и гавайская рубашка должна была сыграть роль брачного оперения?

* Такие рубашки ввел в моду Г. Трумен, и Фаулер намекает, что Пайл хочет этим подчеркнуть свою лояльность.

— Да, письмо получил, — сказал я. — Наверно, следовало бы просто отколотить вас...

— Конечно, вы имеете на это право, Томас,— сказал он.— Но я занимался боксом в колледже, и я гораздо моложе.

— Да нет, это был бы неверный ход с моей стороны, правда?

— Знаете, Томас, я уверен, что вы со мной согласитесь: мне не хочется говорить о Фуонг за ее спиной. Я думал, что она будет дома.

— О чем же нам говорить, о пластмассе, что ли? — Я сказал это не для того, чтобы его застать врасплох.

Он сказал: — Значит, вы знаете?

— Мне Фуонг сказала.

— А откуда же она...

— Будьте спокойны, весь город об этом говорит. Игрушки делать собираетесь, что ли?

— Мы не любим, чтобы о нашей помощи знали во всех подробностях. Знаете, как конгресс к этому относится, да и сюда приезжают сенаторы. У нас были большие неприятности из-за того, что отряды по борьбе с трахомой применяли не те лекарства.

— Все-таки я не понимаю, к чему вам пластмасса.

Черный пес уселся на полу — он занимал страшно много места и громко пыхтел, высунув язык, похожий на подгорелую лепешку.

Пайл неопределенно сказал: — В общем мы собираемся поставить на ноги некоторые отрасли местной промышленности, и приходится быть начеку из-за этих французов — они хотят, чтобы все покупали у них, во Франции.

— Мне кажется, они правы. Война дорого обходится.

— Вы любите собак?

— Нет.

— А я считал, что англичане — большие любители собак.

— Мы считаем, что американцы любят доллары, но, наверно, и тут есть исключения.

— Не знаю, как бы я обходился без Графа. Знаете, иногда мне до того одиноко...

— У вас много товарищей по работе.

— Первую мою собаку звали Принц. Я его назвал в честь «Черного Принца». Помните, тот самый, который...

— Перерезал всех женщин и детей в Лиможе!

— Этого я не помню.

— В учебниках по истории об этом умалчивают.

Сколько раз я видел, как в его глазах и в складках рта появлялось выражение боли и разочарования, когда действительность не соответствовала его любимым романтическим представлениям или уважаемый им человек оказывался ниже того высокого уровня, на который он его поднял. Помню, раз я поймал Йорка Гардинга на грубейшей фактической ошибке, и мне же пришлось утешать Пайла: «Людям свойственно ошибаться!» Он тогда сказал с нервным смешком: — Должно быть, вы скажете, что я дурак, но понимаете, я считал, что Йорк непогрешим. — И добавил: — Он очень понравился моему отцу, хотя они всего один раз виделись, а на отца угодить нелегко.

Огромный черный пес, которого звали Граф, долго пыхтел, словно желая установить свое неотъемлемое право на весь воздух в комнате, потом встал и пошел обнюхивать углы. — Может, вы скажете вашему псу, чтоб он сидел смирно, — бросил я.

— Ох, простите! Граф! Граф! Сидеть, Граф! — Граф сел и начал, громко сопя, вылизывать свой пах. Наливая стаканы, я прошел под носом у Графа и нарочно помешал ему совершать интимный туалет. Но

он недолго сидел спокойно: через минуту он стал изо всех сил скрести себя лапой.

— Граф необыкновенно умен, — сказал Пайл.

— А что случилось с Принцем?

— Мы жили на ферме, в Коннектикуте, и он попал под машину.

— Вы были огорчены?

— Да, мне, конечно, было жаль его. Я его очень любил, но ко всему надо относиться спокойно: все равно не вернешь...

— Значит, если вы потеряете Фуонг, вы тоже отнесетесь к этому спокойно?

— О да, надеюсь. А вы?

— Сомневаюсь. Может, я начну буйствовать. Вы об этом подумали, Пайл?

— Почему вы не хотите называть меня Олденом, Томас?

— Как-то не хочется. «Пайл» у меня вызывает определенные м-м... ассоциации. Так вы об этом подумали?

— Конечно, нет! Вы самый настоящий человек, какого я знаю. Только вспомнить, как вы себя вели в ту ночь, когда я к вам ввалился...

— Да, вспоминаю, как, засыпая, я подумал: вот хорошо, если б начался бой и вас убили бы. «Смерть героя». «За демократию».

— Не смейтесь надо мной, Томас! — Он неловко передвинул свои длинные ноги. — Наверно, вам кажется, что я туповат, но я отлично понимаю, когда вы шутите.

— Я не шучу.

— Я знаю, что, говоря по чести, вам тоже хочется, чтоб ей было хорошо.

Вот тут я и услышал шаги Фуонг. Вопреки всему у меня была слабая надежда, что он уйдет до ее возвращения. Он тоже услышал шаги, тоже узнал их. Он сказал: — А вот и она! — хотя слышал ее шаги только раз, в тот первый вечер. Даже пес встал и остановился в дверях, открытых из-за духоты, как будто он уже считал Фуонг членом семьи Пайла. Чужим тут был я.

Фуонг сказала: — Сестры не было дома, — и украдкой взглянула на Пайла.

«Правду она говорит, — подумал я, — или сестра велела ей поскорее бежать домой?»

— Помнишь мистера Пайла? — спросил я.

— Enchantée *, — сказала она с самым светским видом.

— Я счастлив, что вижу вас снова, — сказал он, краснея.

— Comment? **

— Она неважно знает английский, — сказал я.

— Боюсь, что я очень плохо говорю по-французски. Правда, я беру уроки. И я все пойму — пусть только мисс Фуонг говорит помедленнее.

— Я буду вашим переводчиком, — сказал я. — Вам все равно трудно будет сразу понять местный выговор. Сядь, Фуонг. Мсье Пайл пришел специально повидать тебя. — Я посмотрел на Пайла. — Вы не думаете, что лучше было бы оставить вас вдвоем?

— Нет, я хочу, чтобы вы все слышали. Иначе это нечестно.

— Ладно, валяйте!

Он начал торжественно, словно выучил первые фразы наизусть. Он чувствует к Фуонг большую любовь и уважение. Он полюбил ее с того вечера, как они вместе танцевали. Он напоминал мне дворецкого, кото-

---

* Очень рада (*фр.*)

** Что вы сказали? (*фр.*).

рый водит группу туристов по родовому за́мку. Его сердце было таким за́мком, но в частные апартаменты, где жила семья, нам разрешили заглянуть только мельком. Я переводил каждое его слово с величайшей точностью — так звучало еще хуже, а Фуонг сидела, спокойно сложив руки на коленях, как будто смотрела кинофильм.

— Поняла она меня? — спросил он.

— Насколько мне кажется — да. Может быть, хотите, чтобы я вкладывал больше пыла в ваши слова?

— О, нет! — сказал он. — Просто переводите. Я не хочу действовать на ее чувства.

— Понятно.

— Скажите, что я хочу на ней жениться.

Я сказал.

— Что она вам ответила?

— Она спросила, серьезно ли вы это говорите. Я ей объяснил, что вы человек серьезный.

— Какое-то странное положение, — сказал он. — Вам переводить для меня...

— Да, довольно странно.

— И все-таки это вполне естественно. В конце концов вы — мой лучший друг.

— Очень мило с вашей стороны.

— Я ни к кому не обратился бы за помощью в беде, кроме вас, — сказал он.

— Значит влюбиться в мою девушку для вас — беда?

— Конечно. Лучше бы это был кто угодно, только не вы, Томас.

— Что же мне еще ей говорить? Сказать, что вы жить без нее не можете?

— Нет, это слишком. Да и не совсем верно. Конечно, мне придется уехать, но в конце концов все на свете проходит.

— Может быть, пока вы думаете, что ей сказать, и мне можно поговорить с ней?

— Пожалуйста, Томас. Это будет только справедливо.

— Что ж, Фуонг, — сказал я, — уйдешь ты к нему или нет? Он может на тебе жениться. А я не могу. И ты знаешь, почему.

— Ты не уедешь? — спросила она, и я подумал о письме редактора, которое лежало у меня в кармане.

— Нет.

— Никогда?

— Ну, как я могу обещать? Ведь и он ничего не может обещать навсегда. Браки расстраиваются. Часто брак расстраивается гораздо скорее, чем такая связь, как у нас с тобой.

— Я не хотела бы уходить от тебя, — сказала она, но слова звучали неутешительно: в них было скрытое «но»...

Пайл сказал: — Пожалуй, мне надо выложить все карты на стол. Я не богат. Но после смерти отца у меня будет около пятидесяти тысяч долларов. Я вполне здоров — всего два месяца назад я получил медицинское свидетельство, я могу ей показать анализ крови.

— Не знаю, как это перевести. А причем тут анализ крови?

— Как причем? Чтобы знать, что у нас могут быть дети.

— Так вот как у вас в Америке объясняются в любви — показывают цифру доходов и анализ крови?

— Не знаю. Мне никогда не приходилось... Может быть, у нас дома моя мать поговорила бы с ее матерью.

— Об анализе крови?

— Не смейтесь надо мной, Томас. Наверно, я вам кажусь старомодным. Понимаете, я сам как-то растерялся...

— Я тоже. Может, бросим все и разыграем ее в кости?

— Ну вот, опять вы напускаете на себя грубость, Томас. Я знаю, что вы по-своему любите ее не меньше меня.

— Ладно, Пайл, давайте дальше!

— Скажите, что я не жду, чтобы она сразу меня полюбила. Это придет со временем, но вы ей объясните, что я предлагаю ей прочное положение и обеспеченность. Это звучит не очень увлекательно, но, быть может, это даже лучше, чем страсть.

— Страсть она всегда может испытать, — сказал я, — с вашим шофером, когда вы уйдете на службу.

Пайл опять густо покраснел. Он неловко поднялся и сказал: — Это грязная шутка! Я не позволю ее обижать! Вы не имеете права...

— Но она еще не ваша жена!

— А что вы можете ей предложить? — сердито спросил он. — Две-три сотни долларов, когда будете уезжать в Англию? Или, может, вы ее передадите своему преемнику, вместе с мебелью?

— Мебель не моя.

— И она тоже не ваша. Фуонг, хотите выйти за меня замуж?

— А как же анализ крови? А медицинское свидетельство? Вам, наверно, понадобится ее свидетельство. Да и мое, пожалуй, тоже. И ее гороскоп — нет, это уже индийский обычай.

— Выйдете за меня замуж?

— Сами скажите, по-французски. Не стану я вам больше переводить, будь я проклят!

Я встал, и пес зарычал. Меня это взбесило: — Велите вашему проклятому псу замолчать. Это мой дом, а не его.

— Хотите выйти за меня замуж? — повторил он. Я подошел к Фуонг, и пес снова зарычал.

— Скажи ему, пусть уходит и забирает своего пса! — сказал я Фуонг.

— Пойдемте сейчас со мной, — сказал Пайл. — Avec moi.

— Нет! — сказала Фуонг. — Нет! — Вдруг мы с ним оба точно отрезвели: до чего все оказалось просто! Короткое слово — и все решилось. Я почувствовал невыразимое облегчение, а Пайл так и остался стоять, полуоткрыв рот, с растерянным выражением на лице. Он проговорил: — Она сказала «нет»!

— Настолько-то она знает по-английски! — Мне хотелось расхохотаться: какого дурака мы оба валяли! Я сказал: — Сядьте, Пайл, выпейте еще виски!

— Нет, мне надо уйти.

— Ну, на дорожку.

— С чего же это я вдруг выпью весь ваш виски? — пробормотал он.

— Я могу достать сколько угодно через миссию. — Я подошел к столу, и пес оскалил зубы.

Пайл рассердился: — Лежать, Граф! Смирно! — Он вытер пот со лба. — Простите, Томас, если я что-нибудь не так сказал. Не знаю, что на меня напало. — Он взял стакан и грустно добавил: — Побеждает достойнейший! Только, пожалуйста, не бросайте ее, Томас.

— Конечно, не брошу! — сказал я.

Фуонг спросила меня: — Может быть, он хочет выкурить трубку?

— Не хотите выкурить трубку?

— Нет, спасибо. Я не употребляю опиума, у нас в миссии насчет этого строго. Выпью и пойду. Извините меня за Графа. Обычно он очень спокоен.

— Останьтесь, поужинаем вместе.

— Нет, пожалуй, мне лучше побыть одному, вы не обижайтесь! — Он нерешительно ухмыльнулся. — Наверно, всякий сказал бы, что мы оба вели себя довольно нелепо. Я хотел бы, чтоб вы могли на ней жениться, Томас.

— Правда?

— Да. С того дня, как я увидел тот дом — вы понимаете, тот дом, около «Шалэ», — с тех пор мне так страшно за нее...

Он с непривычки залпом проглотил виски, не глядя на Фуонг, и когда он с ней прощался, он не подал ей руки, а только отвесил неловкий, короткий поклон. Я заметил, что она проводила его глазами до дверей, и, проходя мимо зеркала, я посмотрел на себя — пояс на брюках расстегнут, намечается брюшко. На улице он мне сказал: — Обещаю не видеться с ней, Томас. Но у нас с вами все останется по-старому, верно? Я постараюсь получить перевод, как только кончу дела.

— А когда это будет?

— Года через два.

Я вернулся в комнату и подумал: к чему все это? Надо было сказать им обоим, что мне все равно придется уехать. Но и так ему только недели три придется красоваться своим разбитым сердцем... Оттого, что я солгал, у него потом не будет угрызений совести.

— Приготовить тебе трубку? — спросила Фуонг.

— Да, немного погодя. Сначала я напишу письмо.

Это было второе письмо за день, но я его рвать не стал, хотя почти не надеялся на ответ. Я писал: «Милая Элен, в апреле я должен вернуться в Англию и занять должность редактора иностранного отдела. Как ты догадываешься, я не очень этому рад. Для меня Англия — свидетель всех моих неудач. Ведь мне хотелось, чтобы наш брак был прочным, несмотря на то, что я не такой верующий христианин, как ты. До сих пор я не понимаю, отчего так вышло (мы оба старались изо всех сил), но, вероятно, всему виной мой характер. Знаю, какой я иногда бываю злой и жестокий. По-моему, теперь я стал лучше — это влияние Востока. Не то, чтоб я стал добрее, но много спокойнее. А может быть, я просто постарел на пять лет, в эту пору жизни пять лет — большой срок по сравнению с тем, что осталось. Ты была ко мне очень великодушна, ты никогда ни в чем не упрекнула меня с тех пор, как мы расстались. Теперь я прошу: будь еще великодушнее! Я знаю, перед свадьбой ты меня предупреждала, что развод невозможен. Я на это пошел, и не мне жаловаться. И все же сейчас я прошу тебя о разводе».

Фуонг окликнула меня с постели: она начинает готовить трубку.

— Сейчас! — сказал я.

«Я мог бы все это приукрасить, — писал я, — сделать вид, что прошу ради кого-то, так выглядело бы достойнее и значительнее. Но это не так — мы всегда говорили друг другу правду. Я прошу только для себя, исключительно для себя одного. Я очень люблю одну девушку, мы живем с ней уже два года, она мне верна и очень предана, но я знаю, что я для нее — не все на свете. Если я ее брошу, она немного погорюет, но никакой трагедии не будет. Она выйдет замуж за другого, у них будут дети. Глупо говорить все это. Я сам подсказываю тебе ответ. Но оттого, что я всегда говорил тебе правду, может быть, ты мне поверишь, что для меня потерять эту девушку равносильно смерти. Я не прошу тебя быть рассудительной (если рассуждать, ты, конечно, во всем права), не прошу сжалиться надо мной. Слишком это громкое слово для таких обстоятельств, да и не особенно я заслуживаю, чтобы ты меня жалела. Нет, я просто прошу тебя поступить опрометчиво, безрассудно, наперекор себе. Хочу, чтобы в тебе (я помедлил, не находя нужных слов, и все-таки на-

писал не то) заговорило чувство, и ты бы поступила не думая, сразу. Знаю, что легче было бы поговорить об этом по телефону, а не писать за восемь тысяч миль, но, может быть, ты просто телеграфируешь мне: «Согласна!»

Кончая письмо, я чувствовал себя так, будто пробежал огромное расстояние и с непривычки ноют все мускулы. Я лег на постель. Фуонг стала готовить мне трубку. — Он молодой, — сказал я.

— Кто?

— Пайл.

— Это совсем не так важно.

— Если б я мог, я бы на тебе женился, Фуонг.

— Я-то знаю, но сестра не верит.

— Я только что написал жене и просил ее дать мне развод. Раньше я не просил. Значит, есть надежда.

— Настоящая?

— Нет, не очень, но все же есть.

— Не тревожься. Покури.

Я затянулся, и она стала готовить вторую трубку. Я снова спросил: — Твоей сестры действительно не было дома, Фуонг?

— Я тебе сказала — она ушла. — Глупо было мучить ее ради правды. Это европейца тянет к правде, как к алкоголю. Из-за того, что я выпил с Пайлом, опиум действовал слабее. Я сказал: — Я солгал тебе, Фуонг. Мне приказано вернуться домой.

Она опустила трубку: — Но ты не поедешь?

— А если я откажусь, на что мы будем жить?

— Я хотела бы поехать с тобой. Хочется посмотреть Лондон.

— Тебе было бы очень нелегко — мы не женаты.

— Но, может быть, жена даст тебе развод.

— Может быть...

— Все равно я с тобой поеду! — сказала она. Она говорила искренне, но по глазам я видел, что, пока она медленно разминает шарик опиума, мысли у нее идут своей чередой. Она сказала: — А в Лондоне тоже есть небоскребы? — и я готов был расцеловать ее за непосредственность этого вопроса. Она может солгать из вежливости, от страха, даже из расчета, но никогда у нее не хватит хитрости скрыть эту ложь.

— Нет, — сказал я, — для этого надо поехать в Америку.

Она взглянула на меня исподлобья, поняв свою ошибку. И, разминая опиум, она стала болтать о том, какие платья она сошьет себе в Лондоне, где мы будем жить, какое там метро — она читала про него в романе, — и что это за двухэтажные автобусы, и лететь ли нам самолетом или ехать морем.

— А статуя Свободы?.. — спросила она.

— Нет, Фуонг, это тоже в Америке.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Не реже чем раз в год каодаисты устраивали в своем религиозном центре Тай-Нине, в восьмидесяти километрах к северо-западу от Сайгона, торжество по случаю такой-то годовщины со дня освобождения или со дня завоевания, а то и по случаю какого-нибудь буддистского, конфуцианского или христианского праздника.

Когда мне приходилось инструктировать новичков, я больше всего любил рассказывать про каодаизм. Каодаизм — выдумка одного кохинхинского чиновника; это синтез трех религий. Чего там только нет! Пап-

ский престол в Тай-Нине, папа и женщины-кардиналы. Предсказания на дощечке. Пресвятой Виктор Гюго. Христос и Будда, взирающие с крыши храма на пестрых драконов и змей, напоминающих цветную диснеевскую фантазию в восточном стиле. Новички всегда приходили в восторг от моего описания. Не станешь ведь объяснять, что вся эта скучная штука — частная армия в двадцать пять тысяч человек, вооруженная минометами, которые сделаны из выхлопных труб автомобилей; что хотя каодаисты и союзники французов, но в момент опасности становятся нейтральными. На эти празднества, благодаря которым удавалось сдерживать крестьянские волнения, папа приглашал членов правительства (обычно те являлись, если каодаисты в данный момент стояли у власти), членов дипломатического корпуса (те обычно посылали каких-нибудь вторых секретарей с женами или приятельницами) и французского главнокомандующего (тот посылал в качестве своего представителя какого-нибудь штабного генерала с двумя звездами).

По дороге в Тай-Нинь мчался поток штабных и дипломатических машин, а на опасных участках пути Иностранный легион выставил заслоны в рисовых полях. Это бывал довольно беспокойный день для французского верховного командования, а каодаисты, вероятно, возлагали на этот день некоторые надежды: чем они могли бы выгоднее подчеркнуть свою собственную лояльность — к тому же не ударив палец о палец,— как не тем, что вне их территории кто-нибудь подстрелит нескольких именитых гостей?

Над плоскими полями через каждый километр вырастала, словно восклицательный знак, маленькая глиняная вышка, а через каждые десять километров — небольшой форт, охраняемый взводом легионеров, марокканцев или сенегальцев. Так же, как при въезде в Нью-Йорк, все машины шли на одинаковой скорости и так же, как там, приходилось сдерживать нетерпение, поглядывая то на передний автомобиль, то в зеркальце кабины — на задний. Всем хотелось поскорее попасть в Тай-Нинь на это зрелище и как можно быстрее вернуться домой — в семь наступал комендантский час.

Сначала шли рисовые поля, контролируемые французами. Затем поля секты Хоа-Хао, а дальше — поля каодаистов, которые вечно воевали с Хоа-Хао; менялись только флаги на вышках. В затопленных рисовых полях по брюхо в воде брели буйволы, на спинах у них восседали голые мальчишки. Там, где золотые колосья уже поспели, крестьяне в конических шляпах веяли рис у маленьких навесов из плетеного бамбука. Словно из другого мира, быстро проносились автомобили.

Теперь уже в каждой деревне чужестранцу бросались в глаза церкви каодаистов: выкрашены в голубое и розовое, а над дверью — большое Всевидящее око. Появилось много флагов; вдоль дороги вереницами шли крестьяне: мы приближались к святым местам. В отдалении над Тай-Нинем зеленой шапкой возвышалась священная гора, там-то и засел отступник, генерал Тэ, бывший начальник штаба каодаистов, который удрал в горы и недавно заявил, что намерен драться и с французами, и с вьетминцами. Каодаисты не пытались поймать его, хотя он и похитил женщину-кардинала — не без ведома папы, как поговаривали.

В Тай-Нине жара всегда ощущается сильнее, чем в других местах Южной дельты, может быть, потому, что края здесь безводные, а может, и потому, что во время нескончаемых церемоний беспрестанно обливаешься потом — то из сочувствия к солдатам, стоящим навытяжку во время длинных речей на непонятном для них языке, то из сочувствия к папе, облаченному в тяжелые, шитые шелком одежды. Ощущение прохлады вызывали только женщины-кардиналы в белых шелковых штанах; они переговаривались со священниками в тропических шлемах. Не

верилось, что когда-нибудь будет семь часов вечера, коктейли на крыше «Мажестика» и ветер с реки Сайгон.

После парада я взял интервью у ближайшего помощника папы. Я не рассчитывал что-нибудь у него выудить, и действительно это было просто взаимное соблюдение приличий. Я спросил его про генерала Тэ.

— Опрометчивый человек,— ответил он и тут же переменил тему. Он стал повторять заученные фразы, позабыв, что я уже слышал их от него два года назад. Мне вспомнились мои собственные тирады — граммофонные пластинки для новичков:

— Каодаизм — синтез разных религий... лучшая из религий... миссионеры в Лос-Анжелосе... тайны великой пирамиды.

Он был в длинной белой сутане и не переставая курил. Было в нем что-то скользкое и фальшивое: то и дело повторял он слово «любовь». Он, безусловно, понимал, что все мы приехали, чтобы посмеяться над его религией. Наше притворное уважение было такой же фальшью, как вся его выдуманная иерархия. Но мы были не так хитры, как он. Мы своим лицемерием ничего не выгадали, даже надежного союзника не приобрели, а они заполучили оружие, разные поставки и даже наличные.

— Благодарю вас, ваше высокопреосвященство.

Я встал. Он проводил меня к выходу, роняя по дороге пепел сигареты.

— Благослови господь ваш труд,— сказал он елейным голосом.— Помните, что господь любит истину.

— Какую же именно?— спросил я.

— Каодаизм примиряет все истины и почитает истиной любовь.

На пальце у него было большое кольцо, и, протянув мне руку, он наверно ожидал, что я ее поцелую, но я не дипломат!

В безжалостных прямых лучах солнца я увидел Пайла: ему никак не удавалось завести свой бьюик. Последние две недели я без конца натыкался на Пайла — в баре «Континенталя», в единственной порядочной книжной лавке на улице Катина. Теперь он особенно подчеркивал свою дружбу, которую с самого начала мне навязал. Его печальный взгляд молча спрашивал о Фуонг, а вслух он без конца распространялся о том, как велики его любовь и уважение к моей персоне. Этого только недоставало!

У машины стоял каодаистский комендант и что-то быстро говорил. Когда я подошел, он умолк. Я узнал его — он был одним из помощников генерала Тэ, до того как тот ушел в горы.

— Здравствуйте, комендант,— сказал я.— Как генерал?

— Какой генерал?— спросил он с неловкой усмешкой.

— А разве каодаистская вера не примиряет всех генералов?

— Томас, мне никак машину не сдвинуть, — вмешался Пайл.

— Я сейчас раздобуду механика,— сказал комендант и ушел.

— Я вам помешал?

— Да нет, ерунда, — возразил Пайл. — Он интересовался, сколько стоит бьюик. Эти люди очень приветливы, если уметь к ним подойти. Французы, повидимому, не понимают, как с ними обращаться.

— Французы им не доверяют.

— Когда человеку доверяют, он старается оправдать доверие,— изрек Пайл. Это походило на каодаистскую заповедь. Я почувствовал, что мне становится трудно дышать в этой высоконравственной атмосфере Тай-Ниня.

— Хотите выпить?— спросил Пайл.

— Вот это с удовольствием.

— Я прихватил термос с лимонадом.— Он наклонился над сиденьем и стал развязывать корзину.

— А джин есть?

— Нет, к сожалению, нет. Знаете,— добавил он, словно в утешение,— лимонад очень полезен в таком климате. В нем много витаминов, только не помню каких...

Он протянул мне кружку, я выпил.

— Мокрый, и то ладно,— сказал я.

— А сендвич хотите? Потрясающие сендвичи. С новой начинкой. Называется «Вит-калорин». Мать прислала из Штатов.

— Спасибо, я есть не хочу.

— По вкусу напоминает русский винегрет, только немного острее.

— Не хочется что-то.

— А я съем. Не возражаете?

— Нет, нет, что вы!

Он откусил большой кусок; корочка вкусно захрустела на зубах.

Вдали бело-розовый каменный Будда выезжал на коне из дома своих предков, а слуга — тоже каменный — догонял его бегом. Женщины-кардиналы медленно возвращались в свой дом, и Всевидящее око взирало на нас с дверей храма.

— А вы знаете, что здесь можно позавтракать?— спросил я.

— Пожалуй, не стоит рисковать. Знаете, все-таки мясо... В такую жару лучше быть поосторожнее.

— Вам ничего не грозит. Они вегетарианцы.

— Это-то верно, но лучше все-таки знать, что ешь.

Он откусил еще кусочек своего «Вит-калорина».

— Как вы думаете, есть у них толковые механики?

— Достаточно толковые, чтобы из выхлопной трубы сделать миномет. Кажется, из бьюиков получаются самые лучшие минометы.

Подошел комендант и, лихо откозыряв, сказал, что послал в казармы за механиком. Пайл и ему предложил сендвич с «Вит-калорином», но он вежливо отказался.

— У нас тут столько разных предписаний насчет пищи,— сказал он учтиво. (Он прекрасно говорил по-английски).— Глупо, конечно. Но вы знаете, что такое религиозный центр. В Риме, вероятно, то же самое; и в Кентербери,— добавил он с ловким полупоклоном в мою сторону. Потом умолк. Они оба умолкли. Я сильно подозревал, что я тут лишний. Но мне хотелось подразнить Пайла, и я не мог устоять: в конце концов ирония — оружие слабых, а я был слаб. Ни его молодости, ни серьезности, ни цельности, ни будущего — ничего этого у меня не было. И я сказал:

— А все-таки я, пожалуй, съем сендвич.

— Ну, конечно,— сказал Пайл,— конечно.— Но в корзинку полез не сразу.

— Нет, нет,— сказал я.— Я просто пошутил. Я вам, наверно, мешаю.

— Ничего подобного,— возразил Пайл.

Редко приходилось мне видеть человека, который так не умел бы лгать. В этом искусстве он, видимо, никогда не упражнялся.

— Томас мой лучший друг,— объявил он коменданту.

— Я знаком с мистером Фаулером,— сказал комендант.

— Я вас еще увижу перед отъездом, Пайл,— сказал я и пошел к храму. Там, наверное, прохладнее.

Над входом святой Виктор Гюго в форме французской Академии с нимбом вокруг треуголки указывал на какое-то возвышенное изречение, которое Сун Ят-сен выводил на табличке. Я прошел вглубь храма. Сесть там было негде — стоял только папский престол, а вокруг него извивалась гипсовая кобра; мраморный пол блестел, как водная гладь, в окнах не было стекол. Люди строят себе клетки с отдушинами для

вентиляции, подумал я. И для своей религии человек тоже строит клетку с отдушинами, которые дают выход всяким сомнениям и доступ бесчисленным религиозным толкованиям. Вот жена моя тоже построила себе такую клетку, и я иной раз завидовал ей. Но если живешь на открытом воздухе, на солнце, вентиляция не нужна. Я слишком привык к солнцу.

Я прошел по длинному пустому храму — это был не тот Индокитай, который я люблю. Драконы с львиными мордами карабкались на амвон. С плафона Христос открывал миру свое кровоточащее сердце. Будда сидел, как всегда сидит Будда, раздвинув колени. Редкая бородка Конфуция падала жидкими струйками, как водопад в засуху. Все это пахло театральщиной: большой земной шар над алтарем отдавал бахвальством, а шкатулка с выдвижной крышкой, откуда папа извлекал свои предсказания, — ловким трюкачеством. Если бы храм этот просуществовал не два десятилетия, а пять веков, подумал я, если бы пол его был выщерблен тысячами ног, а стены выветрились и потемнели, стало бы все это убедительнее или нет? Мог бы такой человек, как моя жена, легко поддающийся внушению, обрести здесь ту веру, которую не могли ей дать люди? А я сам, если бы я хотел верить, смог бы я найти эту веру в той церкви, к которой принадлежит моя жена? Но я никогда и не стремился веровать. Дело репортера разоблачать и сообщать. За всю свою жизнь я ни разу не сталкивался с необъяснимыми вещами. Папа чертил свои предсказания карандашом на крышке выдвижной шкатулки, и люди верили им. Все чудеса творятся при помощи какой-нибудь такой вот дощечки. Я не припоминаю, чтобы я когда-нибудь видел чудо или чтобы мне были какие-нибудь видения.

Я стал наугад листать страницы своей памяти, словно фотографии в альбоме. Вот над Орпингтоном вспыхивает вражеская ракета, и я вижу, как лиса, выйдя из своей лесной норы, подкрадывается к курятнику; вот лежит заколотый штыком малаец — патруль гурков привез его в грузовике в шахтерский поселок в Паханге, и китайцы-кули стоят вокруг, и у них вырывается судорожный смешок, когда другой малаец подкладывает подушку под голову мертвеца; вот голубь на камине, залетевший в номер гостиницы; вот лицо жены в окне в тот день, когда я пришел домой проститься с ней в последний раз. И снова, как вначале, я стал думать о ней. Наверное, прошло уже с неделю, как она получила мое письмо, а телеграммы, которой я и не жду, — все нет. Но говорят, если присяжные долго не возвращаются, у подсудимого есть надежда. А если письма не будет и через неделю, значит ли это, что можно надеяться?

Со всех сторон слышался шум машин — военные и дипломаты разъезжались. Церемония окончилась — до будущего года. Все торопились в Сайгон. Близился комендантский час. Я отправился искать Пайла.

Он стоял с комендантом в узкой полоске тени. Машиной его никто и не думал заниматься. Тема разговора — о чем бы они там ни говорили — была исчерпана, оба они молчали, но из вежливости ни один не решался уйти первым. Я подошел к ним.

— Пожалуй, я двинусь. Пора и вам, если хотите поспеть до комендантского часа.

— А механика все нет.

— Скоро придет,— сказал комендант.— Он был занят на параде.

— Можете заночевать здесь,— сказал я.— Посмотрите торжественное богослужение, вам, наверно, интересно будет. Оно идет три часа.

— Нет, я должен вернуться.

— Да, но если вы сейчас же не двинетесь, то не успеете.— И я неохотно добавил:— Могу вас подвезти, а машину комендант пришлет в Сайгон завтра.

— На каодаистской территории комендантского часа бояться нече-

го,— проговорил комендант с самодовольным видом.— Но вот дальше... Лучше я действительно пришлю вам машину завтра.

— Только обязательно с выхлопной трубой,— сказал я.

Он улыбнулся четко и коротко, деловитой улыбкой военного образца.

2

Когда мы тронулись, колонна автомобилей была уже далеко впереди. Я дал скорость, чтобы нагнать ее, но даже когда мы выехали из каодаистской зоны в зону Хоа-Хао, впереди все еще не было видно ни облачка пыли. Вечером мир казался пустым и плоским. В такой местности едва ли можно ждать засады, но в затопленных рисовых полях у самой дороги люди могли спрятаться по шею.

Пайл откашлялся. Похоже было, что сейчас он начнет откровенничать.

— Надеюсь, Фуонг здорова,— сказал он.

— А она никогда не болеет.

Одна вышка ушла назад, другая выплыла впереди, словно колебались чаши весов.

— Вчера я встретил ее сестру в магазине.

— Она, наверно, просила вас зайти?— спросил я.

— По правде сказать, да.

— Повидимому, она все еще надеется.

— На что?

— Да женить вас на Фуонг.

— Она мне сказала, что вы уезжаете.

— Ходят такие слухи.

Пайл сказал: — Вы ведь скажете мне все начистоту, правда, Томас?

— В каком смысле?

— Я просил о переводе. Мне не хотелось бы, чтобы она осталась и без вас и без меня.

— А я думал, вы досидите весь срок.

— Нет, я понял, что мне не выдержать,— ответил он просто, без всякой жалости к себе.

— Когда же вы уезжаете?

— Не знаю. Мне сказали, что примерно через полгода можно будет это устроить.

— А полгода вы выдержите?

— Придется.

— Чем же вы мотивировали свою просьбу?

— В общем я рассказал нашему атташе — вы его знаете, Джо, — примерно все как есть.

— Он, наверно, считает, что я сволочь — не даю вам увести свою девушку.

— Нет, он-то на вашей стороне.

Машина стала подскакивать и фыркать, она, наверное, уже с минуту была не в порядке, но заметил я это только сейчас. Я вдумывался в наивный вопрос Пайла: «Вы ведь скажете мне все начистоту?» Это из области какой-то совсем простой психологии, где существуют понятия о Демократии и Чести с большой буквы, как эти слова писались на старых могильных памятниках, и ты вкладываешь в них тот же смысл, что и твои предки.

— Все,— сказал я.

— Неужели бензин кончился?

— Был полный бак. Перед отъездом я налил его до самого верху. Эти мерзавцы в Тай-Нине выкачали. И как это я не доглядел? Очень на

них похоже — оставить ровно столько, чтобы мы могли выехать из их зоны.

— Что же делать?

— Нам хватит до следующей вышки. Может, раздобудем у них немного.

Но нам не повезло. Метрах в тридцати от вышки мотор заглох. Мы подошли к вышке, и я крикнул часовым по-французски, что мы друзья и сейчас поднимемся к ним наверх. Я не хотел, чтобы меня подстрелил часовой-вьетнамец. Ответа не было, никто не выглянул. Я спросил Пайла:

— Оружие есть?

— Никогда не ношу.

— И я тоже.

Последние краски заката, золотисто-зеленые, словно рисовое поле, стекали за край плоского мира. Вышка чернела, словно отпечаток на сером нейтральном фоне. Повидимому, приближался комендантский час. Я снова крикнул, но никто не ответил.

— Сколько вышек мы проехали после форта?

— Не считал.

— И я тоже.

До следующего форта оставалось не меньше шести километров: час ходу. Я крикнул в третий раз, все то же молчание было мне ответом.

— Там, наверно, никого. Заберусь сейчас и посмотрю.

Судя по желтому флагу с выгоревшими красными полосками, территория Хоа-Хао была уже позади, и мы находились на территории вьетнамской армии.

— А что если нам здесь подождать, может быть, подойдет машина? — сказал Пайл.

— Может быть, но *они*, пожалуй, подойдут раньше.

— А может, мне пойти включить фары? Для сигнала, а?

— Боже упаси. Не надо.

Уже стемнело, я стал искать лестницу и споткнулся. Что-то хрустнуло под ногами. Звук пронесся над рисовыми полями, наверно, его услышали. Но кто? Фигура Пайла потеряла очертания и неясно чернела у дороги. Темнота здесь не надвигалась, она падала внезапно, как камень.

— Стойте, пока я не позову, — сказал я.

Я боялся, что часовые унесли лестницу. Нет, вот она. Правда, по ней мог взобраться и враг, но для них-то это единственный путь к бегству. Я полез наверх.

Сколько раз читал я, о чем думают люди, когда им страшно: о боге, о семье, о женщине. Преклоняюсь перед такой выдержкой. Я ни о чем не мог думать, даже о двери там, наверху. В эти секунды я перестал существовать. Я превратился в сплошной страх. Наверху я стукнулся головой — страх не видит, не слышит, не считает ступенек. Затем у самых моих глаз появился земляной пол. Никто в меня не стрелял, и страх испарился.

3

На полу горела коптилка, и два человека, прижавшись к стене, следили за мной. Один держал автомат, другой — винтовку, но оба они были перепуганы не меньше меня. С виду они были похожи на школьников, но у вьетнамцев старость наступает внезапно, как и темнота: вот они мальчики, а вот уже старики. Хорошо, что цвет кожи и разрез глаз служили для меня паспортом — теперь они не стали бы стрелять даже со страха.

Я поднялся и заговорил, чтобы их успокоить, сказал, что внизу стоит моя машина и что у меня кончился бензин. Может быть, у них где-нибудь есть немного бензину, я купил бы. Я огляделся: нет, как будто нету. В круглой комнатушке не было ничего, кроме ящика с патронами для автомата, узкой деревянной койки, да на гвозде висели два вещевых мешка. По котелкам с остатками риса и деревянным палочкам было видно, что они ели — и как будто без особой охоты.

— Ну хоть столько, чтобы мы могли добраться до соседнего форта? — спросил я.

Один из вьетнамцев, сидевших у стены, — тот, что с винтовкой, — покачал головой.

— А иначе нам придется сидеть здесь всю ночь.

— C'est défendu *.

— Кто запретил?

— Вы штатский.

— Не сидеть же на дороге, чтобы мне там глотку перерезали.

— Вы француз?

Говорил все время только один. Другой сидел вполоборота, уставившись на щель в стене. Он мог видеть только кусочек неба размером с открытку, должно быть, он к чему-то прислушивался. Прислушался и я. Тишина наполнилась звуками: какой-то непонятный шум, треск, скрип, шорох, потом как будто кашель, шепот. Вдруг я услышал голос Пайла, очевидно, он подошел к лестнице.

— Все в порядке, Томас?

— Подымайтесь! — ответил я. Он начал взбираться по лестнице, и молчаливый вьетнамец резким порывистым движением поднял автомат. Наверное, он не слышал ни одного нашего слова. Он как-то неловко дернулся. Я понял, что страх сковал его. Я рявкнул, словно капрал: — Эй, опусти автомат! — и крепко выругался по-французски, рассчитывая, что это-то он поймет. Он механически исполнил приказание. Тут появился Пайл.

— Нам предложили остаться на вышке до утра, — сказал я.

— Чудесно, — сказал Пайл. По голосу чувствовалось, что он несколько растерян. — А разве один из этих обормотов не должен стоять на посту? — спросил он.

— Они предпочитают, чтобы в них не стреляли. Жаль, что вы не прихватили чего-нибудь покрепче лимонада.

— В следующий раз непременно прихвачу, — сказал Пайл. — У нас впереди еще длинная ночь.

Теперь, когда Пайл был здесь, я не слышал никаких шумов. Даже солдатам как будто стало спокойнее.

— А что если вьетминцы на них нападут? — спросил Пайл.

— Раз выстрелят и убегут. Вы каждое утро читаете об этом в «Экстрем Ориан»: «Прошлой ночью Вьетмин временно захватил один из постов к юго-западу от Сайгона».

— Перспектива неважная.

— Отсюда до Сайгона еще сорок таких вышек. Есть шанс, что мы уцелеем и достанется кому-нибудь другому.

— А сендвичи сейчас бы нам пригодились, — сказал Пайл. — Знаете что, все-таки надо хоть одному из них время от времени выглядывать.

— Он боится: он выглянет, а пуля заглянет.

Теперь, когда мы оба уселись на полу, вьетнамцы, видно, немного успокоились. Я им сочувствовал: не так-то это просто для двух плохо

---

* Запрещено (*фр*).

обученных солдат сидеть здесь из ночи в ночь и ждать, что вьетминцы в любую минуту подберутся через рисовые поля к дороге.

Я сказал Пайлу:

— Думаете, они знают, что сражаются за демократию? Надо бы сюда Йорка Гардинга, пусть бы им объяснил.

— Вечно вы смеетесь над Йорком, — сказал Пайл.

— Мне всегда смешно, когда люди пишут о том, чего не существует, об отвлеченных понятиях.

— Для него они существуют. А у вас разве нет отвлеченных понятий? Бог, например?

— У меня нет никаких оснований верить в бога. А вы верите?

— Верю. Я унитарианец.

— А сколько миллионов богов есть у людей? Ведь даже католик — и тот молится совершенно разным богам, когда он перепуган, или счастлив, или голоден.

— Может быть, если бог есть, он настолько велик, что каждый видит его по-разному?

— Вроде великого Будды в Бангкоке? — сказал я. — Его тоже одним взглядом не охватишь. Но он-то хоть сидит смирно.

— По-моему, вы нарочно напускаете на себя цинизм, — сказал Пайл. — Ведь должны же вы во что-то верить. Нельзя жить без всякой веры.

— Ну, я, конечно, не берклеанец. Я верю, что сижу, прислонившись к стене. Верю, что вон там автомат.

— Я не о том.

— Я даже верю в то, что пишу, а уж это мало кто из ваших корреспондентов мог бы сказать.

— Сигарету хотите?

— Я курю только опиум. Угостите лучше часовых. Надо бы наладить с ними отношения.

Пайл встал, дал им прикурить и вернулся.

— Вот если бы сигарета была символом, вроде соли, — сказал я.

— А вы им не доверяете?

— Ни один французский офицер не рискнул бы в одиночку просидеть всю ночь на такой вышке с двумя перепуганными караульными. Был даже случай, когда целый взвод выдал своих офицеров. Вьетминцы иной раз успешнее действуют рупором, чем базукой *. Я этих ребят не обвиняю. Они тоже ни во что не верят. Вы и вам подобные стараетесь вести войну с помощью народа, совершенно в ней не заинтересованного.

— Они не хотят коммунизма.

— Риса вволю — вот чего они хотят, — сказал я. — Они не хотят, чтобы в них стреляли. Они хотят, чтобы жизнь изо дня в день шла спокойно. Они не хотят, чтобы мы, белые, торчали тут и объясняли им, чего они хотят.

— Если Индокитай будет потерян...

— Опять та же пластинка! Сиам будет потерян. Малайя будет потеряна. Индонезия будет потеряна. А что значит «потеряна»? Верил бы я в вашего бога и в загробную жизнь, так поставил бы свою будущую небесную арфу против вашего золотого нимба, что лет через пятьсот ни Нью-Йорка, ни Лондона, может, и не будет, а вот они все так же будут сеять рис, носить продукты на рынок на длинных жердях, ходить все в тех же остроконечных шляпах, а мальчишки все так же будут восседать на буйволах. Люблю буйволов. Они не переносят нашего запаха,

---

* Противотанковое ружье.

запаха европейцев. И запомните: с точки зрения буйвола, вы — тоже европеец.

— Надо заставить этих людей верить в то, во что им велят, нельзя допустить, чтобы они сами за себя думали.

— Думать — это роскошь. Неужто вы считаете, что, когда крестьянин вечером забирается в свою лачугу, он садится и начинает думать о боге и демократии?

— Вы говорите так, будто крестьяне — это вся страна. Вы забыли про образованных людей. По-вашему, им тоже будет хорошо?

— О нет, — сказал я. — Мы привили им свои взгляды. Мы обучили их опасным играм, и потому-то сидим теперь здесь и боимся, как бы нам не перерезали глотки. А мы этого заслуживаем. Вот бы сюда вашего приятеля, Йорка. Интересно, как бы ему здесь понравилось.

— Йорк Гардинг — очень смелый человек. Вот в Корее...

— Но ведь он не был в армии, верно? У него был обратный билет. А когда обратный билет в кармане, то смелость — это уже упражнение воли, вроде самобичевания для подвижника: сколько, мол, я выдержу? Эти вот бедняги не могут сесть в самолет и улететь домой. Эй, — крикнул я им, — как вас звать? — Если они отзовутся, подумал я, то я как-нибудь втяну их в разговор. Но они не отвечали, только исподлобья поглядывали на нас и докуривали сигареты.

— Они думают, что мы французы, — сказал я.

— В том-то и дело. Вы должны быть не против Йорка, а против французов, против их колониализма.

— Все у вас «измы», «кратии». Важны факты. На каучуковой плантации хозяин бьет батрака — я, конечно, против этого. Но ведь подучил-то его не министр колоний! Во Франции такой тип бил бы жену. Я видел одного священника, до того нищий — лишней пары штанов у него не было, а во время холерной эпидемии он по пятнадцать часов в сутки ходил от больного к больному, питался только рисом и соленой рыбой, а причащал из какой-то деревянной плошки. Я в бога не верю, но я за этого священника. Так почему вы *это* не называете колониализмом?

— А это тоже колониализм. Йорк пишет, что часто плохую систему трудно изменить именно из-за хороших администраторов.

— Что ни говори, а французы гибнут каждый день. Это вам не отвлеченные понятия. Они не одурачивают этих людей всякими полуправдами, как ваши политиканы или наши. Я побывал в Индии, Пайл, и знаю, какой вред приносят либералы. У нас больше нет либеральной партии; либерализмом заразились все другие партии. Мы все или либеральные консерваторы, или либеральные социалисты. У всех нас совесть чиста. А по мне лучше быть эксплуататором, если только он дерется за то, что он эксплуатирует, готов за это жизнь отдать. Возьмите историю Бирмы. Вот мы вторглись туда. Нас поддерживали местные племена. Мы победили. Но так же, как и вы, американцы, мы в те дни не были колонизаторами. Напротив, мы заключили мир с королем, вернули ему его владения, а наших союзников бросили на растерзание: их распинали и четвертовали. Они ни в чем не были виноваты, они ведь думали, что мы останемся. Но мы — либералы, мы хотели, чтобы у нас совесть была чиста.

— Ну, это было давно!

— А мы и здесь сделаем то же самое. Расшевелим их, а потом бросим: оставим им кое-какое оружие да производство игрушек.

— Производство игрушек?

— Ну да, я про вашу пластмассу.

— Ах, вот вы о чем...

— Не знаю, с чего это я разговорился о политике. Меня это не ин-

тересует, и вообще я только репортер. Я ни во что не вмешиваюсь, я не engagé *.

— Вот как? — сказал Пайл.

— Надо же о чем-то говорить, скоротать эту гнусную ночь. Вот и все. Я ни на чью сторону не становлюсь. Кто там ни победит, я буду слать информацию.

— Да, но если победят они, вам придется писать неправду.

— Ну, всегда можно как-нибудь выкрутиться. Кстати, я что-то не замечал, чтобы наши газеты особенно уважали правду.

Солдат, видимо, успокоило, что мы сидим и разговариваем. Может быть, они решили, что вьетминцы услышат наши белые голоса — потому что у голосов тоже есть цвет: желтые поют, черные воркуют, а наши белые просто говорят; так вот, вьетминцы услышат, подумают, что нас тут много, и уйдут. Солдаты снова принялись за еду и, подгребая рис палочками, поглядывали на нас с Пайлом поверх котелков.

— Значит, вы думаете, мы проиграли?

— Не в том дело, — сказал я. — По правде говоря, я и не хочу, чтобы вы выиграли. Я хочу, чтобы этим двум голодранцам было хорошо, — вот и все. Хочу, чтобы им не приходилось сидеть по ночам в темноте и трястись от страха.

— Но надо сражаться за свободу.

— Что-то я не видел, чтобы американцы здесь сражались. А что касается свободы, так я не знаю, что это такое. Давайте спросим их. — Я крикнул им по-французски: — La liberté, qu'est ce que c'est la liberté? ** — Они глотали рис, глазели на нас и ничего не отвечали.

— Вы что ж, хотите всех подогнать под один образец? Вы спорите, просто чтобы спорить. Но ведь вы интеллигент. На самом деле вы за свободу личности, так же как я, как Йорк.

— А почему, собственно, мы только сейчас вдруг заговорили об этой свободе? — спросил я. — Лет сорок назад про нее никто и не думал.

— Ну, тогда свободе личности ничто не угрожало.

— Нашей-то, конечно, ничто не угрожало. Но кому было дело до личности этого вот крестьянина на рисовом поле и кому до него дело сейчас? Единственный, кто с ним обращается как с человеком, — это их политический комиссар. Он зайдет к нему в хижину, спросит, как его звать, выслушает его жалобы. Он сидит с ним целый час, учит его чему-то. Чему — это неважно. Главное, обращается с ним как с человеком, считается с ним. Здесь, на Востоке, вы лучше бросьте твердить, как попугай, насчет того, что человеческая личность под угрозой. Попадете пальцем в небо! Это они хотят, чтобы человек был личностью, а мы хотим, чтобы человек был просто «рядовой № 23987», пешка в мировой стратегии.

Пайлу явно было не по себе.

— Вы и наполовину не верите в то, что говорите, — сказал он.

— Может быть, даже на три четверти. Я здесь уже давно. И, слава богу, что я ни во что не вмешиваюсь. Иначе бы у меня руки чесались, потому что здесь, на Востоке... ну, словом, я не за Айка ***. Знаете, за кого я? Я за этих вот двоих. Это их страна. Который теперь час? У меня часы стали.

— Половина девятого.

— Еще каких-нибудь десять часов — и можно двигаться.

---

* Замешан (*фр.*)

** Свобода, что такое свобода? (*фр.*).

*** Во время президентских выборов в США сторонники генерала Эйзенхауэра выступали под лозунгом: «I like Ike!» («Я — за Айка!»).

Пайл поежился.

— Что-то холодно стало, — сказал он. — Вот не думал, что тут такой холод!

— Кругом вода. Там в машине есть одеяло. Не замерзнем.

— А не опасно спускаться?

— Для вьетминцев пока рановато.

— Давайте я схожу.

— Нет, я больше привык к темноте.

Когда я встал, солдаты перестали есть

— Je reviens tout de suite *, — сказал я им

Я опустил ноги в люк, нащупал лестницу и стал спускаться. Странно, до чего успокаивающе действует разговор, в особенности на отвлеченные темы. Самая необычная обстановка начинает казаться какой-то обыкновенной. Я больше не ощущал страха: как будто я вышел из комнаты, но скоро вернусь, и мы возобновим спор, — словно мы были уже не на вышке, а в квартире на улице Катина, в баре «Мажестик» или даже в комнате близ Гордон-сквера.

Я постоял минутку, пока глаза привыкли к темноте. Светили звезды, луны не было. Лунный свет напоминает мне о мертвецкой, где голая электрическая груша заливает холодным ярким потоком мраморную доску; а звездный свет — живой, переливчатый, словно кто-то из этих далеких миров пытается послать на землю дружеский привет. Ведь даже в названиях звезд есть что-то приветливое. Венера — любимая нами женщина, Медведица — это мишка, которым мы играли в детстве, а Южный Крест, должно быть, напоминает верующим, вроде моей жены, о любимом псалме, о молитве на сон грядущий. Я вздрогнул и поежился, как Пайл. Но ночь была теплая, лишь холод, подымавшийся от воды по обеим сторонам дороги, пронизывал теплый воздух ледяными иголками. Я пошел к машине, но по дороге остановился: мне вдруг показалось, что ее уже нет. И хотя я вспомнил, что бензин кончился шагах в тридцати от вышки, мне стало не по себе. Я невольно шел согнувшись: мне казалось, что так меня труднее заметить.

Чтобы достать одеяло, мне пришлось открыть багажник. Скрип и лязг, резко прозвучавшие в этой тишине, напугали меня. Тьма, наверное, кишела людьми, и мне вовсе не хотелось быть единственным нарушителем тишины. Перекинув одеяло через плечо, я закрыл багажник гораздо осторожнее, чем открыл. В тот самый момент, когда крышка захлопнулась, небо в направлении Сайгона внезапно озарилось и над дорогой загрохотали взрывы. Пулемет дал две очереди и смолк, и только тогда грохот затих.

«Кому-то досталось», — подумал я. Откуда-то, совсем издалека, донеслись крики не то боли, не то страха, а может быть, ликования. Почему-то я все время думал, что нападения можно ждать только сзади, по той дороге, которую мы уже проехали, и то, что вьетминцы где-то там впереди, между нами и Сайгоном, на мгновение показалось мне несправедливым. Выходило, что мы невольно двигались навстречу опасности, вместо того чтобы от нее отдаляться, и что сейчас, возвращаясь к вышке, я опять иду не туда, куда надо. Я не бежал, а шел — так шуму было меньше, но тело мое рвалось вперед.

Дойдя до вышки, я снизу крикнул Пайлу:

— Это я, Фаулер. (Даже тут я не смог, обращаясь к нему, назвать себя просто по имени.)

Наверху я застал совсем другую картину. Котелки с рисом снова стояли на полу, один солдат сидел у стены, прижав винтовку к бедру, и

---

* Я сейчас вернусь (*фр.*).

напряженно следил за Пайлом, а Пайл стоял на коленях у другой стены и, подавшись вперед, не сводил глаз с автомата, лежавшего между ним и вторым солдатом. Как будто он пополз было к автомату, но его не подпустили. Второй солдат тоже протянул к автомату руку. Они не дрались, не грозили друг другу — совсем как в детской игре, когда двигаться можно только незаметно, а не то отправят обратно в «дом» и заставят начинать все сначала.

— Что тут творится? — спросил я.

Оба вьетнамца обернулись ко мне, а Пайл бросился к автомату и подтащил его к себе.

— Это что за игра? — спросил я.

— Нельзя ему оставлять автомат. Мало ли что он сделает, если те подойдут, — сказал Пайл.

— Вы умеете обращаться с автоматом?

— Нет.

— Здорово! И я не умею. Надеюсь, он заряжен. Перезарядить его мы не сумеем.

Солдаты совершенно равнодушно отнеслись к тому, что у них отняли автомат. Один положил винтовку к себе на колени, другой притулился у стенки и закрыл глаза. Он, как ребенок, считал, что раз ему темно, то и его никто не видит. Может быть, он доволен, что с него теперь нечего спрашивать. Где-то далеко застрочил пулемет. Три очереди — и снова тишина. Второй солдат еще крепче зажмурил глаза.

— Они не знают, что мы не умеем стрелять, — сказал Пайл.

— Считается, что они на нашей стороне.

— А я-то думал, вы вообще ни на чьей стороне!

— Touché! * Хорошо, если бы и вьетминцы знали, что я ни на чьей стороне.

— А что там происходит?

Я снова процитировал завтрашний номер «Экстрем Ориан»: «Прошлой ночью вьетминские нерегулярные части напали на сторожевой пост в пятидесяти километрах от Сайгона и временно захватили его».

— А может, в поле безопаснее? Как вы считаете?

— Там страшная сырость.

— Вы как будто не боитесь? — сказал Пайл.

— Нет, ужасно трушу. Но могло быть хуже. Обычно они захватывают за ночь три вышки, не больше. Наши шансы повышаются.

— Что это там?

Послышался шум тяжелой машины, идущей по дороге к Сайгону. Я подошел к амбразуре и глянул вниз. Танк как раз проходил мимо.

— Патруль, — сказал я.

Орудие на башне поворачивалось то туда, то сюда. Мне хотелось окликнуть тех, в танке, но что толку? У них не найдется места для двух бесполезных штатских. Земляной пол слегка дрожал, когда они проезжали. Я взглянул на часы — без девяти девять, — потом стал напряженно ждать, стараясь не прозевать вспышку от выстрела. Так бывает, когда ударит молния: начинаешь считать, через сколько секунд будет гром, чтобы знать, далеко ли гроза. Прошло почти четыре минуты до того, как пушка выстрелила. Мне показалось, что в ответ выстрелила базука, а потом все снова смолкло.

— Когда танк вернется, — сказал Пайл, — можно посигналить им, чтобы подвезли нас в лагерь.

От страшного взрыва затрясся пол.

— Если только они вернутся, — сказал я. — Похоже на мину.

---

* Уколол! — букв.: «Попал!» — фехтовальный термин (фр.).

Когда я снова взглянул на часы, было уже четверть десятого. Танк не вернулся. Стрельба прекратилась.

Я опустился на пол рядом с Пайлом, вытянул ноги.

— Попробуем уснуть, — сказал я. — Больше ничего не остается.

— Не нравятся мне эти солдаты, — сказал Пайл.

— Пока вьетминцев нет, бояться нечего. Автомат положите под ноги, для верности.

Я закрыл глаза и попытался представить себе, что я где-то в другом месте. Скажем, сижу в купе четвертого класса в немецком поезде, какие ходили до Гитлера. В молодости можно просидеть всю ночь напролет и не загрустить. Тогда я просыпался с надеждой, а не в страхе. Сейчас Фуонг готовила бы мне вечернюю трубку. «Не ждет ли меня письмо», — подумал я. Лучше бы его не было, я знал, что́ в нем могло быть, а пока письма нет, можно помечтать о несбыточном.

— Вы спите? — спросил Пайл.

— Нет.

— Как по-вашему, может быть, лучше подтянуть лестницу?

— Кажется, я начинаю понимать, почему они ее не подняли. Ведь это единственный способ отсюда выбраться.

— Хоть бы этот танк вернулся.

— Теперь уж не вернется.

Я старался смотреть на часы как можно реже, но всякий раз оказывалось, что прошло совсем мало времени. Без двадцати десять, пять минут одиннадцатого, двадцать минут одиннадцатого, тридцать две минуты одиннадцатого, сорок одна минута одиннадцатого.

— Не спится? — спросил я Пайла.

— Нет.

— О чем вы думаете?

Он помедлил.

— О Фуонг, — сказал он.

— Вот как...

— Я просто думал, что она сейчас делает.

— Могу вам сказать. Она решила, что я остался на ночь в Тай-Нине. Это не впервые. Зажгла кусочек камфарного дерева от москитов, лежит на кровати и смотрит картинки в старых номерах «Пари-матч». Она, как французы, обожает королевскую семью.

— Хорошо, должно быть, все знать о ней наверняка, — задумчиво произнес он, и я представил себе в темноте его грустные, собачьи глаза. Назвали бы его лучше Фидо, а не Олден!

— А я и не знаю наверняка; просто думаю, что это так. Что толку ревновать, когда сделать все равно ничего не можешь. Ее, как говорится, на замок не запрешь.

— Томас, меня иной раз возмущает ваш тон. Знаете, какой она мне кажется? Она кажется мне свежей, как цветок.

— Бедный цветок, — сказал я. — Кругом столько сорняков...

— Где вы с ней познакомились?

— Она танцевала в ресторане «Гран монд».

— Танцевала? — воскликнул он. Как будто ему и думать об этом было неприятно.

— Успокойтесь, это вполне приличная профессия, — сказал я.

— Вы так много видели в жизни, Томас.

— Это мне лет так много. Когда вам будет столько же...

— У меня никогда не было женщины, — сказал он, — так вот, по-настоящему. То, что вы назвали бы настоящим романом.

— У вас, американцев, вся энергия на свист уходит.

— Я никогда никому не говорил об этом.

— Вы еще молоды, тут стыдиться нечего.

— А у вас, наверно, было много женщин, да, Фаулер?

— Не знаю, что такое «много»? Только четыре женщины что-то для меня значили или я для них. А остальные сорок с лишним — сам не знаю, для чего все это было. Какие-то ложные представления, что это нужно для здоровья, что иначе как-то неудобно.

— Вы считаете, это ложные представления?

— Вернуть бы сейчас все эти ночи... Зря я их растратил. Я могу еще любить, Пайл, а никому это не нужно. И потом, в те дни, конечно, это был вопрос самолюбия: не скоро отучаешься гордиться тем, что кого-то к тебе тянет. А чем тут, собственно, гордиться — бог его знает. Когда посмотришь кругом, видишь — кого только не любят.

— Но вы ведь не думаете, что я какой-то странный, правда, Томас?

— Нет, Пайл, что вы!

— Понимаете, Томас, не то, чтобы я в этом не нуждался. Я не какой-нибудь там ненормальный.

— Да, в сущности, все мы не так уже в этом нуждаемся, больше разговоров. Тут огромную роль играет самовнушение. Вот сейчас я знаю, мне никого не надо, кроме Фуонг. Но понимать это начинаешь не сразу. Если бы ее не было, я бы сейчас мог год спокойно спать один.

— Но ведь она есть, — возразил он едва слышно.

— Начинаешь с распутства, а кончаешь верностью одной женщине, как наши деды.

— Но начинать с верности, должно быть, кажется очень наивным...

— Нет...

— А вот по статистике Кинси так почти не бывает.

— Потому-то я и не считаю, что это наивно.

— А знаете, Томас, хорошо вот так разговаривать с вами. Совсем забываешь об опасности.

— У нас тоже так бывало во время немецких налетов, когда наступало затишье, — сказал я. — Но *они* всегда возвращались.

— Если бы вас спросили, какое вы испытали в жизни самое острое физическое наслаждение, что бы вы сказали?

Я ответил не задумываясь: — Проснуться рано утром и видеть, как женщина в красном халате расчесывает волосы.

— А Джо говорит, когда у него с одной стороны лежала китаянка, а с другой — негритянка.

— Если бы мне было двадцать лет, я бы тоже такое выдумал.

— Но Джо уже пятьдесят...

— Интересно, сколько лет ему дали, когда определяли уровень его умственного развития во время войны?

— Эта женщина в красном халате — Фуонг?

Лучше бы он меня не спрашивал.

— Нет, — сказал я, — та женщина была раньше. Когда я ушел от жены.

— А потом что было?

— Я и от нее ушел.

— Почему?

И в самом деле, почему?

— Потому что мы — дураки, когда любим, — сказал я. — Я страшно боялся потерять ее. Мне казалось, она ко мне переменилась. Может, в самом деле этого и не было, не знаю. Но я не мог выдержать неопределенности и сам помчался навстречу концу, как трус мчится навстречу опасности и еще медаль получает. Я хотел поскорее пережить эту смерть.

— Какую смерть?

— Для меня разлука с ней была, как смерть. Тогда-то я и уехал на Восток.

— И встретили Фуонг?

— Да.

— Но разве в Фуонг вы не нашли то же самое?

— Нет, здесь другое. Видите ли, та меня любила, я боялся потерять любовь. Сейчас я боюсь потерять только Фуонг.

«И зачем я все это говорю? — подумал я. — К чему облегчать ему задачу?»

— Но она-то любит вас?

— Любит, но по-своему. Это не в их характере. Вы и сами узнаете. Пошло, конечно, называть их детьми. Но в одном отношении они действительно, как дети: они любят вас за вашу ласку, за покровительство, за ваши подарки; ненавидят за побои, за несправедливость. Они не понимают, как это можно войти в комнату, увидеть человека и влюбиться в него с первого взгляда. Для немолодого человека, Пайл, так гораздо спокойнее: она не убежит из дому, пока ей дома хорошо.

Я не хотел его задеть, но понял, что задел, когда он сказал с сердцем: — Она может уйти к человеку, который будет с нею еще ласковее, еще щедрее.

— Может.

— А вы не боитесь?

— Боюсь, но не так, как с той, другой.

— Да вы вообще-то ее любите?

— Да, Пайл, люблю. Но так, как тогда, я любил только раз.

— Несмотря на сорок с лишним женщин, — съязвил он.

— Уверен, что это меньше средней цифры по статистике Кинси. Знаете, Пайл, женщинам не нужны девственники. Пожалуй, и нам девственницы не нужны, если только мы не извращены.

— А я вовсе не девственник, — сказал он.

Вообще все наши разговоры с Пайлом принимали какой-то нелепый характер. Может быть, из-за его искренности мы так сбивались с обычного пути. Все, что он говорил, было как-то чересчур прямолинейно.

— Можно иметь сотню женщин, Пайл, и все-таки быть девственником. Большинство ваших солдат, которых во время войны повесили за изнасилование, были девственники. В Европе их не так много. И слава богу. От них один вред.

— Я просто не понимаю вас, Томас.

— Не хочется объяснять. И вообще надоел этот разговор. В моем возрасте больше думаешь не о половой проблеме, а о старости, о смерти. Я просыпаюсь с мыслью об этом, а не о женщинах. Просто не хочу под старость остаться один — вот и все. Я не знал бы, о чем по целым дням думать. Уж лучше пусть рядом будет женщина, даже нелюбимая. Но если Фуонг бросит меня, найду ли я сил отыскать другую?..

— Так она вам только затем и нужна?

— Только, Пайл? Вот подождите, будут у вас впереди десять лет одиночества, а потом больница, тут и вы начнете метаться, удерете даже от женщины в красном халате, станете искать хоть кого-нибудь, какую угодно женщину, лишь бы она не покинула вас до конца ваших дней.

— А почему бы вам тогда не вернуться к жене?

— Не так-то легко жить с человеком, которого ты обидел.

Послышалась автоматная очередь в какой-нибудь миле от нас. Может быть, часовой с перепугу стал палить в темноту, может, снова на-

чалось наступление. Я надеялся, что это наступление, — это увеличило бы наши шансы.

— Боитесь, Томас?

— Конечно, боюсь. Это какой-то инстинктивный страх. А умом я понимаю, что лучше умереть вот так. Потому-то я и приехал на Восток. Тут смерть все время рядом.

Я взглянул на часы — было одиннадцать. Еще восемь часов — и мы можем успокоиться. Я сказал:

— По-моему, мы обо всем переговорили, только о боге не спорили. Ну, это мы оставим на рассветные часы.

— Вы в него не верите?

— Нет.

— Для меня без него ни в чем не было бы смысла.

— А для меня и с ним ни в чем смысла нет.

— Читал я одну книгу...

Но мне так и не пришлось узнать, какую книгу читал Пайл. (По всей вероятности, это был не Йорк Гардинг, и не Шекспир, и не «Антология современной поэзии», и не «Физиология брака», скорее всего — «Жизнь торжествует».) Откуда-то в вышку ворвался гулкий голос, казалось, он исходит из темноты, окружавшей люк. Голос что-то говорил в рупор по-вьетнамски.

— Мы попались, — сказал я.

Солдаты повернулись к амбразуре. Они напряженно вслушивались, полуоткрыв рот.

— Что это? — спросил Пайл.

Направляясь к амбразуре, я словно окунулся в этот голос. Я выглянул. Ничего не было видно. Даже дорогу нельзя было различить. Обернувшись, я увидел наведенную винтовку: я только не был уверен, на меня или на амбразуру. Когда я двинулся по стенке, винтовка качнулась, дрогнула, но я попрежнему оставался под прицелом. Голос снова повторил ту же фразу. Я сел, и ствол винтовки тоже опустился.

— Что он говорит? — спросил Пайл.

— Не знаю. Нашли, наверно, машину и приказывают этим парням выдать нас, не то пусть пеняют на себя. Возьмите-ка автомат, пока они не опомнились.

— Он сейчас выстрелит.

— Нет, он еще не решился. А когда решится, все равно выстрелит.

Пайл шевельнулся, солдат сразу же вскинул винтовку.

— Я двинусь по стене, — сказал я. — Как только он отведет взгляд, возьмите его на прицел.

Едва я поднялся, голос внезапно смолк. Я вздрогнул от неожиданности. — Опусти винтовку, — резко сказал Пайл. Не успел я подумать, заряжен ли наш автомат — раньше я посмотреть не удосужился, — как солдат бросил винтовку на пол.

Я быстро подхватил ее. Голос заговорил снова. Мне показалось, что он повторил ту же фразу, слово в слово. Может, они запускали пластинку. Я подумал, что они, наверно, поставили нам ультиматум, но как узнать, когда истекает срок?

— А дальше что будет? — спросил Пайл, совсем как школьник, которому показывают лабораторный опыт. Казалось, его лично это совершенно не касается.

— Возможно, что начнут стрелять из базуки или появится вьетминец.

Пайл стал рассматривать автомат.

— По-моему, тут ничего сложного нет, — сказал он. — Может быть, дать очередь?

— Нет, пусть они еще поразмышляют. Они ведь хотят взять вышку без выстрела. Этим мы выгадываем время. Вот что, надо поскорее отсюда выбраться.

— А вдруг они ждут там, внизу?

— Тоже возможно.

Солдаты пристально следили за нами. Я все время пишу о них, как о взрослых — «солдаты», но на самом деле им вместе не было и сорока.

— Ну, а с этими как? — спросил Пайл и с поразительной прямолинейностью добавил: — Не пристрелить ли их? — Должно быть, он хотел испробовать автомат.

— Но ведь они вам ничего плохого не сделали!

— Они собирались нас выдать.

— Ну и что же? — сказал я. — Нам тут не место. Это их страна.

Я разрядил винтовку и бросил ее на пол.

— Вы собираетесь ее оставить? — спросил Пайл.

— Слишком я стар, чтобы бегать с винтовкой. И война это не моя. Ну, пошли.

Да, это не моя война. Но хорошо, если бы и другие, там, в темноте, тоже об этом знали. Я загасил коптилку, опустил ноги в люк и стал нащупывать лестницу. Позади солдаты шептались друг с другом на своем певучем языке, растягивая слова.

— Бегите вперед, — сказал я Пайлу. — Прямо в рис. Помните: там вода, может быть, глубоко, не знаю. Готовы?

— Да.

— Спасибо за компанию.

— И вам тоже, — сказал Пайл.

Солдаты позади нас зашевелились. «Может, у них ножи», — подумал я. Снова повелительно заговорил голос из рупора, словно давая понять, что это в последний раз. Внизу в темноте что-то прошмыгнуло, будто крыса. Я замешкался.

— Сейчас бы выпить, черт побери, — шепнул я.

— Пойдем скорее!

Вверх по лестнице что-то карабкалось. Ничего не было слышно, но я чувствовал, как лестница трясется у меня под ногами.

— Что там у вас? — спросил Пайл.

Сам не знаю почему, но мне казалось, что к нам молчаливо, украдкой подбирается что-то непонятное. Ведь подниматься мог только человек, и все же я не представлял себе, что это такой же человек, как я. Казалось, по лестнице тихо крадется какое-то неведомое, нечеловеческое существо, готовое спокойно, по-звериному беспощадно растерзать тебя. Лестница все тряслась и тряслась, не переставая, и мне показалось, что я вижу внизу горящие глаза. Тут я не выдержал и спрыгнул вниз. Там не было никого, но моя нога по щиколотку ушла в вязкую почву и так подвернулась, будто ее скрутила чья-то рука. Я слышал, как спускается Пайл, и понял, что перепугался, как дурак, не сообразив, что лестница трясется от моих собственных шагов. А я-то думал, что я закаленный, бесстрашный, именно такой, каким должен быть объективный наблюдатель и репортер. Я поднялся на ноги и едва не упал от боли. Волоча ногу, я стал пробираться к рисовому полю. Позади слышались шаги Пайла. Но тут по вышке бухнул снаряд, и я снова упал ничком.

4

— Ушиблись? — спросил Пайл.

— Ногу подвернул, ничего страшного.

— Тогда пошли, — настойчиво сказал Пайл.

Я различал его в темноте; казалось, он весь обсыпан тонкой белой пылью. Внезапно он просто исчез, как пропадает изображение на экране, когда в аппарате вдруг гаснет проекционный фонарь и остается только звук. Я осторожно стал на здоровое колено и попробовал подняться, не ступая на ушибленную ногу, но снова упал. От боли у меня перехватило дыханье. Что-то приключилось с левой ногой, она стала словно чужая. У меня пропал даже страх — боль пересилила все. Я лежал не шевелясь, пытаясь обмануть боль, старался даже не дышать, как делаешь, когда болят зубы. Я не думал про вьетминцев, которые вот-вот начнут обыскивать развалины вышки. Там снова разорвался снаряд. Прежде чем подойти, они хотели полностью себя обезопасить. Когда боль стала утихать, я подумал: «Как дорого стоит убить несколько человеческих существ — лошадей убивать куда дешевле». Наверно мысли у меня стали путаться: мне вдруг померещилось, что я попал на живодерню, которая в детстве, когда мы жили в маленьком городке, внушала мне непреодолимый страх. Нам вечно чудилось жалобное ржанье перепуганных лошадей и звук ударов, когда их приканчивали.

Но через некоторое время боль снова вернулась, хотя я попрежнему лежал неподвижно и старался не дышать: мне казалось, что это помогает. Совершенно отчетливо я подумал, не лучше ли мне ползти к полю. Вьетминцам, наверное, некогда будет искать нас особенно далеко. Сейчас для связи с экипажем первого танка, должно быть, уже вышел новый патруль. Но боль была для меня страшнее, чем партизаны, и я лежал неподвижно. Пайла нигде не было слышно. Наверно, он уже добрался до поля. Вдруг я услыхал плач. Он доносился оттуда, где стояла вышка, вернее, где она была раньше. Непохоже было, что плакал мужчина, — так скулит ребенок, боясь темноты, но не смея вскрикнуть. Наверно, это был один из тех двух юнцов, может быть, убили его товарища. Я надеялся, что вьетминцы все-таки не перережут ему глотку. Нельзя вести войну против детей. Мне снова вспомнился маленький скорченный трупик в канаве. Я закрыл глаза — это тоже отгоняло боль — и стал ждать. Голос прокричал что-то непонятное. Теперь, когда боль отпустила меня, я чувствовал, что могу тут уснуть в темноте и одиночестве.

Вдруг я услышал шепот Пайла: — Томас, Томас...

Он сразу научился подкрадываться бесшумно: я и не слышал, как он подошел.

— Уходите, — шепнул я в ответ.

Он отыскал меня и улегся на землю рядом.

— Вы почему не идете? Ушиблись?

— Кажется, нога перебита.

— Пулей?

— Нет, нет. Бревном или камнем. Там, около вышки. Крови нет.

— А вы поднатужьтесь!

— Уходите, Пайл. Я не пойду, очень больно.

— Какая нога?

— Левая.

Он подполз ко мне с другой стороны и закинул мою руку себе на плечо. Я чуть не заскулил, как тот мальчик с вышки, и вдруг выругался, хотя трудно ругаться шепотом:

— Подите к черту, Пайл, оставьте меня в покое. Я останусь здесь.

— Нельзя.

Он уже почти втащил меня к себе на спину. Боль стала невыносимой.

— Нечего вам корчить из себя героя. Не пойду.

— Вам надо помочь, — сказал он. — Не то оба попадемся.

— Знаете, вы...

— Тихо, а то услышат.

Я заплакал от обиды — другого слова не подберешь. Я уцепился за Пайла, левая нога у меня болталась, как будто мы участвовали в шуточном состязании, неумело прыгая на трех ногах. И ничего бы у нас не вышло, но в тот момент, когда мы двинулись, где-то на дороге, по направлению к следующей вышке, быстрыми короткими очередями зачастил пулемет. Может, это пробивался патруль, а может, вьетминцы для верности решили покончить и с третьей вышкой. За выстрелами никто не мог бы услышать, как мы медленно и неуклюже тащились к полю.

Наверное, я временами терял сознание. Видимо, последние шагов двадцать Пайл просто нес меня на себе. Он сказал:

— Осторожнее, начинается поле.

Вокруг зашуршал сухой рис, грязь захлюпала, разлетелась брызгами. Пайл остановился, когда вода дошла нам до пояса. Он дышал прерывисто, с присвистом, как большая лягушка.

— Замучились вы со мной, — сказал я.

— Не мог же я вас бросить, — сказал Пайл.

Сперва я почувствовал облегчение: жидкая грязь обволокла ногу и держала ее нежно и крепко, как повязка, но нас бросало в дрожь от холода. Я не знал, миновала ли полночь. Тогда придется сидеть тут еще часов шесть, если только вьетминцы не найдут нас.

— Передвиньтесь чуть-чуть, — попросил Пайл, — только на минуту.

Меня снова охватило непонятное раздражение, оправданием мне могла служить только боль. Не просил я спасать меня и ценой таких мук оттягивать смерть. С тоской думал я о том, как удобно было лежать на твердой сухой земле. Я стоял на одной ноге, как журавль, стараясь поменьше наваливаться на Пайла. Стоило мне шевельнуться, как стебли риса начинали хрустеть и трещать.

— Вы спасли мне жизнь... — начал я. И Пайл уже откашлялся, чтобы ответить как полагается, но я добавил: — Спасли, чтобы я подох здесь. Я предпочел бы подохнуть на сухой земле.

— Не надо говорить, — возразил Пайл мягко, словно больному. — Нужно беречь силы.

— Какого черта вы спасли мне жизнь, кто вас просил? Я приехал на Восток, чтобы меня убили. Вечно это ваше наглое вмешательство...

Тут я поскользнулся в грязи, и Пайл подставил мне плечо.

— Обопритесь как следует, — сказал он.

— Насмотрелся военных фильмов! Мы не десантники, и медали вам все равно не дадут.

— Тс-тс...

Послышались шаги: кто-то приближался к полю. Пулемет на дороге смолк, и были слышны лишь шаги да тихо шуршал рис от нашего дыханья. Затем пропал и звук шагов, казалось, кто-то остановился совсем рядом. Пайл осторожно потянул меня вниз. Оба мы медленно-медленно стали погружаться в грязь, стараясь как можно меньше шевелить рис. Я стоял на одном колене и, только запрокидывая голову, мог держать лицо над водой. Боль в ноге снова вернулась. «Если мне станет плохо, я утону», — подумал я. Я всегда ужасно боялся утонуть. Почему человек не волен выбрать себе смерть? Не было слышно ни звука. В двадцати шагах те, другие, ждали, может быть, мы зашевелимся, кашлянем, чихнем. «О, черт, — подумал я, — сейчас чихну. Хоть бы Пайл оставил меня в покое! Тогда я чувствовал бы ответственность лишь за свою жизнь, а не за него; а ему хочется жить». Я прижал пальцами верхнюю губу: мы научились этому в детстве, играя в прятки, но почувство-

вал, что мне не удержаться. А там в темноте кто-то молча ждал, когда я чихну. Вот сейчас, сейчас, вот...

Но в ту секунду, как я чихнул, вьетминцы начали стрелять из автоматов. Они строчили по рису, и резкий, сверлящий звук — словно буравили стальную плиту — заглушил мое чиханье. Я набрал побольше воздуху и нырнул: так инстинктивно уходишь от желанного, кокетничаешь со смертью — совсем как женщина, которая хочет, чтобы любовник взял ее силой. Пули хлестнули по рису над нашими головами, и буря пронеслась. Мы одновременно высунулись из воды, чтобы набрать воздуху, и услышали, что шаги удаляются по направлению к вышке.

— Ну, выскочили, — сказал Пайл.

И, несмотря на боль, я подумал — а для чего собственно? Меня ждет старость, место редактора, одиночество. А что до него, так теперь я знаю, что ему-то радоваться было рано.

Мокрые, промерзшие, мы сели и стали ждать. На дороге в Тай-Нинь вдруг вспыхнул костер. Он горел весело, как на празднестве.

— Моя машина, — сказал я.

— Это безобразие, Томас, — сказал Пайл. — Ненавижу, когда зря губят добро.

— Видно, все-таки в баке было достаточно бензина, чтобы поджечь ее. А вам тоже холодно, Пайл?

— Холоднее быть не может.

— А если выбраться отсюда и лечь на дорогу?

— Лучше подождем еще полчасика.

— Но я так на вас навалился.

— Ничего, я молодой, выдержу.

Он хотел сказать это шутливо, но меня обдало холодом, как от этой грязи. Я хотел извиниться, сказать, что наговорил все это потому, что мне было очень больно. Но тут боль снова заговорила во мне.

— Конечно, вы молодой, отчего же вам не подождать?

— Не могу вас понять, Томас.

У меня было такое чувство, словно мы провели вместе не одну ночь, а целую неделю, но он попрежнему совсем не понимал меня, так же как почти не понимал по-французски.

— Лучше бы вы меня бросили там, — сказал я.

— Но я не смог бы тогда смотреть в глаза Фуонг, — ответил он. Ее имя легло между нами, как карта банкомета. Я принял вызов.

— Так, значит, это ради нее, — сказал я. Ревность моя казалась еще более нелепой и унизительной оттого, что мне приходилось говорить самым приглушенным шепотом. Нельзя ревновать беззвучно, ведь ревность любит громовые монологи. — Думаете заполучить ее своим геройством? Очень ошибаетесь. Вот если бы я умер, она стала бы вашей.

— Я не то хотел сказать, — возразил Пайл. — Когда влюблен, хочется быть лучше, выше. Вот и все.

Верно, подумал я, но не в том смысле, как он наивно думает. Любить — значит видеть себя таким, каким ты хотел бы быть в глазах того, другого человека. Это значит любить свой собственный образ, приукрашенный, идеализированный. Когда любишь, забываешь о чести — благородный поступок становится просто театральным жестом, рассчитанным на двух зрителей. Может быть, я уже и не любил, но я помнил, как это бывает.

— Будь я на вашем месте, я бы вас бросил, — сказал я.

— О нет, Томас, не бросили бы, — возразил он и с нестерпимым самодовольством добавил: — Я вас знаю лучше, чем вы сами.

В сердцах я отстранился от него и попробовал держаться сам, но тут боль снова ворвалась в меня с грохотом, как поезд в тоннель, и я

навалился на Пайла всей тяжестью, а потом вдруг стал сползать в воду. Он обхватил меня обеими руками, приподнял и осторожно, шаг за шагом, стал подтаскивать к насыпи. Там он опустил меня прямо в грязь у края поля. Когда боль утихла, я вздохнул свободно и, открыв глаза, увидел над собой только сложные письмена созвездий, незнакомые письмена, которые я не умел читать; это были не те звезды, что на родине. Лицо Пайла склонилось надо мной, заслонив небо.

— Томас, я выйду на дорогу, поищу патруль.

— Не сходите с ума, — сказал я. — Они вас подстрелят. Не разберутся даже, кто и что. Или вьетминцы схватят.

— Другого выхода нет. Нельзя же вас оставить в воде на шесть часов.

— Тогда положите меня на дороге.

— Автомат, пожалуй, вам не стоит оставлять? — спросил он нерешительно.

— Конечно, нет. Раз уж вы решились на геройство, идите, по крайней мере, полем и потихоньку.

— Но я не успею подать знак, если пройдет патруль.

— Вы же все равно по-французски не говорите.

— А я крикну: «Je suis Frongçais» *. (У него прозвучало «фронгсе».) Да вы не волнуйтесь, Томас. Я буду осторожен.

Прежде чем я смог ответить, он отошел и все равно не расслышал бы моего шепота. Он крался бесшумно и ловко, часто останавливался. Я видел его в отсветах горящей машины, но никто не стрелял; вскоре он миновал огонь и тишина затянула его следы. Да, он действительно шел очень осторожно, так же осторожно он, наверное, плыл в лодке к Фат-Дьему. То была осторожность героя из приключенческой книжки для подростков. Он гордился своей осторожностью, как скаутским значком, и совершенно не понимал всей нелепости и невероятности этого приключения.

Я лежал, прислушиваясь, не выстрелят ли вьетминцы или патрули-легионеры, но все было тихо. Пайлу потребуется час или больше, чтобы добраться до какой-нибудь вышки, если он вообще до нее доберется. Я повернул голову так, что мне стали видны остатки нашей вышки: куча земли, бамбук и стропила, которые как будто опускались все ниже по мере того, как сникало пламя горящей машины. Мне вдруг стало спокойно. Боль прошла, словно наступило перемирие с нервами. Мне даже захотелось петь. Как странно,— подумал я. Ведь люди моей профессии втиснули бы все события этой ночи в какие-нибудь две строчки информации — это была самая обычная ночь, и единственное, что в ней было странного, это я сам. Вдруг я снова услышал приглушенный плач, доносившийся от развалин вышки. Один из солдат, повидимому, был еще жив.

Бедняга, — подумал я. Ведь если бы наша машина не выдохлась около его поста, он мог бы сдаться: почти все они сдаются или убегают по первому звуку рупора. Но там были мы, двое белых, и у нас был автомат, и они не посмели шевельнуться. Когда мы удрали, было уже поздно. Я отвечал за то, что этот мальчик плакал в темноте. А я-то еще гордился, что стою в стороне, что я к этой войне не причастен! Нет, все равно я ранил этого мальчишку, как будто выстрелил в него из автомата, как собирался выстрелить Пайл.

Я попробовал переползти через насыпь на дорогу, я хотел быть рядом с этим раненым. Единственное, что я мог сделать, — это разделить его боль. Но моя собственная боль заставила меня остаться. Больше

---

* Искаженное: я — француз *(фр.)*.

я его не слышал. Я лежал неподвижно, ощущая лишь свою боль: она билась во мне, как гигантское сердце. Я не мог дышать, и я молил бога, в которого не верил: «Дай мне умереть или забыться. Дай мне умереть или забыться». Потом я, наверно, впал в забытье и ничего не ощущал. И тут мне приснилось, что веки мои смерзлись и кто-то пытается зубилом раздвинуть их, и я хочу предупредить, чтобы мне не поранили глаза, но не могу говорить. И вот зубило впивается в меня, и в лицо мне брызжет яркий свет карманного фонаря.

— Ну, Томас, мы спасены! — сказал Пайл.

Это я припоминаю, но совершенно не помню того, о чем Пайл позднее рассказывал: будто бы я показывал подошедшим на вышку, повторяя, что там лежит человек и о нем надо позаботиться. Но, все равно, истолковал я это не так сентиментально, как Пайл. Я знаю себя, знаю всю глубину своего эгоизма. Не может у меня быть легко на душе (а душевный покой — мое главное желание), если другому человеку плохо и я это вижу, слышу или ощущаю. Люди неискушенные иной раз принимают это за отзывчивость, но ведь на деле я всего-навсего отказываюсь от какого-нибудь невеликого блага — скажем, в данном случае мне просто позже оказали помощь, — ради блага неизмеримо бóльшего, ради душевного спокойствия, которое дает мне возможность думать только о себе.

Санитары вернулись и сказали мне, что часовой у вышки уже мертв, и мне стало спокойно: даже боль в ноге улеглась после того, как впрыснули морфий.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Я медленно поднимался по лестнице в свою квартиру на улице Катина́ и остановился на площадке, чтобы передохнуть. Старухи, как всегда, сплетничали, рассевшись на полу около уборной, и по морщинам их лиц можно было читать судьбу, как по линиям руки. Когда я проходил, они умолкли. И я подумал: «Если бы я знал их язык, что́ они рассказали бы мне про то, что происходило здесь, пока я лежал в госпитале Легиона неподалеку от Тай-Ниня?» Где-то там, на вышке или в рисовом поле, я потерял ключи, но послал Фуонг записку, и она, наверное, ее получила, если была еще здесь. В этом «если» выражалась вся моя неуверенность. В госпитале у меня не было от нее никаких вестей, но ей трудно писать по-французски, а по-вьетнамски я читать не умею. Я постучал, и дверь тотчас же распахнулась; казалось, в доме все попрежнему. Я пристально смотрел на Фуонг, а она спросила, как я себя чувствую, потрогала лубок на моей ноге и подставила плечо, чтоб я мог опереться, как будто и в самом деле можно опереться на такую тонкую былинку. — Хорошо вернуться домой, — сказал я.

Она сказала, что скучала по мне, — именно это я и хотел от нее услышать. Она, как кули, отвечающий на вопросы, всегда говорила мне то, что я хотел услышать: разве только могла оговориться случайно. Сейчас я ждал такой оговорки.

— Ну, как ты тут развлекалась? — спросил я.

— А я часто ходила к сестре. Она устроилась у американцев.

— Вон что! Пайл помог?

— Нет, не Пайл, а Джо.

— Какой Джо?

— Ты же его знаешь. Атташе по экономическим вопросам.

— Ах, Джо... Ну да, конечно.

Он был одним из тех, кого вечно забываешь. Я и сейчас не мог бы описать его точно. Помню только, что он толстый, что у него гладко выбритые припудренные щеки, что он раскатисто хохочет. Остальные его приметы от меня ускользнули. Помню, что его зовут Джо, — есть люди, которых все зовут уменьшительным именем.

С помощью Фуонг я вытянулся на кровати.

— В кино ходила? — спросил я.

— На Катина́ идет очень смешной фильм, — сказала она и тут же принялась рассказывать мне содержание со всеми подробностями, а я оглядывал комнату — нет ли где белого конверта с телеграммой. Пока я ничего не спрашивал, я мог надеяться, что Фуонг просто забыла мне сказать и телеграмма могла быть где-нибудь тут, на столе возле пишущей машинки или на шкафу, а может быть, Фуонг для сохранности спрятала ее в ящик буфета, где лежала целая коллекция ее шарфов.

— Почтмейстер — кажется, он почтмейстер или мэр, я не знаю — шел за ними до самого дома, а потом взял у булочника лестницу и забрался к Коринне в окно. Но, понимаешь, она с Франсуа пошла в другую комнату, а он не слышал, как подошла мадам Бонпьер, а она подходит и видит, он стоит на верхушке лестницы, и вот она подумала...

— А кто такая мадам Бонпьер? — спросил я и повернул голову, чтобы взглянуть на умывальник — иногда она для памяти засовывала нужные письма между пузырьками с лосьонами.

— Я же тебе говорила — это мать Коринны. Она искала себе мужа — она вдова.

Она села на кровать и положила ладонь мне на грудь под рубашку.

— Очень было смешно, — сказала она.

— Поцелуй меня, Фуонг.

В ней не было никакого кокетства. Она быстро поцеловала меня и стала рассказывать дальше. Так же просто, если бы я только попросил, она легла бы рядом, без всяких разговоров сбросив свои длинные брюки, а потом снова стала бы рассказывать о мадам Бонпьер и злоключениях почтмейстера.

— Мне телеграммы не было?

— Была.

— Почему же ты не дала ее мне?

— Тебе еще рано работать. Полежи, отдохни.

— А может, это не насчет работы.

Фуонг подала мне телеграмму, и я увидел, что она распечатана. В ней говорилось: «Ждем четыреста слов военной политической обстановке связи кончиной де Латтра».

— Да, — сказал я, — это насчет работы. А ты откуда знала? Зачем ты распечатала?

— Я решила, это от твоей жены. Думала, может быть, хорошие вести.

— А кто тебе перевел?

— Я отнесла сестре.

— А если бы это были дурные вести, ты бы от меня ушла? Да, Фуонг?

Она молча погладила меня по груди, чтобы успокоить, не понимая, что сейчас я ждал от нее слов, пусть даже лживых.

— Хочешь трубку? Тебе и письмо есть. Может быть, от нее.

— Ты его тоже вскрыла?

— Я твоих писем не вскрываю. А телеграммы можно. Их и на почте читают.

Конверт был засунут между шарфами. Она осторожно вынула его и положила на кровать. Я узнал почерк.

— А если вести плохие, то ты?..

Я прекрасно знал, что там могут быть только плохие вести. Телеграмма могла означать внезапный порыв великодушия; письмо означало объяснения, оправдания... И я не докончил вопроса — нечестно требовать обещания, которое все равно сдержать невозможно.

— Чего ты боишься? — спросила Фуонг. И я подумал: «Боюсь одиночества, Пресс-клуба, меблированной комнаты, боюсь Пайла».

— Приготовь мне бренди с содовой, — сказал я. Посмотрел на обращение: «Дорогой Томас», — на подпись: «Любящая тебя Элен», — и стал ждать бренди.

— От нее?

— Да.

Прежде чем прочесть письмо, я подумал — сказать потом Фуонг правду или солгать.

«Дорогой Томас!

Меня не удивило твое письмо и то, что ты не один. Не такой ты человек, чтобы долго оставаться одному, не правда ли? Женщины к тебе прилипают, как пыль к платью. Может быть, ты вызвал бы у меня больше сочувствия, если бы я не знала, что ты очень легко утешишься, когда вернешься в Лондон. Ты мне, вероятно, не поверишь, но только мысль об этой бедной девушке мешает мне сразу телеграфировать «нет». Мы, женщины, принимаем все гораздо ближе к сердцу, чем вы».

Я отпил бренди. Видно, я не понимал, как долго не затягиваются сердечные раны. И нечаянно, необдуманными словами я снова разбередил ее раны. Разве можно было винить ее в том, что и ей хочется найти мое больное место? Когда нам плохо, мы обижаем других.

— Что, нехорошо? — спросила Фуонг.

— Да, неважно, — сказал я, — но она имеет право..

Я стал читать дальше:

«Я всегда думала, что ты любишь Анну больше других, но ты все бросил и уехал. Теперь ты, видимо, собираешься бросить другую женщину: по твоему письму я вижу, что на самом деле ты вовсе не ждешь «благоприятного» ответа. Ты, наверное, думаешь: «Что ж, я сделал все, что мог». А если бы я телеграфировала «да», что тогда? Ты бы и в самом деле на ней женился? (Мне приходится писать «она» — ты даже не назвал мне ее имени.) Может быть, и женился бы. Как и все мы, ты, вероятно, стареешь, и тебе не хочется быть одному. Мне тоже бывает очень одиноко. Насколько мне известно, Анна нашла другого спутника. Но ты ушел от нее во-время».

Да, она правильно нащупала засохшую рану. Я снова выпил. В голове у меня мелькнуло странное слово: «кровоточить».

— Давай, я тебе приготовлю трубку, — сказала Фуонг.

— Все равно, — сказал я, — все равно...

«Вот первая причина, по которой я должна сказать «нет» (о причинах религиозных говорить не стоит, ты все равно никогда этого не понимал не верил). Брак ведь не мешает бросить женщину, правда? Брак только оттягивает развязку, а по отношению к этой девушке будет особенно несправедливо, если ты бросишь ее, прожив с ней столько же, сколько со мной. Ты привезешь ее в Англию, она будет чувствовать себя всем чужой, а когда ты уйдешь от нее — какой она станет несчастной, одинокой. Она, наверное, даже не умеет обращаться с ножом и вилкой? Я так резка, потому что думаю о ней больше, чем о тебе. Но, Томас, дорогой, я и о тебе думаю».

Мне стало по-настоящему тошно. Давно я не получал писем от

жены. А теперь заставил ее написать, и в каждой строке чувствовалось, как ей больно. Ее боль отозвалась болью и во мне: мы снова, как прежде, мучили друг друга. Если бы можно было любить, не обижая другого... Тут не в верности дело: я был верен Анне и все же обидел ее. В самой сущности обладания другим человеком уже таится что-то оскорбительное: мы слишком мелки душой и телом, чтобы не испытывать самодовольства, обладая другим человеком, и унижения, когда подчиняемся сами. Но я очень долго забывал о ее обиде и теперь отчасти был доволен, что жена снова больно ударила меня — это было единственное, чем я мог дать ей хоть какое-то удовлетворение. К несчастью, при всяком столкновении всегда достается невиновным. Везде и всегда кто-нибудь жалобно плачет, как там, у вышки.

Фуонг зажгла лампу для опиума.

— Она позволит, чтоб ты на мне женился?

— Пока не знаю.

— А разве она не пишет?

— Не знаю, не дочитал.

Я подумал: «Сам гордишься, что стоишь в стороне, что ты репортер, а не автор передовиц, а там, где тебя никто не видит, натворил бог знает что. Настоящая война гораздо безобиднее. Минометом причиняют куда меньше зла».

«Если я поступлю вопреки глубочайшему своему убеждению и отвечу «да», то будет ли это на пользу хотя бы тебе? Ты пишешь, что тебя отзывают в Англию. И я вполне могу себе представить, что тебе не хочется ехать и что ты всеми силами будешь стараться облегчить себе жизнь. Я представляю себе, что ты можешь жениться с пьяных глаз. В первый раз мы оба действительно очень старались — и ты, и я, но ничего не вышло. Обычно во второй раз так уже не стараются. Ты пишешь, что если потеряешь эту девушку, жизнь твоя кончена. Когда-то ты употребил ту же фразу по отношению ко мне: могу показать тебе это письмо, я все еще храню его, — и я полагаю, что то же самое ты писал и Анне. Ты пишешь, что мы всегда старались говорить друг другу правду. Но, Томас, твоя правда слишком недолговечна. Что толку спорить с тобой, пытаться тебя образумить? Легче действовать, как велит мне моя вера, — хотя, по-твоему, это несерьезно, — и просто написать: в развод я не верю, моя вера запрещает его, и потому я отвечаю тебе, Томас: нет и еще раз нет».

Дальше я не стал читать, хотя до подписи «любящая тебя Элен» шло еще с полстраницы. Наверное, там было про погоду и про мою старую тетку, которую я очень любил.

Мне не на что было жаловаться: такого ответа я и ждал. В нем было много верного. Жаль только, что ей пришлось все это высказать, да еще так подробно, ведь эти мысли причиняли ей такую же боль, как и мне.

— Она отказала?

Я ответил почти без промедления:

— Она еще не решила. Еще есть надежда.

Фуонг рассмеялась.

— Говоришь «надежда», а у самого лицо такое кислое!

Примостившись у моих ног, как верный пес у могилы рыцаря-крестоносца, она разогревала опиум, а я думал, что же мне сказать Пайлу? Выкурив четыре трубки, я почувствовал, что теперь мне легче будет все это вынести, и сказал ей, что вполне можно надеяться: моя жена решила посоветоваться с юристом. Со дня на день можно ожидать телеграммы об освобождении.

— Да это не так важно. Ты мог бы внести деньги на мое имя, — сказала она, и мне явственно послышался голос ее сестры.

— У меня нет сбережений, — сказал я. — Я не могу тягаться с Пайлом.

— Не волнуйся. Как-нибудь уладится. Всегда можно найти выход. Сестра говорит, что ты мог бы взять страховой полис на мое имя, — сказала она. И я подумал, как это трезво, что она не преуменьшает роли денег и не говорит громких фраз о любви и верности. А смог бы Пайл годами выдерживать эту ее внутреннюю жесткость? — ведь он романтик! Но он-то, конечно, обеспечил бы ей полное благополучие, и, став ненужной, эта жесткость смягчилась бы, как обмякает мышца, которую не приходится напрягать. Да, богатым во всем везет.

В тот вечер до закрытия лавок Фуонг купила себе на улице Катинà еще три шелковых шарфа. Она села на кровать и стала показывать их мне, восхищаясь их яркой расцветкой, и ее певучий голос словно заполнял пустоту. А потом она аккуратно сложила и убрала шарфы в свой ящик, где уже лежал целый десяток; она как бы закладывала основы скромного благополучия. А я старался подпереть шаткие основы своей жизни: в тот же вечер я написал Пайлу письмо с той обманчивой ясностью мысли, какую дает опиум. Вот это письмо — на-днях я нашел его в книге Йорка Гардинга «Роль Запада». Когда письмо пришло, он, наверно, читал книгу и заложил нужную страницу, а дальше читать не стал.

«Дорогой Пайл»... писал я, и впервые у меня явилось искушение написать: «Дорогой Олден» — в конце концов я писал ему с известным расчетом, а где расчет, там и ложь.

«Дорогой Пайл, я хотел написать вам из госпиталя, чтобы поблагодарить за все, что вы сделали для меня в ту ночь. Вы, безусловно, спасли меня от незавидного конца. Я уже передвигаюсь, правда с палкой. Перелом, повидимому, оказался в удачном месте, а старость еще не добралась до моих костей, и они пока не очень ломкие. Мы должны как-нибудь встретиться и отпраздновать мое выздоровление». (Тут перо мое споткнулось, потом, как муравей, натолкнувшийся на препятствие, обошло его.) «Отпраздновать надо и еще кое-что, и я знаю — это вас тоже обрадует, потому что вы всегда говорили, что интересы Фуонг нам обоим дороже всего. По возвращении я застал письмо от жены: она почти дала согласие на развод, так что за Фуонг вам больше нечего беспокоиться». Это была жестокая фраза, но я понял всю ее жестокость, лишь когда перечел письмо, а тогда исправлять было уже поздно. Если вымарывать, то лучше вообще порвать письмо.

— Тебе какой шарф больше всех нравится? — спросила Фуонг. — Мне желтый.

— Да, да, желтый. Пойди в отель и опусти это письмо.

Она взглянула на адрес.

— Может быть, отнести в миссию? Тогда марки не нужно.

— Нет, лучше опусти.

Потом я снова лег и, ощущая то спокойствие, которое приносит опиум, подумал: «По крайней мере, теперь она не бросит меня, пока я не уеду. А может быть, завтра, после нескольких трубок, я надумаю, как мне остаться».

2

Жизнь идет своим чередом: это многим спасло рассудок. Нельзя во время воздушных налетов без конца испытывать страх. Так и под бомбардировкой повседневных дел, случайных встреч, служебных забот на долгие часы забываешь о своих страхах. Мысли о приближении апреля,

об отъезде из Индокитая, о неопределенном будущем без Фуонг оттеснялись на задний план ежедневными телеграммами, бюллетенями агентства Вьетнам Пресс и болезнью моего помощника — индийца по имени Домингес (его семья приехала из Гоа через Бомбей). Обычно он ходил вместо меня на менее важные пресс-конференции, отлично улавливал всякие слухи и сплетни, относил мою информацию на телеграф и в цензуру. С помощью индийских торговцев, в особенности на севере — в Хайфоне, Нам-Дине и Ханое, — он создал для меня целую осведомительную сеть, и, по-моему, расположение вьетминских частей в тонкинской дельте было известно ему более точно, чем французскому верховному командованию.

Поскольку мы никогда не оглашали своих данных, прежде чем они становились общеизвестными, и никогда не передавали никаких сведений во французскую разведку, Домингес пользовался доверием и дружбой нескольких агентов Вьетмина, скрывавшихся в Сайгоне и Шолоне. Тут, без сомнения, помогало и то, что, несмотря на испанское имя, он не был европейцем.

Я был очень привязан к Домингесу. У других людей гордость на виду, как накожная болезнь, они чувствительны к малейшему прикосновению, а у Домингеса она была запрятана где-то в самой глубине. И я не представляю себе, чтобы человек мог проявлять меньше гордости, чем он. При повседневном общении чувствовалась лишь его мягкость, скромность и абсолютная правдивость; наверно, надо было бы выйти за него замуж, чтобы обнаружить в нем гордость. Быть может, человек, лишенный тщеславия, всегда правдив: часто лгут из самолюбия, например люди моей профессии, репортеры, пишут всякую ложь из желания перекрыть своих коллег. А я спокойно относился к грозным телеграммам из редакции, где меня ругали за то, что я не передал того или иного сообщения, хотя другие репортеры их прислали: благодаря Домингесу мне было известно, что сообщения эти неверны.

Теперь, когда он заболел, я понял, как я ему обязан: он следил даже, чтобы моя машина была во-время заправлена, но вместе с тем никогда, ни словом, ни взглядом не вторгался в мою личную жизнь. Вероятно, он был католик, но об этом можно было догадаться лишь по его фамилии и месту рождения; он очень мало рассказывал о себе, и о нем можно было предположить что угодно: что он поклоняется Кришне или, раскровянив себе грудь колючей проволокой, совершает ежегодные паломничества к Батыевым пещерам. Сейчас его болезнь была для меня спасением — она отвлекала меня от бесконечных тягостных дум о личном. Теперь мне уже самому приходилось отсиживать часы на утомительных пресс-конференциях и ковылять к своему столику в баре «Континенталь», чтобы посплетничать с коллегами. Но мне было труднее, чем Домингесу, отличать правду от лжи, и потому у меня вошло в привычку заходить к нему по вечерам и рассказывать, что я слышал. В общей комнате на одной из убогих улочек близ бульвара Галлиени я заставал иногда около узкой железной койки Домингеса кого-нибудь из его друзей-индийцев. Сам Домингес обычно сидел на постели, выпрямившись и поджав ноги: казалось, что приходишь не к больному, а на прием к радже или к брамину. Иной раз у него начинался приступ лихорадки — пот струился по лицу, — и все-таки он никогда не терял ясности мыслей. Он держался так, будто болезнь гнездилась не в его теле, а в чьем-то другом. Квартирная хозяйка ставила перед ним кувшин с лимонадом, но при мне он никогда не пил: ведь этим он признался бы, что его мучит жажда, признался бы в своих страданиях.

Из всех этих посещений одно особенно сохранилось у меня в памяти. Я уже больше не спрашивал его о здоровье, боясь, как бы он не принял

это за упрек, наоборот, он всегда с большим беспокойством расспрашивал о моем самочувствии и извинялся, что заставил меня подняться по лестнице.

— Я хотел бы, чтоб вы встретились с одним моим другом, — сказал он. — Он вам кое-что расскажет, стоит послушать.

— Серьезно?

— Я тут записал его имя. Я знаю, вам трудно запоминать китайские имена. Ссылаться на него, конечно, нигде не надо. У него склад металлического лома на набережной Мито.

— Что-нибудь важное?

— Возможно.

— А в чем дело?

— Лучше вы сами с ним поговорите. Что-то странное творится, не пойму что...

Пот лился по его лицу, но он не вытирал капель, словно и они — живые существа, чья жизнь священна; он не мог бы убить и мухи — в этом он был настоящим индусом.

— Вы хорошо знаете своего друга Пайла? — спросил он.

— Не особенно. Пути наши скрестились — вот и все. После Тай-Ниня я его не видел.

— А чем он занимается?

— Работает в экономической миссии. Но за миссией много чего кроется. Мне кажется, он проявляет интерес к местной промышленности, наверно, связан с какой-нибудь американской фирмой. Противно, что драться они заставляют французов, а сами в это время обделывают свои дела.

— Я на-днях слышал, что он выступал на приеме, который миссия устроила приезжим конгрессменам. Ему поручили их проинструктировать.

— Господи помилуй! Бедный конгресс! — сказал я. — Да Пайл тут и полугода не прожил!

— Он говорил о старых колониальных державах Англии и Франции, и что ни вам, ни им не добиться доверия азиатских стран, и что вот теперь за дело взялась Америка, а у нее руки чисты.

— А Гонолулу, — сказал я, — а Пуэрто-Рико, а Нью-Мексико...

— Потом кто-то его спросил по существу: сможет ли местное правительство когда-нибудь разгромить Вьетмин, а он сказал, что третья сила смогла бы, что всегда можно найти третью силу, не связанную с коммунизмом и не запятнанную колониализмом; национальная демократия — так он ее назвал. Надо, мол, только найти руководителя и оградить его от влияния старых колониальных держав.

— Это все из книг Йорка Гардинга, — сказал я. — Начитался Гардинга еще до приезда. Он это твердил в первую же неделю, как только приехал, и с тех пор так ничего и не понял.

— А может быть, он уже нашел такого руководителя, — сказал Домингес.

— Разве это имеет значение?

— Не знаю. Не знаю, что он делает. Но вы бы все-таки зашли на набережную Мито, потолковали с моим другом.

Я отправился к себе на улицу Катина́, оставил Фуонг записку и, когда солнце село, поехал в район порта.

На набережной, против пароходов и серых военных кораблей стояли столики и стулья, на маленьких жаровнях что-то кипело и булькало. Под деревьями бульвара де ла Сомм бойко орудовали парикмахеры, а у стен расселись гадалки с колодами засаленных карт. В Шолоне чувствуешь себя словно в другом городе: там с наступлением сумерек

жизнь не замирает, а только начинается. Кажется, что въезжаешь прямо в декорацию какой-то пантомимы: длинные вертикальные вывески с иероглифами, яркие огни, толпа статистов. А потом словно попадаешь за кулисы, сразу становится темно и тихо. Одна такая боковая кулиса вывела меня к пристани, где сгрудились сампаны, в тени зияли открытые двери складов, и кругом не было ни души.

Я нашел нужный дом почти случайно, после долгих поисков. Ворота склада были открыты, и в свете старого фонаря я разглядел какие-то странные, как на картинах Пикассо, очертания груды лома. Тут были старые койки, ванны, каминные решетки, капоты машин, кое-где, куда падал свет, выделялись полосы выцветшей краски. По узкому проходу я пробрался сквозь эту груду хлама и позвал мсье Чжоу, но ответа не было. В конце склада я увидел лестницу, которая, повидимому, вела в дом мсье Чжоу. Вероятно, Домингес послал меня с черного хода. Думаю, что у него были на это свои основания. Даже лестница была завалена рухлядью, обломками, может, они когда-нибудь и пригодятся в этом вороньем гнезде. Наверху оказалась одна большая комната, и в ней расположилась целая семья: кто сидел, кто лежал. Все это напоминало биваж, на который в любую минуту могут напасть. Повсюду стояли маленькие чайные чашки, множество картонных коробок, набитых какими-то непонятными вещами, и фибровые чемоданы, перехваченные ремнями. Кроме старухи, сидевшей на широкой постели, и малыша, который ползал по полу, в комнате находились два мальчика и две девочки, три пожилых женщины в куртках и старых коричневых крестьянских штанах, а в углу — два старика в синих шелковых халатах, какие носят мандарины, играли в маджонг: когда я вошел, они даже не обернулись. Играли старики быстро, распознавая кости на ощупь. И кости постукивали, словно галька на берегу, когда откатывается волна. Остальные тоже не обратили на меня внимания, только кот вспрыгнул на ящик да тощая собачонка обнюхала меня и отошла.

— Мсье Чжоу?.. — начал я вопросительно, но две женщины покачали головами, и попрежнему на меня никто не смотрел, только одна из женщин ополоснула чашку и налила чаю из чайника, поставленного для сохранения тепла в обитый шелком ящик. Я сел на кровать около старухи, и девочка подала мне чашку: казалось, я был принят в это семейство вместе с котом и собакой. Может быть, они в первый раз, как и я, попали сюда случайно. Малыш подполз ко мне и уцепился за шнурок ботинка, но никто его не остановил — на Востоке детей не принято останавливать. На стенах висело три цветных рекламных календаря — на каждом была нарисована девушка в пестром китайском костюме с яркорозовыми щеками; на большом зеркале была странная надпись: «Кафе де ля Пэ» — наверно, его случайно затащили с кучей лома; мне казалось, что я и сам попал сюда случайно, со всем этим хламом.

Я медленно потягивал зеленый горький чай, переставлял чашку без ручки с ладони на ладонь, потому что она жгла пальцы, и думал, долго ли мне еще придется здесь просидеть. Я попытался заговорить с ними по-французски, спросил, когда должен вернуться мсье Чжоу. Но никто мне не ответил, должно быть, не поняли. Когда чашка опустела, ее налили опять. Каждый был занят своим делом: одна из женщин гладила, девочка шила, мальчики готовили уроки, старуха сидела, уставившись на свои крошечные ножки, изуродованные по старому китайскому обычаю, а собака следила за котом, забравшимся на картонный ящик.

Я начинал понимать, сколько Домингесу приходилось тратить сил за свое скудное жалованье.

В комнату вошел невероятно худой китаец. Казалось, он совсем не занимает места, вроде листка пергаментной бумаги, какими проклады-

вают печенье в коробках. Какую-то толщину ему придавала только полосатая фланелевая пижама.

— Мсье Чжоу? — спросил я.

Он окинул меня безразличным взглядом курильщика опиума. Впалые щеки, крошечные ладошки на тонких, как у маленькой девочки, ручках: много потребовалось лет и много трубок, чтобы так иссушить его.

— Мой друг, мсье Домингес, говорил, что вы хотели мне что-то показать, — сказал я. — Ведь вы — мсье Чжоу?

О да, он действительно мсье Чжоу, ответил китаец, вежливым жестом предлагая мне снова сесть. Я был уверен, что он забыл о цели моего прихода, она затерялась где-то в прокуренных закоулках его мозга. Не угодно ли чашку чаю? Мое посещение для него большая честь. Чашку снова сполоснули прямо на пол и дали мне в руки, словно горячий уголек — форменное испытание чаем. Я что-то сказал насчет того, что у него большая семья.

Он огляделся вокруг с некоторым недоумением, словно эта мысль никогда не приходила ему в голову.

— Моя мать, — сказал он, — моя жена, моя сестра, мой дядя, мой брат, мои дети, дети моей тетушки.

Малыш отполз от моих ног и, упав на спину, гукал и сучил ножками. Чей же он, — подумал я. В матери тут ему явно никто не годится: одни слишком молоды, другие слишком стары.

— Мсье Домингес сказал, что вы хотели сообщить мне что-то важное, — начал я.

— Ах, мсье Домингес? Надеюсь, он здоров?

— У него была лихорадка.

— Да, в эту пору многие болеют.

Я не был даже уверен, что он припоминает, кто такой Домингес. Он закашлялся; под распахнутой пижамой с оторванными пуговицами туго натянутая кожа вибрировала, как туземный барабан.

— Вы бы сами показались врачу, — сказал я. Тут в разговор наш вмешался третий — я и не слышал, как он подошел. Это был подтянутый молодой китаец в европейском костюме.

— У мистера Чжоу нет одного легкого, — сказал он по-английски.

— Да что вы...

— Он выкуривает сто пятьдесят трубок в день.

— Это очень много.

— Врач говорит, что это ему вредно, но мсье Чжоу гораздо лучше, когда он курит.

Я сочувственно хмыкнул.

— Разрешите представиться — я управляющий мистера Чжоу..

— Моя фамилия — Фаулер. Меня направил сюда мистер Домингес. Он сказал, что мистер Чжоу хочет мне что-то сообщить.

— У мистера Чжоу очень ослабела память. Не угодно ли чашку чаю?

— Благодарю вас, я уже выпил три чашки.

Наша беседа напоминала вопросы и ответы из самоучителя иностранного языка. Управляющий взял у меня чашку и передал одной из девочек, а та, выплеснув остатки чая на пол, налила ее снова.

— Слишком слабый, — сказал он, взял чашку, попробовал сам, потом тщательно ее выполоскал и налил из другого чайника.

— Этот вкуснее? — спросил он.

— Гораздо вкуснее.

Мистер Чжоу откашлялся, но ничего не сказал и только сплюнул мокроту в жестяную плевательницу, разрисованную розовыми цветами.

Малыш барахтался на полу среди лужиц спитого чая, кот прыгнул с ящика на чемодан.

— Пожалуй, вам лучше поговорить со мной, — сказал молодой человек. — Меня зовут мистер Хэнь.

— Если вы мне объясните...

— Давайте спустимся в склад, — сказал мистер Хэнь. — Там спокойнее.

Я протянул мистеру Чжоу руку, он в замешательстве подержал ее в своих руках, а затем растерянно оглядел комнату, полную людей, словно пытаясь понять, как я сюда попал. Мы спускались по лестнице. Шум накатывающейся на берег гальки затихал.

— Осторожнее, последней ступеньки нет,— сказал мистер Хэнь и посветил мне карманным фонариком.

Мы снова оказались среди кроватей и ванн, и мистер Хэнь повел меня по узкому боковому проходу. Пройдя шагов двадцать, он остановился и направил свет на небольшой железный цилиндрик.

— Видите?

— А что?

Он перевернул цилиндрик и показал мне фирменную марку «Диолактон».

— Мне это еще ничего не говорит, — сказал я.

— У меня здесь два таких цилиндра, — сказал он. — Их подобрали вместе с другим ломом в гараже мистера Фан Ван Муоя. Вы его знаете?

— Как будто нет.

— Его жена — родственница генерала Тэ.

— Я все-таки не понимаю.

— А это что, знаете? — спросил мистер Хэнь и, наклонившись, поднял какую-то длинную, вогнутую, как стебель сельдерея, трубку. Ее хромированная поверхность поблескивала в свете фонарика.

— Похоже на трубку для душа.

— Это форма для отливки, — сказал мистер Хэнь. Ему явно нравилось скучное занятие — поучать других. Он помолчал, чтобы снова подчеркнуть мое невежество.

— Вы понимаете, что такое форма для отливки?

— Да, конечно, но я пока не улавливаю...

— Эта форма изготовлена в США. «Диолактон» — марка американской фирмы. Ну как, теперь поняли?

— Откровенно говоря, нет!

— Эта форма с изъяном. Поэтому ее и выбросили. Но ее зря выбросили вместе с ломом, и цилиндрик тоже зря. Это ошибка. Управляющий мистера Муоя приходил сюда лично. Форму я не нашел, но отдал ему второй такой цилиндрик. Сказал, что у нас больше ничего нет, а он стал объяснять мне, что они ему нужны для хранения химикалий. Про форму он, разумеется, не спрашивал: он бы этим выдал слишком много, но он здесь все обыскал. А потом мистер Муой сам пошел в американскую миссию и вызвал мистера Пайла.

— Да у вас тут настоящая разведка, — сказал я. Мне все еще было не ясно, в чем дело.

— Я попросил мистера Чжоу связаться с мистером Домингесом.

— Вы считаете, что установили какую-то связь между Пайлом и генералом Тэ,— сказал я.— Признаться, довольно слабую. И вообще, что в этом интересного? Здесь какое-то повальное увлечение разведкой.

Мистер Хэнь постучал каблуком по черному металлическому цилиндру, и звук эхом отозвался в куче ломаных кроватей.

— Мистер Фаулер, вы — англичанин, — сказал он. — Вы нейтраль-

ны. Вы хорошо к нам относитесь. Вы поймете, что у нас есть свои определенные убеждения, какие бы они ни были.

— Если вы намекаете, что вы коммунист или вьетминец, то можете не беспокоиться. Меня это не пугает. Я политикой не занимаюсь.

— Если здесь, в Сайгоне, произойдут какие-нибудь неприятности, винить будут нас. Мой комитет хотел, чтобы вы отнеслись к нам по справедливости. Потому я и показал вам это и вот это.

— А что такое «Диолактон»? — спросил я. — По названию — что-то вроде сухого молока.

— Действительно, несколько напоминает молоко. — Мистер Хэнь осветил фонариком внутренность цилиндра. На дне, словно пыль, осело немного белого порошка. — Это одна из американских пластмасс, — сказал он.

— Да, я слышал, что Пайл ввозит пластмассу для производства игрушек. — Я поднял форму и стал ее разглядывать. Я попытался представить себе, какой предмет из нее получается. Ведь он должен выглядеть не так, а наоборот, форма — как бы его отражение в зеркале.

— Нет, не для игрушек, — ответил мистер Хэнь.

— Напоминает поршень.

— Форма необычная.

— Все-таки не пойму, для чего она

Мистер Хэнь повернулся.

— Я хочу только, чтобы вы запомнили то, что видели здесь, — сказал он, направляясь обратно к груде лома. — Может быть, когда-нибудь вам придется писать об этом. Но только не говорите, что видели такой цилиндрик здесь.

— И про форму не говорить?

— Про форму в особенности.

3

Нелегко в первый раз снова встретиться с человеком, который, как говорится, спас тебе жизнь. Пока я лежал в госпитале Легиона, мы с Пайлом не виделись. И хотя то, что он не являлся и не писал, было легко понять (он еще острее, чем я, ощущал всякую неловкость), я все же время от времени испытывал беспричинную тревогу и по ночам, до того как снотворное начинало действовать, представлял себе, как он поднимается по моей лестнице, стучится в мою дверь, спит в моей постели. Он не заслуживал такого отношения к себе, и поэтому к сознанию того, что я у него в долгу, примешивалось и чувство вины. А потом я чувствовал себя виноватым и из-за письма, которое ему отправил. (От каких отдаленных предков досталась мне эта дурацкая совесть? Наверное, она не донимала их, когда они убивали и насиловали в доисторические времена.) Иной раз я раздумывал — пригласить мне моего спасителя к обеду или просто предложить ему выпить в «Континентале». Проблема несколько необычная, и все дело, пожалуй, в том, во что ценишь свою жизнь. Так как же: обед и бутылка вина или двойная порция виски — этот вопрос мучил меня несколько дней, пока Пайл сам не разрешил его. Он явился и, увидев, что дверь заперта, стал громко звать меня. В тот жаркий полдень я крепко спал, оттого что утром много ходил и очень утомился, и теперь не слышал стука.

— Томас! Томас! — зов этот вплелся в мой сон. Мне снилось, что я бреду по длинной безлюдной дороге и жду, когда же будет поворот, а его все нет. Дорога бежит передо мной телеграфной лентой, и, кажется, ей не будет конца... И вдруг в сон врывается голос: сперва кто-то пла-

чет от боли, как там, у вышки, а потом меня вдруг громко окликают: «Томас! Томас!»

Я пробормотал со сна:

— Идите прочь, Пайл, не подходите ко мне. Не хочу, чтобы меня спасали.

— Томас! — Пайл стучал в дверь, но я затаился, будто снова прятался в рисовом поле и он — враг. Вдруг я понял, что стук прекратился, что за дверью один голос что-то тихо спрашивает, а другой ему отвечает. В шепоте всегда скрыта опасность. Я не мог разобрать, чьи это голоса. Я потихоньку встал с кровати и, опираясь на палку, добрался до двери в переднюю. Наверное, я передвигался слишком медленно и они услышали: за дверью наступило молчание. Молчание пустило усики, словно вьюнок, казалось, оно прорастает под дверью и листочки его распускаются в комнате, где я стою. В этом молчании было что-то неприятное, и я оборвал его, распахнув двери. Фуонг стояла в коридоре, руки Пайла лежали у нее на плечах, по их виду похоже было, что они только что поцеловались.

— Да входите же, — сказал я, — входите.

— Я никак не мог вас дозваться, — сказал Пайл.

— Сперва я спал, потом не хотелось вставать. Но я все равно встал, заходите.

И я спросил Фуонг по-французски:

— Где ты его подобрала?

— Здесь, в коридоре, — ответила она. — Услыхала, что он стучит, и побежала наверх — впустить его.

— Садитесь, — сказал я Пайлу. — Кофе хотите?

— Нет, Томас, я садиться не буду.

— А я сяду. Нога устает. Письмо мое получили?

— Да. Лучше бы вы его не писали.

— Почему?

— Потому, что это сплошная ложь. А я вам верил, Томас.

— Никому нельзя верить, когда замешана женщина.

— В таком случае и вы мне теперь не верьте. Буду тайком приходить, когда вас нет, буду слать письма, а адрес надписывать на машинке. Должно быть, я взрослею, Томас.

Но в голосе его слышались слезы, и он казался еще моложе, чем обычно.

— Разве вы не могли победить без всякой лжи?

— Нет, не мог. Это двуличность европейца, Пайл. Снабжаемся мы скверно: приходится изворачиваться! Но, видно, я плохо вру. Как вы узнали, что это ложь?

— От ее сестры, — сказал он. — Она сейчас работает у Джо. Я ее только что встретил. Она знает, что вас вызывают в Англию.

— Ах, вон что, — сказал я с облегчением. — Фуонг это тоже знает.

— А письмо от вашей жены? О нем Фуонг тоже знает? Сестра прочитала его.

— Каким образом?

— Вчера, когда вас не было, она зашла к Фуонг, и та ей показала письмо. Вам ее не обмануть. Она умеет читать по-английски.

— Понятно.

Сердиться было не на кого, во всем был явно виноват я сам; Фуонг, наверное, показала письмо, просто чтобы похвастаться, а не из недоверия.

— Ты уже вчера вечером это знала? — спросил я Фуонг.

— Да.

— Я заметил, что ты все молчишь, — сказал я и коснулся ее руки.— Другая бы обозлилась, как фурия, но ты не фурия, ты — Фуонг.

— Мне надо было подумать, — сказала она, и я вспомнил, как, проснувшись ночью, я по ее неровному дыханию понял, что она не спит. Тогда ночью я обнял ее и спросил: — Le cauchemar *? В первое время, когда она перешла ко мне на улицу Катина, ее мучили по ночам кошмары, но на этот раз она покачала головой. Она лежала спиной ко мне, и я коснулся ногой ее ноги — первый шаг к близости. Но и тут я ничего не заметил.

— Томас, объясните, пожалуйста, почему...

— Это и так ясно. Я хотел сохранить ее.

— Даже во вред ей?

— Конечно.

— Какая же это любовь?

— Конечно, не такая, как у вас, Пайл.

— Я хочу ее защитить.

— А я не хочу. Она в защите не нуждается. Я хочу, чтобы она была со мной, спала со мной.

— Против ее воли?

— Она никогда не останется против воли, Пайл.

— Не может она вас любить после этого.

До чего просто он все представлял себе! Я обернулся и посмотрел на нее. Она поднялась, пошла в спальню, поправила на кровати покрывало там, где я лежал; потом взяла с полки один из своих альбомов с картинками и, сев на кровать, стала его разглядывать, словно наш разговор совершенно ее не касался. Я мог точно сказать, что это за альбом — фотографии из жизни королевского семейства. Мне была видна, хоть и вверх ногами, королевская карета, направляющаяся в Вестминстер.

— Любовь — западное слово, — сказал я. — Мы употребляем его из сентиментальности или когда какая-нибудь женщина становится для нас наваждением. А эти люди наваждений не знают. Будьте осторожны, Пайл, не то вы больно ушибетесь.

— Я б вас избил, если бы не нога.

— Вы должны быть мне благодарны, и сестре Фуонг, конечно, тоже. Теперь вы можете отбросить всякую щепетильность, а ведь вы очень щепетильны — в некоторых вещах, разумеется, когда дело не касается пластмассы.

— Пластмассы?

— Надеюсь, вы соображаете, что делаете. Конечно, намерения у вас добрые, я знаю, других у вас не бывает. — Он взглянул на меня удивленно и подозрительно. — Хоть бы у вас когда-нибудь бывали дурные намерения, может, тогда вы бы немного лучше понимали людей. Это и к вашей стране относится, Пайл.

— Я хочу дать Фуонг сносную жизнь. Здесь... здесь у вас вонь.

— Мы стараемся отбить запах ароматными курениями. А вы, конечно, дадите ей холодильник, собственную машину, телевизор новейшей марки и...

— И детей, — добавил он.

— Этаких образцово-показательных юных американских граждан, готовых давать показания во всяких комиссиях.

— А что вы ей можете дать? В Англию вы ее не возьмете?

— Нет, я не настолько жесток. Разве что смогу купить ей обратный билет.

---

* Дурной сон? (*фр.*).

— Вам она нужна как удобная подстилка, пока вы не уедете.

— Она же человек, Пайл. Она сама может решать...

— Да, на основании ложных показаний. И к тому же она совсем ребенок.

— Она не ребенок. В ней есть выносливость, до которой вам далеко. Видели вы полировку, на которой не остается царапин? Вот и Фуонг такая. Она переживет с десяток таких, как мы. Состарится — и все. Она будет страдать от голода, холода, от ревматизма, от родов, но никогда она не будет страдать, как мы, от мыслей, от наваждений. На ней не останется царапин, она будет лишь постепенно стареть.

Но даже произнося эту тираду и наблюдая, как Фуонг переворачивает страницу (на снимке — семейная группа с принцессой Анной), я понимал, что придумываю ее, как придумывал Пайл. Никогда не знаешь, что творится в чужой душе. Насколько я мог судить, она растеряна так же, как все мы; разница только в том, что она не умеет выражать свои чувства, — вот и все. И я вспомнил тот первый мучительный год, когда мне страстно хотелось понять ее, когда я умолял ее сказать мне, о чем она думает, и пугал ее своим бессмысленным гневом, оттого что она молчала. Даже моя страсть была оружием, будто, вонзая меч в чрево жертвы, можно ждать, что она потеряет самообладание и выдаст себя.

— Ну, довольно, — сказал я Пайлу. — В общем вы все знаете. Теперь, пожалуйста, уходите.

— Фуонг! — позвал он.

— Мсье Пайл? — вопросительно проговорила она, оторвавшись от созерцания Виндзорского замка, и ее официальный тон прозвучал в эту минуту так забавно и вместе с тем успокоительно.

— Он вас обманул.

— Je ne comprends pas *.

— Да уходите вы, — сказал я. — Ступайте к своей третьей силе, к своему Йорку Гардингу и «Роли демократии». Ступайте и забавляйтесь своей пластмассой.

Позднее мне пришлось убедиться, что он самым буквальным образом выполнил все эти наставления.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Лишь недели через две после смерти Пайла я снова встретился с Виго. Я шел по бульвару Шарне, как вдруг он окликнул меня из ресторана «Клуб». В те дни ресторан был излюбленным местом агентов Сюртэ; словно бросая вызов тем, кто их ненавидел, они обычно обедали и выпивали в зале нижнего этажа, а вся остальная публика располагалась наверху, куда партизаны не могли добросить ручные гранаты.

Я подсел к нему, и он заказал для меня стаканчик вермута.

— Разыграем, кому платить?

— Пожалуйста. — Я вынул кости, чтобы сыграть в традиционную игру «Quatre Vingt-et-un» **. Как эти цифры и самый вид костей напо-

---

* Не понимаю *(фр.)*.

** Восемьдесят одно *(фр.)*.

минают мне о годах войны в Индокитае! Где бы я ни был, стоит мне увидеть людей, играющих в кости, — и я снова на улицах Сайгона или Ханоя или среди развалин Фат-Дьема, снова вижу, как парашютисты, похожие на гусениц в своих странных защитных комбинезонах, патрулируют каналы; слышу, как стреляют минометы, а иногда перед моими глазами встает мертвый ребенок.

— Sans vaseline *,— сказал Виго и бросил кости; выпали четверка, двойка и единица. Он пододвинул мне последнюю фишку. При игре в кости все агенты Сюртэ употребляли свой особый, малопристойный жаргон. Может быть, его изобрел Виго, а подчиненные подхватили, но они-то вряд ли увлекались Паскалем.

— Sous-lieutenant **.

С каждой проигранной партией вы переводились в следующий чин: игра шла до тех пор, пока один из участников не становился капитаном или майором. Виго выиграл и вторую партию и, пересчитывая фишки, сказал: — Мы нашли собаку Пайла.

— Вот как?

— Наверное, они ее никак не могли оттащить от тела. В общем перерезали ей горло. Она валялась в иле, метрах в пятидесяти. Вероятно, дальше не могла дотащиться.

— Вы все еще интересуетесь этим делом?

— Американский посланник житья нам не дает. Когда убивают француза, у нас, слава богу, хлопот меньше — это ведь не в диковинку.

Мы сыграли на раздел фишек. И тут уже пошла настоящая игра. Поразительно, до чего быстро у него вышли четверка, двойка и единица. У него осталось всего три фишки, а у меня выпало самое меньшее число очков.

— «Нанетта»,— сказал Виго и придвинул мне еще две фишки. Избавившись от последней, он сказал: «Капитан»,— и я подозвал кельнера и заказал вино.

— Кому-нибудь удается вас обыграть? — спросил я.

— Не особенно часто. Хотите отыграться?

— В другой раз. А знаете, Виго, из вас бы мог выйти лихой игрок. Вы и в другие азартные игры играете?

Он горько усмехнулся, и я почему-то подумал о его белокурой жене, про которую говорили, будто она изменяет ему с его подчиненными.

— Одну большую игру мы все ведем.

— Какую же?

— «Взвесим, стоит ли идти на спор о том, есть ли бог, — процитировал он Паскаля.— Что можно выиграть и что потерять? Если бог есть — вы выигрываете все, если его нет — ничего не теряете».

Я тоже ответил ему изречением Паскаля — единственным, которое я помнил:

— «Ошиблись оба — и тот, кто выбрал решку, и тот, кто выбрал орла. Они поступили неправильно. Правильнее было не спорить вовсе».

— «Да, но вы должны спорить. Тут вы не вольны. Вы уже причастны». Вы сами идете против своих собственных принципов, Фаулер. Вы тоже причастны, как и все остальные.

— Только не к религии.

— А я не о религии. По правде говоря, я думаю о собаке Пайла.

— Вот как?

— Помните, вы говорили — то, что прилипло к ее лапам, может послужить уликой, надо исследовать ил с ее лап и тому подобное?

---

* Без вазелина (*фр.*).

** Младший лейтенант (*фр.*).

— Да, а вы еще сказали, что вы не Мэгре и не Лекок.

— Так вот, я кое до чего додумался. Пайл всюду водил собаку с собой, так ведь?

— По-моему, да.

— Собака дорогая, он ее одну не пускал, верно?

— Это было бы рискованно. Они тут, кажется, едят собак?

Он хотел положить кости к себе в карман.

— Это мои кости, Виго.

— Ох, простите. Задумался.

— Почему вы сказали, что я причастен?

— Когда вы в последний раз видели собаку Пайла, Фаулер?

— Бог его знает. Я не помечаю в записной книжке, когда у меня свидания с собаками.

— Когда вы будете дома?

— Не знаю точно.

Не люблю давать сведения полиции. Зачем избавлять ее от трудов?

— Я бы хотел сегодня вечером зайти к вам поговорить. В десять удобно? Конечно, если вы будете один.

— Я могу послать Фуонг в кино.

— А у вас опять с ней наладилось?

— Да.

— Странно. У меня впечатление, что вы... что вы несчастливы.

— Что ж, на это может быть много причин, Виго, — сказал я и добавил без обиняков: — Кому и знать, как не вам.

— Мне?

— Конечно. Вы и сами не очень-то счастливы.

— Ну, мне жаловаться не на что. «Разрушенный дом не может быть несчастным».

— Откуда это?

— Тоже Паскаль. Это спор о том, можно ли гордиться несчастьем. «Дерево несчастным не бывает».

— Почему вы пошли в полицию, Виго?

— Много было причин. Необходимость зарабатывать на жизнь, любопытство к людям, а потом даже и увлечение романами Габорио *.

— Вам, пожалуй, надо было идти в священники.

— А я тогда не те книги читал.

— Все еще подозреваете, что я к этому делу причастен, а?

Он поднялся и допил свой вермут.

— Просто хочу с вами потолковать — вот и все.

Когда он встал и пошел к выходу, я подумал, что он глядит на меня с сочувствием,— наверное, он так же глядел бы на то, как приговаривают к пожизненной каторге заключенного, которого он сам помог поймать.

2

Да, я отбывал наказание. Словно бы Пайл, уйдя в тот раз из моей квартиры, приговорил меня к долгим месяцам неизвестности. Всякий раз, подходя к дому, я ожидал беды. Иной раз я не заставал Фуонг, и, пока она не возвращалась, все валилось у меня из рук, потому что я не знал, вернется она или нет. Я спрашивал ее, где она была, стараясь, чтобы она не уловила в моем голосе тревоги и подозрения, и она отвечала, что ходила на рынок или в лавку, и предъявляла вещественное доказатель-

---

* Габорио Эмиль (1835—1873), французский писатель, автор детективных романов.

ство (даже самая ее готовность чем-то подтвердить свои слова казалась мне в то время неестественной), или что была в кино (тут же предъявлялся обрывок билета), или что зашла к сестре — я полагал, что именно там она встречается с Пайлом. В те дни я с яростью сжимал ее в объятьях, словно она была мне ненавистна, но на самом деле мне была ненавистна мысль о будущем. Одиночество ложилось со мной в постель, и по ночам я обнимал одиночество. Она ни в чем не переменилась: по-прежнему готовила еду, подавала трубку, кротко и ласково отдавала свое тело (но наслаждение уже перестало быть наслаждением) и так же, как давно, в те первые дни, когда я хотел заглянуть ей в душу, теперь я пытался прочесть ее мысли, но незнакомый язык не давал мне проникнуть в них. Я не хотел ни о чем ее спрашивать. Я не хотел заставлять ее лгать (до тех пор, пока она не солгала мне открыто, я мог делать вид, что мы относимся друг к другу, как и раньше), но вдруг тревога моя прорывалась и я спрашивал: «Когда ты в последний раз виделась с Пайлом?»

Она медлила, а может, и вправду старалась припомнить.

— Когда он был здесь, — отвечала она.

Сам того не замечая, я стал поносить все американское. Я без конца говорил об убожестве американской литературы, о позорных провалах американской политики, об испорченности американских детей. Как будто не один человек, а вся нация отнимала у меня Фуонг. Что бы Америка ни делала, все было не так. Я всем надоел разговорами об Америке, даже моим французским друзьям, которые вполне разделяли эту антипатию. Я вел себя так, словно меня предали: как будто о враге можно сказать, что он тебя предал.

В эти дни и произошел инцидент с «велосипедными бомбами». Вернувшись из бара «Империаль» в пустую квартиру (где она — в кино? Или у сестры?), я нашел под дверью записку от Домингеса. Он извинялся за то, что все еще болен, и просил меня быть завтра утром к половине одиннадцатого возле большого магазина на углу бульвара Шарне. Он писал, что это просьба мистера Чжоу, но я подумал, что в моем присутствии скорее заинтересован мистер Хэнь.

Однако история, которая там разыгралась на другое утро, могла послужить материалом всего-навсего для одного абзаца, да и то подавать его надо было юмористически. Она не имела никакого отношения к тягостной, изматывающей войне на севере, к каналам Фат-Дьема, забитым серыми разлагающимися трупами, к минометному огню, к слепящему полыханию напалма. Я уже с четверть часа ждал у цветочного киоска, когда со стороны улицы Катина, где находится главное управление Сюртэ, в скрежете тормозов и визге шин подкатил грузовик с полицией. Полицейские спрыгнули и бросились к магазину, словно хотели разогнать толпу, но толпы не было — стояла лишь длинная вереница велосипедов. В Сайгоне каждое большое здание словно обнесено изгородью из велосипедов — тут велосипедистов больше, чем в любом университетском городе Запада. Прежде чем я навел фотоаппарат, полицейские успели проделать какие-то смешные и непонятные манипуляции. Они врезались в ряды велосипедов, схватили три машины и, держа их высоко над головой, выбежали на бульвар и бросили в бассейн фонтана. Прежде чем я смог расспросить хоть одного из них, полицейские прыгнули в грузовик и быстро покатили по бульвару Боннар.

— Operation «Bicyclette» *, — сказал чей-то голос. Это был мистер Хэнь.

---

* Операция «Велосипед» (*фр.*).

— Что они делают? — спросил я. — Учебная тревога? Но для чего?

— Подождите минутку, — сказал мистер Хэнь.

Несколько зевак направилось было к фонтану, откуда торчало одно колесо, словно буек, предупреждающий суда, чтобы они не наткнулись на обломки кораблекрушения, но полицейский, крича и размахивая руками, бросился им наперерез.

— Пойдем посмотрим, — сказал я.

— Лучше не надо, — сказал мистер Хэнь и взглянул на часы. Они показывали четыре минуты двенадцатого.

— Ваши спешат, — сказал я

— Да, вечно бегут.

И в этот момент фонтан взлетел в воздух, куски посыпались на мостовую. Обломок парапета угодил в окно; сверкающим ливнем полетели осколки. Никто не пострадал. Мы стряхнули с себя осколки и брызги. Велосипедное колесо, жужжа, как волчок, крутилось посреди бульвара, потом закачалось и упало.

— Вот сейчас ровно одиннадцать,— сказал мистер Хэнь.

— А что здесь собственно такое?..

— Я полагал, что вас это заинтересует,— сказал мистер Хэнь.— Надеюсь, заинтересовало?

— Может быть, зайдем, выпьем чего-нибудь?

— Простите, не могу. Нужно возвращаться к мистеру Чжоу, но сперва я хочу вам что-то показать. — Он подвел меня к велосипедной стоянке и вывел свой собственный велосипед.— Смотрите внимательней.

— Марка «Релей», — сказал я.

— Да не то, посмотрите на насос. Он вам ничего не напоминает?

Увидев, что я сбит с толку, он снисходительно улыбнулся, сел на велосипед и поехал в Шолон, к складу лома. Один раз он обернулся и помахал мне рукой. В Сюртэ, куда я пошел за информацией, мне стало ясно, что он имел в виду. Форма для отливки, которую он показал мне у себя на складе, соответствовала половине велосипедного насоса. В тот день во всем Сайгоне безобидные велосипедные насосы оказались пластмассовыми бомбами и взорвались ровно в одиннадцать. Без взрыва обошлось только там, где полиция, предупрежденная заранее — полагаю, что об этом позаботился мистер Хэнь,— сумела принять меры. Все происшествие было сущим пустяком; десять взрывов, слегка ранено шесть человек да повреждено бесчисленное множество велосипедов. Всем моим коллегам, кроме корреспондента «Экстрем Ориан», назвавшего этот инцидент «зверством», было ясно, что сообщение о нем поместят лишь в том случае, если оно будет подано в юмористических тонах. «Велосипеды с бомбами» — неплохой заголовок. Все возлагали вину на коммунистов, только я один написал, что взрыв бомб был демонстрацией со стороны генерала Тэ, да и то мое сообщение в редакции переделали. О генерале писать не стоило. Незачем было тратить место в газете, объясняя, кто он такой. Я отправил мистеру Хэню через Домингеса записку, в которой выражал свое сожаление: я сделал все, что мог. Мистер Хэнь прислал вежливый устный ответ. В то время мне показалось, что он сам или его вьетминский комитет проявили излишнюю чувствительность: на самом деле коммунистов за всю эту историю никто всерьез не упрекал. Напротив, это больше, чем что-либо другое, могло утвердить за ними репутацию людей, обладающих чувством юмора. «Интересно, что они дальше выкинут?» — говорили люди, встречаясь, и даже для меня символом всей этой нелепой истории было велосипедное колесо, которое весело, как волчок, вертелось посреди бульвара. В разговорах с Пайлом я ни разу не упомянул о том, что слышал о его связи с генералом. Пусть возится со своей пластмассой: это безобидное развлечение отвлечет его мысли от

Фуонг. И все же как-то вечером, когда мне было нечего делать и я очутился неподалеку от гаража мистера Муоя, я зашел туда.

Это было маленькое грязное помещение на бульваре де ля Сомм, похожее на склад лома. Посредине стоял поднятый домкратом автомобиль со снятым капотом, похожий на зияющую пасть какого-то доисторического зверя в провинциальном музее, куда не заглядывает ни одна живая душа. Наверно, эту машину здесь просто забыли. Пол был завален обрезками железа и старыми ящиками — вьетнамцы ничего не выкидывают, совсем как повар-китаец, который, приготовляя из одной утки семь блюд, не выбросит даже утиной лапки. Я подумал, кто же это так беспечно мог вышвырнуть пустые цилиндры и бракованную форму: может быть, их украл какой-нибудь служащий, чтобы заработать несколько пиастров, а может быть, сообразительный мистер Хэнь кого-нибудь подкупил.

В гараже никого не было, и я вошел. Я подумал, что все они, наверное, попрятались на тот случай, если явится полиция. Возможно, у мистера Хэня есть какая-нибудь связь с Сюртэ, но и тогда полиция едва ли стала бы что-нибудь предпринимать. С ее точки зрения, выгоднее было, чтобы взрывы попрежнему считались делом рук коммунистов.

Кроме автомобиля да хлама, разбросанного по бетонному полу, я ничего не заметил. Трудно было представить себе, чтобы в этом гараже можно было делать бомбы. Конечно, я имел самое смутное представление о том, как белый порошок, который я видел в цилиндре, превращается в пластмассу, но, безусловно, это был процесс слишком сложный для того, чтобы все это можно было проделать здесь: даже два бензиновых насоса, стоявших на улице, и те имели совершенно запущенный вид. Я подошел к выходу и выглянул на улицу. Посреди бульвара под деревьями орудовали парикмахеры; в обломке зеркала, укрепленном на стволе дерева, играл солнечный зайчик. Рысцой пробежала девушка в остроконечной шляпе, неся на шесте две корзины. Гадалка, примостившаяся у стены магазина «Братья Симон», наконец, нашла себе клиента: старик с узкой, будто у Хо Ши Мина, бородкой безразлично смотрел, как она тасовала и раскладывала ветхие карты. Какое же будущее могло его ждать, чтобы стоило уплатить целый пиастр? Тут, на бульваре де ля Сомм, вся ваша жизнь, как на ладони. Наверное, соседям было все известно про мистера Муоя, но полиция не умела к ним подойти. Тут люди знали друг о друге решительно все, но в их круг нельзя было войти так просто, как входишь на бульвар. Мне вспомнились старухи, которые сплетничали у нас на лестнице около общей уборной: они тоже все слышали, но я не знал, что́ им известно.

Я вернулся и прошел через гараж в маленькую контору: там на стене висел обычный рекламный календарь, а на столе были нагромождены прейскуранты, арифмометр, бумагодержатели, бутылка с клеем, чайник, три чашки, целая куча неочиненных карандашей и, неизвестно почему, чистая открытка с видом Эйфелевой башни. Пусть Йорк Гардинг живописует свою третью силу в отвлеченном виде, но вот к чему это сводилось на деле: вот она какая. В глубине комнаты была дверь. Она была заперта, но ключ лежал на столе между карандашами. Я отпер дверь и вошел.

Я очутился в маленьком сарайчике размерами примерно с гараж. В нем стоял один-единственный механизм, который с первого взгляда напоминал клетку из металлических стержней и проволоки со множеством насестов, словно для какой-то большой бескрылой птицы; казалось, что все это сооружение перевязано старыми тряпками, но, может быть, перед тем, как мистера Муоя и его помощников вызвали, они этими тряпками чистили странный механизм. Я нашел фирменную марку — какая-то лионская фабрика — и номер патента, а на что патент — неизвестно.

Я включил ток, и старая машина ожила. Все стержни имели какое-то назначение: сооружение напоминало старика, который, напрягая последние силы, без конца колотил и колотил кулаком. Оказывается, это все-таки был пресс, хотя среди современных прессов он был такой же древностью, как шарманка, но, видимо, в этой стране никакое добро не пропадает зря, и раз тут любая вещь может в один прекрасный день на что-нибудь пригодиться, почему бы не послужить и старому прессу? (Я вспомнил допотопный фильм «Ограбление поезда», который мелькал и рвался на экране захудалого кино на одной из боковых улочек Нам-Диня, но все еще развлекал публику.)

Я повнимательнее осмотрел пресс и заметил следы белого порошка. «Диолактон»,— подумал я,— напоминает сухое молоко. Ни цилиндров, ни форм для отливки нигде не было видно. Я прошел через контору обратно в гараж. Когда я проходил мимо старого автомобиля, мне захотелось погладить его по крылу; долго ему еще стоять здесь и ждать, но, кто знает, может, и его час придет... Сам мистер Муой и его помощники в этот момент, вероятно, пробирались рисовыми полями к священной горе, где был штаб генерала Тэ. Когда я в последний раз громко позвал: «Мсье Муой!» — мне показалось, что этот гараж, бульвар и парикмахеры остались где-то далеко, а я снова в том самом рисовом поле, где прятался, возвращаясь из Тай-Ниня. «Мсье Муой!» Я представил себе, как человек оборачивается, раздвигая стебли риса.

Я вернулся домой, и на нашей площадке громко зачирикали старухи, словно птицы на изгороди, но я не мог понять их, как не понимаю птичьего языка. Фуонг не было. Я нашел только записку, что она у сестры. Я прилег на кровать (я все еще быстро утомлялся) и заснул. Когда я проснулся, светящиеся стрелки будильника показывали двадцать пять минут второго, и я повернул голову, думая, что Фуонг спит около меня. Но подушка была несмята. Видно, Фуонг сменила утром белье — от простынь пахло чистотой и прохладой. Я встал и открыл ящик, где она хранила свои шарфы. Там было пусто. Я подошел к книжной полке — альбом с фотографиями королевского семейства тоже исчез. Она забрала с собой все свое приданое.

В ту минуту, когда обрушивается удар, боли почти не чувствуешь. Боль пришла позже, часа в три утра, когда я стал думать, как пойдет моя жизнь дальше — надо было как-то жить, — и стал перебирать воспоминания, чтобы от них избавиться. Хуже всего вспоминать хорошее. И я начинал вспоминать плохое. Это я умел. Все это со мной уже было раньше. Я знал, что опять буду делать все, что нужно, но я стал гораздо старше — так мало осталось сил, чтобы строить жизнь заново...

3

Я зашел в американскую миссию и спросил Пайла. У дверей пришлось заполнить формуляр и отдать его дежурному полисмену. Он сказал:

— Вы не указали цель посещения.

— Он сам знает, — сказал я.

— Значит, вы договорились?

— Можно считать, что так.

— Наверно, вам кажется, что это глупо, но приходится соблюдать осторожность. Тут ходит столько подозрительного народу.

— Да, слыхал...

Он передвинул жвачку за другую щеку и вошел в лифт. Я остался внизу. Я не представлял себе, что скажу Пайлу. В такой роли мне еще выступать не приходилось. Дежурный вернулся и неохотно сказал:

— Можете пройти. Комната 12А. Первый этаж.

Войдя в комнату, я сразу увидел, что Пайла там нет. За письменным столом восседал Джо — атташе по экономическим вопросам,— я так и не мог вспомнить его фамилии. Сестра Фуонг, сидя у пишущей машинки, следила за мной взглядом. Мне показалось, что я прочел торжество в ее алчных карих глазках.

— Заходите, Том, заходите! — бурно приветствовал меня Джо. — Рад вас видеть. Не часто вы посещаете нашу берлогу. Тащите сюда стул. Как нога? Ну, что вы думаете о новом наступлении? Вчера видел в «Континентале» Грейнджера. Опять едет на север. Малый не промах. Только запахнет новостями — он уж тут как тут. Хотите сигарету? Угощайтесь! С мисс Гей знакомы? Никак не запомню эти ихние имена — староват становлюсь, трудно. А ее я зову «Э-гей!» — ей нравится. У нас тут просто — никакого колониализма. А что слышно по вашей части, Том? Вы, ребята, наверно, в курсе дела. Слыхал, что у вас с ногой неладно, неприятная штука. Олден рассказывал...

— Где Пайл?

— Олдена сегодня тут нет. Наверно, сидит дома. Он много работает на дому.

— Знаю, как он там сейчас работает.

— Он малый не промах. Виноват, что вы сказали?

— Говорю, что знаю, чем он сейчас занимается.

— Не пойму вас, Том. Меня с детства звали Джо-Тугодум. Таким был, таким и останусь.

— Пайл сейчас спит с моей девушкой — сестрой вашей машинистки.

— Не понимаю, что вы говорите.

— Спросите вот ее. Она все это подстроила. Пайл увел мою девушку.

— Слушайте, Фаулер, я думал, вы — по делу. Тут не место для сцен, мы на работе.

— Я пришел к Пайлу. Но он, видно, прячется.

— Ну, знаете, не вам бы говорить... После всего, что Олден для вас сделал.

— О да, еще бы. Он спас мне жизнь, вы про это, да? А кто его просил?

— Нет, он молодец. Из-за вас рисковал головой.

— На черта мне его голова? Он сейчас другим местом работает.

— Слушайте, Фаулер, я не допущу таких намеков при даме!

— Мы с этой дамой хорошо знакомы! Не сумела сорвать куш с меня, так решила на Пайле отыграться. Помолчите. Сам знаю, что веду себя неприлично! И буду вести себя, как хочу. В таких случаях все так ведут себя.

— У нас тут много работы. Готовим доклад по добыче каучука...

— Не беспокойтесь, я ухожу. Вы скажите Пайлу, если он позвонит, что я заходил. Может быть, он из вежливости сочтет своим долгом отдать мне визит. — Я обернулся к сестре Фуонг: — Надеюсь, вы засвидетельствовали вклад на имя Фуонг у нотариуса и у американского консула и в церкви «Крисчен сайенс» *.

Я вышел в коридор. Напротив была дверь с надписью «М». Я зашел, запер дверь и, прислонясь головой к холодной стене, заплакал. До этой минуты я не мог плакать. Но у них даже в уборных температура воздуха регулируется, и в их просушенном, прочищенном воздухе у меня вскоре высохли слезы, как высыхают от него слюна во рту и семя в теле.

---

* «Христианская наука» — религиозное течение.

4

Я оставил все дела на Домингеса и поехал на север. В Хайфоне у меня были друзья в эскадрилье «Гасконь», и я часами сидел в баре близ аэродрома или играл в шары на усыпанной гравием дорожке. Официально считалось, что я на фронте: я мог состязаться в молодечестве с Грейнджером. Однако газете от этого было так же мало проку, как от моей вылазки в Фат-Дьем. Но когда пишешь о войне, то для того, чтобы сохранить уважение к самому себе, надо время от времени подвергаться опасности наравне с другими.

Но не так-то просто было «подвергнуться опасности», хотя бы ненадолго: из Ханоя пришел приказ, что летчики могут брать меня с собой лишь на бомбежку с горизонтального полета, а в этой войне это было безопаснее поездки в автобусе: мы летали на такой высоте, где тяжелому пулемету нас было не достать. Ничто нам не угрожало — разве только мог сбиться с пути летчик или сдать мотор. Мы вылетали точно по графику и точно по графику возвращались. Бомбы падали по диагонали, над железнодорожной станцией или мостом взвивался спиральный дымок, мы успевали вернуться к часу коктейлей и снова принимались гонять шары по дорожке.

Как-то утром, когда я пил бренди с содовой в городском офицерском клубе с одним молодым офицером, страстно мечтавшим побывать на Саузенд-пайр *, он получил приказ вылетать.

— Хотите со мной? — спросил он.

Я согласился. Пусть даже горизонтальный полет — все-таки можно убить время и заглушить мысли. В машине по дороге на аэродром он сказал:

— Знаете, ведь полет-то вертикальный.

— А я думал, мне нельзя...

— Нет, можно, если только вы не станете писать об этом. Посмотрите район на границе с Китаем, там вы еще не бывали. Невдалеке от Лай-Чау.

— Мне казалось, что в том районе все спокойно и он в руках французов.

— Был. Вьетминцы захватили эту местность два дня назад. Но наш парашютный десант совсем недалеко оттуда. Нам нужно, чтобы вьетминцы не могли носа высунуть из своих нор, пока мы не отобьем позиции. Вот мы и пикируем на них и обстреливаем из пулемета. Мы смогли бросить на это только два самолета: один уже вышел на задание. Вы когда-нибудь летали на пикирующем бомбардировщике?

— Нет.

— С непривычки это не особенно приятная штука.

Эскадрилья «Гасконь» была оснащена одними легкими бомбардировщиками В-26 — французы называли их «проститутками»: из-за небольшого размаха крыльев кажется, что им не на чем держаться. Я втиснулся на маленькое металлическое сиденье размером с велосипедное седло, упираясь коленями в спину летчика. Мы летели над Красной рекой, медленно набирая высоту. В этот вечерний час река действительно была красной. Казалось, из глубины времен мы взглянули на нее глазами того древнего географа, который, наверное, дал ей это название в такой же час, когда вся она от берега до берега была залита заходящим солнцем. На высоте девяти тысяч футов мы повернули к Черной реке, и она вправду была черная, полная теней — косые лучи света обходили ее. Потом нам открылась огромная, величественная панорама: под

---

* Мол неподалёку от Лондона.

нами, сменяя друг друга, проносились ущелья, утесы и джунгли. Если бы на эти серо-зеленые просторы опустилась целая эскадрилья самолетов, она исчезла бы в них бесследно, как горстка монет в несжатом поле. Далеко впереди, словно мошка, кружил крошечный самолет. Мы шли ему на смену.

Сделав два круга над вышкой и деревней, окруженной кольцом зелени, мы крутой спиралью взвились в ослепительно яркое небо. Летчик — его фамилия была Труэн — обернулся и подмигнул мне. На его штурвале находились кнопки от орудия и бомболюка. Когда мы заняли исходное положение для пикирования, я почувствовал, что внутри у меня все оборвалось. Такое чувство испытываешь всякий раз, когда тебе что-нибудь внове: первый танец, первый званый обед, первая любовь. Когда мы набрали предельную высоту, у меня возникло то же ощущение, какое я когда-то испытывал в Уэмбли, катаясь на американских горах: деваться некуда, надо ждать, что будет. Я едва успел заметить, что стрелка показывает три тысячи метров, как вдруг мы стремительно ринулись вниз. Теперь я уже ничего не видел, я только ощущал. Меня прижало к спине летчика; казалось, грудь мою сдавил огромный камень. Я не заметил, когда были сброшены бомбы. Потом загрохотала пушка, и кабину наполнил запах пороха; когда мы снова поднялись, камень свалился с моей груди, но зато желудок провалился вниз, летя, словно самоубийца, туда, на землю, от которой мы удалялись. Сорок секунд не существовало никакого Пайла, даже одиночества не существовало. Когда мы поднимались, описывая широкую дугу, я видел через боковое окошко клубы дыма. Перед вторым заходом мне стало боязно: я боялся осрамиться, боялся, что меня стошнит прямо на спину летчику, боялся, что моим стареющим легким не выдержать давления, но после десятого захода я ощущал лишь раздражение — все это слишком затянулось, пора обратно.

Снова мы взмыли кверху, где пулеметам было не достать нас, снова круто свернули — и внизу встал столб дыма. Деревню со всех сторон обступали горы. Мы все время подходили к ней с одной и той же стороны, через то же ущелье. Ничего другого нельзя было придумать. Когда мы спикировали в четырнадцатый раз и я больше не боялся осрамиться, я подумал: «Им только стоит навести на нас пулемет». Мы снова поднялись на безопасную высоту, впрочем, может быть, у них и пулемета не было. Сорок минут бомбежки тянулись бесконечно, но зато все это время меня не грызли мои мысли. Когда мы повернули обратно, солнце садилось; тот час, когда географ окрестил эти реки, уже прошел. Черная река больше не была черной, а Красная стала совсем золотой.

Мы снова пошли на снижение, пролетели над выжженным, искромсанным лесом, над заброшенными рисовыми полями и пулей ринулись на крошечный сампан, маячивший на желтой воде реки. Очередь трассирующих снарядов — и сампан разлетелся вдребезги, подняв столб брызг. Мы даже не смотрели, пытался ли кто-нибудь из наших жертв спастись, и полетели обратно к аэродрому. Снова, как в Фат-Дьеме, когда я увидел мертвого ребенка, я подумал: «Ненавижу войну». Больше всего меня потрясло то, что выбор жертвы был чистейшей случайностью: мы убивали мимоходом, достаточно было одной очереди, никто не обстреливал нас в ответ, и мы спокойно уходили, добавив от себя малую толику к грудам трупов, завалivших мир.

Я надел наушники — капитан Труэн хотел что-то мне сказать.

— Сделаем небольшой крюк. В известковых горах чудесный закат. Вам непременно надо посмотреть, — добавил он любезно, совсем как хозяин, предлагающий гостям полюбоваться своим поместьем. И миль сто мы летели вслед заходящему солнцу над заливом Алон. Труэн, похожий

в своем шлеме на марсианина, задумчиво смотрел вниз на золотые рощи, мелькавшие меж огромных щербатых глыб выветренного камня, и сердце, израненное убийством, перестало кровоточить.

5

Капитан Труэн настоял, чтобы вечером я пошел с ним в опиекурильню, хотя сам он не курил. Он сказал, что любит этот запах, любит тишину после трудного дня, но из-за своей профессии больше ничего себе позволить не может. Некоторые офицеры курили, но то были армейцы, а летчику надо высыпаться как следует. Мы лежали в маленькой кабинке — они шли в ряд, как в школьном дортуаре,— и китаец, хозяин курильни, готовил мне трубку. Я не курил с тех пор, как Фуонг ушла от меня. Напротив нас метиска с длинными красивыми ногами, свернувшись, лежала после затяжки, перелистывая глянцевитый журнал мод, а в соседней кабине два пожилых китайца, отложив трубки, потягивали чай и вели какие-то деловые переговоры. Я спросил:

— Скажите, тот сампан — помните, сегодня, — он представлял какую-нибудь опасность?

— Кто его знает, — сказал Труэн,— у нас есть приказ в районе реки сметать все, что только появится.

Я выкурил первую трубку. Я старался не думать о тех трубках, которые когда-то курил дома. Труэн опять заговорил:

— Сегодняшняя операция еще не самое скверное для такого человека, как я. Над деревней нас могли сбить. Значит, мы рисковали так же, как и они. Больше всего я ненавижу напалмовую бомбежку. С трех тысяч футов, когда ты в полной безопасности.— Он безнадежно махнул рукой: — Сверху видишь только, как загорается лес. А что бы ты увидел на земле, одному богу известно. Они заживо горят, эти несчастные, огонь бежит по ним, как вода, прохватывает насквозь. — И со злобой против всего мира, который ничего не желает понимать, он добавил: — Разве для меня это — колониальная война? Думаете, я стал бы воевать за плантаторов Терр-Руж? Да пусть меня лучше судит военный трибунал. Мы за вас ведем все ваши войны, а вину вы сваливаете на нас.

— За этот сампан, — сказал я.

— Да, и за этот сампан тоже. — Он посмотрел, как я потянулся за второй трубкой.— Завидую, что вы так можете уходить от всего.

— Вы еще не знаете, от чего я ухожу. Не от войны. Тут я ни при чем. Меня это не касается.

— Это всех коснется. Придет время.

— Только не для меня.

— Однако, вот вы хромаете.

— Они имели полное право стрелять в меня, но и тут я был не при чем. Они просто сносили вышку. Не надо попадаться под руку подрывникам. Даже на Пикадилли это опасно.

— Когда-нибудь и с вами это случится. Придется и вам встать на чью-то сторону.

— Нет, я уезжаю в Англию.

— Вы мне как-то показывали портрет...

— Порвал. Она меня бросила.

— Простите.

— Так всегда бывает. Сначала ты уходишь, потом уходят от тебя. Даже начинаешь верить в справедливость.

— А я и так верю. В первый раз, как я сбросил напалм, мне представилось, что это моя родная деревня. Вот там живет старый приятель отца, мсье Дюбуа, а вон бежит пекарь — я в детстве обожал нашего пекаря, — и весь он в огне, который я на него сбросил. Вишисты — и те не бомбили свою страну. Мне казалось, что я хуже всякого вишиста.

— Но вы все-таки продолжаете летать!

— Мало ли какие бывают настроения. Это не надолго. У меня они бывают только при напалмовых бомбежках. Во всех других случаях я воображаю, что защищаю Европу. Кроме того, те, другие, тоже делают чудовищные вещи. Когда их выбили из Ханоя в сорок шестом году, там остались страшные жертвы — среди их соотечественников, которые, как они считали, сотрудничали с нами. Я видел в морге девушку — у нее были отрезаны груди; они и ее жениха изуродовали и...

— Вот почему я не желаю вмешиваться.

— Тут нельзя рассуждать, искать справедливости — не в этом дело. Стоит только поддаться чувству — потом уже не выберешься. Война и любовь — недаром их всегда сравнивали...— Он с грустью посмотрел на кабинку против нас, где в глубоком кратком забытье раскинулась метиска, потом сказал: — Так оно и выходит. Вон та девушка — она причастна ко всем этим делам только из-за родителей, а какое будущее ждет ее, когда этот порт падет? Ведь Франция — ее родина лишь наполовину.

— Вы считаете, порт должен пасть?

— Вы — газетчик. Вы лучше меня знаете, что победить мы не можем. Вы знаете, что дорогу в Ханой каждую ночь перерезают и минируют. Знаете, что ежегодно мы теряем целый выпуск Сен-Сира. В пятидесятом нас почти побили. Де Латтр на два года оттянул катастрофу — и все. Но мы — профессионалы, мы должны драться, пока политики не прикажут нам перестать. Наверно, они соберутся и договорятся о заключении того мира, который мы могли бы иметь с самого начала, — и все эти годы пойдут на смарку.— На его некрасивом лице лежал отпечаток какой-то профессиональной жестокости: я вспомнил, как он подмигнул мне перед тем, как спикировать,— словно на нем была карнавальная маска, в прорези которой смотрят детские глаза. — Вам всей этой чепухи не понять, Фаулер, вы не нашего поля ягода.

— Бывает в жизни и другое, от чего все годы идут на смарку.

Он положил мне руку на колено покровительственным жестом, как будто старшим был он.

— Пойдите-ка вон с ней, — сказал он. — Это лучше всякой трубки.

— Почему вы знаете, что она со мной пойдет?

— Я сам с ней спал, и лейтенант Перрен тоже. Пятьсот пиастров.

— Дороговато.

— Может быть, она и за триста пошла бы, но не та сейчас обстановка, чтоб торговаться.

Однако, как оказалось, он дал плохой совет. Наше тело и так ограничено в своих возможностях, а я весь словно окоченел от воспоминаний. Может быть, в ту ночь руки мои касались такой красоты, какой я раньше не знал, но не одна красота нас захватывает. У нее были те же духи, и внезапно, в решительную минуту, призрак того, что я потерял, оказался сильнее живого тела рядом со мной. Я отодвинулся от нее и, лежа на спине, чувствовал, как всякое желание уходит.

— Простите, — сказал я и солгал: — Не знаю, что со мной...— Ничего не поняв, она очень ласково проговорила:— Не огорчайтесь. Это часто бывает. Это от опиума.

— Да, — сказал я, — от опиума. — И подумал: «Господи, если бы это было так!».

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Странно было вернуться в Сайгон, где никто меня не встречал. На аэродроме я подумал — хорошо бы назвать шоферу другой адрес, только не улицу Катина. Я спросил себя: притупилась ли боль за время отсутствия — и постарался убедить себя, что, конечно, это так. Поднявшись на площадку, я увидел, что дверь открыта, и у меня захватило дыхание от безрассудной надежды. Медленно, очень медленно я подошел к двери. Пока не войду — надежда не умрет. Я услышал скрип стула и, подойдя к двери, увидал чьи-то башмаки, но башмаки были не женские. Я сразу вошел, и навстречу мне с того самого кресла, где обычно сидела Фуонг, неловко поднялся Пайл.

Он сказал:

— Привет, Томас.

— Привет, Пайл. Как вы сюда попали?

— Встретил Домингеса. Он принес вам почту. Я и попросил, чтобы он мне позволил подождать вас.

— Фуонг забыла что-нибудь взять?

— Нет, нет, но мне Джо рассказал, что вы заходили в миссию. Я и подумал, не лучше ли поговорить здесь.

— О чем?

Он растерянно развел руками, как мальчик, которого заставили выступать на школьном вечере и он не может найти «взрослые» слова.

— Вы уезжали?— спросил он.

— Да. А вы?

— Я тоже немного поездил.

— Все балуетесь с пластмассой?

Он невесело ухмыльнулся, потом сказал·

— Вот ваши письма.

Я сразу увидел, что там ничего для меня интересного нет: одно письмо из лондонской редакции, какие-то счета, извещение из банка. Я спросил:

— Как поживает Фуонг?

Его лицо вдруг осветилось, как те электрические игрушки, в которых от определенного звука вспыхивает лампочка.

— Спасибо, отлично, — сказал он и сразу сжал губы, как будто позволил себе лишнее.

— Садитесь, Пайл, — сказал я. — Извините, я только пробегу письмо — оно из редакции.

Я распечатал письмо. Как некстати случаются самые неожиданные вещи. Редактор писал, что обдумал мое последнее письмо, и в свете сложной ситуации в Индокитае, после смерти генерала де Латтра и отступления от Хоа-Биня, он согласен с моими доводами. Он временно назначил заведующего иностранным отделом и хотел бы оставить меня в Индокитае, по крайней мере, еще на год. «А место мы за вами сохраним», — писал он, совершенно не понимая моего состояния: он был уверен, что я заинтересован в этом месте и вообще в его газете.

Я сел против Пайла и перечитал письмо, пришедшее слишком поздно. На секунду я почувствовал облегчение: так бывает, когда со сна не сразу все вспоминаешь.

— Что-нибудь неприятное?— спросил Пайл.

— Нет.— Я подумал, что никакого значения эта отсрочка все равно не имеет: что значит один мой год против брачного контракта Пайла?

— Вы уже поженились?— спросил я.

— Нет,— он покраснел, он вообще очень легко краснел.— Видите ли,

я хочу получить специальный отпуск. Тогда мы сможем пожениться дома, как следует.

— Разве дома это делается по-другому?

— Понимаете, я думал... трудно мне с вами говорить обо всем этом, Томас, вы такой циник,— но мне кажется, что этим я проявил бы уважение к ней. Там мой отец, мать, она как бы войдет в семью. А это важно из-за ее прошлого.

— Из-за прошлого?

— Ну, вы знаете, о чем я... Мне не хотелось бы оставлять ее дома с клеймом.

— А вы хотите оставить ее там?

— Думаю, что да. Моя мать — изумительная женщина, она всюду водила бы ее, познакомила с кем нужно, словом, ввела бы ее, так сказать, в нашу жизнь. Мама поможет ей наладить дом к моему приезду.

Я не знал, жалеть мне Фуонг или нет: ей так хотелось посмотреть небоскребы и статую Свободы, но она не представляла себе, что́ для этого надо вынести. Профессор, миссис Пайл, женские клубы: интересно, научат ли ее играть в канасту *. Я вспомнил, какая она была в восемнадцать лет, вспомнил тот первый вечер в ресторане «Гран Монд», ее белое платье, прелестные ножки, безукоризненно двигавшиеся в такт музыке, потом вспомнил, как месяц тому назад она торговалась с мясником на бульваре де ля Сомм. Понравятся ли ей нарядные, светлые магазины Новой Англии, где даже сельдерей завернут в целофан? Может быть, и понравятся. И, как ни странно, я сказал то, что месяц назад мог бы мне сказать Пайл:

— Не торопитесь, Пайл, не навязывайте ей ничего. Ее легко обидеть — как вас, как меня.

— Понимаю, Томас, понимаю...

— Она такая маленькая и хрупкая, так непохожа на наших женщин, но все же не относитесь к ней, как... как к игрушке.

— Странно все-таки. Я так боялся этого разговора. Я думал, вы начнете грубить.

— Я многое передумал там, на севере. Встретил одну женщину... может быть, я понял то, что вы поняли в публичном доме. Хорошо, что Фуонг ушла к вам. Может быть, мне пришлось бы оставить ее тут на произвол всяких Грейнджеров. Пошла бы по рукам.

— Значит, мы с вами можем остаться друзьями, Томас?

— Ну, конечно. Только лучше мне не видаться с Фуонг. Здесь все и так напоминает о ней. Придется поискать другую квартиру, когда будет время.

Он выпростал свои длинные ноги из-под стула и встал.— Как я рад, Томас. Просто не могу выразить, до чего я рад. Правда, я это уже говорил и еще скажу — лучше это был бы кто-нибудь другой, а не вы.

— А я рад, что это именно вы, Пайл,— сказал я.

Разговор вышел совсем не такой, как я ждал: видно, где-то в глубине, под всякими недобрыми планами, зрело мое настоящее решение. Хотя наивность Пайла сердила меня, какой-то внутренний судья все подытожил в его пользу, сравнив его идеализм, его скороспелые мысли, основанные на книгах Йорка Гардинга, с моим цинизмом. Конечно, я был прав в отношении фактов, но разве в его молодости и неопытности не заключалась своя правота, разве для Фуонг не лучше будет прожить жизнь с ним, а не со мной?

Мы коротко пожали друг другу руки, но какой-то неясный страх заставил меня выйти за ним на лестницу и окликнуть его. Может быть,

---

* Модная карточная игра.

у нас в подсознании, там, где принимаются истинные решения, сидит не только внутренний наш судья, но и пророк.

— Пайл, — сказал я, — не очень доверяйтесь Йорку Гардингу.

— Йорку?— он удивленно поднял на меня взгляд.

— Мы — старые колонизаторы, Пайл, но и нас кой-чему научила жизнь, мы научились не играть с огнем. Эта ваша третья сила — все это книжные выдумки, не больше. Генерал Тэ просто головорез с двумя-тремя тысячами солдат, никакая это не национальная демократия.

Казалось, он смотрит на меня, как смотрят через щелку почтового ящика — кто там стоит за дверью, а потом, опустив клапан, отгораживаются от навязчивого пришельца. Он спрятал глаза.

— Не понимаю, что вы хотите сказать, Томас.

— Я про велосипедные бомбы. Очень милая шуточка, хотя одному человеку и оторвало ногу. Но не стоит доверять таким людям, как генерал Тэ, Пайл. Не спасут они Восток от коммунизма. Мы их хорошо знаем.

— Кто это «мы»?

— Старые колонизаторы.

— Я считал, что вы ни на чьей стороне.

— Верно, Пайл, но пусть кто-нибудь другой из вашей компании заваривает тут всю эту кашу, хотя бы Джо. А вы поезжайте домой с Фуонг. Забудьте про третью силу.

— Я всегда очень ценю ваши советы, Томас,— сказал он официально.— Мы еще с вами увидимся!

— Да, конечно.

2

Шли недели, а я все еще никак не мог найти себе новую квартиру. Не то чтобы у меня не было времени. Оживление в военных действиях, наступавшее ежегодно, уже миновало, на севере установилась жаркая сырая погода, crachin *, французы отошли от Хоа-Биня, в Тонкине кончились бои за рис, а в Лаосе — бои за опиум. Домингес легко справлялся с материалом, поступавшим с юга. Наконец я удосужился пойти взглянуть на квартиру, которая сдавалась в доме стиля «модерн» (образца Парижской выставки 1934 года) на другом конце улицы Катина, за гостиницей «Континенталь». Это был сайгонский pied-a-terre ** владельца каучуковой плантации, уезжавшего на родину. Он хотел продать ее, как говорится, чохом, со всеми потрохами. Я до сих пор не знаю, что подразумевается под «чохом», но вместо потрохов она была забита огромным количеством репродукций Парижского салона между 1880 и 1900 годами. На картинах этой коллекции чаще всего повторялось изображение полногрудой дамы с невероятной прической: дама куталась в прозрачные ткани, которые почему-то не прикрывали пышный раздвоенный зад и прятали только поле боя. Ванную плантатор украсил еще смелее: там висели репродукции Ропса.

— Любите искусство?— спросил я, и он подмигнул мне с видом заговорщика. Он был жирный, с черными усиками и лысеющей макушкой.

— Лучшие мои картины в Париже, — сказал он.

Там еще стояла необыкновенно высокая пепельница в виде нагой женщины с чашей на голове и всякие фарфоровые фигурки — голые девушки, обнимающие тигров, и — как ни странно — обнаженная до пояса женщина, едущая на велосипеде. В спальне против гигантской кровати сверкала огромная картина, писанная маслом: две спящие рядом девицы.

---

* Период дождей (*фр.*).

** Холостяцкая или временная квартира.

Я спросил, сколько стоит квартира без коллекций, но он ни за что не хотел продавать ее отдельно.

— Разве вы не коллекционер?— спросил он.

— Нет, пожалуй.

— У меня и книги есть, я бы и их продал заодно, хотя некоторые хотел забрать с собой во Францию.— Он отпер застекленный шкаф и показал мне свою библиотеку — богато иллюстрированные издания «Афродиты», «Нана», «Холостячки» и даже несколько книг Поль де Кока. Меня так и подмывало спросить — не продается ли он сам вместе со своей коллекцией: он удивительно подходил к ней — совершенно в том же стиле. Он сказал:

— Да, когда живешь один в тропиках, с такой коллекцией веселее.

Я подумал о Фуонг, именно потому, что тут ее ничто не напоминало. Так всегда бывает: когда удираешь в пустыню, тишина орет тебе в уши.

— Боюсь, что моя газета не разрешит мне купить коллекцию картин.

— А мы ее в счет не поставим.— сказал он.

Я был рад, что Пайл его не видел: он вообразил бы, что это и есть типичный «старый колонизатор», который в его представлении был и без того достаточно противным. Я ушел от плантатора почти в половине двенадцатого и зашел в Павильон выпить стакан холодного пива. В Павильон всегда приходили пить кофе лишь американки и европеянки, и я был уверен, что не встречу там Фуонг. Я точно знал, где она сейчас — не станет она вдруг менять свои привычки,— поэтому, выходя от плантатора, я перешел на другую сторону, чтобы не проходить мимо молочной, где она в этот час всегда пила свой шоколадный напиток. В Павильоне за соседним столиком сидели две молоденькие американки, очень чистенькие и свежие, и ели мороженое. У обеих через левое плечо висели одинаковые сумочки с одинаковыми металлическими эмблемами в виде орлов. И ноги у них были одинаковые — длинные, стройные, и носы похожие, чуть вздернутые, и мороженое они обе ели с такой сосредоточенностью, словно делали опыт в университетской лаборатории. Я подумал, не сослуживицы ли они Пайла: обе были прелестны, и мне захотелось и их отослать домой, на родину. Они доели мороженое. Одна посмотрела на часы.

— Давай поскорее уйдем, — сказала она, — а то еще не успеем.

Я лениво подумал, куда это им надо успеть.

— Уоррен предупредил, что надо уйти не позже, чем в одиннадцать двадцать пять.

— Сейчас уже позже.

— Интересно было бы остаться. Хотя я даже не знаю, в чем дело. А ты?

— Точно не знаю, но Уоррен предупреждал, что лучше уйти.

— Может быть, готовится демонстрация, как по-твоему?

— Я их столько видела,— сказала вторая устало, как туристка, которой до одури надоели церкви. Она встала и положила на столик деньги за мороженое. Перед уходом она посмотрела кругом, и зеркала отразили ее профиль со всеми веснушками. В кафе остались только я и полная пожилая француженка, которая тщательно, но тщетно красилась и пудрилась, смотрясь в зеркальце. Этим двоим не нужна была косметика — только тронуть губы помадой, провести гребнем по волосам. Одна из них пристально посмотрела на меня — не так, как обычно смотрят женщины, а прямым, мужским взглядом, как будто решая, что ей делать. Потом быстро обернулась к подруге: — Пойдем, скорее.— Я лениво смотрел им вслед, когда они проходили по улице, расчерченной солнцем. Невозможно было себе представить, что их могут терзать нечистые страсти: с ними не вязалось представление о смятых простынях, о потных объя-

тиях. Может быть, они и в постель брали средства от пота? Я поймал себя на том, что завидую их стерильному миру, так непохожему на тот мир, где жил я,— и вдруг этот мир непостижимо, неожиданно разлетелся на куски. Два зеркала со стены полетели прямо на меня и, не долетев, упали. Толстая француженка стояла на коленях среди обломков и опрокинутых стульев. Ее пудреница с открытой крышкой, совсем целехонькая, лежала у меня на коленях, и, самое удивительное, я сидел на том же месте, хотя мой столик в обломках лежал около француженки. Странный звук наполнил кафе — так журчит фонтан в саду,— и, взглянув на стойку, я увидел, как из разбитых бутылок разноцветными струйками прямо на пол вытекает их содержимое — красный портвейн, оранжевый куантро, зеленый шартрез, мутножелтое пасти. Француженка, сидя среди обломков, невозмутимо искала свою пудреницу. Я подал ей эту пудреницу, и она светским тоном, все еще сидя на полу, поблагодарила меня. Я понял, что слышу ее довольно плохо: взрыв был так близко, что взрывная волна подействовала на мои барабанные перепонки.

«Опять балуются с пластмассой,— сердито подумал я,— что же мне теперь, по мнению мистера Хэня, следует написать?» Но, выйдя на площадь Гарнье, я увидел по густому дыму, что тут дело далеко не шуточное. Дым шел от горящих автомобилей: вся стоянка перед Национальным театром была в огне, куски машин разлетелись по всему скверу, а около клумбы лежал, дергаясь всем телом, человек без ног. С улицы Катина, с бульвара Боннар бежали люди. Сирены полицейских машин, звонки карет скорой помощи, гудки пожарных — все эти звуки словно издалека долетали до моих истерзанных перепонок. Я чуть не забыл, что Фуонг, должно быть, там, в кафе-молочной по другую сторону площади. Клубы дыма закрывали все. Я ничего не мог разглядеть.

Я вышел на площадь — и меня сразу остановил полицейский. Полиция оцепила площадь, не подпуская толпу, из круга уже выносили носилки. Я умолял полицейского пропустить меня на ту сторону.

— Пустите меня, там мой друг...

— Отойдите! — крикнул он. — У всех тут друзья.

Он посторонился, пропуская священника, и я попытался пройти за священником, но полицейский схватил меня.

— Я журналист,— сказал я, но бумажника, в котором лежала моя карточка, не мог найти: может быть, я его не захватил? Я спросил:

— Скажите хоть, что там, в кафе-молочной?.. — Дым стал рассеиваться, и я попытался разглядеть, что там творится, но густая толпа закрывала от меня все. Полицейский что-то ответил, но я не расслышал.

— Что вы сказали?

Он повторил:

— Не знаю. Отойдите. Вы мешаете санитарам.

Неужели я уронил бумажник в Павильоне? Я пошел было туда и столкнулся с Пайлом.

— Томас! — воскликнул он.

— Пайл! — сказал я. — Ради Христа, предъявите им свой пропуск! Мы должны пробраться туда. Фуонг в кафе напротив.

— Нет, нет! — сказал он.

— Пайл, она там. Она всегда туда ходит. В половине двенадцатого. Мы должны ее найти.

— Ее там нет, Томас.

— Откуда вы знаете? Где ваш пропуск?

— Я ее предупредил, чтобы она не ходила.

Я обернулся к полицейскому и уже собрался оттолкнуть его и пробиться на площадь — пусть стреляет, плевать, но вдруг до моего сознания дошло слово «предупредил». Я схватил Пайла за руку:

— Предупредил? — спросил я. — То есть как это «предупредил»?

— Я ей сказал, чтобы она сегодня туда не ходила.

Разрозненные обрывки вдруг сложились в одно целое.

— А Уоррен? Кто такой Уоррен? — спросил я. — Он тоже предупредил тех девушек.

— Не понимаю.

— Значит, вам лишь бы не пострадали американцы, так? — Карета скорой помощи подъехала с улицы Катина к площади, и полицейский, который не пускал меня, подался в сторону, чтобы пропустить карету. Полицейский, стоявший с ним рядом, с кем-то пререкался. Я подтолкнул Пайла вперед, и мы выскочили на площадь, прежде чем нас успели остановить.

Мы словно попали на похороны. Полиция могла помешать вновь прибывшим выходить на площадь, но она была бессильна очистить площадь от тех, кто остался жив и кто пришел сразу после катастрофы. Врачам некогда было заниматься мертвецами, и мертвецов оставили на попечение тех, кому они принадлежали: ведь мертвые становятся чьей-нибудь собственностью, как, скажем, стул. На земле сидела женщина, держа на коленях то, что осталось от ее ребенка. С какой-то особой стыдливостью она прикрыла останки широкополой крестьянской шляпой. Она сидела неподвижно, молча; больше всего меня поразило на площади именно это молчание. Я вспомнил церковь, где как-то побывал во время обедни, — слышно было только тех, кто служил, и лишь изредка кто-нибудь из европейцев всхлипывал или бормотал молитву и тут же умолкал, словно пристыженный целомудренным терпением и выдержкой Востока. Безногое тело у клумбы все еще дергалось, как курица без головы. Судя по куртке, это, вероятно, был рикша.

Пайл заговорил: — Какой ужас! — Он взглянул на мокрое пятно на своем башмаке и упавшим голосом спросил: — Что это?

— Кровь, — сказал я, — никогда не видели, что ли?

— Надо непременно почистить, так нельзя идти к посланнику, — сказал он. Думаю, что он и сам не понимал, что говорит. Впервые в жизни он видел настоящую войну: в Фат-Дьем он плыл на лодке, охваченный своими мальчишескими мечтами, да и солдаты, по его представлениям, вообще в счет не шли.

— Видите, что может наделать цилиндр «Диолактона», — сказал я, — если он попадет не в те руки.

Я взял его за плечо и заставил посмотреть вокруг.

— В эти часы на площади полно женщин и детей, — сказал я, — все идут за покупками. Почему вы выбрали именно это время?

Он еле слышно сказал:

— Тут был назначен парад.

— Вы надеялись укокошить каких-нибудь полковников? Но парад вчера отменили, Пайл.

— Я не знал.

— Не знали? — Я толкнул его в лужу крови, где только что стояли носилки. — Надо лучше поставить информацию!

— Меня не было в городе, — сказал он, уставившись на свои башмаки. — Они должны были отложить...

— И лишиться развлечения? — спросил я. — Вы что же, ждали, что генерал Тэ откажется от такой демонстрации? Это гораздо лучше всякого парада: во время войны про детей и женщин писать интереснее, солдаты уже надоели. Вся мировая пресса об этом заговорит. Здорово вы поддержали генерала Тэ, Пайл. Вон у вас весь правый башмак в третьей силе, в национальной демократии. Ступайте домой, к Фуонг, расскажите

ей о своем геройстве: отправили десяток-другой ее земляков на тот свет, теперь вам уже нет нужды о них заботиться.

Маленький толстый патер проковылял мимо нас, в руках у него было что-то, прикрытое салфеткой. Пайл долго молчал, а мне больше говорить было не о чем. Я и так сказал слишком много. Он был бледный, подавленный, казалось, сейчас упадет в обморок. И я подумал: «Какой смысл с ним говорить? Он так и останется праведником, а разве можно обвинять праведников — они никогда ни в чем не виноваты. Их можно только сдерживать или уничтожать. Праведник — тоже своего рода душевнобольной».

Он заговорил:

— Тэ никогда не пошел бы на это. Я уверен, что это не он. Наверно, его обманули. Коммунисты...

На нем, как всегда, была непроницаемая броня добрых намерений и невежества. Я оставил его на площади и пошел по улице Катинà до безобразной розовой церкви, загораживавшей дорогу. Со всех сторон туда уже стекались люди: наверное, большое утешение — молить у одних покойников заступничества за других.

Мне можно было благодарить судьбу — разве Фуонг не осталась в живых? Разве Фуонг не «предупредили»? Но я не мог забыть безногое туловище на сквере, ребенка на руках у матери. Их никто не предупредил: какое это имело значение? Если бы парад состоялся, они, наверно, все равно оказались бы тут, на площади, из любопытства; им, наверно, захотелось бы посмотреть солдат, послушать ораторов, бросить им цветы. Двухсотфунтовая бомба не разбирает, для кого она предназначена. Сколько же надо убить полковников, когда создается «национально-демократический фронт», чтобы это могло оправдать убийство ребенка или простого рикши? Я остановил мотоцикл с коляской и велел ехать на набережную Мито.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Я дал Фуонг денег, чтобы она свела сестру в кино и не мешала нам вечером. Я пообедал с Домингесом и сидел у себя, дожидаясь, когда придет Виго. Он явился ровно в десять. Пить он не станет, он просит извинить его, слишком устал, а если выпьет, ему захочется спать. День выдался очень трудный.

— Убийства, неожиданные смерти?

— Нет, просто мелкие кражи. Несколько самоубийств. Этот народ охоч до азартных игр, а как все проиграют — так кончают с собой. Должно быть, я не пошел бы служить в полицию, если б знал, сколько времени придется торчать в моргах. Ненавижу запах аммиака. Знаете что, пива я все-таки выпью.

— Простите, у нас нет холодильника.

— Не то что в морге. Можно немного вашего английского виски?

Я вспомнил, как мы с ним спустились в мертвецкую и нам вытащили Пайла, как поднос с кубиками льда.

— Значит, вы не едете домой? — спросил он.

— Вы уже все знаете?

— Конечно.

Я протянул ему стакан с виски: пусть видит, что нервы у меня в порядке.

— Послушайте, Виго, расскажите, почему вы решили, что я замешан в убийстве Пайла? И ради чего, по-вашему? Хотел вернуть Фуонг, что ли? Или отомстить за то, что потерял ее?

— Нет, конечно. Не так уж я глуп. Вы не стали бы брать на память о враге его книжку. Вот она у вас, на полке. «Роль Запада». Кстати, кто такой Йорк Гардинг?

— Он и есть тот, кого вы ищете, Виго. Он убил Пайла — на расстоянии, из дальнобойного орудия.

— Не понимаю.

— Он журналист особого рода — их называют дипломатическими обозревателями. Он заранее составляет себе какую-нибудь концепцию, а потом подгоняет под нее все факты. Пайл приехал, начиненный идеями Йорка Гардинга. Сам Гардинг заезжал сюда на неделю, проездом из Бангкока в Токио. Пайл совершил ошибку: он попытался претворить его идею на практике. Гардинг писал про третью силу. Пайл сколотил такую третью силу — нашел захудалого головореза с двухтысячной армией и парой ручных тигров. Пайл вмешался в чужие дела.

— А вы не вмешиваетесь?

— Стараюсь, по крайней мере.

— Но безуспешно, Фаулер.

Мне почему-то вспомнились капитан Труэн и та ночь в хайфонской курильне: казалось, это было сто лет назад. Как он тогда сказал, этот Труэн? Что-то насчет того, что стоит только поддаться чувству — потом уже не выберешься. Я сказал:

— Из вас вышел бы хороший патер, Виго. Что-то в вас есть такое, что вызывает на исповедь, конечно, если есть в чем исповедоваться.

— Я никогда не добивался исповедей.

— Но вам исповедовались?

— Бывало...

— Наверно, потому, что по своей должности вы, как и священник, ничем не должны возмущаться, а, наоборот, всему сочувствовать? «Мсье Флик*, я должен вам объяснить, почему я раскроил старушке череп». «Хорошо, Гюстав, не торопитесь, расскажите подробно, почему вы так сделали».

— У вас богатое воображение. Почему не пьете, Фаулер?

— Разве преступнику не опасно пить с представителем полиции?

— Я никогда не говорил, что вы — преступник.

— А если выпивка развяжет мне язык и захочется исповедаться? Ведь ваша профессия не признает тайны исповеди.

— Тот, кто исповедуется, не думает о тайне даже на церковной исповеди. Исповедуются по другим причинам.

— Хотят очиститься, что ли?

— Не всегда. Подчас просто хотят посмотреть на себя со стороны. А то и просто устают от лжи. Вот вы не преступник, Фаулер, так почему же вы мне солгали? Ведь вы виделись с Пайлом в тот вечер, когда он погиб.

— Откуда у вас такие мысли?

— Я совершенно не думаю, что вы его убили. Вряд ли вы проткнули бы его ржавым штыком.

— Ржавым?

— Да, эти подробности узнаешь при вскрытии. Но, как я вам уже говорил, он умер не от этого. Захлебнулся в иле.

Он протянул стакан, я налил ему еще виски.

— Давайте припомним. Вы заходили выпить в «Континенталь» в шесть десять?

— Да.

— А без четверти семь вы разговаривали с одним корреспондентом у входа в «Мажестик».

---

* Французское прозвище полицейского.

— Да, с Уилкинсом. Я вам все это уже рассказывал, Виго. Еще в ту ночь.

— Да. Я все проверил. Удивительно, как вы запомнили все эти мелочи.

— Я репортер, Виго.

— Конечно, время вы назвали не совсем точно, но так всякий может ошибиться — на десять минут там, на четверть часа здесь, никто вас винить не станет. Разве вы могли думать, что точное время будет играть какую-то роль? Гораздо подозрительнее было бы, если б вы были абсолютно точны, секунда в секунду.

— Разве я был неточен?

— Не совсем. Вы разговаривали с Уилкинсом без пяти семь.

— На десять минут ошибся.

— Вот именно. Я так и говорю. А когда вы пришли в «Континенталь», пробило шесть.

— Мои часы всегда спешат, — сказал я. — Который час по вашим?

— Восемь минут одиннадцатого.

— А по моим восемнадцать. Вот видите?

Он не стал проверять.

— Значит, выходит, что вы говорили с Уилкинсом на двадцать пять минут раньше — по вашим часам. Расхождение порядочное, правда?

— Возможно, что я мысленно внес поправку. А может быть, я в тот день поставил часы правильно. Иногда я их переставляю.

— Одно интересно, — начал Виго и перебил себя: — Подлейте, пожалуйста, содовой, так для меня слишком крепко. Интересно, почему вы на меня совершенно не сердитесь? Не очень-то приятно, когда тебя допрашивают, как я — вас.

— А по-моему, занятно, как детективный роман. В конце концов, вы знаете, что я не убивал Пайла — вы сами только что сказали.

— Да, я знаю, что вы при убийстве не присутствовали, — сказал Виго.

— Не понимаю, что вы хотите доказать тем, что я ошибся то на десять, то на пять минут?

— Образуется промежуток, — сказал Виго, — остается немного времени.

— Для чего?

— Для того, чтобы Пайл успел зайти к вам.

— Почему вам так хочется доказать это?

— Из-за собаки, — сказал Виго.

— Ага, грязь на лапах, да?

— Не грязь. Цемент. Видите ли, в тот вечер, идя за Пайлом, пес где-то прошел по сырому цементу. Я вспомнил, что в нижнем этаже вашего дома идет ремонт — рабочие все еще работают. Я их застал внизу, когда шел к вам. В этом городе поздно кончают работу.

— Мало ли домов ремонтируют, мало ли где есть сырой цемент. Что ж, рабочие видели эту собаку?

— Я, конечно, у них спросил. Но мне они ничего не скажут, даже если б и видели. Я — из полиции. — Он замолчал, откинулся в кресло, не сводя глаз со своего стакана. Мне показалось, что он о чем-то вспомнил по ассоциации и мысли его витают где-то за тридевять земель. По его руке проползла муха — он даже не смахнул ее, совсем как Домингес. Я почувствовал в нем какую-то сосредоточенность, глубокую, сильную. Кто его знает, может быть, он даже молился.

Я встал, вышел в другую комнату. Мне совершенно незачем было туда идти, просто хотелось хоть на минуту избавиться от этого напряженного молчания, там, в кресле. Фуонг снова поставила книжки с кар-

тинками на полку. Между баночками с косметикой торчала телеграмма — видно, опять какое-то поручение из лондонской редакции. Мне не хотелось распечатывать телеграмму. Все осталось таким же, как до приезда Пайла. Комнаты не меняются, безделушки стоят там, куда их поставили, — только сердце дряхлеет.

Я вернулся в столовую, и Виго поднес стакан к губам. Я сказал:

— Мне нечего вам сказать, абсолютно нечего.

— Тогда я пойду, — сказал он. — Больше я вас беспокоить не стану.

В дверях он обернулся, как будто не хотел расстаться с надеждой — своей или моей, не знаю.

— Странно, почему вы пошли в тот вечер смотреть именно эту картину? Не думал, что вы любите исторические фильмы. Что вы смотрели? «Робин Гуда»?

— Нет, как будто «Скарамуша». Надо было как-то убить время. Хотелось отвлечься.

— Отвлечься?

— У каждого свои заботы, Виго, — терпеливо объяснил я.

Виго ушел, а мне осталось еще час ждать, пока придет Фуонг, чтоб рядом была хоть одна живая душа. Странно, до чего меня вышиб из колеи приход Виго. Как будто поэт принес мне на суд свое произведение, а я нечаянно уничтожил рукопись. Я сам был человеком без призвания — нельзя же газетную работу считать призванием, — но я умел почувствовать призвание в другом. Теперь Виго пойдет и закроет папку с неоконченным следствием по делу Пайла, и мне хотелось бы, чтобы у меня хватило мужества догнать его и сказать:

— Да, вы были правы. Я действительно виделся с Пайлом в тот вечер, когда он погиб.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

По дороге к набережной Мито я встретил несколько карет скорой помощи — они ехали из Шолона на площадь Гарнье. По выражениям лиц можно было проследить, как распространялись слухи: сначала все прохожие оборачивались в сторону тех, кто, как и я, шел с площади Гарнье, пытаясь понять, что случилось. Но когда я въехал в Шолон, я опередил вести: здесь жизнь текла спокойно, нормально, никто еще не знал.

Я нашел склад мистера Чжоу и поднялся по лесенке в его квартиру. С тех пор как я там был в последний раз, ничего не изменилось. Кошка и собака гонялись друг за другом — с полу на шкаф, оттуда на картонки, как шахматные кони, которые никак не могут сразиться друг с другом. Малыш ползал по полу, двое стариков попрежнему играли в маджонг. Только из молодежи никого не было. Как только я показался в дверях, одна из женщин стала наливать мне чай. Старуха сидела на постели, уставившись на свои ноги.

— Где мсье Хэнь? — спросил я. От чая я отказался: не было охоты проделывать долгую церемонию — пить неизменное горькое пойло. — Il faut absolument que je voie M. Heng *. — Казалось, мне ни за что не удастся внушить им, насколько моя просьба важна, но, может быть, их смутил мой решительный отказ от чая. А может быть, у меня, как у Пайла, башмаки были в крови. Как бы то ни было, после короткой заминки одна из женщин вышла со мной из комнаты, спустилась по лестнице и, перейдя через две оживленные, увешанные вывесками и флагами улицы, привела меня к заведению, которое на родине Пайла как

* Мне во что бы то ни стало надо видеть мсье Хэня (*фр.*).

будто называется «Салон похоронных принадлежностей»; там стояло множество каменных урн, куда китайцы кладут прах своих покойников.

— Мсье Хэнь? — спросил я у старого китайца, стоявшего в дверях.— Где мсье Хэнь? — Да, вполне подходящее продолжение дня: сначала — эротическая коллекция плантатора, потом — трупы убитых на площади, а теперь — похоронное бюро. Чей-то голос из глубины лавки позвал китайца, тот посторонился и пропустил меня в дверь.

Сам Хэнь радушно вышел мне навстречу и провел в маленькую комнатку, уставленную неудобными резными стульями черного дерева — во всех китайских гостиных стоят без употребления такие неуютные стулья. Но я почувствовал, что на этих стульях только что сидели: на столике стояло пять чашек, в двух еще оставался недопитый чай.

— Я прервал ваш разговор, — сказал я.

— Да, тут у нас всякие дела, — уклончиво ответил мистер Хэнь,— но это неважно. Я всегда рад видеть вас, мистер Фаулер.

— Я приехал с площади Гарнье, — сказал я.

— Так я и подумал.

— Значит, вы слышали...

— Мне позвонили по телефону. Решено, что лучше мне на время держаться подальше от склада мистера Чжоу. Полиция сегодня, наверно, примет энергичные меры.

— Но вы тут ни при чем.

— Дело полиции находить виновников.

— Это опять работа Пайла.

— Да.

— Как можно делать такие страшные вещи?

— Генерал Тэ не особенно выдержанный человек.

— А молодым бостонцам нечего возиться с пластмассой. Кто хозяин Пайла, Хэнь?

— У меня такое впечатление, что мистер Пайл в основном сам себе хозяин.

— Кто же он такой? Из УСР *?

— Тут не в названии дело.

— Чем я могу помочь, Хэнь? Надо его обуздать.

— Вы можете напечатать правду. Или вам нельзя?

— Моя газета не интересуется выходками генерала Тэ. Там интересуются только вашими друзьями, Хэнь.

— А вы действительно хотите остановить мистера Пайла, мистер Фаулер?

— Вы бы на него посмотрели, Хэнь. Он стоял там и говорил, что все это печальное недоразумение, что должен был состояться парад. Он сказал, что надо почистить башмаки, прежде чем пойти к посланнику.

— Разумеется, вы можете рассказать все полиции.

— Им тоже нет дела до генерала Тэ. Неужели вы думаете, что они решатся тронуть американца? Он пользуется дипломатической неприкосновенностью. Он окончил Гарвардский университет. Посланник в нем души не чает. Хэнь, там, на площади, у одной женщины убили ребенка... Она закрыла его соломенной шляпой. Он у меня из головы не выходит. И в Фат-Дьеме тоже убили ребенка.

— Успокойтесь, мистер Фаулер, не надо.

— Что он еще натворит, Хэнь? Сколько бомб можно сделать из цилиндра с «Диолактоном», сколько убить детей?

— Готовы ли вы помочь нам, мистер Фаулер?

— Он лезет не в свое дело, а из-за его ошибок гибнут люди. Жаль,

---

* Управление стратегической разведки США.

что ваши не подстрелили его на реке под Нам-Динем, сколько жизней было бы спасено.

— Согласен с вами, мистер Фаулер. Его надо обуздать. У меня есть предложение. — Кто-то осторожно кашлянул за дверью, потом громко сплюнул. — Если бы вы пригласили его пообедать с вами в «Старую мельницу» между половиной девятого и половиной десятого.

— Но какой смысл...

— Мы бы по дороге поговорили с ним, — сказал Хэнь.

— А вдруг он занят?

— Тогда, может быть, лучше попросить его зайти к вам в шесть тридцать. В этот час он свободен, он непременно зайдет к вам. Если он сможет пообедать с вами, подойдите к окну с книжкой, как будто поближе к свету.

— А почему надо звать его именно в «Старую мельницу»?

— Этот ресторан у моста в Дакоу — там нам легче будет найти укромное место и переговорить с ним.

— Что вы хотите делать?

— Этого вам знать не надо, мистер Фаулер. Но я вам обещаю: мы будем действовать как можно мягче, насколько позволят обстоятельства.

Невидимые друзья Хэня завозились за перегородкой, как мыши.

— Вы сделаете это для нас, мистер Фаулер?

— Не знаю, — сказал я, — не знаю.

— Рано или поздно, — заговорил Хэнь, и его голос напомнил мне голос капитана Труэна в курильне, — рано или поздно надо принять чью-то сторону. Если хочешь остаться человеком, — добавил Хэнь.

2

Я оставил в миссии записку, в которой просил Пайла зайти ко мне, а сам пошел в «Континенталь» выпить. Обломки убрали, пожарная команда смыла кровь брандспойтом. Тогда я еще не знал, какое значение приобретает каждый мой шаг, каждая минута. Мне даже подумалось — не лучше ли просидеть на площади весь вечер и не являться на свидание? Потом я подумал, что, может быть, мне удастся припугнуть Пайла и заставить его все бросить, предупредив, что ему грозит опасность, какая бы она там ни была. Я допил пиво и пошел домой. Дома я стал надеяться, что Пайл вообще не придет. Я хотел почитать, но на моей полке ничего интересного не нашлось. Может быть, следовало выкурить трубку, но некому было ее приготовить. Я невольно прислушивался, не раздадутся ли шаги; и вот они раздались. Кто-то постучал. Я открыл дверь, но это оказался Домингес.

— Что вам надо, Домингес? — спросил я.

Он посмотрел на меня с удивлением:

— Мне? — он взглянул на часы. — Но я всегда прихожу в это время. Будете отправлять телеграммы?

— Простите, совсем забыл. Нет, телеграмм не будет.

— Как, а про бомбу? Неужели вы ничего не дадите?

— Пожалуйста, сами составьте заметку, Домингес. Не знаю, что со мной, я там был, до сих пор как-то не могу опомниться. Не могу думать об этом, как о простом газетном сообщении.

Я хотел прихлопнуть москита, жужжавшего у меня над ухом, и увидел, как Домингес инстинктивно передернулся.

— Ничего, Домингес, я промахнулся, — сказал я. Домингес растерянно улыбался. Он никак не мог объяснить, почему ему так неприятно, когда отнимают чью-то жизнь — ведь он-то был христианином, а они недаром научились у Нерона делать факелы из живых людей.

— Чем я могу вам помочь? — спросил он.

Не пьет, не ест мяса, не убивает — я завидовал кротости его духа.

— Ничем, Домингес. Сегодня я хочу побыть один.

Я смотрел в окно, как он шел по улице Катина. Прямо против моего окна остановился рикша. Домингес хотел было нанять его, но тот покачал головой. Очевидно, он ждал седока, который зашел в лавку: рикши обычно тут не останавливаются. Я посмотрел на часы и удивился: я ждал всего-навсего минут десять. Пайл постучал, а я даже не услышал, как он подошел.

— Войдите!

Как всегда, первым вошел пес.

— Я так обрадовался вашей записке, Томас! Утром я решил, что вы на меня рассердились.

— Это, пожалуй, верно. Зрелище было не из веселых.

— Вы уже так много знаете, что можно рассказать вам еще кое-что. Сегодня я видел генерала Тэ.

— Как? Разве он в Сайгоне? Приехал посмотреть, как сработала его бомба?

— Я с вами говорю совершенно конфиденциально, Томас. Я с ним обошелся очень сурово. — Он говорил, как капитан школьной команды, который обнаружил, что один из его мальчиков срывает тренировку. Но я все же спросил его с некоторой надеждой:

— Значит, вы с ним порвали?

— Я ему заявил, что если он еще раз устроит такую необдуманную демонстрацию, мы с ним окончательно разойдемся.

— Неужели вы до сих пор не могли с ним порвать, Пайл? — Я раздраженно пнул пса, обнюхивавшего мои ноги.

— Не мог! (Сидеть, Граф!) В конце концов он — наша единственная надежда. Если он придет к власти с нашей помощью, мы сможем на него опереться...

— Сколько же народу должно погибнуть, пока вы поймете... — но мне уже стало ясно, что ему все равно ничего не докажешь.

— Поймем? О чем вы, Томас?

— Поймете, что в политике благодарности ждать не приходится.

— По крайней мере они не будут ненавидеть нас, как ненавидят французов.

— Вы уверены? Иногда мы и к врагам испытываем нечто вроде любви, а к друзьям — ненависть.

— Вы рассуждаете, как европеец, Томас. Эти люди совсем не так сложны.

— Так вот чему вас научили эти несколько месяцев? Скоро вы, пожалуй, скажете, что они — как дети.

— Да... по-своему, конечно...

— Покажите мне несложного ребенка, Пайл. В детстве мы — сплошная путаница и сложность. Только с возрастом мы становимся проще. — Но какой смысл толковать с ним? Мы оба приводили какие-то нереальные доводы. Право, я раньше времени становился автором передовиц. Я встал и подошел к книжному шкафу.

— Что вы ищете, Томас?

— Хотел посмотреть одно место, которое мне когда-то нравилось. Можете сегодня пообедать со мной, Пайл?

— С удовольствием, Томас. Я так рад, что вы на меня не сердитесь. Знаю, вы со мной не согласны, но ведь можно не во всем соглашаться и все-таки быть друзьями, верно?

— Не знаю. Не думаю.

— В конце концов, Фуонг гораздо важнее всего этого.

— Неужели вы вправду так думаете, Пайл?

— Господи, да она самое важное на свете для меня. И для вас тоже, Томас.

— Нет, для меня она уже не самое важное.

— Конечно, сегодня все это было ужасно, Томас, но вот увидите, через неделю все забудется. Мы поможем родственникам убитых.

— Кто это «мы»?

— Мы телеграфировали в Вашингтон. Нам дадут разрешение израсходовать часть наших средств.

Я прервал его:

— Вы можете прийти в «Старую мельницу»? Между девятью и половиной десятого?

— Куда хотите, Томас. — Я подошел к окну. Солнце село за крыши. Рикша все еще ждал своего седока. Я посмотрел на него, и он поднял на меня глаза.

— Ждете кого-нибудь, Томас?

— Нет, просто ищу одно место в книге. — И в подтверждение своих слов я прочел, подняв книгу к последним лучам заката:

По улице еду — сам черт мне не брат!
— Да кто он такой? — про меня говорят.
А если попал под колеса наглец,
Деньгами всегда откуплюсь — и конец.
Эх, как хорошо быть богатым, друзья!
Эх, как хорошо быть богатым! *

— Какие странные стихи, — сказал Пайл с неодобрением.

— Был такой очень умный поэт в девятнадцатом веке. Их тогда было не так много. — Я снова глянул на улицу. Рикша, стоявший под моим окном, уже уехал.

— У вас нечего выпить? — спросил Пайл.

— Как нечего? Но я думал, что вы...

— Начинаю немножко давать себе волю, — сказал Пайл. — Ваше влияние. По-моему, вы на меня хорошо влияете, Томас.

Я достал бутылку и стаканы. Сначала я принес только один, пришлось идти за вторым, потом за содовой. В тот вечер я все делал ужасно медленно. Пайл сказал:

— Знаете, у меня замечательные родители, только, пожалуй, слишком строгие. Дом у нас очень старинный — Честнат-стрит, на горе, справа. Мать у меня коллекционирует венецианское стекло, а отец, когда не занят своей эрозией скал, собирает все дарвиновские рукописи и прижизненные издания, какие только можно. Понимаете, они живут в прошлом. Может быть, поэтому Йорк произвел на меня такое впечатление. Он как будто вводит вас в современность. Отец у меня изоляционист.

— Наверно, он бы мне понравился, ваш отец, — сказал я. — Я ведь тоже изоляционист.

Обычно молчаливый, Пайл был удивительно разговорчив в тот вечер. Я не слушал, мысли мои были далеко. Я старался убедить себя, что мистер Хэнь имеет в своем распоряжении и другие средства, кроме прямой и грубой силы. Но я знал, что в такой войне нет времени раздумывать: каждый пускает в ход то оружие, какое у него под рукой, — французы напалмовые бомбы, Хэнь — пулю или нож. Слишком поздно я сказал себе, что не гожусь им в судьи; пусть Пайл выговорится, а потом я предупрежу его. Он может переночевать у меня. Не станут же они врываться ко мне в дом. Он что-то рассказывал — как будто про свою старую няньку:

— По правде говоря, я был к ней больше привязан, чем к матери. А какие она пекла пироги с черникой!

---

* Стихи английского поэта А. Х. Клафа (1819—1861).

Но тут я его прервал:

— Скажите, вы теперь носите револьвер — после той ночи?

— Нет. Нам в миссии приказано...

— Но ведь у вас особое задание?

— Все равно это ни к чему: захотят до меня добраться, так доберутся. Да я к тому же близорук, как сова. В колледже меня прозвали летучей мышью — я прекрасно вижу в темноте. Как-то раз мы стали валять дурака... — И он опять заговорил про свое. Я отошел к окну.

Напротив снова стоял рикша. Я не знал, какой: все они так похожи, — но мне показалось, что это другой. Может быть, он и в самом деле ждал клиента. Мне пришло в голову, что Пайлу, пожалуй, безопаснее всего отсидеться в миссии. Наверно, после того, как я подал сигнал, там, у Хэня, уже наметили план на этот вечер, причем мост в Дакоу, очевидно, должен был сыграть какую-то роль. Какую именно, я не понимал: не такой дурак Пайл, чтобы после захода солнца ехать через Дакоу, а с нашей стороны на мосту всегда стояла вооруженная охрана.

— Я все говорю и говорю, — сказал Пайл, — не знаю, почему, но сегодня я как-то...

— Говорите сколько угодно, — сказал я. — Мне просто хочется помолчать. Может быть, отменим этот обед?

— Нет, пожалуйста, не надо. Мне и так казалось, что между нами что-то встало с тех пор, как... как... ну...

— С тех пор, как вы спасли мне жизнь, — сказал я и не мог скрыть, как свежа рана, которую я сам разбередил этими словами.

— Нет, я не о том. Как мы славно поговорили в ту ночь, правда? Я многое узнал о вас, Томас. Я с вами не согласен, понимаете, но для вас, может, оно и лучше — стоять в стороне. Вы свои позиции не сдали, даже когда сломали ногу, все равно, вы остались нейтральным.

— Это тоже может измениться, — сказал я, — стоит только в какую-то минуту поддаться чувству...

— Для вас эта минута еще не наступила, — сказал он, — да и не знаю, наступит ли когда-нибудь. Я тоже не переменюсь, разве что после смерти, — добавил он весело.

— Даже после всего, что было сегодня утром? Разве это не может изменить чьи угодно взгляды?

— Что ж, война требует жертв, — сказал он. — Жаль, конечно, но не всегда попадаешь в цель. Во всяком случае, они погибли за правое дело.

— А вы бы так говорили, если б на их месте была ваша старая нянька, которая пекла вам пироги с черникой?

Он оставил мой легковесный довод без внимания.

— Можно даже сказать, что они погибли за демократию, — сказал он.

— Я бы не сумел перевести это на вьетнамский язык. — Вдруг я почувствовал страшнейшую усталость. Пусть скорее уходит, пусть умирает, тогда я смогу начать жизнь сызнова, с того момента, как он вошел в нее.

— Вы никак не хотите отнестись ко мне всерьез, Томас, честное слово! — сказал он по-мальчишески весело. Такой веселости я в нем раньше как-то не замечал, почему-то именно до этого самого вечера. — Знаете что? Фуонг ушла в кино, давайте проведем весь вечер вместе, ладно? Мне делать нечего. — Казалось, что ему кто-то подсказывает, что говорить, чтоб отнять у меня всякую возможность отступления. Он продолжал: — Почему бы нам не пойти в «Шалэ». Я там не был с того первого вечера. Кормят там не хуже, чем в «Старой мельнице», и музыка есть.

— Нет, — сказал я, — не хочется вспоминать тот вечер.

— Простите, Томас. Иногда я бываю таким толстокожим дураком. Не пообедать ли нам в Шолоне, в китайском ресторане?

— Хороший китайский обед надо заказывать заранее. Уж не боитесь ли вы идти в «Старую мельницу», Пайл? Но там прочная ограда, а мост всегда охраняет полиция. Вы же не сделаете такую глупость, не поедете через Дакоу?

— Не в том дело. Просто мне казалось, что хорошо бы нам провести весь вечер вместе.

Он неловко повернулся, его стакан полетел на пол и разбился.

— Это к счастью, — сказал он машинально. — Простите, Томас. — Я стал подбирать осколки в пепельницу. — Так как же, Томас? — Но разбитый стакан напомнил мне бутылки в баре Павильона, из которых вытекало вино. — Я предупредил Фуонг, что, может быть, пойду с вами куда-нибудь. — Как не во-время он произнес это слово «предупредил»... Я поднял последний осколок стекла:

— Мне необходимо зайти в «Мажестик», меня там ждут, до девяти я занят.

— Что ж, придется мне вернуться в миссию. Только я всегда боюсь, как бы меня там не задержали.

Ничего, если я дам ему еще одну возможность спастись.

— Вы не торопи́тесь, — сказал я, — если вас задержат, приходите потом прямо ко мне домой. Если вы не попадете к обеду, я вернусь сюда к десяти и буду вас ждать тут.

— Я вас предупрежу...

— Не нужно. Просто приходите в «Старую мельницу», а если не успеете — прямо сюда. — И я мысленно предоставил решение тому, в кого не верил. «Можешь вмешаться, если хочешь: положи ему на стол срочную телеграмму или пусть его вызовет посланник».

— А теперь ступайте, Пайл, мне надо поработать. — Прислушиваясь к его удаляющимся шагам и стуку собачьих лап, я почувствовал невыразимую усталость.

3

Когда я вышел из дому, рикши нигде не было до самой улицы Д'Ормэ. Я спустился к «Мажестику» и постоял на набережной, посмотрел, как выгружают американские бомбардировщики. Солнце зашло, работали при фонарях. Мне и в голову не пришло обеспечить себе алиби, но я сказал Пайлу, что пойду в «Мажестик», и испытывал необъяснимое отвращение к ненужной лжи.

— Добрый вечер, Фаулер, — окликнул меня Уилкинс.

— Здравствуйте!

— Как нога?

— Прошла.

— Послали хороший материал?

— Поручил Домингесу.

— Да? А мне сказали, что вы сами все видели.

— Видел. Но нам дают так мало места. Им достаточно самой краткой информации.

— Перцу нет в нашей стряпне, верно? — сказал Уилкинс. — Нам бы с вами жить во времена Рассела и старого «Таймс». Когда посылали депеши на воздушных шарах. Тогда хватало времени писать красиво. Да они бы даже вот из того, что вокруг нас, сделали целый столбец. Роскошный отель, бомбардировщики, ночь опускается на землю. В наше время ночь не «опускается» — за каждое слово на телеграфе надо платить.

С крыши отеля, словно с неба, донесся отдаленный смех: кто-то разбил стакан, как Пайл. Звуки посыпались на нас, как сосульки с крыши.

— «Свет ламп падал на прелестных дам и храбрых мужчин», — язвительно продекламировал Уилкинс. — Заняты сегодня, Фаулер? Хотите, вместе пообедаем?

— Нет, я уже приглашен. В «Старую мельницу».

— А-а, поздравляю. Там сегодня будет Грейнджер. Им бы надо рекламировать обеды специально «под Грейнджера» — для тех, кто любит есть под шум и гам.

Я пожелал ему спокойной ночи и пошел в соседнее кино, где Эррол Флинн, а может и Тайрон Пауэр (кто их различит в трико?), раскачивались на веревках, прыгали с балконов и мчались на неоседланных конях в раскрашенные сумерки. Герой спасал девушку, убивал врага, жизнь у него была заговоренная. Это был так называемый фильм для школьников, но, по-моему, если б им показать фильм, где Эдип с окровавленными глазницами выходит из дворца в Фивах, это лучше подготовило бы их к нынешней жизни. Заговоренных жизней теперь нет. Пайлу повезло в Фат-Дьеме, повезло по дороге из Тай-Ниня, но везение может кончиться, и у *тех* в распоряжении было два часа, чтобы доказать это. Рядом со мной сидел французский солдат, держа руку на коленях девушки, и я завидовал его простому счастью или горю: не знаю, что у него было. Я ушел, не досидев до конца фильма, взял рикшу и поехал в «Старую мельницу».

Ресторан был обнесен решеткой от ручных гранат, и двое вооруженных полицейских стояли на часах у моста. Хозяин, растолстевший на своей сытной бургундской стряпне, сам впустил меня за ограду. Душный воздух был насыщен запахами индейки и растопленного масла.

— Вы — вас тоже пригласил мсье Грейнджер? — спросил он.

— Нет.

— Значит, столик на одного? — Тут впервые я подумал о том, что будет дальше, о вопросах, на которые мне придется отвечать.

— Да, на одного, — сказал я, и это прозвучало так, будто я сказал вслух, что Пайла нет в живых.

В ресторане был всего один зал, и компания Грейнджера занимала большой стол в глубине. Хозяин указал мне маленький столик у самой решетки. В окнах не было стекол — боялись осколков. Я узнал некоторых из гостей Грейнджера и поклонился им, прежде чем сесть. Сам Грейнджер на меня не смотрел. Я не видел его много месяцев — с того вечера, как Пайл влюбился, мы встретились только раз. Может быть, сквозь винные пары до него тогда дошло какое-нибудь обидное мое замечание, потому что он насупился, увидев, что мадам Депре, жена офицера связи, и капитан Дюпар из отдела печати кивали и махали мне руками. С ними сидел толстяк, кажется, владелец отеля в Пном-Пене, незнакомая мне молодая француженка и несколько человек, которых я раньше встречал только в барах. На этот раз компания собралась спокойная.

Я заказал бутылку пасти́ — мне хотелось дождаться Пайла, мало ли что могло помешать планам *тех*. Мне казалось, что, пока я не начинаю обедать, еще можно надеяться. Потом я подумал: на что, собственно говоря, я надеюсь? Что этому УСР — или как там называлась шайка Пайла — и дальше повезет? Что пластмассовые бомбы будут взрываться, а генерал Тэ — процветать? Или же я — как ни странно — надеялся на чудо: вдруг мистер Хэнь найдет какой-нибудь другой способ воздействия, кроме убийства? Насколько было бы проще, если б нас обоих прикончили по дороге из Тай-Ниня. Я просидел над бутылкой пасти́ минут двадцать, потом заказал обед. Было около половины десятого. Теперь он уже не придет.

Я невольно стал прислушиваться. Чего я ждал? Крика? Выстрела? Тревоги, поднятой полицией? Я все равно ничего бы не услышал: компания Грейнджера веселилась вовсю. Владелец отеля приятным домашним голосом затянул песню, и когда полетели пробки от шампанского, все, кроме Грейнджера, стали подпевать. Он сидел, уставившись на меня налитыми кровью глазами. Я подумал — не собирается ли он драться. Справиться с Грейнджером мне было бы не под силу.

Они пели какую-то чувствительную песню, а я без всякого аппетита жевал то, что мне подали под видом жаркого, и впервые после той минуты, как узнал, что Фуонг в безопасности, думал о ней. Я вспомнил, как Пайл, сидя на полу вышки, в ожидании вьетминцев, сказал: «Она мне кажется свежей, как цветок», — а я небрежно бросил: «Бедный цветок!» Не видать ей теперь Новой Англии, никогда не познать тайн канасты. Может быть, теперь у нее никогда не будет обеспеченной, спокойной жизни. Какое я имел право думать о ней меньше, чем о тех, убитых на площади? Не все ли равно, сколько людей страдает — один или много! Один человек может испытать все муки, какие есть на свете. А я, как газетчик, судил по числу людей, изменил собственным принципам: я стал таким же engagé, как Пайл, и мне казалось, что теперь уже не смогу принимать решения так просто, как раньше. Я посмотрел на часы — без четверти десять. Может быть, его все-таки задержали в миссии, может быть, тот, в кого он верил, заступился, помог ему, и теперь он сидит в своем кабинете в миссии и злится, расшифровывая срочную телеграмму, а вскоре, громко топая, поднимется по лестнице в мою комнату на улице Катина. Я подумал: «Если только он придет, расскажу ему все».

Грейнджер вдруг встал с места и пошел прямо на меня. Он даже не заметил стула, стоявшего поперек дороги, и, споткнувшись, ухватился за край моего столика.

— Слушайте, Фаулер, — сказал он, — выйдем отсюда.

Я положил на стол деньги и пошел за ним. У меня не было настроения драться с ним, но в эту минуту я даже хотел, чтоб он избил меня до полусмерти: так мало у нас способов заглушить чувство вины.

Он прислонился к парапету моста, и оба полицейских уставились на него. Он сказал:

— Мне надо с вами поговорить, Фаулер.

Я подошел поближе, стал ждать — не ударит ли он меня. Но он не пошевельнулся. В ту минуту он казался мне воплощением всего, что мне было ненавистно в Америке: какой-то символической статуей, такой же несуразной, как статуя Свободы, такой же бессмысленной. Он сказал, не оборачиваясь:

— Думаете, я надрызгался? Ошибаетесь.

— Что с вами, Грейнджер?

— Надо поговорить, Фаулер. Не желаю сидеть с этими лягушатниками. Не люблю вас, Фаулер, но вы-то хоть говорите по-английски. Вроде как по-английски. — Он навалился на парапет, широкий, бесформенный в смутном свете, словно какой-то неизведанный материк на карте.

— Что вам надо, Грейнджер?

— Не люблю лимонников *, — сказал Грейнджер. — Не понимаю, как Пайл вас терпит. Может, потому что он бостонец? А я — питтсбургский, и горжусь этим.

— Ну еще бы.

— Ага, начинается. — Он неумело попытался передразнить меня. —

---

* Limies — презрительное прозвище англичан у американцев.

У вас каша во рту. А воображаете бог знает что. Думаете, вы все на свете знаете лучше всех!

— Спокойной ночи, Грейнджер. Меня ждут.

— Не уходите, Фаулер. Сердца у вас нет, что ли? Не могу я разговаривать с этими лягушатниками.

— Вы пьяны.

— Выпил два стакана шампанского — и все. А вы бы на моем месте не накачались? Приходится ехать на север.

— Что же тут такого?

— Как, разве я вам не говорил? Мне казалось, что все уже знают. Утром получил телеграмму от жены.

— Да?

— У сына полиомиелит. Ему плохо.

— Вот это беда...

— А вам, в сущности, что за дело? Это не ваш мальчик.

— Вы не можете полететь домой?

— Не могу. Газета требует материала насчет какой-то чертовой операции у Ханоя — по очистке захваченных районов, а Конноли заболел. (Конноли был его помощником.)

— Мне очень жаль, Грейнджер. Если б я мог чем-нибудь вам помочь...

— Сегодня день рождения сына. Ему исполнилось восемь лет, ровно в половине одиннадцатого по нашему времени. Потому я и устроил обед с шампанским — я еще ничего не знал. Мне надо все кому-то рассказать, а как расскажешь этим лягушатникам?

— Теперь полиомиелит хорошо лечат.

— Пусть он даже останется калекой, Фаулер. Лишь бы выжил. Если б меня покалечило, я бы пропал, а у него голова замечательная. Знаете, что я делал, когда этот ублюдок там пел? Я богу молился, вот что. Я думал, может, если богу нужна чья-то жизнь, пусть берет мою.

— Значит, вы верите в бога?

— Хотелось бы верить, — сказал Грейнджер. Он всей ладонью провел по лицу, как будто у него болела голова, но я понял, что он просто хочет смахнуть слезы.

— Я бы на вашем месте как следует напился, — сказал я.

— Нельзя, надо быть трезвым. Не хочу потом вспоминать, что в ту ночь, когда мой мальчик умирал, я надрызгался, как свинья. Ведь жена моя не напьется, верно?

— Неужели вы никак не можете попросить свою редакцию?

— Да Конноли вовсе не болен. Погнался в Сингапуре за юбкой. Приходится его покрывать. Его выкинут, если узнают. — Он подобрался, тело его уже не казалось таким бесформенным. — Простите, что задержал вас, Фаулер. Необходимо было кому-то сказать. Надо идти, произносить тосты. Странно, что мне попались именно вы: знаю, до чего я вам противен.

— Хотите я передам за вас корреспонденцию? Как будто я — Конноли.

— Не выйдет. У вас акцент не тот.

— Вовсе вы мне не противны, Грейнджер. Я многого не понимал...

— Нет, все равно, мы с вами — как кошка с собакой. Ну, спасибо за сочувствие.

«Чем я собственно отличаюсь от Пайла?» — подумал я. Неужели меня тоже надо ткнуть носом в жизненную неразбериху, в грязь и кровь, чтобы я увидел горе? Грейнджер вернулся в ресторан, и его встретили шумными возгласами. Я нашел рикшу и поехал домой. Там никого не

было, я сел и прождал до полуночи. Потом я спустился на улицу, уже ни на что не надеясь, — и увидел Фуонг.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

— Мсье Виго приходил к тебе? — спросила Фуонг.

— Да. Ушел с четверть часа назад. Ну как, хороший фильм?

Она уже приготовила поднос в спальне и зажгла лампу.

— Очень тяжелый, — сказала она, — но краски чудесные. А зачем приходил мсье Виго?

— Хотел меня кое о чем расспросить.

— О чем?

— Да так, о всяком. Больше он меня, наверно, трогать не станет.

— Я люблю картины только со счастливым концом, — сказала Фуонг. — Хочешь курить?

— Да. — Я лег на кровать, и Фуонг стала готовить трубку, потом сказала: — Ей отрубили голову.

— Как же это они так...

— Тогда была французская революция.

— Ага. Исторический фильм? Понятно.

— Все-таки мне их очень жалко.

— Мне как-то не жаль исторических героев.

— Знаешь, ее любовник вернулся к себе на чердак — он был такой несчастный. И написал песню — понимаешь, он был поэт, и все-все люди, которые отрубили голову его девушке, стали петь его песню. Понимаешь, он написал «Марсельезу».

— Что-то не очень похоже на исторические события.

— Он стоял в толпе, и они все пели, а у него был такой грустный, грустный вид, и когда он улыбался, видно было, что ему еще тяжелее, потому что он вспомнил ее. Я так плакала, и сестра тоже.

— Сестра плакала? Вот уж совсем на нее непохоже.

— Нет, она такая чувствительная. Этот противный Грейнджер тоже был там. Пьяный, пьяный, и все время хохочет. А картина совсем не смешная, наоборот, очень грустная.

— Я его не виню, — сказал я. — Ему есть от чего радоваться. Сын у него выздоравливает. Я слыхал сегодня в «Континентале». Я тоже люблю счастливые концы.

Я выкурил две трубки и откинулся на кожаную подушку, положив руку на колено Фуонг:

— Ты счастлива?

— Конечно, — сказала она небрежно. Видно, я не заслужил более вдумчивого ответа.

— Правда, теперь у нас все, как раньше? — соврал я. — Как год назад?

— Да.

— Ты давно не покупала себе шарфа. Почему бы тебе завтра не пойти за покупками?

— Завтра праздник.

— Да, совсем забыл.

— А ты не распечатал телеграмму? — сказала Фуонг.

— Нет, тоже забыл. Не хочется сегодня думать о работе. Да и поздно посылать материал. Расскажи мне еще про картину.

— Сначала любовник пробовал ее освободить из тюрьмы. Он тайком принес ей мужское платье и шапку—как у тюремщика. Но когда она проходила в ворота, волосы у нее распустились, и все стали кричать:

«Une aristocrate, une aristocrate!» * По-моему, так нельзя. Пусть бы она успела убежать. Они бы заработали массу денег на его песне и уехали бы за границу, в Америку. Или в Англию — добавила она, считая это, как видно, верхом хитрости.

— Прочту, пожалуй, телеграмму, — сказал я. — Только бы мне завтра не ехать на север. Хочется пожить с тобой спокойно.

Она вытащила конверт из-за баночек с кремом и подала мне. Я распечатал, прочел: «Снова обдумала твое письмо точка действую неразумно как ты надеялся точка поручила адвокату начать дело разводе причине твоего ухода точка благослови тебя бог любящая Элен».

— Тебе надо уезжать?

— Нет, — сказал я, — мне не надо уезжать. Читай. Вот тебе и счастливый конец.

Она соскочила с постели: — Как хорошо! Побегу расскажу сестре. Она так обрадуется. Я ей скажу: «Ты знаешь, кто я? Я — вторая миссис Фулэр!»

Напротив меня в шкафу книга «Роль Запада» стояла, как кабинетная фотография коротко остриженного молодого человека с черной собакой у ног. Больше он уже никому не причинит вреда. Я спросил Фуонг:

— Ты очень по нем тоскуешь?

— Ты про кого?

— Про Пайла. — Странно, даже сейчас, даже в разговоре с ней, я не мог назвать его по имени.

— Можно мне пойти? Сестра так обрадуется.

— Один раз ты позвала его во сне.

— А я своих снов никогда не помню.

— Вам могло быть так хорошо вместе. Он был молодой.

— Ты тоже не старый.

— И потом — небоскребы. Эмпайр стейт билдинг.

Она нерешительно сказала:

— Мне хочется посмотреть Чеддар Гордж **.

— Да, но это не Большой кэньон. — Я привлек ее к себе: — Как мне жаль, Фуонг!..

— О чем тебе жалеть? Такая замечательная телеграмма! Моя сестра...

— Да, да, беги скажи сестре. Только сначала поцелуй меня. — Ее горячие губы скользнули по моей щеке, и она исчезла.

Я вспомнил первый день, когда Пайл сидел рядом со мной в «Континентале» и грустно смотрел на маленькое кафе напротив. После его смерти у меня жизнь наладилась, но до чего мне хотелось, чтобы существовал кто-то, кому я мог бы сказать, как мне жаль, что все так вышло...

---

* «Аристократка! Аристократка!» (*фр.*).

** Живописная местность в Англии.

ИЗ ЮГОСЛАВСКИХ ПОЭТОВ

Душан Костич

ПОСЛЕ ВСЕГО

Перевод с сербо-хорватского Н. Тихонова

Здесь пепла нет. Сияет солнце. Тьма же
Не жжет нас больше, больше нас не давит,
На мертвых берегах листва, дрожа, расскажет
О битвах здесь, на дикой переправе.

Игру детей слежу я возле крова,
Как ручеек, как ласточек мельканье,
Что сети снов несут на крыльях снова,
Когда зовут их дальние скитанья.

Где шли бои, сейчас мертво и пусто —
Береза там над лугом оголенным.
Здесь слезы чисты, все покрыто густо
Кладбищенской травы ковром зеленым.

Не счесть могил. Их столько в травах душных,
В горах, в лесах и на дорогах дальних!
А ты молчи. Вокруг так тихо. Слушай
Лишь о любви одной зари печальной.

Здесь пепла нет. Сияет солнце. Веет
Трав ароматом, что весенних краше,
Лишь тишина: воспоминанья с нею
Спускаются на все восстанья наши.

Невысказанным все передо мною
Осталось — сердце слышит шепот близко.
Вслед облакам румянится зарею
Та тишина, что стойче обелиска.

Десанка Максимович

ХЛЕБ МЕСЯТ

Перевод с сербо-хорватского Б. Слуцкого

Солнце спало и птицы спали,
Спрятав клювы в теплые крылья.
Женщины раньше солнца встали,
Двери пекарни они открыли.

Они забыли о скорби вчерашней,
О всей суете желаний мелких.
Словно пахарь, когда он — на пашне,
Словно мельник, когда он — мельник.

Муку просевают снова и снова.
Волосы — словно в белых цветочках.
Работают,
не говоря ни слова,
Думая о сыновьях, о дочках.

В море хлебного запаха канув,
Они смеются — пьяно, счастливо,
Словно не тесто мнут руками,
А мнут руками цветущую ниву.

Солнце спит, и птицы не слышат
Женщин, тех, что пришли на работу.
Хлебный запах из печи пышет —
Это пекарня раскрыла ворота.

Руки на хлебе горячем грея,
Женщина думает: пусть настанет,
Пусть придет благодатное время,
Когда всем людям хлеба достанет!

А враг пусть подавится нашим хлебом!
Пусть в горле вражьем
он станет комом!
Женщина смотрит с порога на небо,
Внемля птичьим напевам знакомым.

Шон О'Кейси

О БЕРНАРДЕ ШОУ

Бернард Шоу был связан долголетней дружбой с Шоном О'Кейси и его женой Эйлин. В последнем, шестом, томе своего автобиографического цикла „Заход солнца и вечерняя звезда" Шон О'Кейси посвятил Бернарду Шоу большую главу, отрывки из которой мы публикуем ниже.

...Насыщенная жизнь поэта и деятеля — слезы, смех, мысль и песня. Он будет жить после смерти, залогом тому его несравненное мужество, его великолепные пьесы, его всепроникающий ум, общественный склад сознания, остроумная, обстоятельная критика современной драматургии и театра, борьба за Ибсена, Вагнера, Брамса, удивительное понимание детей, бои за права женщины и большая человеческая мысль, всегда устремленная вперед...

— Вы здесь, Эйлин? Вы еще здесь? — шепнул он, снова возвращаясь ненадолго в нашу жизнь.

— Я здесь, — так же шепотом отвечала Эйлин. — Скажите, если я вам надоела, я уйду.

— Нет, нет, — торопливо прошептал он, — побудьте еще, пока я не засну покрепче.

— Вам хорошо поспать, — сказала она и добавила, не зная, что еще сказать: — После этого вам станет лучше.

— Нет, лучше мне уже не станет, — послышался шепот. Ясные глаза опять закрылись, длинное, худое тело затихло, красивые руки, теперь совсем прозрачные, спокойно лежали поверх одеяла. Эйлин ждала. И вот глаза снова открылись, бледное, но еще значительное лицо обратилось к ней, и белые губы дрогнули в ласковой улыбке. — Мне больше не хочется жить. Погладьте мне лоб, хорошо? От этого боль утихает.

Она стала тихонько поглаживать высокий лоб, чувствуя, что это прикосновение переносит Шоу в далекое детство, когда мать вот так же сидела возле его кровати.

— Хорошо, когда чувствуешь мягкую ирландскую руку, слышишь звук мягкого ирландского голоса.

Он уходил из жизни. На лице его мелькнула насмешливая улыбка. — А все-таки, Эйлин, интересно будет встретиться со всевышним.

— Я уверена, что вы прекрасно поладите.

— У меня к нему чертова пропасть всяких вопросов, — и на исхудалом лице заиграло прежнее лукавство.

— Подождите Шона, — сказала она тихо. — Пойдете вместе, ведь он умеет бороться.

— Я тоже умею бороться. — Шепот стал слышнее. — Но для меня борьба кончена. Теперь пусть старается Шон.

— Шон слишком стар, — живо возразила Эйлин. — Ведь ему уже семьдесят.

— Ну, тогда один из ваших мальчиков или оба, если они не погибнут без толку в новой войне.

Тихо, неслышно он погрузился в сон, похожий на смерть, и Эйлин тихо, неслышно вышла из комнаты.

Пока она разговаривала с сиделкой, неожиданно зазвонил звонок, проведенный к изголовью Шоу. Едва молоденькая сиделка открыла дверь, он спросил, ушла ли Эйлин. Она ответила, что еще не ушла, но собирается. Он сказал, что хотел бы с ней проститься. Эйлин вернулась, села у кровати, и с чудесной улыбкой, от которой он помолодел на двадцать лет, Шоу сказал:

— Прощайте, Эйлин, прощайте. Передайте от меня привет всем О'Кейси.

Она сидела, прислушиваясь к отзвукам этого прощания, пока большая усталая душа снова не погрузилась в сон, более глубокий, чем прежде. Потом тихонько вышла из комнаты и ушла из Уголка Шоу, где великий его хозяин спал, готовясь встретить смерть, готовый приветствовать смерть и увидеть, как смерть склонит голову перед его величием.

Он умер два дня спустя. То были его последние слова — чтобы молодые не погибли бессмысленно в новой войне. Добрый человек, смелый человек, мудрое сердце, несокрушимый дух несокрушимых ирландцев.

Делалось много попыток преуменьшить мировое значение Шоу. Критики осмеивали его пьесы; политические деятели издевались над его социализмом; защитники официальной религии порочили его мировоззрение, — мелкие болтуны, пытающиеся своими бессильными руками дотянуться до его колен и свалить его наземь. Изменить жизнь невозможно. О неизменимая, грешная человеческая природа! Первородный грех всех нас держит за волосы. Для Грэхема Грина жизнь — это непрестанное слюнявое нытье. У Шоу живая рука, он подталкивает людей вперед — проснись, шагай! А от их руки, когда они гладят по голове, отдает сыростью смерти.

Любой персонаж в любой пьесе — марионетка, поскольку он говорит и поступает так, как ему велит автор. Ни в одной пьесе, будь то плохой, хорошей или великой, нет роли, существующей независимо от ее создателя. Автор говорит персонажу, сделай то-то, и он делает; появись, и он появляется. Безусловно, Шоу часто вкладывает в уста своих персонажей собственные мысли о людях и жизни; но то же делают драматурги, которые по силе таланта и мастерству могут сравниться с ним не больше, чем мальчик-с-пальчик с великаном. Все они вплетают собственные взгляды в речи своих персонажей. Некоторые критики утверждают, что в пьесах Шоу нет поэзии (сколько раз об этом, отчаянно жестикулируя, кричали дублинские головорезы!) и нет чувства. Неправда! В самом описании сирийского неба, которым открывается «Цезарь и Клеопатра», в звуке рога, в двух крошечных фигурках великих правителей, приютившихся между лапами сфинкса, в том, как римские воины врываются во дворец и кричат «Слава Цезарю!», застав его вдвоем с царицей Египта, — во всем этом есть и поэзия и чувство. Есть и поэзия и высокое чувство в сцене на берегу Лауры, из пьесы «Святая Иоанна», и в том, как грустит Иоанна, убедившись, что люди, почитающие ее с безопасного расстояния, вовсе не жаждут сойтись с ней поближе. Это чувство ироническое, пронизанное грустью, дожившей и до наших дней, потому что современные христиане говорят не «Отыди от меня, сатана», а «Отыди от меня, боже». Есть и поэзия и чувство в «Ученике дьявола» — настоящий вопль души в конце первой сцены, когда незаконнорожденная Эсси находит друга и плачет от счастья, а ученик дьявола дает ей свое благословение: «Ничего, Эсси, такими слезами можешь поплакать». Да что там, вся эта пьеса пронизана чувством, и тот, кто остается к нему глух, тот и не критик и не человек. Есть и поэзия и чувство в «Кандиде»; есть минорная поэзия в том, как врачи корят художника Дюбедата за беззаботность, и поэзия мажорная

в смерти художника, которой пьеса заканчивается. Поэзией и чувством дышит каждая сцена в «Доме, где разбиваются сердца»; и одинокая, полная достоинства фигура Кигана в «Другом острове Джона Буля»; и то, что Фими Эванс, падшая женщина в пограничном поселке, которой почтенные дураки и ханжи не разрешают прикоснуться к библии, оказывается всех ближе к богу. Английские критики боятся чувствовать: Итон и Харроу словно вытравили из них способность понять высокое достоинство слез. Они решительно против каких-либо проявлений чувства. Не то ирландцы. Джордж Джин Натан пишет в своем предисловии к сборнику «Пять выдающихся современных ирландских пьес»: «Самая, пожалуй, характерная черта, роднящая всех ирландских драматургов, это их бесстыдная эмоциональность. Они пишут так, как чувствуют, не боясь, что это может кого-нибудь смутить. Из всех драматургов одни только ирландцы отдают должное человеческому сердцу со всеми его прихотями и извивами, одни ирландцы, не скупясь на красоту и бесхитростный лиризм, позволяют сердцу рассказывать свою правдивую и часто раздирающую повесть». Проявление чувства в пьесах Шоу редко бывает бесстыдным; но оно часто бывает откровенным и простым, почему и доходит до всякого, кто не запер свое сердце на замок от всего человеческого.

Критические работы Шоу о театре остаются злободневными и сейчас, несмотря на то, что почти все пьесы, которые он смотрел и о которых писал, давно умерли и никто не в силах сдвинуть камень с их могилы. Когда-то знаменитая миссис Эбемит разобиделась, побушевала день-другой, а потом с покорным вздохом уступила трон леди Уэйфлит. «Погибший Ангел» Майкла, сколько ни простирал вперед руки, чтобы не пустить на сцену посторонних, но его согнало с подмостков богатство фантазии и здравый смысл «Ученика дьявола». А все ханжи, все мастера повторять избитые фразы разбежались по углам, спасаясь от очистительного смеха и едкого остроумия шовианских пьес и предисловий. Он был величайшим британским драматургом своего времени. Он не имел себе равных при жизни, не имеет и теперь. Из тех, кто у него учился, никто еще не превзошел его. Он умер, но никто еще не смеет спеть ему отходную ни как пророку, ни как драматургу.

Сколько потрачено даром времени в спорах о том, что ждет нас в загробном мире! Чем больше человек ломал себе над этим голову, тем меньше он знал о том мире, в котором жил. Об этом чудесном, единственном известном ему мире он, по учению прелатов и проповедников, меньше всего должен был заботиться. С самого рождения ему повелевали прощаться с этим миром. Довольно обижали нашу прекрасную землю! Ничего нет печального в том, что именно она должна быть нашим домом. Даже если бы она давала нам лишь скромный кров, простую одежду, простую пищу, да еще лилию и розу, грушу и яблоко, она была бы хорошим домом для людей, и смертных и бессмертных.

Это и было одним из великих, героических достоинств Шоу — он превыше всего ценил жизнь. Земля была его домом, и он любил ее. Он чувствовал себя дома среди смертных. Богоявление для него означало узнавание человека человеком. Человек должен сам себе быть спасителем, сам себе быть богом. Человек должен черпать мудрость не из молитв, а из жизни. Заповеди божьи в нас самих и нигде более. Чувствовать себя членом общества, стремиться к его развитию — вот исполнение закона и воли пророков. Счастлив народ, самому себе обязанный своим счастьем. Нет другого имени, которым могут спастись люди, кроме гордого имени Человек.

Перевод с английского М. Лорие.

Д. Заславский

Буржуазные критики о Достоевском

Можно было ожидать, что реакционная критика и публицистика используют семидесятипятилетие со дня смерти Достоевского для очередного злостного похода против Советского Союза и коммунистов. Так бывало в связи с прежними памятными датами. Однако общего и яростного похода не вышло.

Объяснить это можно отчасти тем, что семидесятипятилетие со дня смерти Достоевского пришлось на дни некоторого смягчения международной напряженности. Антисоветское улюлюканье — во всяком случае, временно — не в моде. Открытая брань во влиятельных изданиях заменена ядовитым шипением.

Буржуазная печать подала как «сенсацию» первые сообщения о том, что эта дата отмечается в Советском Союзе. Западногерманская еженедельная газета «Рейнишер меркур» заявила, что неожиданность этих фактов действует «ошеломляюще». Некоторые газеты сопроводили эти сообщения скептическими замечаниями.

Привычная позиция буржуазной печати в вопросе о Достоевском заключалась в том, что Достоевский якобы находится в СССР «под запретом». На этом основании реакционные критики пытались присвоить себе монополию истолкования творчества великого русского писателя. Не удивительно, что многие растерялись и предпочли помолчать, когда выяснилось, что это — легенда.

Всего больше старались распространять эту легенду людишки с именами, звучащими по-русски, но ничего общего не имеющие с русским народом. Некая Наталья Тарасова в западногерманской газете «Ди Цейт» спрашивает: «Будет ли снят запрет с Достоевского?» — и уверяла, что произведения Достоевского, за исключением «Подростка», ни разу не издавались при советской власти. Она писала: «Неизвестно и весьма сомнительно, войдут ли такие произведения, как «Бесы» и «Записки из подполья» в новое издание сочинений Достоевского».

Английский журнал «Энкаунтер» допускал, что будет издано «Преступление и наказание», но, говорил он, «это — предел. Безусловно, было бы самонадеянно ждать появления «Братьев Карамазовых».

Гильберт Кранц в «Рейнишер меркур» повторял за другими ложь о том, что Достоевский «запрещен» в СССР, и никак не мог себе представить, что могут быть изданы его романы. Самое большее, что ему представлялось вероятным, это новое издание «ранних произведений».

Нелепость этой лжи была столь очевидна, что даже некоторые буржуазные издания опровергали ее. Швейцарская газета «Ди Тат» утверждала: «...неверно, как иногда пишут, будто после революции Достоевский находился под запретом». В действительности, сообщает газета, в двадцатых—тридцатых и особенно в сороковых годах вокруг творчества Достоевского в советской литературе шли оживленные споры, выходили произведения Достоевского и книги о нем. Но и эта газета, сообщая в 1956 году о новом издании сочинений Достоевского, выражает сомнения, «войдут ли в него «Братья Карамазовы», «Бесы», «Дневник писателя». «Повидимому, эти три произведения будут изданы таким незначительным тиражом, что практически они останутся недоступными».

Как известно, в новое издание сочинений Достоевского входят все художественные произведения писателя; издание печатается массовым тиражом — триста тысяч экземпляров.

В американском журнале «Сатердей ревью» разочарованный критик, силясь постигнуть непонятное для него явление, «догадывается», что в Советском Союзе ныне, мол, хотят «сделать Достоевского советским человеком», «предшественником Маркса и Энгельса». Он скорбит: «Юбилей Достоевского в СССР — это злая шутка».

Жизнь действительно зло подшутила над буржуазными критиками типа Джозефа Бернса, который в 1949 году в литературном приложении к газете «Нью-Йорк геральд трибюн» тешил себя мыслью, будто «советская литература полностью позабыла о Достоевском».

Так нанесен сильнейший удар по старому мифу о «запрете» Достоевского в Со-

ветском Союзе. Не менее сильный удар нанесен и мифу о том, что будто бы Достоевский нашел «убежище» в капиталистическом мире, что будто бы только здесь он признан как великий писатель, что якобы только в Западной Европе и в Америке знают Достоевского, ценят его произведения, изучают их, понимают... Это совершенная ложь.

В Западной Европе и в США действительно изданы основные произведения Достоевского. О нем действительно написан ряд книг и много статей. Однако даже беглый обзор нынешней юбилейной литературы показывает подлинные факты. Какие произведения Достоевского переиздаются там ныне? Какие стороны в творчестве Достоевского привлекают к себе внимание буржуазных критиков?

Вот в основном последние изданные произведения Достоевского, обратившие на себя внимание критики: это изданный на английском языке в двух томах «Дневник писателя» (1951); это роман «Бесы», вышедший на французском языке; переизданы в разных странах «Братья Карамазовы»... По сути дела, это — почти все.

Реакционную критику и публицистику Достоевский привлекает прежде всего и больше всего как политический писатель, философ-идеалист, богослов. Зато как великий художник-реалист Достоевский не вызывает особого интереса у современных критиков Западной Европы и США. Подавляющее большинство юбилейных статей говорит о «Дневнике писателя», о «Бесах», которые, по словам самого писателя, представляют собой «политический памфлет». Самое крупное «исследование» творчества Достоевского, вышедшее за последние годы и рекламируемое буржуазной прессой,— это книга венского профессора Иозефа Богатеца «Идея империализма и жизненная философия Достоевского» (1951). Эта книга почти всецело построена на «Дневнике писателя» и рассматривает лишь философские, социально-политические, морально-религиозные и внешнеполитические взгляды Достоевского. Художественное творчество Достоевского не интересует профессора-богослова.

Для подавляющего большинства критиков и публицистов Достоевский значителен только тем, что был врагом социализма и коммунизма, что был верующим христианином, что он воевал с русскими материалистами и демократами-революционерами. Это главное, основное, по сути, единственное для них в Достоевском, и поэтому «Дневник писателя», «Бесы» и «Записки из подполья» для них главные, важнейшие произведения. Если они высоко ценят «Преступление и наказание», то лишь потому, что в образе Раскольникова находят посрамление русской демократической интеллигенции, им глубоко ненавистной. Они и к другим романам обращаются лишь затем, чтобы найти там черты, порочащие русский народ, русских передовых людей.

Все эти реакционные «истолкователи» Достоевского славословят его гениальность, проникновенность — с прямой целью оболгать советский народ. Они приписывают советским людям черты Раскольникова, Ставрогина, Верховенского, хотя сам Достоевский объяснял эти черты своих героев именно оторванностью их от народа, их беспочвенностью. Шовинистическое учение о «русском мессианизме» — учение, в котором Достоевский всего меньше был оригинален и которое было явной клеветой на русский народ еще сто лет назад,— враги Советского Союза переносят на советский народ, приписывая ему «по Достоевскому» империалистические замыслы.

Вместе с исступленной ненавистью к социализму, к советскому народу, к демократии реакционные критики этого рода обнаруживают подлинно ошеломляющее невежество. Они не знают ни истории русского народа, ни советской литературы, ни, наконец, Достоевского.

Антисоветски настроенные критики ищут в произведениях Достоевского ключ к пониманию современной русской жизни. Социализм пугает их. Они не понимают и боятся понять то, что произошло в мире за последние сорок лет. Победа социализма в Советском Союзе, социалистическое строительство в странах народной демократии, в Китае, образование могучего лагеря социализма и демократии — все это реакционным наблюдателям кажется «тайной», «загадкой». Они пытаются найти в произведениях Достоевского ключ к разрешению «загадки». Но с самого начала они ищут не там, где можно найти этот ключ. Они ищут только то, что могло бы поддержать их собственные взгляды, их смертельную вражду к марксизму, к научному, революционному социализму.

Для непредубежденного читателя произведения Достоевского содержат богатейший художественный материал, который говорит о моральной силе русского народа, о его талантливости, о его стремлении к свободе. Как великий сын русского народа, Достоевский воспринял горячую ненависть ко всем видам социального угнетения. Он не расходился со своим народом, когда в самой острой форме ставил вопрос о бесчеловечности, недопустимости существования капиталистического общества, капиталистической морали. В реальных, конкретных условиях исторической жизни буржуазные критики могли бы найти ответ на вопрос, почему именно Россия, русский народ дал другим народам в XX веке пример непримиримой революционной борьбы, почему русский народ, русский рабочий класс создал коммунистическую партию, почему под руководством этой партии народы бывшей царской империи создали первую в мире могучую социалистическую державу.

Достоевский, как и другие великие писатели России, ощущал силу русского народа. В этом выразилась его художественная проникновенность. Он ошибался в оценке этой силы, в направлении исторического

движения России. Это слабость Достоевского как публициста и художника. Заблуждения его ныне очевидны. Советский Союз, в котором русскому народу принадлежит роль первого среди равных, действительно осуществляет великую, всемирно-историческую задачу. Но эта задача как раз противоположна той, которая грезилась Достоевскому. Он считал Россию оплотом против международного социализма. Россия стала краеугольным камнем мировой социалистической системы.

Совершенно ясно, что бессмысленно искать в публицистике Достоевского ключ к пониманию нынешних международных отношений. А именно это делают иные буржуазные критики. Последовательнее всех других делает это Богатец. Он попросту игнорирует все, что произошло в России и в мире за последние пятьдесят лет. Часы для него остановились в прошлом столетии. Его книга носит подзаголовок «К познанию русского человека». Но этот «русский человек» еще не совершил величайшего переворота, какой известен человечеству. Не было социалистической революции! Не было двух мировых войн! Не было и нет коммунистической партии! Все подлинно историческое, все действительное, реальное чуждо этому профессору в рясе средневекового монаха. Он оперирует отвлеченным, фантастическим понятием «русского человека», «славянской души».

Другие «исследователи» не столь последовательны. Но и они точно так же в публицистике Достоевского, — которая была анахронизмом уже тогда, когда она впервые появлялась в печати,— ищут ответа на современные вопросы.

Мэри Колем писала несколько лет назад в статье «Достоевский — Россия в миниатюре» («Сатердей ревью оф литерачер»), что «Дневник писателя» — это путеводитель к пониманию современной России» и что «Достоевский воплощал мистическую душу славянского бытия». В этом же американском журнале Авраам Ярмолинский напечатал статью о Достоевском под заглавием «Апокалиптическое будущее». Ярмолинский слывет в реакционных кругах «знатоком» Достоевского. Он сочинил его биографию. Для мракобеса, запуганного насмерть победами социализма, вся современная действительность — это картина из Апокалипсиса. Он ничего не понимает в жизни наших дней. Он ищет разгадки в пророчествах Достоевского о грядущей гибели западной (буржуазной) цивилизации. Нечего и говорить о том, что коммунисты для него — «бесы». Кликушество такого рода мы находим во многих статьях.

Мы видим, таким образом, какого Достоевского пропагандировала и пропагандирует реакционная буржуазная критика, как знакомит она с великим русским писателем. Это — злонамеренная систематическая фальсификация всего литературного и художественного облика писателя. Это — использование самых слабых сторон в творчестве Достоевского, как раз тех, которые имеют временное, преходящее значение и которые на деле уже обнаружили свою несостоятельность. Это — замалчивание всего, что есть сильного в творчестве Достоевского: правдивого художественного изображения реальной жизни со всеми ее противоречиями.

За рубежом есть писатели и критики, которые обращаются именно к романам Достоевского и к его личной жизни. Они как будто меньше всего интересуются политикой и социальными проблемами. Но это не значит, что они пытаются воссоздать в своих книгах и статьях подлинный и многосторонний облик Достоевского. Нет, и они на свой лад занимаются фальсификацией.

Это критики фрейдистской школы. Их привлекают исключительно болезненные, психопатологические образы в произведениях Достоевского. Их взгляд равнодушно скользит по здоровым людям. Их не интересуют философские и социально-политические проблемы. Зато у них повышенный интерес к эпилепсии, которой страдал Достоевский, и к его личной, интимной жизни.

Вот, к примеру, французский критик Доминика Арбан. Она тоже «знаток» Достоевского и в 1954 году опубликовала о нем книгу «Достоевский — виновный». Мир Достоевского, по Доминике Арбан,— это «конвульсивная вселенная». В том-то, оказывается, великая заслуга Достоевского, что он нашел и рассмотрел «конвульсии» как основную черту бытия. Само собой разумеется, что из всех романов Достоевского для Доминики Арбан на первом месте стоят «Бесы».

К семидесятипятилетию со дня смерти Достоевского Доминика Арбан выступила во французской буржуазной газете «Монд» со статьей «Достоевский и «Бесы». Кратко изложим содержание этой статьи. «Бесы»— это якобы произведение автобиографическое. Влюбленность Шатова в Ставрогина — это влюбленность самого Достоевского в Спешнева. Писатель носил в себе сексуальную тайну. Воспоминание о замученной, изнасилованной девочке, которое не дает покоя Ставрогину, это, по Арбан, — центральная тема «Бесов». Ставрогин заканчивает свою жизнь и весь роман точно так же, как покончила свою поруганную жизнь несчастная девочка, жертва Ставрогина. И в этом отражена подлинная драма самого Достоевского! Он тоже «виновный» в таком же преступлении.

Доминика Арбан расшивает свои «психоаналитические» узоры по канве, которую на потребу любителям скандалов изготовил в США некто Марк Слоним. Его книга, которая называется «Три любви Достоевского»,—фрейдистские упражнения, переходящие в прямую порнографию. По словам французского журнала «Библио», Марк Слоним «прокладывает себе дорогу сквозь эротический сумрак жизни Достоевского».

Полемизировать с авторами такого рода

бесполезно и невозможно. Они облечены в непроницаемую броню самоуверенного невежества.

Когда мы читаем у Богатеца о «старых славянофилах — Пушкине, Хомякове и Самарине», о том, что «Чернышевский находился под влиянием Бентама», что во все времена «образованные славяне не любили и не любят русских», то мы можем лишь полюбоваться этими курьезами как экспонатами умственной уродливости в музее средневековой старины.

Даже восторженный поклонник Богатеца, Э. Саркисьянц, в западногерманском журнале «Ауссенполитик» сокрушенно перечисляет некоторые огорчительные ошибки Богатеца, что не мешает Саркисьянцу в статье «Достоевский и русский империализм» повторять его глупости с таким же бесстыдным невежеством.

Гильберт Кранц в «Рейнишер меркур» пишет о Петре Верховенском в «Подростке», смешав его с Версиловым и приписав Версилову черты Верховенского. Повидимому, этот Кранц никогда не читал «Подростка». Он же разбирает, как относился Достоевский к... большевизму! Раскольников у него — «теоретик социализма».

Да всех чудес невежества и не перечислишь!

Впрочем, указанием на невежество, на фальсификацию авторов реакционного лагеря не смутишь. Они не гонятся за добросовестностью, за объективностью. Они и не ставят своей задачей понять по-настоящему Достоевского, разобраться в его сложном и противоречивом творчестве. Кранц прямо заявляет: «Нам нужен Достоевский в борьбе против коммунизма». Поэтому он весьма смущен широким чествованием памяти Достоевского в СССР. Он и понять это по бедности своего воображения не может иначе, как желание советской критики превратить Достоевского в «коммуниста».

Мы говорили о господствующем направлении в буржуазной литературе о Достоевском, о том, что всего больше, всего ярче бросается в глаза. Есть работы и иного рода. Они не отличаются глубиной, содержат немало путаницы, но, во всяком случае, авторы их пытаются анализировать творчество великого русского писателя без подтягивания его к преднамеренной политической схеме.

Чарльз Пэссидж в 1954 году издал в США книгу «Достоевский — адаптер». Нарочитой злобы в книге нет. Но в какой мере ее автору-профессору доступно понимание русской литературы видно из того, что творчество Достоевского он рассматривает преимущественно как «адаптацию», «приспособление» к русским условиям... Э. Т. А. Гофмана. Впрочем, по Пэссиджу, и Пушкин и Гоголь — только русские последователи Гофмана.

Известный английский писатель Сомерсет Могэм в 1948 году напечатал в американском журнале «Атлантик» статью о романе «Братья Карамазовы». В статье есть отдельные справедливые критические замечания. Но в целом статья поражает субъективностью своего метода. Всю оценку романа английский писатель строит на том, что Достоевский будто бы был, по словам критика, крайне тщеславным человеком, не умевшим владеть собой, «лишенным чувства элементарной порядочности». Могэм находит сентиментальность Достоевского «приторной», его гуманизм — «бесполезным». По Сомерсету Могэму, Достоевский был «подозрительным, неуживчивым, эгоистичным, хвастливым, истеричным человеком». В этом, как и в его личной раздвоенности, ключ к характерам и к борьбе в «Братьях Карамазовых». Сомерсет Могэм признает в Достоевском крупнейшего романиста, признает, что роман «захватывает» читателя, но странным образом считает Достоевского «слабым художником» и уже никак не реалистом. Вся статья, пожалуй, служит убедительным примером, насколько несостоятелен субъективный метод в литературной критике, даже если им пользуется крупный писатель.

Несколько десятилетий назад на Западе подчас появлялись статьи и монографии о Достоевском, написанные, правда, без глубокого понимания социальной основы его творчества, но по крайней мере добросовестно, с настоящим уважением к памяти писателя. В отдельных старых работах буржуазных ученых есть любопытные наблюдения над мастерством Достоевского, попытки определить его место в мировой литературе. Современная буржуазная критика о Достоевском, как правило, не может порадовать даже частными замечаниями. Эта критика прежде всего вульгарна. Поставленная на службу антисоветской пропаганде в холодной войне, она свела все художественное творчество Достоевского к его политическим взглядам, к тому же фальсифицированным. С дубоватой примитивностью эта критика объявляет, что Достоевский великий писатель потому, что его философские и политические высказывания реакционны! Эти высказывания преподносятся не только как важный, но и как единственный критерий ценности его творчества. Этим самым вульгарная критика выдает себе свидетельство на умственное убожество.

Не в лучшем положении оказывается та буржуазная критика, которая претендует как раз на утонченность и свысока относится к марксизму. Будь то физиологическая критика в духе фрейдизма или критика эстетски-субъективная, ее отличает догматический характер. Она не способна охватить явления и понятия в их противоречивости, в развитии, во взаимосвязи, она отрывает литературные явления от их реальной, жизненной общественно-исторической основы и поэтому особенно беспомощна, когда речь идет о столь сложном, многостороннем, противоречивом писателе, как Достоевский. Если критик фрейдист, то Достоевский у него весь в переживаниях своего детства, своей наследственности.

Если критик богослов-мистик, то Достоевский для него только христианин, борющийся с безбожием. Если критик экзистенциалист новейшего фасона, то Достоевский для него — это метафизик, отрицающий реальность всего внешнего мира и признающий только абсолют своего Я. Для всех критиков догматиков-идеалистов никакого существенного значения не имеет конкретная социально-историческая среда, подлинная действительность, связь литературы с общественной жизнью.

Никакого писателя, а уж в особенности Достоевского нельзя уложить на одну полочку. Всякая окажется прокрустовым ложем. При всяком упрощении такого рода страдает прежде всего художественное творчество. Многосторонний писатель, сила которого в объемности его таланта, превращается в плоскую фигуру. Таким и выглядит Достоевский в изображении вульгарной и субъективной критики.

Единственно верный способ понять писателя — это увидеть его во всесторонности его творчества, в противоречиях, связанных с противоречиями реальной, исторической жизни. Так подходит к Достоевскому марксистская критика. Она рассматривает Достоевского в неразрывной связи с общественной жизнью, с борьбой русского народа, приведшей к победе социалистической революции. Это дает возможность установить сильные и слабые стороны в творчестве Достоевского — то, что не выдержало испытания времени, и то, что сохраняет свою жизненность поныне. Ясно, что в своей публицистике Достоевский не был оригинален. Он разделял ошибки и предрассудки тех социальных групп, которые были обречены на гибель и действительно погибли. Но горячая ненависть Достоевского к миру угнетения человека человеком, глубокий гуманизм Достоевского, боль за обиду эксплуатируемых, униженных и оскорбленных, вера в силы русского народа — все это запечатлено в художественных образах, в словах и мыслях, которые волнуют читателей.

И именно это завоевало Достоевскому всемирную славу. Достоевского знают и требуют читатели; буржуазные издатели вынуждены публиковать его романы,— и совсем не потому, что это будто бы политически выгодно реакции, совсем не потому, что Достоевский якобы «нужен для борьбы против коммунизма». Огромная масса читает и все больше будет читать Достоевского, как читает Льва Толстого, Чехова, как читает Горького, читает потому, что это великие художники слова, потому, что нельзя быть культурным человеком, не зная Пушкина, Гоголя, Достоевского, Толстого, Чехова, Горького.

Это хорошо понимают прогрессивные писатели и критики за рубежом. Юбилей Достоевского нашел живой отклик у передовой литературной общественности как в странах народной демократии, так и в ряде стран капиталистического мира. «Женьминьжибао», «Юманите», «Руде право», «Ланд ог фольк», «Нейес Дейчланд», «Септември», «Иродалми уйшаг» и другие органы международной прогрессивной печати отметили юбилей Достоевского статьями, проникнутыми большим уважением к памяти великого русского художника. Авторы этих статей показывали, что реакционная «достоевщина» отжила свой век, а реализм гениального русского писателя, обличавшего эгоизм собственников, защищавшего «униженных и оскорбленных» — живет и будет жить.

Семидесятипятилетие со дня смерти Достоевского еще больше содействует популярности его художественного наследия за рубежами нашей страны. Советская критика — при активной поддержке и сотрудничестве передовой литературной мысли братских народов — поможет правильному уяснению смысла его творчества и борьбе с буржуазными фальсификаторами.

Б. Лисица

Мао Дунь

...Приветливо улыбающийся худощавый человек с живым, энергичным лицом и проницательными, чуть-чуть лукавыми глазами. Движения его свободны и мягки, хотя чувствуется, что он несколько утомлен. Ему более пятидесяти лет, но выглядит он значительно моложе. Он сидит, слегка откинувшись на спинку кресла, и внимательно слушает обращенные к нему слова дружбы и привета, затем, улыбаясь, не спеша подходит к кафедре и, поблагодарив за радушный прием, начинает рассказ о новой литературе Китая. Постепенно лицо его разгорается румянцем, в глазах вспыхивают искорки, речь становится все быстрее и взволнованнее...

Таким мне запомнился Мао Дунь, когда мне довелось его увидеть в Институте Востоковедения Академии Наук СССР в феврале 1947 года. Мы услышали страстный рассказ о литературе, родившейся в бурных волнах нового революционного прибоя и озаренной светом социалистических идей, поставившей своей задачей служение народу и революции. И хотя Мао Дунь, человек необычайной скромности, ни словом не обмолвился о себе, тем из нас, кто знаком был с его творчеством, казалось, что перед нами одна за другой раскрываются страницы жизни мужественного и вдохновенного писателя-борца.

Мао Дунь родился в 1896 году в уездном центре Тунсян, провинции Чжэцзян. Отец писателя, врач по профессии, был образованным человеком. От матери Мао Дунь унаследовал любовь к классической литературе Китая, которую она хорошо знала. Отец Мао Дуня, увлекавшийся математикой, хотел, чтобы сын занялся изучением точных наук. Но его надеждам не суждено было сбыться. Мальчик проявлял живейший интерес к литературе, и ничто не могло заставить его отказаться от своего призвания.

Восемнадцати лет Мао Дунь поступает на литературный факультет Пекинского университета. Однако тяжелое материальное положение семьи, необходимость оказать поддержку подрастающим младшим братьям вынуждают его оставить мысль о дальнейшей учебе в университете и начать самостоятельную трудовую жизнь. После долгих невзгод с помощью родственника ему, наконец, удается устроиться в отделе переводов одного из крупнейших книгоиздательств Китая. В этот период своей жизни Мао Дунь много читает, знакомится с лучшими произведениями мировой литературы, открывавшими перед ним новые, неизведанные горизонты. В статье «О том, как я учился» он рассказывает: «Прежде чем взяться за перо, я основательно познакомился с произведениями зарубежных авторов. Выбор был самый разнообразный: из русских классиков — прежде всего Толстой и Чехов; из французских — Мопассан, Золя и Дюма-отец; из английских — Диккенс и Скотт». Позднее он познакомился с творчеством Тургенева, и его по-настоящему волнует проблема «отцов и детей», столь схожая с проблемами, стоявшими в то время перед китайской молодежью. Он с увлечением читает Пушкина, Лермонтова, Байрона, Мицкевича, Петефи. Впоследствии рождается ряд его работ о жизни и творчестве этих писателей. Несколько лет спустя Мао Дунь знакомится и с книгами Горького.

Хотя по характеру своей работы в издательстве молодой литератор вынужден был иметь дело в этот период главным образом с произведениями иностранных авторов, он, как и раньше, продолжает серьезно изучать богатую реалистическими традициями демократическую литературу старого Китая. В уже упоминавшейся выше статье он говорит, что больше других любит такие произведения классической китайской литературы, как романы «Речные заводи» и «Неофициальная история конфуцианцев». Мао Дунь также высоко оценивает художественные достоинства и идейную направленность романа «Хунлоумын».

Под влиянием Великой Октябрьской социалистической революции, идей социализма в Китае в 1919 году развертывается мощное антиимпериалистическое и антифеодальное движение, известное под названием «движения 4 мая». Начавшись в Пекине со студенческой демонстрации протеста против решения Парижской мирной конференции о передаче Японии бывших немецких колоний в Китае, оно переросло

затем в выступление широких народных масс против господства империализма и феодализма в Китае.

В «движении 4 мая» оформилась новая, реалистическая литература Китая, основоположником которой явился великий китайский писатель Лу Синь, ставший, по словам Мао Цзэ-дуна, «кормчим культурной революции в Китае». Начиная с этого времени идеи служения революции и народу освещают путь развития новодемократической литературы Китая.

Великие события в России вызывают у Мао Дуня чувства горячей симпатии и восхищения. Впоследствии, вспоминая об этом периоде своей жизни, он писал: «Я начал стучаться в двери литературы с 1920 года... Я от всей души хотел учиться у Октябрьской революции и основательно ознакомиться с ее литературными достижениями... Увлечение русской литературой охватывало все новые и новые слои китайского общества. Тогда мы еще не успели познакомиться с советской литературой, созданной Октябрьской революцией, но мы читали Толстого, Тургенева, Горького. Октябрьская революция и ее литературные достижения воодушевили меня и дали новое направление моей работе».

В 1921 году Мао Дунь возглавляет журнал «Ежемесячник новелл» — орган Общества изучения литературы, созданного им и другими прогрессивными писателями, сторонниками реалистического метода в литературе. Члены общества призывали писателей «сделать объектом литературы кровь и слезы униженных и оскорбленных». Они утверждали, что художественное творчество тесно связано с явлениями и фактами жизни общества, что писатель не должен замыкаться в узком кругу частных проблем, что «литература должна быть работой, которая нужна самой жизни, она должна стать делом жизни писателя так же, как труд — для рабочих и крестьян».

Чжэн Чжэнь-до, Мао Дунь, Гэн Цзи-чжи и некоторые другие основатели Общества изучения литературы были известны в Китае как знатоки, переводчики и пропагандисты русской литературы. Поэтому вполне естественно, что именно демократические, свободолюбивые идеи русских классиков оказали значительное влияние на формирование литературно-эстетических воззрений членов общества, и в первую очередь на одного из ведущих деятелей его — Мао Дуня.

Уже в первых своих литературно-теоретических статьях, написанных в начале двадцатых годов, Мао Дунь решительно ставит вопрос о роли литературы в жизни общества, о ее общественном значении. Он призывает китайских писателей отражать в своих произведениях борьбу нового со старым, показывать те впервые вышедшие на общественную арену силы, которые ведут эту борьбу. Мао Дунь напоминает деятелям новой китайской литературы, что они должны тесно сблизиться с народом — это поможет им шире и глубже отражать жизнь в своих произведениях.

В этот период Мао Дунь работает много и с увлечением. Поражает обилие статей и разносторонность молодого литератора. На страницах журналов «Ежемесячник новелл» и «Литературный еженедельник» в течение 1921—1924 годов наряду с его исследованиями по истории и теории китайской литературы появляются и работы о классиках мировой литературы — Салтыкове-Щедрине, Некрасове, Достоевском, Лескове, Флобере, Мопассане, Сенкевиче и других; статья о Маяковском, обзоры русской, польской, чешской, французской, финской, армянской и других современных литератур; исследования по китайской мифологии, статьи по вопросам перевода и т. д.— всего более 90 статей, подписанных то настоящим именем писателя, то псевдонимами.

Много внимания уделяет Мао Дунь в эти годы переводу. Он переводит Горького, Барбюса, Тургенева, Диккенса, Сенкевича, Лесю Украинку, Ибаньеса и других писателей. Одновременно Мао Дунь ведет преподавательскую работу на литературном факультете Шанхайского университета, глубоко вникая в жизнь и интересы студентов.

В начале двадцатых годов Мао Дунь выступает на рабочих собраниях, в студенческих и писательских аудиториях, практически участвует в революционной борьбе. И когда в 1924 году в Китае разразилась революционная буря, Мао Дунь был с теми, кто олицетворял в эти дни «честь и совесть» Китая. Он ведет политическую работу в Национально-революционной армии, редактирует газету «Миньго жибао».

Напуганная мощным размахом рабоче-крестьянского движения, крупная буржуазия во главе с Чан Кай-ши организует контрреволюционный переворот. Революция терпит поражение. В конце августа 1927 года Мао Дунь тайно возвращается в Шанхай. Жестокий контрреволюционный террор Чан Кай-ши вынуждает писателя перейти на нелегальное положение.

В начале октября 1927 года из Кантона в Шанхай возвратился Лу Синь. Поселившись в том же квартале, что и Мао Дунь, который не мог покинуть своего убежища, Лу Синь сам посетил его. Так впервые встретились признанный художник слова Китая, один из выдающихся писателей-реалистов мира Лу Синь и тогда еще молодой, начинающий литератор Мао Дунь.

Вскоре после этой встречи Мао Дунь пишет обстоятельную статью о Лу Сине. Он подчеркивает в ней внутреннюю простоту и благородство Лу Синя, его великую любовь к людям. «Лу Синь — это то, что воплощено в его героях. В них, во всех созданных им живых образах, запечатлены мысли и чувства Лу Синя. Это — страдающий и угнетенный китайский народ»,— пишет он.

В сентябре 1927 года Мао Дунь приступает к работе над своим первым романом

«Разочарование». Этот и два других романа — «Колебания» и «Поиски»,— написанные непосредственно после него, составили трилогию, названную автором «Затмение».

Мао Дунь ставил перед собой задачу показать колебания, неустойчивость, проявленные китайской мелкобуржуазной интеллигенцией в ходе революции 1924—1927 годов, ее неспособность быть до конца последовательной в революционной борьбе и как следствие этого ее неспособность стать во главе революционного движения в Китае.

В основу сюжета романа «Разочарование» положена история скромной, образованной девушки Цзин, вступающей в жизнь с мечтой быть полезной обществу. Действительность больно наказывает ее за доверчивость и неопытность, и Цзин впадает в уныние. Но вот революционная буря проносится над Китаем, и прежняя мечта — быть полезной обществу, тлевшая под пеплом тоски и разочарования, вновь вспыхивает в душе Цзин. Она спешит в Ханькоу — центр революционного движения. Революционный пафос сражающегося за свободу народа захватывает ее. Она видит подлинных героев революции. В то же время поведение ее коллег-псевдореволюционеров, упрощенно и обывательски понимавших слова «революция», «коммунизм», повергает Цзин в отчаяние. Она делает еще несколько попыток осуществить свою мечту, но все напрасно. «Разочарованность и усталость» — таков итог, к которому приходит героиня романа. Рядом с Цзин действуют и другие люди. По-разному сложилась их жизнь, различны их характеры, но мировоззрение, интересы, привычки — все порождено одной средой: мелкобуржуазной интеллигенцией.

Прекрасно зная жизнь этих людей, Мао Дунь стремится показать, что движет ими в революции, каковы их истинные взгляды на революцию. Он видел, что лучшая, наиболее сознательная часть мелкобуржуазной интеллигенции, с самого начала включившись в активную борьбу, честно служила революции, но в то же время встречал в жизни и множество примкнувших к борьбе попутчиков из интеллигентов, питавших самые фантастические иллюзии на ее счет, раздираемых сомнениями и противоречиями. Поэтому, по его собственным словам, он «задался целью написать роман, в котором пытался отразить этот резкий контраст».

Во второй части трилогии — романе «Колебания», известном советским читателям в русском переводе,— Мао Дунь выводит галерею ярких реалистических образов буржуазных интеллигентов, которые заколебались и отступили, когда их личные, эгоистические интересы пришли в столкновение с интересами революции. В романе ясно ощущается рост реалистического мастерства писателя; значительно усилен, по сравнению с первой частью трилогии, критический момент. Однако образа положительного героя в романе пока еще нет; к созданию его Мао Дунь придет несколько позднее, когда будет работать над своим следующим большим произведением — «Радуга».

Жестокий террор чанкайшистской реакции заставляет Мао Дуня в 1928 году эмигрировать в Японию, где он живет до весны 1930 года. Там им были созданы рассказы «Творчество», «Стихи и проза», «Самоубийство», посвященные теме раскрепощения китайской женщины. В рассказе «Творчество» писатель показывает, как либерально настроенный интеллигент старается заинтересовать политикой свою жену, мечтая, таким образом, сделать ее «идеальной женой». Однако затея эта кончается самым неожиданным для него образом — жена активно включается в общественную жизнь и оказывается на голову выше его. Вот девушка из рассказа «Самоубийство», которая кончает с собой, не в силах больше бороться с феодальными обычаями и предрассудками, делавшими невыносимой жизнь женщины в старом Китае. Вывод из этих произведений один: в обществе, построенном на угнетении и эксплуатации, женщина не может добиться своего полного освобождения, не принимая активного участия в борьбе за революционное его обновление. Образ героини-революционерки, ведущей такую борьбу, и создает Мао Дунь в своем романе «Радуга», написанном в 1929 году.

Действие романа развертывается в период 1919—1925 годов, богатый революционными событиями в Китае. Героиня романа Мэй — молодая девушка из обедневшей интеллигентной семьи. «Движение 4 мая» 1919 года оказывает на нее глубокое впечатление. Она решает искать свой путь в жизни, стать полезной обществу. Поиски этого пути приводят ее в Шанхай. Коммунистка Лян Ган-фу знакомит ее с марксистской литературой, учит практике революционной борьбы. Автор показывает, как рушатся индивидуалистические взгляды Мэй, как в связи с массами она обретает твердую уверенность в грядущей победе революции. «Товарищи, всеми силами удержим наши позиции!.. Мы победим!» — говорит она на рабочей демонстрации в финале романа.

Стройность композиции, ясность и простота сюжетной линии, скупость и вместе с тем выразительность характеристик людей и событий, отточенность речевых характеристик и диалога, обилие ярких метафор и сравнений, отличающие роман в целом, свидетельствуют о несомненном росте художественного мастерства писателя. Важное место занимают в романе описания природы, помогающие более глубоко и полно раскрыть характеры действующих в нем лиц. Уже первая страница повествования начинается описанием величественной, бурной Янцзы — матери рек Китая, свободное и стремительное течение которой является для автора живым олицетворением силы и мощи народа. Образ великой китайской реки служит всему роману как бы фоном, на котором еще от-

четливее и зримее выступают дела и поступки героев.

«Радуга» — произведение, где Мао Дунь впервые создает образ положительного героя. Автор не только развенчивает старые, но и утверждает новые, революционные идеалы. И что самое главное — в романе показаны революционно настроенные народные массы, вступившие на путь сознательной борьбы за свое освобождение. В этом несомненная заслуга писателя, сумевшего понять и в высоко художественной форме показать великую силу, таящуюся в народе — творце истории. Знаменательно само название романа — «Радуга», являющееся как бы символом светлого, обновляющего начала.

В 1931 году Мао Дунь пишет две большие повести «Трое» и «Путь».

В повести «Трое» рассказывается о судьбе трех молодых людей, выписаны три человеческих характера: крестьянский сын Юнь, помещичий сынок либерал-нигилист Хуай и выходец из обедневшей аристократической семьи Сюй. Все они дружат между собой, учатся в одном институте, но поразному складывается их судьба: в безуспешной попытке помочь людям гибнет Сюй, Хуай переживает нервное потрясение, и только Юнь, человек практического ума и решительных действий, обретает силу и уверенность, вступив на путь революционной борьбы. Таким образом, Мао Дунь отвечает на вопрос, где должна молодежь искать выход из противоречий действительности, и показывает, насколько глубоко заблуждаются те, кто пытается идти иным путем, в стороне от народа и революции.

Есть известная близость между этой повестью Мао Дуня и одноименным произведением Горького. Следует отметить, что творчество Горького оказало весьма большое влияние на Мао Дуня. Он неоднократно подчеркивал глубину мысли и силу таланта Горького-художника. По собственному признанию Мао Дуня, замысел романа «Перед рассветом», занимающего центральное место в его творчестве, был навеян горьковским «Фомой Гордеевым». Как и Горький, уже с первых шагов в литературе Мао Дунь выступает непримиримым врагом мещанства и обывательщины. Однако при всей общности отдельных тем Мао Дунь, конкретно рёшая каждую из них, выступает как самобытный и оригинальный художник; герои его книг твердо стоят на почве китайской действительности, а его произведения глубоко своеобразны и национальны по форме.

Рядом с повестью «Трое» и по времени написания и по теме стоит другая повесть— «Путь». Действие ее развертывается в одном из университетов Китая в начале тридцатых годов. Автор показывает нарастание недовольства реакционным гоминдановским режимом в студенческой среде, которое в конце концов выливается в борьбу против местного университетского начальства. В ходе этой борьбы формируются революционные убеждения главного героя повести — студента-выпускника Синя и его товарищей. Из мелкобуржуазного индивидуалиста он становится борцом, твердо вступившим на путь сознательных революционных действий.

Образы героев этой повести жизненны и глубоки. Новые взгляды Синя складываются в процессе практической борьбы, непосредственно на глазах у читателей. Показав себя мастером психологической характеристики уже в своих ранних произведениях, Мао Дунь широко раскрывает здесь внутренний мир героя. Этому во многом помогают более монолитное, чем в повести «Трое», композиционное построение и динамическая напряженность действия. Рядом с главной темой, раскрываемой на фоне политической и экономической жизни Китая тех лет, автор пишет и о любви Синя и о его взаимоотношениях с семьей, что помогает ему создать яркий и правдивый образ главного героя. Писатель тем самым также значительно расширяет рамки повествования, создавая картину сложного переплетения человеческих судеб.

Обе повести, так же как и роман «Радуга», заметно выделялись среди произведений писателей, составлявших тогда лагерь левой литературы. Их произведения, с большой обличительной силой вскрывавшие обреченность старого мира и показывавшие тяжелые условия жизни молодого поколения, все же не давали прямого ответа на вопрос, с кем должна быть молодежь Китая, чтобы завоевать свободный мир будущего. Мао Дунь показывает тот путь, по которому идут лучшие представители революционной молодежи. И в этом отношении его произведения оказываются рядом с одним из значительнейших произведений революционной литературы тех лет — романом «Свет впереди» писателя-коммуниста Ху Е-пиня, стоящим у истоков литературы социалистического реализма в Китае.

Оценивая в целом творчество Мао Дуня тех лет, известный китайский критик и литературовед Цюй Цю-бо писал: «Из всех наших нынешних писателей нельзя не назвать выдающимся Мао Дуня, так как идейный уровень и обширные научные познания ставят его выше многих из тех, кто считает себя «писателем-реалистом».

В 1931 году японские империалисты начинают интервенцию против Китая. В то время как гоминдановская клика предает страну, китайский народ, руководимый компартией, организуется для борьбы с врагом и решительно встает на защиту родины. Перед глазами Мао Дуня, живущего в это время в Шанхае, проходят картины героической борьбы народа против агрессора. В небольшом ярком рассказе «Вторая глава» Мао Дунь повествует о событиях тех тревожных дней, разоблачая предательство гоминдановских реакционеров и показывая самоотверженную борьбу народных масс. В центре повествования судьба двух «сослуживцев»: редактора крупнейшего книгоиздательства в стране

господина Ли и типографского рабочего в этом издательстве А-сяна. В то время как первый в безумном страхе за свою жизнь отсиживается на территории французского сеттльмента, А-сян и его друзья, участники недавних революционных боев, самоотверженно защищают родной Шанхай. Из-за предательства гоминдановских заправил А-сян гибнет. И грозным возмущением дышат заключительные страницы рассказа, когда автор устами обезумевшей от горя и ненависти жены А-сяна обращается в лице господина Ли ко всем тем, чья трусость и отказ от сопротивления привели к гибели А-сяна и тысяч других соотечественников: «Ты знаешь, где А-сян! Ты тоже заодно с его убийцами! Ты виновен в его гибели, и тебе не уйти от этого!»

Как подлинный писатель-революционер, Мао Дунь неразрывно связывает патриотизм с интернационализмом. А-сян и его товарищи сознают, что японские солдаты, в сущности, те же бедняки, что и они сами, и так же, как они сами, ненавидят капиталистов и помещиков. В рассказе приводится случай, когда в одном из районов Шанхая японские солдаты отказались выступать против китайских рабочих и были расстреляны за это. Автор еще раз дает почувствовать, что зачинщиками войны являются империалисты. Твердая убежденность в этом не оставляет писателя ни в одной из его работ, достигая особенно высокого звучания в его публицистике.

К 1932 году относится также рассказ «Лавка семьи Линь», в которой писатель на примере банкротства семьи мелкого торговца реалистически показывает, как больно отзывается война на жизни самых различных классов общества. Стройность композиции, большая динамическая напряженность, тщательность отделки и красочный язык делают это произведение одним из лучших творений Мао Дуня.

В марте 1930 года под руководством компартии Китая была создана литературная организация, объединившая в едином фронте писателей-коммунистов и беспартийных прогрессивных писателей,— «Лига левых писателей Китая». Мао Дунь активно включается в работу лиги и избирается ее секретарем.

Лига потребовала, чтобы деятели литературы поставили свое творчество на службу революции и создавали произведения о жизни и борьбе рабочего класса и крестьянства, являющихся движущими силами революции.

Мао Дунь одним из первых откликается на призыв лиги и создает произведения, ставшие широко известными в Китае: рассказы «Весенние шелкопряды», «Осенний урожай» и «Лютая зима», составившие своего рода трилогию. В центре повествования судьба простой крестьянской семьи. Глава ее, старик Тун-бао, всю жизнь с трудом добывал свой хлеб. Но время идет, в деревне устанавливаются новые, капиталистические порядки, и рушатся моральные устои, которыми держался род Тун-бао из поколения в поколение. Тун-бао надеется, что весенний урожай коконов поможет встать на ноги его семье. Но вот урожай собран, а коконы никто не покупает: закрываются шелкоткацкие фабрики в стране, которая подверглась японской агрессии и охвачена всеобщим кризисом. Молодежь деревни, предводительствуемая А-до, младшим сыном Тун-бао, организуется на борьбу с помещиками и ростовщиками, пытается силой добыть рис для умирающих с голоду односельчан. Тун-бао в смятении: он, привыкший к покорности и смирению, не может одобрить поведение сына. Тун-бао уверен, что боги помогут ему. Впереди богатый урожай риса. Но все его мечты напрасны. Перекупщики и помещики, сговорившись, резко снижают цены на рис, и ему нечем даже расплатиться с долгами. Не выдержав ударов жизни, старый Тун-бао умирает. «Он уже не мог говорить, однако глаза продолжали оставаться все такими же светлыми. Смотря на А-до, они как будто говорили: «И вправду, кто бы мог подумать, что ты прав! Поистине удивительно!» Этими словами Мао Дунь как бы выражает главную мысль произведения — даже в самых отсталых слоях крестьянства, представителем которых является Тун-бао, растет сознание необходимости борьбы с существующим строем.

В образе Тун-бао воплощены типические черты деревенского труженика, прожившего тяжелую, страшную жизнь, под влиянием революционных событий начинающего сознавать несправедливость устройства общества, в котором он живет, и необходимость его изменения. На глазах Тун-бао вырастает новое поколение людей — борцов за правду и справедливость, среди которых и его сын А-до. Эта трилогия говорит о разительных переменах в жизни широких масс крестьянства, о пробуждении и росте самосознания крестьян.

Весь сюжет трилогии построен так, что помогает донести до читателя основную идею произведения. Повествование ведется от третьего лица, но на всем его протяжении за автором незримо стоит Тун-бао, через восприятие которого и даются все важнейшие события. Мао Дунь выступает здесь как зрелый мастер реалистического рассказа, создатель типических, глубоко национальных образов. Кажется, что образ А-кью, созданный Лу Синем два десятилетия назад, вновь ожил на страницах трилогии Мао Дуня. Правда, в иное время и с иными мыслями, но все с той же истинно китайской душой и так же прочно связанный с родной землей Китая.

Наиболее выдающимся произведением Мао Дуня явился большой многоплановый роман «Перед рассветом», законченный автором в 1932 году. Роман дает широкую картину общественной жизни Китая конца двадцатых — начала тридцатых годов. Действие его развертывается в крупнейшем промышленном центре Китая — Шанхае. Мао Дуню удалось передать всю сложность

общественных отношений Китая того времени: здесь и массовое движение крестьян в деревне, и разрушение национальной экономики иностранными империалистами, вторгшимися во все сферы жизни Китая, здесь и бастующие рабочие, выступившие под руководством компартии против своих угнетателей, и, наконец, биржевики — представители финансово-компрадорского капитала. Действующими лицами романа являются представители различных классов общества, показанные во всей сложности идущей борьбы.

Сюжет романа разворачивается вокруг схватки между У Сунь-фу, представляющим лагерь национальной китайской буржуазии, и компрадором Чжао Бо-тао — экономическим и политическим агентом иностранного империализма в Китае. У Сунь-фу—капиталист, делец. Видя, что его мечты о возрождении национальной экономики не могут быть осуществлены, он вступает на путь биржевых спекуляций. Но и здесь победителем выходит Чжао Бо-тао. У Сунь-фу терпит поражение и остается в полном одиночестве. Даже у себя в семье он не может навести порядок. Мао Дунь разоблачает неспособность буржуазии руководить развитием национальной промышленности, вести страну к свободе и прогрессу и показывает Коммунистическую партию Китая как силу, руководящую рабоче-крестьянским движением в стране.

Образы У Сунь-фу, Чжао Бо-тао и их окружения настолько тщательно и правдиво выписаны Мао Дунем, что до сих пор китайские критики считают их непревзойденными по убедительности и жизненности в современной литературе Китая.

В романе «Перед рассветом» наглядно видна одна из характерных особенностей Мао Дуня-романиста: его стремление к социальным повествованиям, к широкой эпической форме, чтобы отразить острейшие общественные конфликты и решить их в соответствии с объективными законами исторического развития.

В этом произведении Мао Дунь предстает как создатель нового для Китая типа романа, в котором семейно-бытовой роман синтезирован с общественно-проблемным. Примером первого в китайской классической литературе является «Хунлоумын», второго — «Неофициальная история конфуцианцев». Таким образом, роман был новаторским не только по содержанию, но и по форме.

В 1937 году Япония открыто выступает против Китая. Начинается период национально-освободительной борьбы китайского народа против японских захватчиков. Война застает Мао Дуня в Шанхае, где он становится свидетелем упорной восьмидесятидневной обороны города. «События первого этапа» — так называет писатель свою книгу, в которой находит отражение героическая борьба самоотверженных защитников Шанхая. Оптимизмом и верой в победу, ненавистью к врагам проникнута эта правдивая книга писателя-патриота.

В годы войны Мао Дунь ведет большую литературно-общественную деятельность. Он принимает активное участие в создании Всекитайской ассоциации писателей по отпору врагу, редактирует ее печатный орган — журнал «Литературные позиции», вокруг которого объединяются прогрессивные деятели литературы и искусства различных групп и направлений. Ему приходится много ездить по стране, и во время своих путешествий он близко изучает жизнь народа, поднявшегося на борьбу против японских агрессоров. В серии очерков и статей, объединенных в книгу «Заметки о виденном и слышанном», Мао Дунь развертывает картину нечеловеческих страданий обитателей деревенских хижин и городских лачуг, смело обличает продажность гоминдановских правителей, торгующих родиной.

В 1941 году Мао Дунь пишет роман «Разложение», в дневниковой форме, в котором разоблачает преступный характер деятельности одного из реакционнейших учреждений чанкайшистской клики — так называемой «специальной службы», или охранки. Мао Дунь показывает те преступные и подлые методы, которыми воздействовала гоминдановская охранка на молодежь, развращая и разлагая ее. Автор также указывал насильно завербованным охранкой людям на возможность снова стать честными и порядочными людьми, если только они сами захотят этого. В то же время роман призывал молодежь к осторожности и бдительности.

В 1945 году, накануне победы над японским империализмом, Мао Дунь приступает к работе над произведением в совершенно новом для него жанре — над большой пятиактной пьесой «В дни поминок». Писатель стремится показать в ней, что в условиях гоминдановского режима национальная промышленность разрушается и приходит в упадок. Мао Дунь подводит читателя к выводу, что только активным участием в народно-освободительной борьбе можно завоевать условия свободного развития национальной промышленности, что лишь с победой народно-демократической революции Китай может встать на путь индустриализации.

В 1946 году Мао Дунь совершает поездку по Советскому Союзу. По возвращении в Китай он выпускает книгу «Заметки о Советском Союзе». Глазами друга наблюдает Мао Дунь вдохновенный труд советского народа, разоблачает клевету реакционеров на Советский Союз и рисует прекрасные перспективы, которые откроются перед борющимся китайским народом в будущем. Мао Дунь убедительно показывает китайскому народу, кто его настоящий друг, и призывает крепить и развивать дружбу между китайским и советским народами.

Общеизвестна роль Мао Дуня как переводчика и пропагандиста советской литературы. Им переведены «Сын полка» В. Катаева, «Русский вопрос» К. Симоно-

ва, «Народ бессмертен» В. Гроссмана, «Волоколамское шоссе» А. Бека, рассказы Е. Петрова, А. Толстого и других писателей.

Радостно приветствует Мао Дунь образование Китайской Народной Республики. Он активно участвует в создании писательской организации, выступает с докладом на Первом Всекитайском съезде работников литературы и искусства в 1949 году. Избранный председателем Союза китайских писателей, Мао Дунь отдает все силы воспитанию молодых литераторов. В январе 1950 года на совещании деятелей культуры Мао Дунь выступает с обширным докладом по вопросам литературного творчества. Призвав литераторов создавать произведения, правдиво отражающие новую эпоху, Мао Дунь на анализе таких произведений советских писателей, как «Железный поток», «Цемент», «Чапаев» и «Молодая гвардия» дает писателям практический урок того, как следует создавать типические образы, приводит примеры мастерства композиционного построения литературных произведений. Вопросам содержания и формы в искусстве, проблемам реализма и романтизма, партийности посвящает Мао Дунь свою статью «Некоторые вопросы нашего нынешнего творчества». Разбором произведений о рабочем классе занимается Мао Дунь в другой статье — «О произведениях, отражающих жизнь рабочих». О выдающихся достижениях классиков-реалистов Китая рассказывает Мао Дунь в статье «О действующих лицах и композиции романа «Речные заводи». Работы об отдельных авторах, пьесах, кинофильмах, сборниках стихов свидетельствуют о широте творческих устремлений писателя. Вместе с тем Мао Дунь не оставляет и редакторской деятельности: он редактирует сначала журнал «Народная литература», затем журнал «Переводная литература», а также отдельные художественные издания и переводы.

С первых дней создания Китайской Народной Республики Мао Дунь занимает пост министра культуры; он депутат Всекитайского Собрания народных представителей, член Всемирного Совета Мира. С трибуны многих съездов и конференций слышен его горячий призыв к миру, к дружбе и сотрудничеству всех народов.

В настоящее время Мао Дунь работает над большим романом, в котором найдут отражение вопросы идеологического перевоспитания китайской интеллигенции, социалистических преобразований в промышленности нового Китая.

Л. Копелев

Слева, где сердце

I

«Слева, где сердце» — так озаглавлена новая книга Леонгарда Франка — выдающегося немецкого писателя старшего поколения. Автор назвал эту книгу романом. Не менее справедливо было бы назвать ее поэмой в прозе, или, пожалуй, всего точнее, поэтической исповедью.

Но это не только исповедь и жизнеописание писателя — мастера художественного слова. Это вместе с тем книга о сыне своего века — вечно неудовлетворенном искателе человечности и правды, непримиримом противнике насилия, эксплуатации, мракобесия.

Рассказывая о своей жизни, о своем творчестве, о радостях и бедах, ошибках и успехах, автор говорит о себе в третьем лице. При этом он ни на одно мгновенье и не пытается скрывать, что герой романа Михаэль Фиркант — это и есть сам Леонгард Франк. Это он некогда был маленьким школьником, которого садист-учитель запугал до заикания, до полуосознанного стремления к самоубийству; потом он был слесарем, санитаром, маляром, полуголодным рабочим или голодным безработным, неудачливым художником, растерянно мечущимся в мутном омуте мюнхенской богемы, жестоко обманутым в своей первой любви, бездомным скитальцем в каменных джунглях Берлина. И это он, упрямый неудачник, который «за восемь лет обедал в среднем по пять раз в год», тридцати лет написал первую книгу, книгу о своем детстве и юности, и сразу стал известным писателем. Франк подробно рассказывает о многих книгах, написанных Фиркантом — Франком, о том как возникали замыслы, какие именно впечатления побуждали писателя к творчеству. Просто, правдиво, поэтично изложена история всей жизни. Лирическая повесть о первой жене — друге и товарище, о трагическом потрясении, вызванном ее смертью, прерывается взволнованным рассказом о борьбе писателя против милитаризма в годы первой мировой войны. Новеллу о неудачном втором браке сменяют очерки об эмиграции после гитлеровского переворота в «чумном 1933 году», о жизни во Франции, интернировании; завершает их приключенческий рассказ о смелом побеге из лагеря через всю страну, оккупированную немцами, и переезде в США и вслед за этим сатирические зарисовки своей жизни «из милости» в Голливуде. А в заключение — снова лирическая поэма в прозе о новой любви и новом браке, о возвращении на родину, встречах с друзьями детства, героями первых книг, о тревожных мыслях, вызываемых судьбами послевоенной Германии... И уже на последних страницах сказано, что Михаэль Фиркант написал новую книгу — «Слева, где сердце».

Леонгард Франк пишет о себе с почти безграничной откровенностью, непринужденно говоря о сугубо личном, о возникновении творческих замыслов, о больших и малых событиях любви, об отношениях внутри семьи и т. п. В некоторых случаях такая щедрость художника даже кажется избыточной, приближающейся к натурализму, слишком пряно сдобренной непреодоленными влияниями шиллеровских рефлексий, болезненно жестокой «совестливости» Достоевского и фрейдистских теорий пресловутого психоанализа. Однако Франк не подражатель. Он повествует «о времени и о себе» в своеобразной, именно ему свойственной манере.

Маяковский любил приводить шутливую песенку: «Отойду, да погляжу, хорошо ли я сижу». Это именно то, что старается сделать Франк в книге «Слева, где сердце». Но при этом он остается верен своему призванию: он «оглядывает себя» не как биограф или мемуарист, а как художник. Поэтому и свою поэтическую исповедь он написал как роман, героем которого является писатель.

К числу самых ярких и вдохновенных страниц книги принадлежат те, что посвящены истории создания и распространения антивоенной книги «Человек добр». Этот сборник лирических новелл, или коротких трагических поэм в прозе, пронизанный страстной ненавистью к войне и пламенным

призывом к миру и братству народов, был создан Франком в 1915—1916 годах в Швейцарии. И вот более тридцати лет спустя писатель с неподдельной гордостью вспоминает о том, как его первая антивоенная новелла «Отец», когда ее с эстрады прочитала берлинская артистка в 1917 году, нашла немедленный и действенный отклик.

«...Михаэль узнал, что пятьсот слушателей претворили в действительность концовку рассказа — революционную демонстрацию за мир: прямо из зала вышли на улицу.

Это было радостным известием для Михаэля; его книга должна была стать не обычным прозаическим произведением, а призывным, непосредственно воздействующим манифестом против военного духа. Это событие осчастливило его, и он погрузился в работу...

«Человек добр» вышел в свет. Эта книга привлекла внимание в Швейцарии, и вскоре появилась дюжина переводов. Но ввоз ее в Германию был тотчас же запрещен. ...Михаэль купил на полученные деньги тысячу экземпляров своей книги, дал их переплести в невинно выглядевшие обложки и отправил три огромных ящика в Берлин профессору Х... Когда пришло письмо, в котором профессор сообщал, что он получил ящики и разослал книги тем лицам, имена которых были обозначены в приложенном списке, Михаэль был потрясен, как бывает потрясен каждый, кто благодаря неожиданному счастливому случаю достиг вопреки всему цели, к которой стремился...»

Когда в октябре прошлого года Леонгард Франк гостил в Москве, он говорил в беседе с автором этих строк: «Я пишу потому, что не могу не писать. Я должен писать, так же как должен есть, пить, дышать. Но в каждой своей книге я ставил себе и некую вполне определенную цель, такая цель каждый раз сама возникала передо мной, когда я садился писать. Так, когда я писал «Разбойников», я хотел добиться отмены телесных наказаний в школе, добиться лучших условий обучения для детей трудящихся, бедняков. Когда писал «Причину», я хотел добиться отмены смертной казни. Когда писал «Человек добр», я стремился сделать что-то, чтобы помочь прекратить войну, ускорить мир, чтобы люди вообще отказались от войны, этой кровавой, грязной нелепости».

Книга «Слева, где сердце» — попытка художника-гуманиста осмыслить свое собственное творчество, свое существование.

Сравнивая ее с прежними романами и новеллами Франка, необходимо прежде всего отметить гораздо большую отчетливость общественно-исторического мышления писателя.

На заключительных страницах этой книги Леонгард Франк отступает от своего правила ничего не декларировать, «не высказывать никаких суждений» и, подводя итог полувекового идейного развития своего лирического героя, пишет просто и строго:

«Он верит, что ход истории на ее основном пути необходимо ведет к социалистическому устройству экономики, что угнетенные и стремящиеся вперед люди и народы являются только исполнительными органами истории, только песчинками, скрежещущими в механизме существующего порядка. И он говорит всем, кто хочет и кто не хочет слушать, что победят именно эти песчинки, потому что движение истории на ее основном пути к социалистическому хозяйственному строю не может быть ничем остановлено...

Он верит, что экономический строй стяжательства и чистогана — и без атомной войны — в 2000 году будет заменен социалистическим экономическим строем. Он верит, что внуки наших детей смогут быть более счастливыми, чем довелось нам».

«Слева, где сердце» — уже само название книги декларативно. В нем подлинно по-франковски, то есть в лаконичном, образном и лирически выразительном словосочетании, высказана ясная мысль: место писателя там, где его сердце,— слева, с рабочим классом, с борцами за счастье человечества, за социализм.

Но Франк не ограничивается декларациями. Новое качество его мировоззрения — ясное сознание исторической перспективы — ощутимо сказывается и в новых качествах его художественного творчества: в проясненности, в большей внятности жизнеутверждающих мотивов, в большей четкости психологических характеристик.

Мы подчеркиваем эту новизну книги «Слева, где сердце» потому, что на многих предыдущих этапах творческого развития Франка в его романах, новеллах, пьесах и сценариях воплощались сложные и многослойные противоречия мировоззрения, которыми определялась и противоречивость его творчества.

2

При всей острой злободневности произведений Франка, насыщенных проблемами, мыслями и страстями современности, они иногда невольно заставляют вспомнить чудесный образ, возникший более трех веков тому назад.

На рубеже двух исторических эпох — феодализма и капитализма — появился он, рыцарь печального образа: добрый, отважный и беспомощный мечтатель, пытавшийся в одиночку сражаться против жестокой и подлой действительности. Его вдохновляли высокие идеалы рыцарского служения добру, мечты о подвигах в защиту слабых и угнетенных. Но в действительности он то бросался с ржавым копьем на ветряные мельницы и стада баранов, то фантастически преображал серую повседневность в праздничную сказку и в неказистой девке видел прекрасную Дульцинею, а в тощей кляче — боевого коня Россинанта. Одинокий рыцарь неосуществимых идеалов, он

должен был быть фантазером-искателем. И всюду следовал за ним его верный оруженосец Санчо, воплощенный насмешливый здравый смысл, бесхитростный, но проникновенный.

Эта бессмертная пара воителей стародавнего гуманизма могла бы послужить символическим гербом для многих книг современного одинокого рыцаря гуманизма, каким долгое время оставался Леонгард Франк.

Он тоже добрый и отважный мечтатель, который в течение пяти десятилетий пытался в одиночку выступать во имя человеческого достоинства и человеческого счастья, против тупой жестокости капиталистического стяжательства и капиталистического государства — его судей, чиновников, учителей, против кровавого чудовища милитаризма, против лицемерия буржуазной морали, бездушия буржуазного искусства, тлетворности всей буржуазной повседневности.

И при этом он очень часто облекал и своих врагов и своих подзащитных в фантастические убранства, созданные его воображением. То и дело он вырывался за пределы реальной действительности и тогда одинокий рыцарь гуманизма выступал вооруженным только своей фантазией. Он отталкивался от повседневности, противопоставляя ей необычные события, фантастические сцепления случайностей, болезненные отклонения человеческого сознания и эмоций, либо неожиданно преувеличенные, обостренные восприятия простейших будничных явлений и вещей.

В его первой книге «Разбойники» ребяческая тоска по индейской свободе, по разбойничьей удали была нарочито преувеличена. Одиночные примеры патологических явлений и экспрессионистского гротеска лишь усиливали, подчеркивали общую картину по сути глубоко реалистического повествования. Но уже в следующей его книге «Причина» основой сюжета становится маниакальная одержимость впечатлительного человека, которого обида, испытанная в детстве, болезненно мучит в зрелом возрасте. И он, взрослый писатель, убивает своего бывшего школьного учителя, мстя за поруганное детство свое и десятков других детей, мстя за их искалеченные души. Первая новелла из книги «Человек добр» — «Отец» — так же построена на необычайном явлении неожиданного пробуждения массового экстаза, вызванного простым словом правды.

В других произведениях мы встречаемся то с фантастической случайностью — подарком в 100 фунтов, который получает нищий безработный («Трое из трех миллионов»), то с необычайным примером превращения мечты в действительность, развитием любви из бескорыстного обмана («Карл и Анна»). В других случаях это катастрофа, вызывающая панический взрыв потаенных мыслей и ощущений, выворачивающая наизнанку человеческие души («В последнем вагоне»), или роковая, непреодолимая любовь, ведущая к кровосмешению («Брат и сестра»), или повесть о девушке, одержимой мечтой о любви и браке, мечтой, которая сперва перерастает в бредовые галлюцинации, а затем внезапно превращается в действительность, причем неожиданно, случайно встреченный и благодаря необычайным событиям обретенный возлюбленный точно соответствует образу героя, созданному в прежних мечтах («Возвращение Михаэля»).

Необычайность образов и сюжетов для Франка — его оружие, средство вторжения в действительность, обличения ее пороков. В этом Леонгард Франк — одинокий воин гуманизма — похож на славного рыцаря из Ламанча. Но если бы он ограничивался только поисками и воплощениями необычайного, он и сам, вероятно, остался бы литературным рыцарем «печального образа». Но у Франка, как у его знаменитого земляка Фауста, «две души живут в груди»; он сочетал в себе вдохновенную мечтательность искателя чудес, наивного идеалиста-рыцаря и беспощадный реализм и здравый смысл его насмешливого, зоркого, лишенного иллюзий материалиста-оруженосца.

Поэтому в его произведениях фантастика самодовлеющих случайностей, нарочито внезапные фабульные повороты, а в иных случаях даже мистика причудливо сочетаются с полнокровной правдой жизни; словно черно-белый рисунок гротескных гравюр вписан в многоцветные реалистические полотна. Образы одиночек, ни с чем не сравнимых индивидуальностей, отвлеченных «людей вообще» уживаются у него с типическими образами, воплощениями вполне определенных классовых, национальных и локальных — баварских, саксонских, берлинских — характеров.

В этом сочетании противоречивых идейных и эстетических особенностей своеобразие творчества Франка. В этом сила и слабость его художественного мастерства и воплощение внутренних противоречий его мировоззрения и мироощущения.

Франк всегда открыто и непримиримо ненавидел мир корыстных и жестоких торгашей, бессмысленный и бесчеловечный мир капиталистической анархии, ненавидел жадных собственников, тупых и самодовольных мещан, бездушных ревнителей буржуазного порядка и государственности... И он всегда любил простых, «маленьких» людей, тружеников, мечтателей, искателей счастья. С искренней приязнью описывал он революционных пролетариев, сознательных борцов за дело рабочего класса (в романе «Буржуа», в новеллах «В последнем вагоне», «У проселочной дороги» и др.). Но в то же время Франк не видел в окружающей его действительности реальных возможностей преодоления зла. Он симпатизировал социалистам и коммунистам как человек, но как художник он во многих своих книгах воплощал остро пессимистическое мироощущение, настроения безысходной тоски и бессильного отчаяния.

Он не понимал смысла той борьбы, ко-

торую вели революционные рабочие. Отсюда беззащитность, обреченность многих его героев, отсюда в его книгах всеподавляющая сила зла и поиски утешения в простейших радостях любви, семьи, отсюда одиночество художника-гуманиста и поиски необычайного как средства обличения и преодоления враждебной действительности, отсюда и смешение фантастического, гротескного с реальным, фрейдистского и мистического тумана с ясностью стихийно материалистического видения мира.

Уже в первой книге Франка проявились все эти особенности его писательского почерка. В «Разбойниках» рассказывается история группы мальчишек-школьников и учеников из ремесленных мастерских, живущих в маленьком баварском городке Вюрцбурге в конце прошлого века. Мальчики создали разбойничью шайку, вдохновленные шиллеровской драмой. Они поклялись сжечь город и, перебив его обитателей, бежать в Америку на помощь краснокожим, а до той поры совершают дерзкий налет на королевские виноградники. Но юные мятежники ежедневно сталкиваются с угрюмой и цепкой силой тех мещанских буден, против которых они пытаются бунтовать. Их поход на виноградники завершается судом и поркой. Мечты об Америке тускнеют; брат их атамана — инженер, уехавший в Америку и ставший для них легендарным героем, возвращается домой нищим оборванцем, умирает в больнице для умалишенных. Неизменны только побои, затрещины, а позже суровая необходимость работать, зарабатывать на хлеб. Постепенно угасает романтический пыл, уходит отрочество. Юность приносит другие увлечения: у одного — мечта о карьере артиста, у другого — спорт, у третьего — женщины, у четвертого — религия. Но, пройдя критические периоды восторженных подъемов, большинство «разбойников» вступает в пору рассудочной зрелости. Только двое откололись — один стал монахом, а другой (и, кстати, его зовут Михаэль Фиркант, так же как героя «Слева, где сердце») — художником. Он пытается жить иной, не традиционной мещанской жизнью, остается неисправимым мечтателем, но в конце концов становится жертвой мелкой подлости «друзей по искусству», заболевает манией преследования и стреляется.

В скороговорке такого изложения, разумеется, нельзя передать ни содержания, ни многообразных настроений и подтекстов этой книги. Она насмешлива и грустна, неторопливо бытописательна и лирична. В ней чередуются почти натуралистические картинки школьных, семейных, трактирных и больничных буден и поэтические описания ландшафтов, символически расплывчатые эпизоды с участием «Незнакомца» и гротескные сцены из быта мюнхенской богемы... Сюжетная многоплановость книги как бы определяет многообразие ее стилистических особенностей. А заключительные страницы звучат негромкой, но внятной и горькой иронией. Бывший школьный товарищ «разбойников», которого они некогда не пускали в шайку и презирали за трусость, вернулся из кругосветного путешествия. Он единственный, оказалось, осмелился убежать из города, стать моряком, пуститься в приключения. А бывшие «разбойники» стали мирными обывателями и встречаются уже только в трактире за картами... «Незнакомец» уходит из города и встречает бывшего «разбойника», ставшего монахом: «У него было тихое ясное лицо и угорь на ноздре».

Это последние слова книги. Ирония снимает туманную символику.

Такой относительно подробный пересказ первой книги Франка представляется необходимым, потому что она многими нитями связана с романом «Слева, где сердце». Из него мы узнаем, что уже в «Разбойниках» в образе мечтательного заики-школьника, ученика слесаря, санитара и художника писатель воссоздал свое детство и юность. Но тогда, в 1912 году, он привел своего героя к полному отчаянию, к самоубийству. А сорок лет спустя провел его через все труды и страдания, связанные с суровой судьбой немецкого писателя-изгнанника, к счастью большой любви, к счастью ясного и мудрого жизнеутверждения.

«Разбойники» и «Слева, где сердце» — вехи большого идейного и творческого пути. В течение долгих лет, отделяющих эти книги, Франк писал много и по-разному. И несколько раз он снова возвращался к образам своих вюрцбургских сверстников. Они были друзьями его детства, они стали героями его первой книги; им посвящена самая совершенная, самая реалистическая и вместе с тем самая поэтическая из всех книг Франка — роман «Оксенфуртский мужской квартет» (1927). Они же были героями и самого трагически безнадежного из его произведений — «Трое из трех миллионов» (1930), повести о кризисе и безработице, в которой звучит полное и безоговорочное отчаяние. Все необычайные случаи и происшествия, составляющие фабулу этой повести, в конечном счете служат лишь для того, чтобы показать, что никакие чудеса неспособны спасти от кризиса и безработицы. Они только подчеркивают ощущение неотвратимости бессмысленно губительных сил капиталистического кризиса.

Вспоминая об этой книге теперь в «Слева, где сердце», Франк иронически пишет о критике, который некогда упрекнул автора за то, что он «не знает средств против кризиса и безработицы». В данном случае ирония писателя — одно из проявлений все еще непреодоленных внутренних противоречий мировоззрения. Но, к счастью для Франка, он теперь уже сам знает эти средства, знает, что искать их надо «слева».

И поэтому новая встреча с друзьями детства в 1950 году, о которой он бегло рассказывает на страницах новой книги, вы-

зывает у него уже не отчаяние, не тоску, а ласковую и мудрую улыбку. Все слабости его сверстников, их ограниченность, их старость не мешают писателю видеть за ними и даже в них самих неумирающие здоровые силы, те силы, благодаря которым и весь народ продолжает существовать после мучительных, позорных испытаний.

Михаэлем Фиркантом из Вюрцбурга назван и герой повести «Возвращение Михаэля» (1951), антифашист, вернувшийся из эмиграции и убивший эсэсовца, который послал на смерть его сестру, едва не ставший жертвой судейской мести нацистов, вновь заполонивших суды Западной Германии. В этой повести Франк еще по-прежнему верен своему пристрастию к необычайным фабулам и неожиданным психологическим поворотам. Но его лирический герой, носящий все то же имя, наделенный все той же вюрцбургской биографией, уже действует активно, воинственно: стреляет, убивает врага и в конце концов побеждает. Однако выстрел Михаэля в данном случае осложнен личной местью, действует он еще в одиночку (хотя затем в беседах с адвокатом и возлюбленной уже возвышается до обобщений, связывает свою судьбу с судьбой всех немецких антифашистов). И побеждает Михаэль опять-таки почти в одиночку: он и его возлюбленная Мария силой своего нравственного человеческого обаяния добиваются необычайного (!) перерождения директора тюрьмы, который устраивает побег Михаэля.

Итак, Франк уже нашел борющегося героя и приводит его к победе, но этот герой все еще одинок и все еще действует в мире необычайного.

Можно было бы многое рассказать о своеобразии идейных и творческих исканий одинокого рыцаря гуманизма, как они проявлялись в его новеллах, пьесах, сценариях. Но, пожалуй, даже немногих приведенных выше примеров достаточно для того, чтобы судить, насколько значительным шагом вперед, насколько существенно новым этапом его идейного и творческого развития явилась книга «Слева, где сердце».

А ведь создавал ее писатель в возрасте семидесяти лет (Леонгард Франк родился в 1882 году). В этом возрасте, пройдя долгий и трудный жизненный и творческий путь, он оказался способен не только сохранять прежние силы, но и наращивать их, дерзать, открывать новые пути, преодолевать собственные слабости и сомнения и все же оставаться самим собой, тем же ненасытно жизнелюбивым мечтателем; он умеет наслаждаться сам и радовать других своей неподдельной душевной молодостью. Уже в одном этом факте ярко проявляется своеобразие обаятельной личности художника-гуманиста.

Возможно, что сам Л. Франк не согласится с такой оценкой его книги. В личной беседе он говорил о ней, как о характеристике всей своей жизни. Он считает, что всегда был «слева, где сердце». Однако в прошлом Л. Франк был только «социалистом чувства». Разумеется, и сейчас это субъективное, эмоциональное мироощущение «социализма чувства» сохранилось у него во всей своей живой теплоте. Но теперь оно дополнилось и обогатилось значительно более отчетливо осознанным, объективным пониманием исторической перспективы, выросшим из многолетнего опыта художника — взволнованного и мудрого наблюдателя своей современности.

3

Как же можно определить основные черты художественного мастерства Франка?

Уже отмечалось, что существенно новой особенностью романа-исповеди «Слева, где сердце» является преобладание в нем реалистических элементов. Значит ли это, что предшествующие произведения Франка не были реалистичными?

Мы привыкли называть реалистами всех хороших писателей. Иные литературоведы, не мудрствуя лукаво, записывают в поминание: Гомер-реалист, и Шекспир-реалист, и Рабле, и Расин, и Гете, и Байрон — реалисты тож. Но, подменяя существительным «реалист» простое прилагательное «хороший», можно только затруднить определение творческого своеобразия того или иного художника или литературного направления.

Франк, несомненно, один из лучших мастеров немецкой прозы нашего века. Его по праву называют одним из первых в ряду таких замечательных литературных имен, как Томас Манн, Г. Гессе, Б. Келлерман, Генрих Манн, Арнольд Цвейг, А. Деблин, А. Зегерс, Л. Фейхтвангер, Б. Брехт, И. Бехер, Бр. Франк и другие. Творчество Леонгарда Франка имело значительное влияние на многих писателей. Его литературными учениками были в известной мере и Г. Фаллада, Э. Глезер, а из молодых — Э. Штриттматтер и З. Зоммер и другие. Но, пытаясь дать характеристику основных особенностей Франка-художника, неверно было бы начать с определения «реализм». В творчестве Л. Франка все время сталкиваются, переплетаются, теснят и дополняют друг друга два литературных метода — экспрессионистский и реалистический. «Разбойники» были первым экспрессионистским романом в Германии, но в нем же содержатся великолепные образцы реалистической прозы.

Реализм Франка — это своеобразный, «прерывистый» реализм, который выступает в постоянных сочетаниях с экспрессионизмом, причем это даже не механические совмещения, но, так сказать, химическое соединение двух творческих методов.

Франк-экспрессионист создает свои образы и описывает события, не столько стремясь обобщить и типизировать отдельные явления живой действительности, сколько

стараясь воплотить в них свои представления о внутреннем смысле, о глубинных, не явных сущностях наблюдаемых им явлений и людей, и тем самым пытается создать «выражение» прежде всего и главным образом своего отношения к действительности. Франк осуществляет это, в частности, противопоставляя осуждаемой и отвергаемой им капиталистической действительности именно не типичные, не обычные, а сугубо индивидуальные образы и явления.

Экспрессионизм Франка проявляется в образах многих его героев, в подчеркнутой индивидуализации и графической односторонности их характеристик, в преувеличенности эмоциональных выражений, в отдельных субъективно идеалистических мотивировках поступков и поведения людей. По-экспрессионистски строит он наслоение, нагнетение мыслей и ощущений некоторых действующих лиц. При этом он повторяет определения или нанизывает синонимы, чередует фразы, лишь незначительно отличающиеся одна от другой, либо последовательно усиливает однородные слова и сходно построенные периоды и этим достигает ощущения напряженности, конденсации, нарастания взрыва...

Ландшафты, портреты, интерьеры, описания погоды у Франка также часто обладают экспрессионистски подчеркнутой выразительностью, служат фоном или символическим вступлением к событиям и переживаниям персонажей.

Но в то же время Франк — реалист. Это отнюдь не означает, что он пишет попеременно то в реалистической, то в экспрессионистской манере, что различные по творческому методу отрывки чередуются между собой. Нет, Франк использует чисто реалистические средства отражения действительности непосредственно в ткани экспрессионистской прозы. Именно в этом причудливом (и не всегда органическом, естественном) сочетании различных творческих методов одна из существенных особенностей писательского почерка Франка.

Сам он говорит, что стремится писать так, чтобы «читатель видел, слышал и чувствовал, как пахнет то, что описано».

Реалистичен уже сам язык писателя, точный, лаконичный и простой. Реалистичны великолепные описания природы, городов, жилищ, внешности людей, их поведения. Самыми скупыми средствами, при помощи самых простых слов Франк достигает того, что его описания становятся зримыми, так, будто слова проникают в глаза читателя или слушателя уже в виде цветовых пятен, линий, пластических форм.

Реалистом является Франк и во всем, что относится, так сказать, к соединительной ткани его крупных произведений, то есть к большинству второстепенных и эпизодических образов, описаний, деталей. В некоторых случаях его можно даже упрекнуть в натуралистических излишествах, в преувеличенном стремлении к точности воспроизведения.

Поэтому не приходилось удивляться и нельзя было не согласиться с Франком, когда он в одной из своих московских бесед заявил, что своими литературными учителями считает великих реалистов Стендаля, Флобера, Толстого и Достоевского и сразу же после этого сказал, что сам он «был и остается экспрессионистом».

Франк действительно и экспрессионист, и реалист. В этом внутреннее противоречие его творчества, закономерно отражающее идейные противоречия его мировоззрения.

И при всем этом самое важное то, что в основных и лучших произведениях Франка он является настоящим реалистом прежде всего в воспроизведении общественно-исторической атмосферы, в мотивировках главных, решающих событий и основных сюжетных линий. Поэтому, в конечном счете, реалистичен и такой почти фантастический по фабуле и остро экспрессионистский во многих своих разделах роман, как «Трое из трех миллионов».

Франк-реалист смело вводит правду большой жизни во многие фантастические лабиринты необычайных фабул, созданных Франком-экспрессионистом. А именно необычайные фабулы характерны для большинства его произведений.

Он словно не верит в возможность того, что обыденное, массовидное может само по себе, в своем обычном состоянии служить предметом художественного творчества. В этом его писательское мироощущение полярно противоположно мироощущению Толстого и Чехова.

Толстой находил обычное и простое в необычайном и особенном — в Наполеоне, Кутузове, военных событиях. Он развенчивал мнимое величие монархов и полководцев, мнимые таинства церкви, военного искусства, закона...

Франк, напротив, ищет в обычном необычайное. Школьный учитель и владелец слесарной мастерской вырастают у него в демонических злодеев. В сознании обывателей, чиновников, проституток, мальчишек, лавочников он открывает таинственные пропасти, сложнейшие лабиринты полуосознанных эмоций, внезапные взрывы страстей... Истоки такого восприятия действительности, такого нарочитого ухода от простого и типичного к сложному и индивидуальному, кроются еще в начальной эпохе истории новой немецкой литературы, в субъективистской философии писателей «бури и натиска», в юношеских исканиях Гете и Шиллера, а позднее романтиков и Гофмана. Однако, пожалуй, ближе всех к Франку из его литературных предшественников Достоевский.

Именно от Достоевского пришли к нему неуемные стремления к поискам необычайного в обычном, необычайных людей и необычайных человеческих взаимоотношений, необычайных событий, взрывающих тусклые будни, или хотя бы необычайных черточек в психологии и поступках обычных маленьких людей. От Достоевского у

него и постоянная склонность к вскрыванию, к выворачиванию наизнанку самых потаенных слоев человеческого сознания, «потрохов души».

Тень Достоевского легла и непосредственно на фабульные построения некоторых произведений Франка. Так, уже во второй его книге «Причина» явственно ощутима атмосфера «Преступления и наказания». О нем же напоминают и смерть ростовщика и образ следователя в романе «Оксенфуртский мужской квартет». А в сценарии «Свихнувшиеся» (1929) кроткая и самоотверженная женщина — проститутка Мария, ее отношения с опустившимся чиновником Гефером не могут не напомнить о Соне Мармеладовой.

Знакомство с творчеством Достоевского, по собственному признанию Франка, произвело на него огромное впечатление.

Влияние Достоевского является одной из наиболее сложных проблем современной западноевропейской и американской литературы. Большинство западных учеников Достоевского увлекают прежде всего теневые, болезненные стороны того трагического мировосприятия, которое впервые с такой гениальной силой проявилось в творчестве русского писателя, безжалостного в своих поисках правды и смысла человеческого существования. Он сам неподдельно исступленно мучился неразрешимыми для него огромными, «вселенскими» вопросами: о причинах и путях преодоления несчастий людей, пороков, преступлений — всего, что уродует жизнь человека. Однако многие его современные зарубежные наследники неизмеримо более спокойны и если волнуются, то скорее от любопытства исследователей, чем от сострадания, когда влагают персты в язвы общественной жизни. Зато самые занятные проблемы они находят чаще всего в грязном постельном белье, в архивах психиатрических лечебниц и уголовных следователей.

Разумеется, это не относится к Франку. Но и он не избежал болезнетворного влияния усвоенного поверхностно, подперченного Ницше и Фрейдом наследства Достоевского. И Франка, так же как Мориака или Фолкнера, эти влияния уводили не только к экспрессионистскому остранению действительности, но в иных случаях завлекали и в глухие тупики психопатологических и биологически сексуальных литературных опытов (например, в драме «Подковные гвозди», в романе «Спутники снов»).

Но, несмотря на эти срывы и отклонения, здоровые, жизнеутверждающие начала мироощущения Франка и его здоровое, полнокровное дарование честного и проницательного художника не только сохранили творческую самостоятельность писателя, но и обеспечили преобладание в его творчестве полноценных элементов жизненной правды.

Именно этими элементами определяется большинство произведений Франка, и прежде всего самые значительные из них, и эти же элементы полностью торжествуют в его последней книге. А из всех необычайных явлений, описанных Франком, пожалуй, самое необычайное — это он сам, вся его жизнь, его дерзкое вторжение в литературу и полувековое одинокое служение идеям гуманизма, а теперь на восьмом десятилетии жизни его новая молодость — вступление одинокого рыцаря в многомиллионный строй борцов за мир, человечность и социализм.

Н. Толченова

С чувством исторической перспективы

В 1914 году жители маленького польского местечка Жекуте больше всего хотели бы остаться в стороне от грозных событий, не идти воевать ни за русского царя, ни за германского кайзера.

«— Что мне за дело до их войны,— храбрился деревенский плотник, тихий, светлолицый Томаш,— мои два морга за плетнем, авось пройдет мимо.

Но война не прошла мимо...»

Жекуте сожжено казаками, и Томаш с женой и пятью детьми — мал-мала меньше — очутился в русском приволжском городе Симбирске. Царское правительство принуждало население Польши — сразу же ставшей главным театром военных действий между Россией и Германией — эвакуироваться вглубь Урала и Поволжья. Неприютно, холодно, голодно жилось там семье плотника Томаша. Вскоре в России вспыхнули бурные события революции и гражданской войны. «...жизнь кружилась, словно льды в паводок, и группа польских детей выискивала среди них свой берег: когда же, наконец, увидим Варшаву, Седлец, Кутно или Жекуте?»

Воспоминаниями об этих далеких событиях открывается роман польского писателя Игоря Неверли «Под фригийской звездой». Расстаемся же мы с героями книги незадолго до гитлеровского вторжения в Польшу. Сравнительно небольшое по объему произведение И. Неверли охватывает период, огромный по своей значимости в истории польского народа. Мы шаг за шагом прослеживаем духовное рождение, становление человека, борца, потребовавшее в силу величайших противоречий и сложностей эпохи не постепенного формирования взглядов на жизнь, а огромной внутренней ломки, напряженной работы сознания, непрестанных поисков... Жизненный путь Щенсного — главного героя книги И. Неверли, сына плотника Томаша — путь, следуя которым Щенсный неминуемо окажется в коммунистическом лагере,— путь трудный, непрямой. Через тяжелые испытания проходит Щенсный. Ему приходится пережить настоящий переворот в душе; переменить первоначальные, индивидуалистические, ошибочные, но прочно утвердившиеся убеждения и верования, отказаться от самостийного бунтарства, признать волю и правду коллектива. А сильной и гордой натуре это никогда не дается легко. Щенсного воспитывают суровая правда окружающей действительности, неумолимые факты борьбы.

Но отнюдь не суммой фактов, а живой, движущейся и потому достоверной историей человеческой судьбы предстает в книге И. Неверли биография героя, неразрывно переплетенная с реальными событиями рабочего движения Польши в годы между первой и второй мировыми войнами.

Всегда в самой гуще нарастающей народной борьбы, иногда падающий, но вновь и вновь упрямо поднимающийся, Щенсный—убедительный образ человека, сформированного современным обществом Польши. Вероятно, это одна из немаловажных причин того, что польские читатели, наградившие книгу широким признанием, не только ищут, но и находят среди своих современников «живого» Щенсного, узнавая его в самых разных лицах и в самых разных местах Польши.

Многие советские читатели также пыта-

Игорь Неверли, Под фригийской звездой, роман, перевод с польского В. Раковской, редактор Б. Шуплецов, Издательство иностранной литературы, М., 1955.

лись найти в окружающей жизни героев полюбившихся им книг — Корчагина, Жухрая, Давыдова, Воропаева... Бида-Щенсный — сын плотника Томаша, как и они — лицо широко собирательное, вымышленное. Но, будучи в то же время героем не «выдуманным», а взятым из жизни, Щенсный ощутимо излучает те живые общественные токи времени, которые всегда рождают в читательском сердце ответный и сильный отклик.

Автор романа бесспорно прав, говоря, что творческий вымысел «вырастает лучше всего на почве, богатой жизненным содержанием». Как раз богатство, разносторонность, глубина жизненного содержания и определяют прежде всего впечатляющую силу образа Щенсного. Герой, описываемый автором бесхитростно и даже скупо, тем не менее живет в книге во всей полноте своего внутреннего мира, со своими впечатлениями, радостями и горестями — от первых детских тяжких обид до неожиданно светлой радости революционной борьбы. Щенсный запоминается как личность, как человек со своей собственной, неповторимой судьбой; в то же время мы отчетливо ощущаем в образе ту широту и емкость наблюдений, без которых нет искусства писательского, художественного обобщения, позволившего И. Неверли преломить и отобразить в индивидуальном, частном, личном большое, значимое, общенародное.

Выдвинув перед собой в качестве главной задачи раскрытие судьбы героя, характера героя в качестве некоего живого результата жизни общества важнейших событий рабочего движения Польши, писатель действует одновременно и как историк-исследователь и, конечно, как художник. Правда, при этом он упорно настаивает, что интересуется жизнью Щенсного вовсе «не ради развлечения и не из любви к искусству», а лишь стремясь возможно более точно воссоздать жизнеописание героя по его отрывочным, разрозненным воспоминаниям.

«Перед нами записки о временах, отошедших в прошлое. Документ, памятник старины,— поясняет И. Неверли.— Необходимы поэтому предельная точность и вдумчивость... Во всяком случае — никакой отсебятины. Собственным домыслом допустимо лишь спаять разрозненные части, незаметно заделать швы».

Но, как мы уже сказали, все это, вместе взятое,— в том числе и «незаметная заделка швов»,— не что иное, как своеобразный писательский прием. Нет спору, художник имел право на подобное решение замысла, тем более, что в результате его воплощения на страницах строгой и сдержанной книги вдруг оживает, наполняется горячей кровью, начинает биться и трепетать живое сердце героя.

Автор стремится к подчеркнуто документальной манере письма; он местами вводит в повествование нарочито неотшлифованные, стилистически шероховатые куски «строительного материала» — выдержки из «черновиков» собственноручных записей Биды-Щенсного. Можно спорить: нужны ли повествованию именно такие способы раскрытия образа? Но, так или иначе, в нашем воображении живо возникают и облик героя, и облик эпохи в их живых, органических взаимосвязях, контрастах, противоречиях...

В широком потоке народной жизни, которая составляет основу романа, писатель изображает рядом с Щенсным множество других людей. Одни из них (и прежде всего старый Томаш), как могут борются за существование, из последних сил отстаивают свое право на кусок хлеба, на любую работу, другие (Марусик, Магда, Олейничак) ищут правды, бесстрашно добиваются ее, жертвуя собой, третьи (Корбаль, Жебро, Зося) ловчат, жульничают, карабкаясь вверх по чужим спинам...

И все вместе они не только прочно скреплены в сюжете, но и тонко, умело соотнесены художником с образом центрального, главного героя, внутренняя жизнь которого получает благодаря этому ощутимую широту и глубину жизненного охвата, полноту психологических переживаний, душевную объемность, ясно видимую, хоть и не прямую, линию развития.

Основной конфликт романа, определяющий и его художественное своеобразие, — это конфликт Щенсного с окружающей средой, конфликт, порождаемый всеми историческими, социальными, бытовыми условиями жизни Польши того времени.

Плоть от плоти, кровь от крови родного народа, Щенсный отгорожен от него множеством преград, суеверий, предрассудков, наконец, собственной упрямой слепотой. Он одинок, озлоблен... Казалось бы, очень легко обездоленному Щенсному увидеть, понять, что ведь это за его подлинное счастье, за его дело, за его большую человеческую правду борются польские рабочие-коммунисты!.. Но не скоро наступит день, когда они назовут Щенсного своим единомышленником, товарищем и другом. И. Неверли позволяет нам проследить, как неразрывно связано прозрение героя, крутая ломка его внутреннего мира, наконец, вся логика развития и становления образа с железной логикой самой жизни, действительности.

Советскому читателю подобные искания героя хорошо знакомы; достаточно назвать хотя бы такие шедевры современной мировой литературы, как «Хождение по мукам» А. Толстого или «Тихий Дон» М. Шолохова.

Что-то в Щенсном — очень издали, почти неощутимо — напоминает Григория Мелехова. В богобоязненной и благоразумной крестьянской семье скромного плотника Томаша смуглый, черномазый, словно каким-то огнем палимый изнутри, бесстрашный и угрюмый Щенсный сызмала растет «дикий, как неосторожно вырвавшееся слово».

Щенсный — «настоящий разбойник» —

меньше всего ценит даровой приютский хлеб в полуразрушенном голодном Симбирске, где «красные» власти даже в трудные годы гражданской войны старались предоставить все необходимое для юных обитателей польского детского дома. С бандой таких же, как он сам, отчаянных мальчишек-головорезов Щенсный убегает в степь под Бугурусланом, варит и меняет соль на продукты, стараясь хоть чем-нибудь помочь измученному, выбившемуся из сил отцу. Однажды Щенсного поймали патрули: «Мешочник!» С тех пор обиженный подросток мечтает только об одном — о возвращении в родную Польшу. Мальчику кажется, что там, на родине, его ждет какая-то иная, необычайно светлая жизнь, всеобщее счастье, что там нет никаких трудностей, несправедливости, горя: «Каждый сам себе пан: маршал — пан, мастер — пан и крестьянин — пан».

Увы! Совсем не так обстояли дела в Польше, сформировавшейся именно в тот период как буржуазно-помещичье государство. Нищета, безработица, земельный голод — вот что ждало Щенсного и его близких в милом сердцу краю.

Многогранный характер отца Щенсного, старого Томаша, его мягкий, застенчивый нрав, трудолюбие захватывают и трогают читателя книги И. Неверли. В образе Томаша угадывается несложная, но трагическая биография целых поколений польских крестьян, большая правда человека, придавленного, пришибленного несправедливостями судьбы, но еще сохраняющего где-то в самой глубине сердца затаенную надежду на удачу, хотя бы на самый малый проблеск света...

Но пусть Томаш — словно всю свою жизнь глядевший не в даль, не вокруг себя, а только в землю — ограничен и недалек. В основе своей это чистая и чуткая, незлобивая натура. Какая-то внутренняя сгорбленность, робость Томаша — следствие вечных жизненных неудач. И при всей своей подавленности, безропотности Томаш покоряет тем, что всегда готов поделиться с людьми последним, он прямодушен, проницателен. Недаром из своих детей Томаш больше всех любит вечно нахмуренного, неприветливого Щенсного, угадывая за мрачной внешностью мальчика, за его отчаянными, необузданными и порой злобными выходками горячее и беспокойное сердце.

Строгая, даже суховатая манера письма И. Неверли лишает образ Томаша какого бы то ни было налета сентиментальности, слащавой умиленности... Писатель показывает, что немногого добился Томаш от жизни, хотя и работал всегда, как каторжный, не покладая рук, «словно решетом воду носил». Печальным и своеобразным итогом его нескончаемых трудов оказывается... могила на собственной земле «под табличкой на вечное владение». ...А жизнь идет дальше, идет другими, новыми путями, и вот уже в тихом Жекуте вспыхивает крестьянский бунт: «Лопнуло у людей терпенье...»

Однако события в Жекуте — лишь один из тех «мостиков», которыми писатель связывает в ходе времени и борьбы крупные, яркие куски жизни. Эти «мостики» не всегда построены с достаточной художественной полнотой. Гораздо живее и убедительнее, чем события в Жекуте, обрисованные слишком отрывисто и лаконично, говорит о всенародных масштабах назревающих перемен, о серьезных сдвигах, происходящих в душе польского крестьянина, образ сестры Щенсного Веронки, которую писатель изображает на баррикадах забастовавшего Влоцлавека.

Застенчивая, как отец, такая же, как он, тихая, неграмотная, ни на что не претендующая Веронка, не знающая в своей беспросветной, однообразной жизни ничего, кроме вечной черной, неблагодарной работы, — эта Веронка становится просто неузнаваемой в лагере бастующих на Крулевецкой улице. Здесь получают применение и хозяйственные способности девушки, и ее природная находчивость, и уменье без громких слов жертвовать собой... Веронка на баррикадах — живое продолжение судьбы старого Томаша и в то же время живое звено, связывающее друг с другом главные прогрессивные силы Польши — передовых людей рабочего класса и крестьянства, в едином лагере борющихся против реакции.

...Просто, словно сама собой, очутилась скромная Веронка на стороне бастующих рабочих, придя на баррикады вслед за своим братом Щенсным. Но самому-то Щенсному совсем не так просто было найти свое место в рядах борцов за дело рабочего класса, за дело народа.

Жизнь Щенсного и на фабрике «Целлюлоза» началась с обид и несправедливостей.

Когда Томаш с Щенсным, оставив голодную семью в Жекуте у шурина (мать Щенсного умерла в Симбирске), пришли во Влоцлавек наниматься на «Целлюлозу», оказалось, что и старик и юноша, оба они всего-навсего темные, наивные простаки, ничего толком о городской жизни не знающие, никому в городе не нужные, лишние... Теперь только Щенсный и Томаш увидели, как живут в городе и что это значит: получить здесь работу!..

На огромном фабричном дворе «Целлюлозы» лежат, играют в карты, лениво переговариваются, бранятся от нечего делать или тоскливо, тупо молчат жаждущие работы городские и деревенские, молодые и старые люди...

Незаметно растворяются в огромной толпе безработных два никому не знакомых человека из Жекуте. Жизнь их отныне идет по новым, странным и непривычным законам безработицы: целый день в тягостном безделье, в изнуряющем, томительном ожиданье перед фабричной конторой; и ночь, не приносящая отдыха, возле во-

нючих помойных ям, на задворках большого города, равнодушного к человеческому горю.

«Счастливый случай», благодаря которому Томаш и Щенсный все же попадают на «Целлюлозу», рассказан писателем правдиво — так, что в событии выявляется характер действующих лиц, а вне черт их характера невозможно и само событие.

Равнодушный к религии, Щенсный вряд ли бросился бы на помощь ксендзу Войде, когда на его лекции «Евреи и христианская вера» началась суматоха. Но когда Томаш испуганно закричал сыну, что ксендза убивают комсомольцы,— тут уж Щенсного словно подхватила и понесла неизвестно куда темная ярость, накопившаяся в душе, потребовали выхода слепая обида на жизнь, негодование на вечные неудачи... Вот Щенсный и пустил кулаки в ход против активиста Марусика, и уж, конечно, ксендз Войда, в свою очередь, счел необходимым оказать помощь столь ревностным своим защитникам!.. Так Томаш и Щенсный избавились от безработицы. Но, как очень скоро выяснилось, это вовсе не принесло им избавления ни от нужды, ни от забот, ни от горя...

Несправедливость окружающего мира тяжким гнетом ложится на душу героя, и писатель отчетливо, зримо рисует Щенсного этой поры. Мы видим юношу — одинокого, мрачно пытающегося осмыслить жизнь,— таким, каким видит его Корбаль, проходимец и дармоед, вначале безработный, целыми днями торчащий во дворе «Целлюлозы», а потом постепенно вырастающий на наших глазах из мелкого хищника в хищника крупного, матерого... Не однажды Корбаль, глядя на Щенсного, думает про себя: «Ишь как зенки разгорелись, верхняя губа поднялась,— еще немного и клыки оскалит. Совсем, как цепной пес. С такими вот, чернявыми и задумчивыми, что сидят тишком в стороне,— с ними хуже всего... пырнет ножом, только и скажет: «Извините, что-то мне на ум взбрело».

Портретное сходство Щенсного с Григорием Мелеховым здесь особенно бросается в глаза. Правда, характеристика Щенсного принадлежит прощелыге Корбалю, однако ведь Корбаль потому и «выбивается в люди» с необычайной легкостью, что вовсе не лишен наблюдательности и способности к психологическим выводам.

Образу Корбаля по праву принадлежит существенная роль не только в сюжетном развитии романа. Он свидетельствует об углубленном исследовании автором народной жизни, обогащает наше представление о ней, оттеняет положительные черты характера Томаша и Щенсного... Когда растроганный ксендз Войда устраивает их на работу, Корбаль уж тут как тут, без него все равно у них ничего, мол, не получится!.. А когда Щенсный и Томаш, недоедая и недосыпая, строят над вонючим Жабьим болотом убогую хижину, Корбаль — обманщик и ловкач — возводит на горе настоящий кирпичный дом. А скоро уж он и владелец магазина, уважаемое лицо в городе — хадек (член партии христианских демократов).

Нюхом чует Корбаль выгоду!.. Он приспосабливается к любой обстановке, любой партии, любому начинанию, неизменно заставляя людей быть полезными ему. А Щенсный так не умеет. Унаследовав от отца прямоту и честность, Щенсный остается прямым и честным даже в своих заблуждениях. Политическое невежество мешает жить Щенсному, но, видя, что он в любой обстановке неизменно сохраняет человечность и мужество, мы верим, что Щенсный найдет свою дорогу в жизни — прямую дорогу борьбы за отчизну...

В книге есть чудесные страницы, рассказывающие, как ласково, заботливо нянчится нелюдимый Щенсный с крошечной Бронкой — младшей дочерью нищего еврея-портного. В задушевных строках, полных сердечного раздумья и сочувствия, голос писателя и голос героя сливаются воедино, приобретая живую, искреннюю взволнованность, трогая душу читателя. И, пожалуй, именно лирические отступления, врываясь в деловитое и точное описание жизни героя, позволяют особенно глубоко и ясно ощутить характер, душу Щенсного, понять его думы о родине, его скрытые стремления и незаурядную силу.

Эту силу — готовность к борьбе, уже столько лет бурлящую в груди Щенсного, переполняющую его душу и неудержимо рвущуюся наружу,— находчиво и метко определяет юная, смелая, порывистая Магда, ведущая по поручению партии нелегальную работу среди рабочих, изведавшая и тюрьмы и аресты. Своим шутливым гаданьем: «родился молодой пан под фригийской звездой» — Магда решительно перевернула всю судьбу героя.

И. Неверли, говоря о недостатках своего романа, «сразу же бросающихся в глаза», сам указывает на то, что «слишком мало показаны Магда и Щенсный в их совместной жизни». С этим нельзя не согласиться. Магда, работающая над прокламацией за печатным станком, предстает в книге, как живая. А вот редкие встречи поженившихся Магды и Щенсного обрисованы автором скупо. И хотя И. Неверли утверждает, что его герои устремлены в будущее, что «личное счастье не было для них обоих самым главным», что теперь и Щенсный, так же как и Магда, отдает всего себя делу революционной борьбы в Польше, подготовке новых и новых сил рабочего класса к предстоящим боям,— думается, однако, что более полное художественное раскрытие личного счастья героев не помешало бы писателю показать их главную жизненную задачу! Больше того, оно, вероятно, помогло бы ему в этом: сделало бы последние, завершающие главы романа особенно светлыми, приподнятыми, позволив читателям сильнее ощутить душу людей, одержавших победу в долголетней, упорной борьбе за новую Польшу.

Зато особенно ясно видишь перед собой то, что определило будущее Польши — Польши сегодняшнего дня, Польши важнейших социалистических преобразований, когда встречаешься в романе с коммунистом Олейничаком.

Удивительно тепло описывает автор пожилого, пристально всматривающегося в окружающее, неторопливого в движениях человека, позволяет услышать его неожиданно звонкий, молодой голос... Если Магда помогла Щенсному вступить на путь борьбы, то Олейничак учит Щенсного никогда не сбиваться с этого пути, он словно вручает компас, которым отныне будет руководствоваться Щенсный. Видя Щенсного рядом с Олейничаком, не то что перестаешь беспокоиться за будущее героя (легко угадать, что и впереди его еще ждут большие испытания), но знаешь, что теперь простой трудовой человек берет в свои руки судьбу истории, судьбу народа...

И вновь нельзя не отметить мастерство писателя, сумевшего немногими штрихами, реалистически полно и точно воссоздать глубоко симпатичный образ деятеля партии. Коммунист не только по званию, и даже не по велению долга, а по самому высокому призванию сердца, мысли, совести, Олейничак полон той душевной теплоты, доброжелательности, человечности, которая так трогает в образе старого Томаша. И вместе с тем это совсем другая человечность — ясная и мудрая, сильная, уверенная в себе, в своем праве на существование, лишенная всякой покорности, боязливости...

Волнующее ощущение богатства жизни, неисчерпаемая любовь к труженикам, простым людям, желание счастья для них не то что уживается у Олейничака с чувством ненависти к врагу,— они нераздельны в его душе, составляя некое единое гармоническое целое.

И. Неверли удалось показать в Олейничаке великолепные духовные черты руководителя одной из боевых подпольных организаций коммунистической партии Польши — коммуниста ленинского типа. Вот он сидит у костра, обняв колени, и мерцающие блики огня освещают его внимательные, сосредоточенные на какой-то большой мысли, очень добрые, умные глаза, мохнатые брови, простецкие, седоватые усы... Олейничак говорит Щенсному:

«— Мы боремся за коммунизм. Вы это как понимаете? Как солдат? От поручения к поручению, как служба, а там, глядишь, и выходной день... Я должен вас огорчить: выходного нету! Бороться, даже отдать жизнь — это еще не все и это еще не самое трудное. В любой обстановке быть коммунистом с непримиримым и горячим сердцем,— вот что такое партийное задание».

Как отлично виден здесь сам Олейничак — представитель людей «лучшего сорта», человек с горячим и непримиримым сердцем!

В романе «Под фригийской звездой» писатель расставил героев так, что нам не трудно додумать их дальнейшую судьбу. Но если родится новое повествование о следующем десятилетии борьбы (1936—1946 годы), о схватках с фашизмом, с силами оккупации,— оно будет с радостью встречено не только польскими, но и советскими читателями, полюбившими героев хорошей, умной книги, написанной с глубоким чувством исторической перспективы.

Я. Фрид

Роже Вайян и его роман „325 000 франков"

Создавая роман «Пьеретта Амабль», Роже Вайян вступил в пору творческой зрелости. Повысилась его требовательность к себе. «Почему бы нам не вдохновляться величайшими образцами?» — сказал Р. Вайян, упомянув о том, что когда он задумал «Пьеретту Амабль», таким образцом для него была и классическая эпопея М. Горького «Жизнь Клима Самгина».

Советские читатели, ознакомившиеся с романом Р. Вайяна, имели возможность оценить и его оригинальность, и полную достоверность картины жизни, биографий действующих лиц, их переживаний и поступков, и высокое мастерство, с каким Р. Вайян вылепил скульптурно-объемные образы, разносторонние характеры, типичные для современной Франции.

Последний роман Р. Вайяна «325 000 франков», как и «Пьеретта Амабль», свидетельствует о том, насколько чужда реалистическая литература, окрыленная передовыми идеями, догме, схеме, и о том, как свободно проявляется творческая индивидуальность писателя, глубоко, органически воспринявшего принцип партийности. Эти романы Р. Вайяна также неопровержимо подтверждают, что эстетика прогрессивной французской литературы формируется на основе непрестанного изучения действительности, развития лучших национальных традиций классического наследия и творческого овладения опытом новаторской советской литературы.

Роже Вайян не только романист. Он

Roger Vailland. 325 000 francs. Roman, Corrêa Buchet — Chastel, Paris, 1955.

один из лучших французских журналистов. В «Юманите-диманш» и других прогрессивных изданиях систематически появляются его очерки о различных сторонах жизни французского общества. Его глаза широко раскрыты. Он накапливает драгоценные наблюдения. Затем вступает в свои права воображение, и рождаются реалистические, пластичные, пленяющие своей естественностью типические образы.

Роже Вайяна постоянно интересуют проблемы, решение которых необходимо для успешного развития литературы. Передовое мировоззрение, прогрессивные эстетические взгляды помогают ему совершенствовать свое мастерство. На страницах журнала «Иностранная литература» (№ 6, 1955) писатель рассказал о том, как партийное отношение к действительности обострило его проницательность, как его повседневная связь с рабочим классом помогла ему увидеть подноготную деятельности монополий и всесторонне изучить среду, впоследствии изображенную им в романе «Пьеретта Амабль». А высказывания Р. Вайяна по вопросам эстетики свидетельствуют о том, насколько своеобразен путь этого писателя к реалистическому мастерству, насколько сознательно он избран им.

В книге «Опыт драмы» (1953) Роже Вайян обратился к проблемам, имеющим принципиально важное значение не только для драматического искусства. Анализируя трагедии Корнеля, он привлекает внимание писателей к типичной для творчества этого французского классика традиции развития конфликтов, героики, разработки темы национальной чести, темы долга перед родиной. «С 1940 года главнейшие проблемы предстают перед большинством французов такими, какими они являются в формулах Корнеля». Роже Вайян рассматривает эту классическую традицию в свете героики нашего времени. Ныне в коммунистах, в передовых людях воплощены лучшие, благородные, рыцарские черты французского национального характера, проявляющиеся в героизме этих людей, в их человечности и преданности отчизне. Такая связь с национальной традицией типична не только для Р. Вайяна. Не случайно журнал «Пансэ» после опубликования первых частей «Коммунистов» Арагона охарактеризовал это произведение как героическую, рыцарскую эпопею современной Франции.

«Человек научился закалять сталь; теперь он учится закалять человека»,— говорит Вайян в книге «Опыт драмы», перефразируя крылатое выражение Н. Островского и определяя, таким образом, назначение передового искусства. Чуждых смирению, гордых, смелых, решительных, сильных, самоотверженных простых людей в 1955 году можно найти в авангарде рабочего класса,— читаем мы в одной из заметок писателя. Такое понимание героики в духе пролетарского гуманизма, социалистической романтики сближает Р. Вайяна с М. Горьким — непримиримым разоблачителем смиренных, подобных Луке из пьесы «На дне», и певцом таких отважных рабочих-революционеров, как Павел Власов. И Р. Вайян говорит о Пьеретте Амабль (вновь перефразируя слова Н. Островского): «Она будет человеком беспримерной закалки». Пьеретта Амабль — типический характер французской работницы-коммунистки *нового поколения* — гордой, способной стать столь же несгибаемой, как ее старшие товарищи, участники Сопротивления. Пьеретта — не исключение, не редкостный характер. В ее психологии, поведении (напомню об ее отказе стать наследницей старика Амабля, собственницей) отражены знаменательные сдвиги в сознании части нации. Не удивительно, что одна из читательниц призналась в своем письме Р. Вайяну: «Я была бы счастлива, если бы имела дочь, похожую на Пьеретту Амабль».

Сродни Пьеретте и сам Роже Вайян. Далеко не прогрессивный литературовед Э. Анрио в своей статье о романе Р. Вайяна «325 000 франков» иронически назвал писателя «аристократом крайней левой». В ответе Р. Вайяна гордое, но чуждое индивидуализму и честолюбию чувство собственного достоинства коммуниста прозвучало с той силой прямодушия, какая пленяет нас в Пьеретте: «Я борюсь рядом с лучшими людьми моей эпохи. Я принадлежу к армии людей с *сердцем* *, которые во всем мире борются, зная, что могут умереть, ничем не вознагражденные за это при жизни. Я — член партии самых лучших. Я — аристократ».

Тяготея к героической теме, Р. Вайян вместе с тем сознательно развивает лучшие традиции французского критического реализма, традиции Стендаля и Бальзака. Идеализация выглядела бы в романе, словно румяна, утверждает писатель. Искусственный «румянец» лишил бы естественности и Пьеретту и другие образы. Еще очень многие люди — в том числе и трудящиеся — заблуждаются, далеко не свободны от предрассудков, от влияния буржуазных взглядов, буржуазной психологии. Они еще преобладают, напоминает Р. Вайян. Они, быть может, не отказались бы от того, чтобы их приукрашали. Но нужно знать, изучать, а не украшать. «Мы должны работать с теми товарищами, какие у нас есть. Они — не коммунисты из романа»,— говорит Пьеретта. Эти слова звучат как программное высказывание самого писателя.

Точность лаконичного рисунка в произведениях Роже Вайяна, энергия суховато-изящного стиля сочетаются со стремлением писателя к чисто стендалевскому, глубокому, основательному *исследованию* действительности. Он признает существенными все подробности, характерные для условий жизни его героев. В своих последних произведениях Р. Вайян применяет прием, найденный им в книге «Опыт драмы». Рас-

* Это излюбленная Вайяном «корнелевская» характеристика благородных, отважных, верных долгу чести.

сказчик живет среди героев романа. Он постепенно знакомится с ними, со всеми обстоятельствами их существования и все более проникает в их внутренний мир. Картина *драматизма жизни*, возникающая на такой основе, достоверна, обладает большой познавательной ценностью.

Роман «325 000 франков», изданный в 1955 году и затем печатавшийся в «Юманите», переносит читателя в тот же горный район Франции, граничащий с Швейцарией и Италией, в котором происходит действие «Пьеретты Амабль». По одну сторону перевала лежит уже знакомый нам промышленный городок Клюзо, по другую — городок Бионна́, центр производства изделий из пластмассы. Писатель изучил эту промышленность, но его книга — не «производственный роман»; как и ранее, он видит свое призвание в сердцеведении. В центре романа не передовые люди, как Пьеретта, а отсталые, каких еще немало.

Вот двадцатипятилетняя Мари-Жанна Лемерсье, дочь рабочих, вышивальщица. Ее облик возникает перед нами, словно на акварели: она в белом; губы чуть подкрашены, но веки не подсинены, чтобы лучше выделялась синева глаз; в ее руке сетка с овощами, сверху — три помидора; ни один волосок не отделился от прически, и все в ее внешности кажется обдуманным и приведенным в порядок. В дальнейшем мы узнаем, что синева ее глаз — эмалевая: ни глубины, ни живости. И ее характер соответствует этому облику: она расчетлива, очень любит себя и дорожит спокойствием своего упорядоченного существования, бережет его от вмешательства окружающего мира, боясь жизни, которая часто оборачивается к ней неприглядной стороной.

В Мари-Жанну влюблен двадцатидвухлетний рабочий Бюзар — увлекающийся, порывистый, беспокойный. В рабочее время он развозит на трехколесном велосипеде неотшлифованные изделия из пластмассы, а весь свой досуг отдает тренировке на гоночном велосипеде. Бюзар хочет одержать в этом, 1954, году победу в шоссейной гонке местного значения. Затем его, быть может, и допустят к участию в национальном многодневном состязании «Тур де Франс», за которым ежегодно с увлечением следит вся страна. Множество юношей мечтает о славе чемпиона «Тур де Франс». Бюзара привлекают не только радость победы и почет; он надеется также выбиться в люди, став звездой — профессионалом, уверенным в завтрашнем дне.

Это стремление — единственное, что связывает Бюзара с окружающим миром, о котором он, как и Мари-Жанна, знает не больше, чем «Поль и Виргиния на своем острове». Бюзар не читает газет, за исключением спортивных, — в них он следит за отделом велоспорта; это все, что его интересует. Ему не до мировых событий. Он обойдется без единства рабочих и без их борьбы за лучшее будущее. Пусть борются. Он — сам по себе, он желает «жить теперь». Бюзар не хочет знать ничего, что не касается лично его; это удобная форма «самозащиты», помогающая ему отгородить крохотный мирок своей мечты от большого реального мира.

Бюзару невдомек, что за такую слепоту придется горько расплачиваться. «Невежество,— заметил К. Маркс,— это демоническая сила, и мы опасаемся, что оно послужит причиной еще многих трагедий».

Именно потому, что Бюзар — отсталый, темный человек, он доверчиво воспринял буржуазный миф о чудодейственной силе частного предпринимательства: каждый, живя в капиталистическом обществе, может стать кузнецом своего счастья, если он по-настоящему целеустремлен, настойчив. Уверенность в этом сделала Бюзара своеобразным «романтиком»: успех завоевывает тот, кто упорен, не щадит себя и ни с чем не считается. Лучшие гонщики обычно вырываются вперед и потом держатся группой: они берегут свои силы; лишь перед финишем между ними начинается борьба за первое место. Бюзар слишком торопится победить, чтобы соблюдать это правило; он решил, что вопреки требованию директора команды нарушит его и сейчас, и в будущем, участвуя в «Тур де Франс». Он, индивидуалист-«романтик», верит только в свои силы.

На первом же этапе гонки, изображенной Вайяном замечательно, Бюзар вырывается вперед. Непредвиденная помеха препятствует ему прийти первым. Победу одерживает необычайно выносливый деревенский парень из Бресса, который также вырвался вперед в самом начале состязания. Что ж, его успех лишь подтверждает, что Бюзар избрал безошибочную тактику. Она еще поможет ему опередить счастливцев — прославленных чемпионов!

Мари-Жанне чужд азарт Бюзара. Она только тогда согласится стать его женой, когда увидит, что их завтрашний день обеспечен. Для этого Бюзар должен овладеть «настоящим ремеслом».

Как же быть? Получить образование? Но скромный инженерский диплом для Бюзара еще более недостижим, чем слава чемпиона: в 1951 году во Франции студентов пролетарского происхождения приходилось лишь двадцать пять на тысячу, в 1953 году — тридцать два на тысячу.

Бюзар предлагает: он будет работать на прессе, формующем пластмассовые игрушки. Он и тогда найдет время для тренировки. Но не такое «ремесло» имела в виду Мари-Жанна. Она помнит: ее отца убила машина на этом же заводе. Она уверена в том, что жизнь рабочего — это прозябание.

Бюзар так влюблен, что решает пожертвовать для Мари-Жанны своей мечтой. Он расстанется с велосипедом. Он узнал, что может стать управляющим баром при бензозаправочной станции на дороге, соединяющей Париж с побережьем Средиземного моря. Он и Мари-Жанна, быстро и умело обслуживая проезжающих, встанут на ноги, купят сначала кадиллак, потом бар и другой; работать тогда у них будут слу-

жащие. Мари-Жанна соглашается, правда не сразу — не так уж легко разбогатеть, да и не настолько любит она Бюзара, чтобы быстро отказаться от привычного упорядоченного существования.

Для залога, который нужно внести владельцу бара, их сбережений недостаточно— не хватает 325 000 франков.

Но Бюзар все обдумал: он применит свою азартную, «романтическую» спортивную тактику в иной области. Он все же станет к прессу, но лишь на полгода. Если в гонках расстояние — постоянная, заданная величина, а время — переменная (побеждает тот, кто ее предельно сокращает), то теперь постоянной величиной будут 325 000 франков. Оплата на заводе почасовая и вместе с тем сдельная. Бюзар будет работать не восемь часов в сутки, а двенадцать. 325 000 франков — это полгода такого труда. Через шесть месяцев он внесет недостающую часть залога.

И вот Бюзар уговаривает брессанца стать его напарником: они разделят сутки на шесть смен по четыре часа, чтобы можно было чередоваться. Вдвоем они заменят троих рабочих. Владелец завода Морель дает свое согласие на такое превращение работы в спортивный «подвиг». Отец Бюзара, работающий в своей мастерской, и заводской профсоюзный делегат Шателар — эпизодическое лицо в романе — возмущены недостойным рабочего анархистским поведением молодого человека. Ради чего он не щадит себя, отрывается от коллектива, «вырывается вперед»? Чтобы добиться возможности стать холуем богатых туристов, а потом и эксплуататором!

Но Бюзар решил ни с чем не считаться: он будет кузнецом своего счастья. Даже если рабочие забастуют, он ни на день не прекратит своего поединка с судьбой.

Начинается шестимесячная «гонка» у пресса. Вскоре выясняется, что она требует большего напряжения внимания, большей выдержки, чем «Тур де Франс», хотя никакой квалификации для работы у пресса не требуется. Ее не могут облегчить смекалка, изобретательность. После полной автоматизации пресса рабочий — придаток к нему — еще быстрее тупеет и выдыхается. В велогонке почти все зависит от человека, от его спортивной формы и умения. А теперь Бюзар видит, что он, подобно рабочему из «Новых времен» Чаплина, стал рабом машины. «Это ненадолго»,— думает юноша, он навсегда уйдет отсюда, прорвется, вырвется! И тогда он будет делать все, что ему угодно.

Но его нервы не выдерживают отупляющего напряжения в таких больших дозах. Он лишается сна, возникают невеселые мысли: как дешево оценивают его, Бюзара, с его мечтами, любовью, силой — куда дешевле одной хитроумной части пресса; что если «счастье» в баре окажется столь же томительным, как и его «подвиг»?.. В последние дни перед финишем «герой» совсем утрачивает самообладание и выдержку. Выходит из строя предохранительная решетка; необходим ремонт пресса. Для этого придется прекратить работу на день. Но Бюзар не хочет, не может отсрочить час своей победы — он изнемогает! Несколько секунд промедления — и его рука раздавлена. Нужно обладать неистощимой выносливостью брессанца, чтобы не надломиться во время такого состязания с машиной.

Но допустим, что из этого состязания вышел победителем и Бюзар. Оказалась ли бы в этом случае его «романтическая» мечта реальностью? Ведь Бюзар все же «прорвался», став хозяином кафе, точнее — кабачка «Маленький Тулон» в Бионна́ (а не бара на большой магистрали; его владелец возвратил задаток: туристам не понравилось бы, если бы их обслуживал человек со стальной рукой). Что ж, и кабатчик может разбогатеть. Ведь удалось это прежнему владельцу «Маленького Тулона» — бывалому авантюристу по прозвищу Серебряная Нога. Настал черед Стальной Руки. Бюзар женился на Мари-Жанне, он «независим». Теперь нужно не зевать, добывать деньги на кадиллак. Почему же он всегда мрачен и раздражителен, как банкрот? Почему он, ранее не бравший в рот спиртного, пьянствует с утра до ночи, не любит ни себя, ни других, упорно подозревает Мари-Жанну в неверности, мстительно груб с нею? Ведь он «вырвался вперед».

Он мечтал о чистой, красивой жизни, а ему приходится угождать пьяным. Нет, он не таков, он не церемонится с ними. Но приятнее ли быть «холуем» в первосортном баре?

Владелец завода Морель поучал Бюзара: видишь, каждый может стать капиталистом. Теперь Бюзар — хозяйчик. Но как тошно ему! Не получилось из него ловкого, самодовольного предпринимателя. Ему не удается окончательно расплатиться за «Маленький Тулон». Он вернется на завод: и однорукий он справится с восьмичасовой работой у пресса.

Неправда, что рабочий парень в силах победить в поединке с судьбой, прорваться в одиночку и стать хозяином жизни. Бюзар ничего не знал о жизни, был слеп. Он и теперь не прозрел, но чувствует, что обманут, сам себя обокрал, изуродовал. Индивидуалистическая мещанская «романтика» — это лживая реклама капитализма.

Читатель пристально следит за стремительным движением Бюзара по ложному пути. Менее заинтересовывают переживания и поведение Мари-Жанны. А о Мореле, о брессанце хочется узнать побольше. Хозяева Клюзо («Пьеретта Амабль») — монополисты, финансисты, принадлежащие к «двустам семействам». Морель — пионер производства изделий из пластмассы в Бионна́ — мелкий хищник по сравнению с этими акулами. Он сам легко может оказаться их жертвой. Он «поднялся из низов», искренне считает себя демократом. Если нужно выбирать между фашизмом и Народным фронтом, он за Народный фронт. Он «душой» с рабочими (но рассудок го-

ворит ему, что из них нужно побольше выжимать, и богатство развратило его). Брессанец, гордый своей силой, мечтает, как и Бюзар, о подвигах, хочет быть первым среди чемпионов в любой области. И он и Бюзар немало свершили бы в других условиях, идя по верному пути. Но и брессанец не знает такого пути.

В «Пьеретте Амабль» рассказчик встречается и с друзьями, и с врагами; он любит и уважает, ненавидит и презирает, с увлечением участвует в событиях. В последнем романе Р. Вайяна рассказчику некого любить. Он может лишь наблюдать, анализировать, с интересом приглядываться к брессанцу, жалеть Бюзара; поэтому в эмоциональном отношении этот роман несколько суховат по сравнению с «Пьереттой Амабль».

Литература, враждебная реализму, не удовлетворяет потребности в правде и эстетическом наслаждении. Читателей все менее привлекает болезненный «психологизм» некоторых буржуазных писателей. Вот почему в стане этих литераторов заметны признаки смятения. Идеологи индивидуализма с явной нервозностью требуют, чтобы писатели были отрешены от окружающего мира, равнодушны к интересам народа, к его «скоропреходящей» борьбе с реакцией. И не случайно столп «христианского экзистенциализма», французский философ и писатель Г. Марсель, объявил себя «экспериментализтом» (а ранее выступил с призывом к «магическому реализму»). Эта нервозность, это метание свидетельствуют о растерянности. Какой «изм» поможет оживить мертвенную литературу, искажающую действительность? Найдется ли такой «изм»? Не удивительно, что издаваемый Американским объединением исследователей эстетики «Журнал эстетики и критики» (№ 2, 1955) сообщил: во второй половине столетия началось резкое снижение уровня литературы; большая и влиятельная группа просвещенных людей мрачно объявила «идею прогресса» в применении к литературному процессу «обветшалым предрассудком»...

Но именно этот пессимизм — неизбежное следствие неразумной привязанности к обветшалым, реакционным предрассудкам. Писатели-реалисты не сомневаются в закономерности прогрессивного развития той литературы, которая нужна народу. Молодые французские романисты, разочарованные в декадентских «мифах», обращаются к традициям Бальзака, Золя. И даже многие буржуазные критики приветствовали роман «325 000 франков», созданный реалистом Вайяном, творчески развивающим классические традиции,— как произведение, написанное блестящим стилистом, лучшее из появившихся в 1955 году.

Но при этом, как видно, иным из них особенно нравится, что в романе Р. Вайяна нет целостных положительных героев, подобных Пьеретте Амабль, и у некоторых из этих критиков возникает вопрос: не изменил ли Р. Вайян курс?

Эстетические воззрения передовых писателей — не кодекс догматических правил. Наивно предполагать, будто социалистический реализм не допускает противоречивых характеров и обязательно требует целостного положительного героя. Новый роман Р. Вайяна — убедительное тому доказательство,

Творческая ТРИБУНА

Обсуждение романа Грэхема Грина „Тихий американец“

А. Аникст

Роман Грэхема Грина «Тихий американец», как известно, получил значительный общественный резонанс в Англии. Он, несомненно, представляет собой своего рода знамение времени.

Мне понравился роман Грэхема Грина, хотя должен сказать сразу: в нем есть много такого, что нам, советским людям, чуждо; мы иначе расцениваем отношения между людьми, по-другому смотрим на место человека в мире. И, вероятно, для многих читателей непривычной покажется особая, очень интересная манера письма, свойственная Грину.

В романе Грина есть черты несомненного гуманизма. Его главный герой, английский журналист Фаулер, от лица которого идет повествование, человек, разъеденный цинизмом, усталый, отчаявшийся и в жизни и в справедливости. Мироощущение Фаулера окрашивает весь роман в цвета безнадежности и безверия. И все же мы ощущаем и в самом Фаулере и во всем романе Грина тоску по иной, цельной, гармоничной жизни. Герой сознает, что для него достижение гармонии невозможно; он принимает преступный и бессмысленный хаос, царящий в мире, таким, как он есть, как нечто неизбежное, свойственное человеческому миру. Но это не значит, что он во всем соглашается с этим хаосом. В минуты душевного подъема, когда на поверхность выходит лучшее в его душе, Фаулер ищет активного пути к борьбе с тем, что считает злом мира.

Внешняя нарочитая «грубость» Фаулера и вся атмосфера откровенной исповеди, царящей в романе,— что призвано оттенять душевную тонкость и легкую ранимость героя, его «человечность»,— это далеко не новый прием; но Грин умело использует его как для того, чтобы создать образ героя, так и для того, чтобы показать нам окружающую Фаулера действительность.

Роман Грэхема Грина — очень интересное и заметное явление в современной литературе.

Гуманная струя в романе Грэхема Грина «Тихий американец» и обусловливает все те черты, которые в политическом отношении представляются нам такими интересными.

Грэхем Грин изобразил «грязную войну» во Вьетнаме как ужасную бойню, принесшую смерть и горе невинным людям, которым нет дела до борьбы между колонизаторами и которые хотят только одного — чтобы их тихий, мирный край мог бы жить спокойно и процветать.

Отношение Грэхема Грина к войне во многом пацифистское, он выступает как писатель, для которого смерть, кровопролития, убийства являются чем-то совершенно неприемлемым. Может быть, поэтому в роман «проскочила» одна-единственная фраза о якобы имевших место расправах вьетминской армии, армии-освободительницы, с населением Южного Вьетнама. Эту фразу произносит французский летчик, с отвращением и внутренним содроганием осуществляющий по заданию своего командования бессмысленное и жестокое уничтожение мирных жителей. При этом летчик говорит о «зверствах» с чужих слов и как бы в оправдание своих собственных бесчеловечных действий. Но ни Фаулер, ни автор не опровергают его. Это тем более жаль, что всей логикой романа автор утверждает, что северо-вьетнамская армия, ведущая борьбу за освобождение своей страны от колонизаторов, несет желанный мир всему вьетнамскому народу.

Самое интересное в романе—фигура «тихого американца». Грэхем Грин нашел очень интересную художественную форму для того, чтобы развенчать и осудить претензии наиболее реакционной части современной американской империалистической буржуазии на мировое господство. Пайл не развязен, не нахален, не груб, он спокоен, методичен, действует согласно своим принципам, по своим внутренним убежде-

Сокращенная стенограмма обсуждения, состоявшегося в Союзе писателей СССР.

ниям. Очень тонко и остроумно вскрывает Грин истоки его мировоззрения, которое все взято из писаний некоего легковесного публициста Гардинга, проповедника американской политики, дающего теоретическое обоснование для экспансионистских стремлений американского империализма. Этот чистенький «тихий американец» несет народам смерть, горе, страдания. Его деятельность имеет явно провокационный характер, расчищает почву для того, чтобы американцы смогли утвердить свое господство в этой стране, не считаясь ни с чем. В романе говорится о соперничестве между «старыми колониальными державами», как характеризует Пайл Англию и Францию, и Соединенными Штатами, которые в его глазах, очевидно, являются новой колониальной державой, якобы еще не скомпрометировавшей себя в глазах азиатских народов.

Грэхему Грину претят эти новые претенденты на мировое господство, считающие, будто они способны осуществить более высокую «цивилизаторскую миссию», чем старые колониальные державы. Но при этом надо заметить, что он вовсе не преклоняется безоговорочно перед Англией, наоборот, видит все то отрицательное, что только может видеть журналист, знающий изнанку политической и военно-политической жизни.

Особо следует говорить о художественном своеобразии «Тихого американца». Грэхем Грин — писатель очень интересный. Книги его всегда содержат большой внутренний подтекст. Он не только знает цену слова — а в его книге каждое слово не случайно, каждое слово на учете,— он большой мастер композиции. Неожиданные повороты сюжета «Тихого американца» каждый раз раскрывают перед нами новые стороны характера героев этой книги. Следует сказать при этом, что большое, человеческое содержание книги и для читателя и для автора важнее, чем умелое построение интриги.

А. Старцев

Книга Грина «Тихий американец» привлекает наше внимание по многим причинам. Еще не так давно Грин принадлежал к тому кругу реакционных писателей, что и Кестлер. Дос Пассос, Хаксли и другие. Роман Грина нужно рассматривать как свидетельство кризиса и быстро надвигающегося банкротства этой группы. Некоторые из названных писателей, как мы знаем, замолчали, а Грин «выламывается» своеобразным путем из этого «антикоммунистического» фронта. Характерно, что книга, свидетельствующая о появлении новых мотивов в его творчестве, написана на колониальную тему. Где тонко, там и рвется. Поэтому «Тихий американец» прежде всего очень любопытен как общественное явление и с точки зрения современной политики и с точки зрения современной литературы.

Грин — талантливый, вдумчивый автор; он принадлежит к школе, которая достаточно известна на Западе, да и у нас тоже, и в значительной мере связана с именем Хемингуэя. На мой взгляд, не следует искать какой-то выдающейся оригинальности ни в авторе, ни в его книге. Тем не менее книга заслуживает самого пристального внимания. Ее слабые и сильные стороны очень резко выражены.

Герой романа англичанин Фаулер принадлежит к популярному в западной литературе типу усталого и циничного, но не продавшего все же свою душу журналиста. Морально-политический пафос романа заключается в том, что этот человек доходит до понимания, что в страшном и кровавом хаосе, которым представляется ему колониальная война, вьетнамские коммунисты борются за элементарные человеческие права и необходимые условия жизни народных масс. Формально он не встал на их сторону в этой войне, но во всяком случае в пределах моральных оценок он ясно распределяет свои симпатии и антипатии.

Этот подход Грина к «грязной войне» придает роману совершенно определенное политическое звучание, которое — соглашаешься ты с деталями или нет — позволяет в целом отнестись к книге с большим сочувствием.

Второй позитивный момент, на мой взгляд, очень интересный—это остро разоблачительные портреты американцев в колониях, которых выводит автор в своей книге. «Тихий американец» Пайл со своим сентиментальным доктринерством и безответственно тупым терроризмом, страшноватая в своей стандартности фигура экономического атташе, который в романе именуется просто Джо, даже без фамилии, мгновенные остро шаржированные зарисовки двух американских девушек, которые щебечут в кафе и быстро уходят оттуда, предупрежденные своим начальником, что здесь произойдет нечто «нехорошее», т. е., говоря попросту, будет взорвана бомба,— все это запоминается и производит сильное впечатление.

«Антиамериканизм» Грина не выражает какого-либо пренебрежения или враждебности к американцам как нации, это ясно. Речь идет о том, что в некоторых особенностях американской материальной и духовной цивилизации получили резкое выражение характерные черты капиталистической культуры нашего времени. Право писателя — находить эти несимпатичные и социально опасные черты и их обобщать. Повторяю, эти острые, на грани гротеска, зарисовки Грина производят большое впе-

чатление и в художественном отношении принадлежат к наиболее сильным и убедительным и, я бы сказал, к наиболее свежим образам романа.

Я не придерживаюсь той точки зрения, что герой будто бы принимает сторону вьетнамского народа или коммунистов, поскольку он принимает участие в убийстве «тихого американца».

Автор решает вопрос об убийстве Пайла в индивидуальном и моральном плане. Для Фаулера выступить против Пайла трудно по многим причинам. Во-первых, он обязан Пайлу жизнью, во-вторых, Пайл отобрал у него возлюбленную. Всякая личная месть при создавшихся обстоятельствах была бы «неджентльменством». Несмотря на все это, он совершает смелый и исключительный в условиях общества, в котором он живет, поступок: способствует уничтожению Пайла. Он идет на это под влиянием импульса, в котором на мгновение сливаются моральное негодование против бесчеловечия Пайла и политический протест против зловещей роли, выполняемой Пайлом и его сообщниками. Однако политическое сознание Фаулера находится в зачаточном состоянии, а моральный протест угасает под влиянием привычного действия алкоголя и опиума. И он жалуется, как ему грустно жить на свете. Таким образом, если роман содержит известный политический урок для читателя, то герой романа для себя этот урок не извлекает и заканчивает свои интеллектуальные и моральные поиски на ноте усталости.

Отдельно следует сказать об образе Фуонг, вьетнамской девушки, возлюбленной Фаулера, которая уходит от него к «тихому американцу» и затем возвращается к нему снова. С Фуонг прежде всего связаны настойчивые эротические мотивы, которые играют в книге немалую роль. К сожалению, Фуонг при всем изяществе ее обрисовки принадлежит к традиционным женским фигурам буржуазного колониально-экзотического романа. Здесь автор даже не пытается выйти за пределы тривиальности, и его Фуонг пассивна, загадочна, примитивна и непостижима, подобно сотням других героинь романов этого жанра.

В заключение замечу, что интересна и заслуживает внимания сама композиция романа. Хотя роман построен в форме детектива и это как бы служит гарантией его внешней занимательности, однако эта занимательность держится на напряженном драматическом содержании романа, которое столь захватывает читателя, что затмевает хитрости сюжетных ходов. Может быть, это и свидетельствует о композиционных просчетах автора, но зато говорит о подлинной содержательности его книги.

А. Елистратова

В течение 1954—1955 годов три писателя, очень различные по своему облику, пройденному творческому пути и устремлениям, одновременно обратились к темам, связанным с политическим и моральным разоблачением колониализма. Я имею в виду, во-первых, Олдриджа, автора «Героев пустынных горизонтов». Во-вторых, Олдингтона, который долго молчал и, казалось, дискредитировал себя своей апологетической биографией Веллингтона и другими произведениями, а теперь выступил с книгой «Лоуренс Аравийский», резко разоблачительной биографией Лоуренса, известного английского авантюриста, создателя аравийского легиона. И, в-третьих, Грина, автора «Тихого американца». То обстоятельство, что одновременно появились три такие книги (хотя я и не хочу ставить их на одну доску), безусловно, свидетельствует о том, что эта тема становится в современной английской литературе особенно актуальной, наболевшей и настоятельно требует внимания.

Необходимо подчеркнуть, что Грэхем Грин вовсе не был в прошлом далеким от политики писателем; он не раз занимался и колониальными вопросами, трактуя их зачастую (например, в своих писаниях о Малайе, а также о Мексике) в прямо реакционном духе. Но в «Тихом американце» он ставит их иначе, и это, действительно,— знамение времени.

Мне хотелось бы попытаться установить связь этого романа с некоторыми предшествующими вещами Грина, писателя очень плодовитого.

В польской печати было опубликовано интересное сообщение относительно беседы Грэхема Грина с писателями во время его недавнего пребывания в Польше. На вопрос о том, кто оказал на него наибольшее влияние, Грин назвал среди таких имен, как Джойс, Конрад, Генри Джеймс, лишь одно имя классика английской литературы — Фильдинга. Интересно попытаться осмыслить, что, собственно говоря, хотел сказать этим, казалось бы, парадоксальным сопоставлением Грин и в чем именно могла проявиться конкретно преемственная связь с Фильдингом в его творчестве.

Прежде всего надо отметить, что среди тех декадентских писателей Англии, в числе которых его часто называет и буржуазная и прогрессивная английская критика, Грин, несомненно, выделяется своим серьезным отношением к этическим проблемам. Этот интерес по-разному проявляется на разных этапах его развития. Он носил и религиозный характер, хотя следует подчеркнуть, что религиозность этого писателя-католика — отнюдь не постоянная величина и нередко в его произведениях проявляется весьма критическое, даже саркасти-

ческое отношение к католическим догмам и практике. Видимо, внутренная борьба за правильное, удовлетворяющее его самого решение этических вопросов еще не закончена.

Во-вторых, связь с творчеством Фильдинга проявляется в иронии Грина, которая очень характерна для творчества и мироощущения писателя.

Ирония Фильдинга сыграла огромную роль в пересмотре общепринятых мнений о сущности пороков и добродетелей, пристойности и непристойности. Этот писатель сумел показать, что под маской порока нередко скрывается добродетель и, наоборот, под маской добродетели — порок.

И мне думается, что кое-что из этих «фильдинговских» традиций, связанных с напряженным вниманием к этической проблематике, стремлением проникнуть вглубь человеческой души, чтобы оценить по достоинству ее действительные и мнимые ценности, есть в книгах Грина.

В его книгах иногда перед нами раскрывается совершенно черная, безысходно мрачная бездна человеческого падения. Таково, например, одно из его характерных ранних произведений — роман «Брайтонская скала», в центре которого стоит образ главаря бандитской шайки подростка Пинки, совершенно растленного существа, выродка, лишенного каких бы то ни было привлекательных человеческих черт.

Убив человека, он совершает затем все новые и новые преступления. Чтобы убрать опасную свидетельницу его злодеяний, он женится на ней (по английскому закону жена не может давать свидетельских показаний против мужа), затем принуждает ее к самоубийству, хочет облить серной кислотой. Только неудачное движение делает его самого жертвой этой расправы, и он, обожженый, ослепленный, катится вниз с обрыва и погибает в пропасти.

Религиозные мотивы есть и в этой книге Грина. Но какой странной трагической иронией проникнуты они в общем контексте романа! Ведь сам «герой» Пинки является сыном католической церкви; его религиозность приобретает черты своеобразного зловещего культа антихриста, сатанизма. «Верую во единого Сатану!» — восклицает он. И особенно горькой иронией звучит самый финал книги. Католический патер утешает овдовевшую Роз, злосчастную жертву происков Пинки: ее будущий ребенок, конечно, унаследует и благочестие матери и достоинства отца!

Но даже и сюда, в этот страшный, беспросветно черный роман, Грин вводит лицо, которое должно было, очевидно, по мысли автора, представить собой какое-то светлое человеческое начало. «Брайтонская скала», своеобразный роман-детектив, имеет своего Шерлока Холмса. Но это — проститутка; она-то в изображении Грэхема Грина и оказывается существом, в котором теплится искра подлинной человечности. Ее роль в романе определяется отнюдь не какими-либо материальными интересами или соображениями буржуазной морали и законности; она действует наперекор полиции потому, что ей попросту жаль стало того запуганного человечка, который на несколько минут попытался найти в ее обществе защиту от преследовавшей его шайки. Повинуясь этой нерассуждающей жалости, она и решает отыскать виновников его гибели и отомстить за убийство.

В этой книге уже проявились потенциально заложенные в творчестве Грина тенденции, которые не укладывались в традиционные рамки декадентской литературы; но тогда еще трудно было говорить о Грине, как о писателе-гуманисте в нашем смысле слова и, тем более, писателе-демократе.

Еще более оригинальной и острой была книга «Меня создала Англия», тоже очень своеобразное, очень парадоксальное, очень ироническое, но гораздо более, если можно так выразиться, сознательное произведение. Перед нами герой, который прошел через все степени падения, Энтони Фаррент, выходец из благопристойной буржуазной английской семьи, своего рода перекати-поле, авантюрист, прожженный мошенник, охотнее всего живущий за счет женщин, который в конце концов с помощью своей сестры, секретарши и любовницы крупного шведского магната-капиталиста Крога, устраивается на службу к этому магнату в качестве телохранителя.

Ситуация, как будто бы не заключающая ничего героического. Но здесь Грэхем Грин отступает от норм буржуазного романа: оказывается, что в его герое Энтони Фарренте теплится искра человечности. Ему становится не по себе в атмосфере темной и грязной «большой игры», которая идет на его глазах ради выгод концерна и его прибылей. В кульминационный момент романа, когда к Крогу пытается прорваться сын оклеветанного им вожака рабочих, Энтони не выдерживает своей роли и пропускает юношу к своему «боссу». Правда, Фаррента тотчас же «убирают» и роман заканчивается обычным для Грина ироническим финалом — торжественными похоронами Фаррента, погибшего якобы от «несчастного случая», и на его гроб представители фирмы Крога лицемерно возлагают венки. Как будто бы капиталистический «порядок» торжествует, но у читателя остается чувство, что еще не все потеряно, если даже в таких темных, опустившихся, бесконечно развращенных жизнью людях, как Фаррент, может проснуться что-то человеческое.

Грэхем Грин, мне кажется, иногда, как бы сознательно споря с собой, пытался отнять у себя возможность посмотреть вперед — туда, куда устремлены взоры передового человечества. Знаменательна, например, циничная и вместе с тем в своем роде очень горькая реплика, брошенная им в его воспоминаниях о путешествии по Африке («Путешествие без карты», 1936),

Грин говорит здесь: «Есть, конечно, и такие люди, которые предпочитают заглянуть вперед, такие, которым Интурист предоставляет возможность дешево съездить в правдоподобное будущее, но я путешествую, основываясь на недоверии к любому будущему, если оно строится на том, что мы собой представляем».

Грин обращается к жизни первобытных негритянских народов Африки не потому, что он считает, будто буржуазная цивилизация стоит выше их. Наоборот, эта капиталистическая цивилизация, какую он знает у себя на родине, стоит, по его мнению, во многих отношениях неизмеримо ниже, чем жизнь африканцев, темная, страшная жизнь, полная страданий, вызванных и колониальным произволом, и нищетой, и невежеством. Но это существование кажется ему все же более человечным, чем жизнь в условиях буржуазного мира; именно здесь, в Африке, измотанный лихорадкой, изнуренный, казалось бы, до предела человеческой сопротивляемости, он как глубокое моральное потрясение испытывает внезапно осенившее его чувство радости бытия, сознание того, что жизнь сама по себе есть благо.

«Путешествие без карты» между строк заставляет понять процесс накопления материала, происходивший в творчестве писателя. Интересны, в частности, страницы, где он говорит о колонизаторах, которые жалуются, что негры их не любят, что негры неблагодарны. С ядовитой иронией он спрашивает: а за что, собственно, должны быть благодарны эти люди? В противоположность этому он рассказывает о своих личных впечатлениях: о носильщиках, о слугах, которые сопровождали его во время экспедиции,— людях честных и добрых, преданно работавших за мизерную плату.

Противопоставление «примитивной» гармонии первобытной жизни капиталистической цивилизации — это само по себе довольно распространенный в буржуазной литературе мотив. Мы знаем его и у Лоуренса и у других писателей. Но в книге Грина этот мотив является чем-то иным, более серьезным. Думается, он сыграл известную роль и в дальнейшем развитии творчества писателя и отчасти подготовил путь к созданию «Тихого американца» с его критическим отношением к колонизаторской культуре.

Роман «Суть дела» (1948) в общей перспективе развития Грина интересен особенно с точки зрения религиозной философии писателя, которая выражена здесь наиболее полно. Слово «материя» (буквально роман озаглавлен «Heart of the Matter» — «Суть материи») имеет и философское значение: Грин подразумевает ничтожность плотской, материальной природы человека, и сюжет этого романа основан именно на том, что лучшие человеческие побуждения переходят в свою противоположность. Из лучших побуждений герой романа, помощник полицейского комиссара Скоби, отправляет жену в другой город; из лучших побуждений он идет на сделку с совестью, нарушая свой служебный долг, из лучших побуждений он пытается скрасить существование молодой вдовы Хелен Ролт.

Но все это лишь запутывает и коверкает и его жизнь и жизнь его близких, и в конце концов герой романа находит, что самое лучшее — это уйти из жизни. Он маскирует свое самоубийство инсценировкой приступа грудной жабы, занося задним числом в свой дневник записи: «Сегодня чувствовал себя плохо. Болело в груди. Задыхался» и т. д. Но в ироническом, как обычно у Грина, финале романа оказывается, что и эта хитрость была напрасной. Его соперник по службе, пошляк и карьерист, за которого спешит выйти замуж овдовевшая миссис Скоби, разгадывает истинную причину его смерти (записи сделаны подозрительно свежими чернилами); но раскрытие самоубийства мужа весьма мало тревожит душевный покой его вдовы.

Грин пытается в этой книге развенчать человека. Лучшее в человеческой натуре оказывается лишь прологом к худшему, и смерть представляется единственным, хотя тоже не эффективным выходом из противоречий, в которых запутывается человек.

Но «Тихий американец» — первое крупное произведение Грина, последовавшее за «Сутью дела» (я не считаю некоторых более мелких вещей),— показывает, что Грин не остановился на этом выводе. В «Тихом американце» специфическая гриновская ирония достигает своего наиболее яркого выражения, наибольшей художественной силы.

На первый взгляд кажется, что Фаулер— опустившийся, ушедший глубоко в трясину жизни циник, лишенный каких-либо идеалов и иллюзий, а Пайл — юный, горящий энтузиазмом человек, чистый и в своих рассуждениях о свободе и демократии, и в быту, и в своих намерениях по отношению к Фуонг. Это как бы подчеркнуто в той сцене, где Пайл заявляет, что ему дороги интересы Фуонг, а Фаулер цинично отмахивается: ему не интересы ее нужны. И вместе с тем, развивая неожиданным для читателя образом эту коллизию, Грин приводит читателя к тому, что именно Пайл — чистенький, добропорядочный, как будто бы морально безупречный с точки зрения буржуазных канонов,— оказывается существом ничтожным, враждебным людям, инициатором агрессивных, преступно разрушительных авантюр, на совести которого многочисленные жертвы организованных им провокационных террористических актов. А Фаулер — опустившийся, навсегда, казалось бы, замкнувшийся в своем потребительски эгоистическом отношении к жизни, — оказывается способным на смелый принципиальный поступок, идущий вразрез с общепринятым кодексом людей его круга. Его решение помочь подпольщикам убить Пайла не мотивируется последовательным сочувствием точке зрения вьетнамских патриотов — это и нелогично было бы

ожидать от Фаулера. Но вместе с тем в основе этого решения, как мне кажется, не зависть или ревность, а нарастающее отвращение к темным силам, развязывающим преступные военные авантюры, творящим агрессию против народов. Ибо в конце концов «тихий американец» становится для Фаулера живым воплощением этих темных сил.

Таким образом в этом незаурядном по художественной и психологической силе произведении Грин очень тонко переоценивает существующие буржуазные понятия о добре и зле и в политике и в быту.

Б. Изаков

Грин считается в Англии самым крупным современным писателем. Если спросить англичан, кто сейчас самый большой писатель Англии, большинство из них ответит— Грэхем Грин.

Не так давно в Лондоне я спросил у известного лейбористского деятеля лорда Листоуэлла: какое произведение современной английской литературы он может рекомендовать для перевода и опубликования на русском языке? Лорд Листоуэлл, судя по всему, человек молчаливый, не любит бросать слов на ветер — недаром в гербе у него рыба,— и он сказал, что посоветуется, а затем сообщил мне ответ письменно. Вот его записка — вы видите здесь и герб с рыбой; он рекомендует роман Грэхема Грина «Суть дела» как самое крупное произведение самого крупного современного английского писателя.

Грин — писатель большого таланта, очень своеобразный, великолепный стилист, у него чудесный язык. Выступавшие товарищи, по-моему, правильно разобрали его последнюю книгу «Тихий американец». Но когда заходит речь о Грине, обязательно говорят: «писатель-католик», а в некоторых случаях добавляют: «с декадентскими чертами».

Между тем человек, писатель не стоит на месте. И время не стоит на месте. Последние книги Грина сильно отличаются от его ранних произведений. Возьмите роман Грина «Суть дела», в оценке которого я не согласен с т. А. Елистратовой. Я не помню более острого разоблачения католицизма, чем в романе «Суть дела». Это разоблачение огромной силы.

Есть католики типа аббата Булье, деятеля Всемирного движения сторонников мира, и есть такие, как американский кардинал Спеллман, который постоянно призывает к гонке вооружений. Грин критикует Ватикан, критикует католицизм. Своеобразный «католик»!

Суть дела в том, что Грэхем Грин меняется, и видно, что этот процесс проходит для него мучительно. В какой-то степени роман «Тихий американец» — автобиографическое произведение. Мне кажется, что Фаулер в какой-то степени сам Грин. Он человек, который стоит сейчас на перепутье.

В чем, собственно, главная тема «Тихого американца»? Она ясно видна, автор выносит ее и в эпиграф. Можно ли в наше время стоять в стороне от схватки? — такова эта тема. Вот почему меня удивили выступления тех товарищей, которые считают, что в романе не отвергается линия «невмешательства». Грин как раз разоблачает такую линию. Он говорит: в обстановке, когда идет борьба, позиция невмешательства для порядочного человека — несостоятельная позиция, и человек в наши дни не может стоять в стороне от схватки. Ведь Фаулер в конце концов приходит к коммунистам и говорит: «уничтожьте этого «тихого» американца».

Совершенно неверно утверждать, будто бы Грин относится свысока к коренному населению Вьетнама. Фуонг не олицетворяет в его романе Вьетнам. К слову сказать, она почти не умеет говорить по-английски и часто просто не понимает собеседников. Но в романе Грина встречаются эпизодические фигуры вьетнамцев, выписанные с уважением и даже, я бы сказал, с любовью. Правда, коммунистов он показал схематично; видно, что они для него — совершенно чужие люди. Но в других случаях он умеет, как талантливый художник, нарисовать несколькими штрихами человеческую судьбу, человеческий образ. Так, запоминается страничка, на которой он описывает танцующую вьетнамскую пару. Он ясно показывает, насколько вьетнамцы выше по уровню своей цивилизации, чем те европейцы, которые тут находятся. А главное, он неоднократно пишет, что Вьетнам — это родной дом вьетнамцев — и европейским колонизаторам там нечего делать.

Грин правдиво показал современных колонизаторов, в особенности американцев. Как англичанин он хорошо знает больные места американских колонизаторов, их отрицательные свойства, и он не пожалел на них красок.

Грэхем Грин по своим политическим взглядам стоит на распутье. Это сказывается и в его последних статьях о Польше, в которых есть немало неприемлемого для нас. В то же время в этих статьях, например, вопрос о взаимоотношениях Польши и Германии оценивается с точки зрения новой Польши; с ее точки зрения критикуется и политика Ватикана. Недаром буржуазная литературная критика США встретила в штыки «Тихого американца», недаром она ополчилась сейчас против Грина. Особенно злобную статью по поводу его нового романа опубликовал журнал «Тайм», который не останавливается даже перед личными нападками на Грина. Все говорит о том, что новый роман Грэхема Грина — крупное событие в литературной жизни Англии.

Т. Ланина

Мне хочется сказать о глубоких противоречиях, коренящихся, на мой взгляд, в самом методе Грина, в его способе изображения человека, а также остановиться на той моральной проблеме, которая встает со страниц его книг как самая важная, самая острая и трагически неразрешимая.

Прогрессивная английская критика не раз полемизировала с пессимистической философией Грина; прозвучала эта полемика и в статье Арнольда Кеттла, помещенной в журнале «Иностранная литература». Грин обостренно внимателен к «темному» в человеке; мир преступления, предательства и убийств, герои, изменяющие своим лучшим убеждениям,— вот обычные темы его книг. Здесь и идея первородного греха, тяготеющего проклятием над родом человеческим, и мысли писателя о слабости и беспомощности человека, стремящегося быть честным, верным и добрым, об одиночестве и обреченности человека на земле. Поэтому, вероятно, Шон О'Кейси назвал творчество Грина «слюнявым нытьем».

Однако в изображении человека, в объяснении «темного» в душе его в лучших произведениях Грина пробивается реализм, подрывая его беспросветную философию.

В романе «Меня создала Англия», о котором говорила А. Елистратова, философия жизни выражена в символическом образе паука, живущего в закрытом стакане: свобода человека мнима; прозрачны, но непроницаемы стены его тюрьмы, судьба его предопределена, и он бессилен изменить ее. Один из главных героев книги — глава крупнейшего концерна Крог, образ которого должен как бы иллюстрировать общую идею романа, — оказывается не в силах прорваться к живой жизни и стать человечным; отгородившись от мира стеклянными стенами здания концерна он уподобился пауку в стакане. Но Крог — живой образ, а не бледная схема-иллюстрация, и он не укладывается в прокрустово ложе декадентской идеи. Крог в книге Грина — это человек, который может сказать про себя: «Мой концерн создал меня»; и беспомощным пленником «мира, породившего его», он остается потому, что в конечном итоге все в нем определяется интересами бизнеса; поэтому он не может дать свободу своим природным «естественным» потребностям, поэтому не может не пойти на отвратительную клевету на бастующих рабочих, не может не совершить преступления — убить друга.

Я не хочу сказать, что книги Грина всегда дают реалистическую мотивировку преступлений и зла. Есть в них иные образы, открывающие в человеке «подполье», которое якобы свойственно ему от природы. Страшное впечатление производят некоторые рассказы Грина о детях. Страшно читать его рассказ «Разрушители», в котором лондонские мальчишки методично, деловито и организованно и при этом с настоящим вдохновением разрушают единственный уцелевший от бомбежек дом, оставляя без крова одинокого доброго и несчастного старика. Конечно, и на этих мальчишек влияла обстановка бомбежек, разруха «мира взрослых», но в рассказе этот «бес разрушения» кажется изначальным, присущим самой природе человека.

Но «темные» герои многих его романов, тем не менее, порочат не природу человека вообще, но человека данного общества, данный конкретный порядок жизни. Образ Пайла в «Тихом американце» — более зрелое и четкое выражение этих реалистических тенденций.

Сложнее, чем это иногда изображалось, обстоит, на мой взгляд, и вопрос о развенчании Грином высоких порывов человека. Роман Грина «Суть дела», вышедший в 1948 году,— своеобразное философское произведение, в котором Грин ставит самые общие и самые важные для него вопросы о смысле жизни, значении человеческих поступков, религии.

Действие развертывается в одной из британских колоний Западной Африки. Главный герой, полицейский комиссар Скоби, в противоположность продажному колониальному чиновничеству, любит туземцев и старается заботиться о них. В этом прежде всего проявилось в романе сочувствие к ним и самого писателя. Однако, в отличие от «Тихого американца», Грин, ставя этические и общефилософские вопросы, не затронул в этой книге колониальной проблемы: местом действия Грин выбирает колонию, потому что здесь в страшно трудных условиях жизни «человеческая натура не имеет времени для маскировки». Поэтому, по словам Джека Линдсея, проблема колониализма объективно растворена в романе «в личных треволнениях героя».

Вправе ли человек вмешиваться в жизнь, зависит ли от него его счастье и счастье его близких? Может ли человек брать на себя ответственность за судьбы других людей или — раз все в руках божьих — должен только полагаться на милость всевышнего и равнодушно взирать на слезы мира? Такова главная этическая и религиозная проблематика романа.

Сюжет книги состоит в том, что герой, «Скоби справедливый», как его называют, человек, являющийся как бы воплощением совести и чувства долга, все поведение которого определяют доброта, сострадание и чувство ответственности перед людьми, совершает ряд поступков, которые приводят его к нарушению законов божеских и человеческих, несчастья окружающих множатся, и герой кончает самоубийством. Мысль Скоби о том, что «никто не может дать счастье другому человеку», подтверждается в романе всем ходом событий.

И все же я не могу согласиться с теми, кто смысл этой книги видит в развенчании человека, его высоких моральных стремлений. Скоби снится символический сон: он хочет помочь близким ему людям, но, при-

вязанный к кровати, он не в силах подняться. Весь роман — чреда таких ситуаций, герой все время ощущает «ужасное и *бессильное* чувство ответственности и сострадания». Мы не можем, естественно, согласиться с такой философией. И все же чувства любви к людям, ответственности за их судьбы остаются в романе самыми высокими и прекрасными.

В книге господствует пессимистический взгляд на жизнь. «Укажите мне счастливого человека,— думает Скоби,— и я открою вам в нем либо эгоцентризм, эгоизм, зло, либо абсолютное непонимание... Если бы человек понял жизнь, чувствовал бы он жалость даже к звездам?». Но главное противоречие этого романа в том и состоит, что, хотя, по мысли автора, активное вмешательство в жизнь не в силах предотвратить людское горе и попытки героя взять на себя ответственность за их счастье кончаются крахом, несмотря на это, Скоби — самый лучший, самый светлый образ в книге.

Все развитие сюжета доказывает безрезультатность попытки человека изменить жизнь к лучшему, и все-таки Скоби — трагический положительный герой, вызывающий у читателя горячее желание помочь ему. Роман «развенчивает» человека, поскольку, по мысли автора, человек бессилен изменить жизнь к лучшему, но в то же время вызывает уважение к человеку, поскольку его желания и порывы благородны и прекрасны.

Вопрос о религиозных мотивах в творчестве Грина не прост.

В своем недавнем интервью польскому писателю Жукровскому Грин сказал, что он не католический писатель, но пишущий католик, а это не одно и то же. Грин считает, что писатель не должен превращать свои книги в иллюстрацию убеждений; напротив, рисуя жизнь, он вправе «сомневаться и отрицать». Изображение католической церкви в романе «Суть дела» показывает, насколько широко использует Грин это «право на сомнение и отрицание».

Перед Скоби стоит дилемма: должен ли он полагаться лишь на милость божию, во всем на него надеяться и заботиться лишь о собственной душе, или он, блюститель справедливости, должен брать на себя ответственность за жизнь на земле? Герой избирает последнее. «Человек должен заботиться о своей душе, чего бы другим это ни стоило, но это то, чего я делать не могу»,— думает Скоби. И он порывает с богом, ибо человеческая любовь украла у него «любовь к вечности».

Религия выступает в романе как темное начало, противостоящее высоким порывам человека. «Церковь знает все правила,— но она ничего не знает о том, что творится в человеческом сердце». Эмоционально роман не только не «за» католицизм, скорее, наоборот, религия и церковь пробуждают в читателе отталкивающее чувство. Однако другого просвета для беспомощного человека, кроме надежды на милость божью и счастье в «лучшем мире», роман не дает.

Так писатель, не видя исторических перспектив, не веря в способность человека воплотить в жизнь свои стремления и мечты, показывает бесчеловечность религии — и в то же время к той же религии обращается за надеждой и утешением.

В добавление к тому, что здесь уже было сказано о романе «Тихий американец», мне хотелось бы сделать только несколько отдельных замечаний. Прежде всего мне хочется сказать о том глубоком уважении и симпатии к вьетнамскому народу, которое чувствуется в романе. Конечно, мы не можем согласиться с тем, как освещает Грин борьбу демократических сил Вьетнама; слова французского летчика о жестокостях, которые якобы чинят вьетнамцы — слова, которые писатель не опроверг,— показывают, что Грин далеко еще не во всем избавился от ложных представлений, навязанных реакционной клеветой. Натяжкой, на мой взгляд, было бы считать, что в своей книге Грин «выбрал одну из сторон» и принял сторону демократического Вьетнама. Пафос книги — «оставьте Азию азиатам».

Но хотя мы не можем полностью согласиться с тем, как освещена в романе «грязная война» во Вьетнаме, подкупает любовь и глубокое уважение писателя к вьетнамскому народу; это сказалось не только в отдельных образах и «боковых» эпизодах романа. В сущности, водораздел между положительными и отрицательными героями определяется тем, насколько дороги для них Вьетнам и вьетнамцы.

Объяснять «белым высокомерием» неудачу образа Фуонг кажется мне поэтому неверным. Таинственное, непознаваемое в этой женщине, которая дана через восприятие Фаулера, связано с традиционной для Грина трактовкой любви: «человек не способен до конца понять другого человека» — к этому выводу приходит и Скоби в «Сути дела» и герои других произведений Грина, бессильные дать счастье любимой женщине. Так и от Фаулера ускользает душа Фуонг.

Огромным достижением романа кажется мне образ Пайла. Перед читателем возникает не плакатный, плоскостной шарж циничного захватчика, но живой образ, трехмерный, индивидуализированный. Очень характерно, что носителем смертей и разрушения, связанным с американской разведкой, Грин делает не разнузданного Грейнджера, которому наплевать на всяческие идеалы, который откровенно презирает вьетнамский народ, но «тихого» и добропорядочного Пайла, верящего в демагогические лозунги агрессивных кругов.

Диалектика буржуазной «добропорядочности» и преступления, сочетание субъективной честности поведения героя и объективного зла, которое он приносит, предстоит не как психологический парадокс, но как очень важное социальное явление. Это вопрос о молодом поколении американцев,

руками которых осуществляется на деле политика самой черной реакции; это вопрос об искажении «естественного», «нормального» в человеке. Пайл раскрывается одновременно как палач и как жертва. Но хотя читатель чувствует, что воспитание и весь образ жизни извратили все представления Пайла, роман остро ставит вопрос о вине таких, как Пайл, возбуждает в читателе презрение и негодование.

О мастерстве характеристик Грина уже говорилось; говорилось об ироническом характере контраста между Пайлом и Фаулером, о художественном своеобразии раскрытия главных персонажей. Говоря об образе Пайла, мне хотелось бы добавить несколько слов об искусстве детали у Грина, очень лаконичного писателя.

Бритвенный прибор и «вит-калорин» среди крови и смертей — это не только целая повесть об отношении к ужасам войны защитников «цивилизации», о воспитании американской военщины. Эти точные детали вместе с тем помогают раскрыть индивидуальную психологию Пайла: физическая «чистоплотность» цивилизованного Пайла неразрывно связывается с его добропорядочностью, с его «чистоплотностью» моральной — постоянным желанием найти наилучшее оправдание своим, в сущности, эгоистическим поступкам. («Ликуй, Индокитай — весна пришла: «Пайл больше не чувствует себя подлецом!») Когда же Пайл на площади, среди жертв организованного им взрыва, чуть не падая в обморок, повторяет, что надо вычистить вымазанные кровью ботинки, этот постоянный импульс праведника — почиститься! — приобретает сатирическое освещение.

Что касается центрального конфликта романа, проблемы присоединения к одной из сторон, то, мне кажется, здесь особенно ярко обнажились противоречия писателя.

Логика жизни заставляет Фаулера порвать с прежней позицией бесстрастного репортера, хладнокровного созерцателя и неумолимо приводит его к активности, к вмешательству в борьбу, приводит к силам, борющимся с захватчиками. Очень интересна с этой точки зрения композиция, строгая последовательность эпизодов последней части романа. Диалог, по которому ясно, что Фаулер смирился с уходом от него Фуонг, сменяется сценой взрыва на площади: не личные мотивы побудили Фаулера принять решение. К Фаулеру приходит Домингес: Фаулер сталкивается с живым воплощением морали «не убий» — и отвергает ее. Следует встреча Фаулера с владельцем каучуковой плантации, затем взрыв на площади, визит к Чжоу; и вот — Фаулер выбирает тех, кто борется с врагами вьетнамского народа.

Тем не менее утверждать безоговорочно, что роман «разоблачает позицию невмешательства», отвергает позицию «над схваткой», было бы, на мой взгляд, неверно. Развязка книги — «хэппи энд» навыворот: ведь все желания героя сбылись, но он чувствует глубокую неудовлетворенность; убийство Пайла не принесло герою ни личного счастья, ни морального успокоения. Развязке непосредственно предшествует сцена в «Старой мельнице», где Фаулер — а вместе с ним и Грин — дважды ставит под сомнение правильность принятого решения. Фаулер дважды думает, что, приняв свое решение, он уподобился Пайлу. «Не все ли равно, сколько людей страдает, — один или много: один человек может испытать все муки, какие есть на свете. А я как газетчик судил по числу людей, изменил собственным принципам: я стал таким же «engagé», как Пайл, и мне казалось, что теперь я уже не смогу принимать решения так же просто, как раньше».

Так роман, совсем было убедив читателя, что «быть человеком» — значит вмешаться в борьбу, вновь ставит это под сомнение с позиций скептического отношения к любой социальной борьбе как средству достижения счастья людей.

Но хотя четких исторических перспектив, веры в социальную борьбу у писателя попрежнему нет, все же этическая проблематика в «Тихом американце» звучит — во всяком случае, объективно—по-новому для Грина; человек по самой своей природе не может не вмешиваться в социальную борьбу, не чувствовать ответственности за судьбы миллионов людей.

Отклики на письмо М. Шолохова в редакцию „Иностранной литературы“

Призыв М. Шолохова к писателям всего мира создать свой «круглый стол», напечатанное в № 2 журнала «Иностранная литература» за 1955 год, продолжает привлекать внимание мировой литературной общественности.

Все большее число деятелей литературы и искусства, органов печати и организаций самых различных стран высказывается за поддержку предложения М. Шолохова. «Сегодня в центре внимания стоит обращение, призывающее к встрече писателей всего мира, — пишет ливанский литературный журнал «Ас-Сакафа аль-Ватания». Эту идею выдвинул крупнейший советский писатель Михаил Шолохов в своем письме, опубликованном во втором номере журнала «Иностранная литература», издающемся в Советском Союзе. Нет сомнения в том, что это обращение опубликовано очень своевременно. Оно появилось в печати в такой момент, когда действительно назрела необходимость встречи писателей мира для того, чтобы активизировать стремления и действия, направленные на сохранение мира и на благо человечества. Пусть вступят во взаимодействие национальные культуры народов и засияют еще ярче, освещая путь человечеству».

Такие же мысли высказывают польские и словацкие писатели, встретившиеся на границе Польши и Чехословакии:

«Мы встретились здесь в конце марта на нашей границе, — говорится в письме, направленном в адрес «Иностранной литературы», — чтобы обменяться взглядами и поговорить о вопросах, общих для наших литератур.

Пятьдесят польских и словацких писателей смогли откровенно побеседовать о многих общих проблемах и пришли к убеждению, что именно таким путем возможно осуществлять писательскую взаимопомощь.

Эти беседы писателей двух соседних государств показали, насколько полезен такой широкий и откровенный обмен взглядами и фактами, и подтвердили необходимость подобных встреч литераторов стран народной демократии и СССР. Особенно остро мы ощущаем недостаточность контакта и свободного обмена мнениями с писателями западных государств — Франции, Англии, Италии, Германии и других, с которыми нас связывают многолетние (и прерванные не по нашей вине) дружеские отношения и общность культурных традиций.

Мы приветствуем опубликованный в «Иностранной литературе» призыв Михаила Шолохова к сотрудничеству писателей всего мира, ибо вместе со всеми прогрессивными деятелями культуры всех народов верим, что культура, так же как мир, — неразделима».

Южно-Африканская ассоциация деятелей искусства, как сообщается в письме Комитета сторонников мира Южно-Африканского Союза, также проявляет большой интерес к предложению М. Шолохова и рассматривает возможность проведения в своей стране национальной конференции с целью обсуждения вопроса о культурном обмене в международном масштабе.

За установление контакта между писателями всего мира выступают деятели культуры Китая, Румынии, Монголии, Болгарии, Германской Демократической Рес-

публики, Австрии, Австралии, Бельгии, Федеративной Республики Германии, Канады и многих других стран.

Идею М. Шолохова поддерживает целый ряд писателей Италии, в том числе Эмилио Чекки, Луиджи Руссо, Джанкарло Вигорелли, Джузеппе Унгаретти. «Предложение Шолохова собрать за круглым столом писателей различной ориентации из самых различных стран мне кажется своевременным и заслуживающим поддержки»,— говорит Д. Унгаретти.

«Я согласен с Шолоховым относительно круглого стола», — заявил французский писатель Роже Икор.

Полезной считает встречу и Андре Моруа. «Она не должна служить целям пропаганды», — добавляет он.

«Я нахожу предложение Михаила Шолохова замечательным, — пишет немецкий писатель Стефан Гейм. — Мне хотелось бы только, чтобы встреча писателей за «круглым столом» состоялась как можно быстрее».

Американский писатель Артур Кан в присланном в редакцию письме приветствует призыв М. Шолохова к установлению более тесных связей между писателями Советского Союза и других стран. В поддержку предложения М. Шолохова выступил американский писатель Уолдо Фрэнк. Некоторые деятели культуры США, в том числе писатель Говард Фаст и художник Рокуэлл Кент, высказываясь за созыв международной конференции писателей, говорят о тех трудностях, которые встречают на своем пути прогрессивные деятели Соединенных Штатов Америки, желающие посетить зарубежные страны.

Другие, как, например, итальянский писатель Альберто Моравиа, высказываясь в целом за организацию международной встречи писателей, предлагают провести ряд предварительных мероприятий, необходимых, по их мнению, для создания той базы, на которой должен вестись между литераторами будущий разговор.

Большой интерес вызвало письмо М. Шолохова среди японских писателей. Мысль, аналогичную мысли Альберто Моравиа, высказал в Японии писатель Накадзима Кэндзо. За созыв конференции «круглого стола» выступили писатели Хироси Нома, Одагири Хидзо, Эма Накаси и многие другие.

В текущем году в № 1 «Иностранной литературы» читатели уже смогли ознакомиться с рядом откликов на письмо М. Шолохова. В этом номере публикуются выдержки из новых откликов деятелей культуры, поступивших в редакцию непосредственно, через Всемирный Совет Мира или взятых из зарубежных органов печати.

Писатели служат культурному прогрессу человечества

Георг Эберль, *Австрия*

Международная встреча писателей будет иметь успех лишь в том случае, если обратить должное внимание на ее наилучшую подготовку. Для этого надо найти такой основной вопрос, который интересовал бы всех, надо, чтобы в этой встрече участвовали действительно крупные и авторитетные писатели как Востока, так и Запада. В качестве такой темы можно было бы выдвинуть следующую: «Мы, писатели Востока и Запада, Севера и Юга, служим своим делом культурному прогрессу человечества и хотим в интересах этой культурной работы обменяться опытом, а также лучше узнать и больше поддерживать и уважать друг друга».

Что касается культурного обмена, необходимость которого была должным образом отмечена во время Всемирной Ассамблеи Мира в Хельсинки, то, по моему мнению, следовало бы так подготовить эту первую международную встречу писателей, чтобы на ней можно было предпринять хотя бы несколько конкретных, пусть даже и очень небольших шагов в этом направлении.

Во время Всемирной Ассамблеи я смог выступить в комиссии по культурным вопросам относительно такого обмена перед пятьюстами делегатами. Я сказал тогда следующее: «Если бы для начала удалось пригласить хотя бы сто или пятьдесят писателей на несколько месяцев в другие страны, чтобы познакомить их с жизнью, народами и учреждениями этих стран, то это могло бы стать отправной точкой для дальнейшего развития культурного обмена». Таким образом, я считаю, что со времени этой первой встречи можно было бы уже

обратиться с такими приглашениями. Так, например, пять австрийцев могли бы пригласить к себе пять иностранных писателей и получить, в свою очередь, приглашение приехать на несколько месяцев в ту или иную страну.

По моему мнению, надо так подготовить эту встречу, чтобы ее результатом было нечто конкретное, реальное, а не только хорошие выступления, приветственные речи, бесконечные прения, резолюции и бумаги, которые могут оказаться бесполезными.

Мысль о встрече писателей очень хороша

Катарина Сусанна Причард, *Австралия*

Я хочу сказать, что мысль о встрече писателей всего мира за «круглым столом» для обсуждения проблем их творчества и вопросов борьбы за мир — очень хороша.

Писатели прогрессивных и гуманистических взглядов во многих странах знают, насколько мир обязан советской инициативе во всем, что касается борьбы за мир и в литературе, и в жизни.

Нам известно, сколь бескорыстным и сердечным было отношение советских писателей к их собратьям в других странах, борющимся за установление большего взаимопонимания и дружбы между народами, так часто вводимыми в заблуждение и сбиваемыми с толку лживыми сообщениями газет и других изданий, освещающих международные вопросы.

Мы очень благодарны советским писателям и читателям и поэтому понимаем, как важно и полезно было бы для многих начинающих писателей установить связь с теми, кто убедился, что своими лучшими творческими успехами они обязаны великим идеям, которые несут мир и счастливую жизнь всем народам.

Я с радостью узнал о предложении Шолохова

Джек Линдсей, *Англия*

Я с радостью узнал о предложении г-на Шолохова относительно «круглого стола», вокруг которого могли бы собраться писатели всего мира. Я считаю, что сейчас наступил момент, наиболее подходящий для такой встречи.

По моему мнению, писатели должны были бы обсудить во время этой встречи вопросы, касающиеся их ремесла, а не высказывать только соображения общего порядка. Нет необходимости говорить, что слово «ремесло» употреблено здесь не в узком смысле. Я хочу только сказать, что мы, писатели, должны заниматься теми вопросами, на которые указывает нам развитие истории и жизнь нашего народа, а также вопросом о том, как мы выполняем наш писательский долг.

Я уверен, что такой конгресс мог бы дать огромные результаты. Он выявил бы гуманную основу, общую для всех его участников, и помог бы им составить конкретное представление об обязанностях, налагаемых на них искусством.

Мы должны проявить добрую волю

Лоуренс Хаусмен, *Англия*

Я полностью поддерживаю предложение о проведении Международной конференции писателей. Эта конференция будет иметь большое значение, ибо наши убеждения и взгляды различны и мы получим возможность обменяться ими, проявляя при этом добрую волю и руководствуясь общей целью.

Лучше узнать друг друга

Франц Элленс, *Бельгия*

Я одобряю предложение Михаила Шолохова о том, чтобы собрать писателей всех направлений, убеждений и национальностей вокруг «круглого стола», с тем чтобы они лучше узнали друг друга и с пользой обменялись мнениями по вопросам своего творчества.

Наиболее широкий культурный обмен между писателями всех стран может лишь содействовать делу мира сердец и умов.

Призыв Шолохова требует конкретных дел

Богомил Нонев, *Болгария*

От совместных усилий всех мыслящих людей, несущих ответственность за будущее культуры, зависит то, чтобы завоевания человеческого гения служили только прогрессу и счастью человечества. Мы, болгарские писатели и журналисты, хотели бы позвать за наш гостеприимный «круглый стол» писателей других стран для того, чтобы поговорить о той большой ответственности, которая лежит на писателях нашей современности, о больших задачах

литературы, о том, как мы должны отражать жизнь. Это будет свободный, откровенный разговор, разговор о жизни, людях и литературе.

Мы верим в нашу правду, в наши духовные искания, в наши глубоко человеческие стремления. Верим, что они будут поняты теми, кто не думает так, как мы, но так же ищет пути для развития культуры. Призыв Шолохова ждет не только слов, отзывов, деклараций. Он требует конкретных дел. Ответим делами.

Нанести новое поражение холодной войне

Арнольд Цвейг, *Германская Демократическая Республика*

Предложение Шолохова о проведении Международной конференции писателей может, на мой взгляд, увенчаться успехом лишь в том случае, если нам удастся привлечь к участию в этой конференции видных американских писателей. Эти последние должны были бы добиться от своего правительства разрешения пригласить нас на эту конференцию в США и на выдачу нам необходимых виз. Таким образом, можно было бы содействовать достижению согласия между обоими лагерями, на которые разделяется в настоящий момент земной шар, и нанести новое поражение холодной войне. Мы имели бы, таким образом, возможность поговорить с Лионом Фейхтвангером и попросить его выступить перед нами, а также представить писателей Китайской Народной Республики американской общественности.

Приветствую международное сотрудничество писателей

Пауль Дистельбарт, *Федеративная Республика Германии*

Будучи писателем, который в своей деятельности всегда стремился к развитию дружеских связей между народами, я, конечно, приветствую мысль об установлении международного сотрудничества между писателями и признаю необходимость организовать в этих целях большую международную встречу.

Однако мне кажется, что нужно было бы постараться избежать того, чтобы создалось впечатление, будто существует намерение подчинить литературу одному направлению, безразлично какого характера.

Писатель, достойный этого звания, поддержит предложение Шолохова

Леонгард Франк, *Федеративная Республика Германии*

Всякий писатель, достойный этого звания, от всего сердца поддержит предложение Шолохова.

Настало, наконец, время обсудить на международном конгрессе тот спорный пункт, который более всех других разделяет сторонников и руководителей различных экономических систем, а именно, пресловутый вопрос об отсутствии свободы в социалистических странах и о свободе в странах капиталистических — той свободе, которую Анатоль Франс определил следующим образом (к сожалению, я не могу привести эту цитату дословно, но мысль автора передаю правильно): «Беднякам, как и богачам, запрещается спать под мостами и воровать хлеб».

Наше плодотворное общение позволит сделать многое

Сибилла Алерамо, *Италия*

Я не имела удовольствия встретиться с Михаилом Шолоховым, когда была в Москве в августе—сентябре 1952 года. Я не видела его также и в тот день, когда была приглашена в Союз Советских писателей. Если бы я встретилась с Шолоховым, я высказала бы ему свое глубокое восхищение «Тихим Доном».

Как интересовались собравшиеся там советские люди моей страной, как жадно расспрашивали они меня о жизни, о литературе и искусстве современной Италии, с каким интересом говорили они об обмене литературными произведениями! Призыв, с которым Шолохов недавно обратился к писателям всего мира, ясно звучал уже в тот сентябрьский вечер 1952 года в Москве, в словах, обращенных ко мне и проникнутых таким теплом и пониманием.

За прошедшее с тех пор время удалось уже кое-что сделать, но гораздо больше еще будет сделано во всех странах в результате нашего плодотворного и тесного общения.

Литературные связи между Западом и Востоком необходимы

Альберто Моравиа, *Италия*

Предложение Шолохова, обращенное к писателям всего мира, не может не встретить благоприятного отклика у тех, кто, как и я, всегда считал, что культурные

связи между Западом и Востоком не только полезны, но и необходимы. Однако следовало бы условиться о том, что́ мы понимаем под этой благородной, но, как мне кажется, пока еще несколько общей формулой «круглого стола». Я думаю, что если международную встречу хотели бы организовать сейчас, то она, пожалуй, была бы преждевременной. До того, как собирать писателей всего мира на совещание в целях «ослабления напряженности», следовало бы подготовить это ослабление проведением соответствующей работы по распространению и переводу произведений советских писателей в западных странах и произведений западных авторов в Советском Союзе. Иными словами, встреча с советскими писателями сможет быть плодотворной лишь при условии, если заранее будут знать, с кем имеют дело; это же относится и к писателям Запада.

Тогда «круглый стол», т. е. встреча писателей всего мира, стала бы в высшей степени полезной в целях сопоставления, дискуссии и примирения на основе лучшего знакомства друг с другом, на почве взаимного уважения. В противном случае мы рискуем собрать незнакомых между собой людей и придать дискуссии и выяснению наших позиций поверхностный характер.

Приведу один только пример. Социалистический реализм и реализм западной литературы сильно отличаются друг от друга; как же сможет понять то, что я думаю по этому поводу, и обсуждать эти вопросы Шолохов, если он не знаком с моими произведениями? Разумеется, я без всяких оговорок согласен встретиться с советскими писателями хоть сейчас, но тогда не следовало бы строить иллюзий по поводу характера такой встречи — она носила бы несколько абстрактный и, быть может, не вполне литературный характер. Как бы то ни было, хорошо, что выдвигаются такие предложения; во всяком случае, они свидетельствуют о том, что мир приходит в движение и что так называемые «занавесы» не имеют отношения к культуре.

Мысли о литературе

Дайсон Картер, Канада

Письмо Михаила Шолохова, напечатанное во втором номере вашего журнала за прошлый год, глубоко взволновало меня. Я посылаю этот ответ в надежде, что таким образом поделюсь своими мыслями со многими советскими писателями и их читателями.

Я выступаю сейчас как литератор, которому посчастливилось воспользоваться советским гостеприимством. Мне выпала честь увидеть свои произведения напечатанными в СССР. Я очень много почерпнул из статей советской литературной критики. Именно исходя из этого своего личного опыта, я не могу не согласиться от всего сердца с основными положениями письма Шолохова. Весь советский народ вносит свой, с каждым годом растущий, вклад в мировую культуру. Да, именно вы показываете всему миру, как велико значение культурного обмена, каким стимулом для развития этой культуры являются все формы духовного общения.

Я обращаюсь к Шолохову и ко всем советским деятелям культуры: «Говорите об этом громче, чаще, потому что ваши голоса звучат все яснее во всех уголках мира». Советские читатели тоже должны искать пути, чтобы перебросить мосты через океаны. Позвольте мне привести один пример. Миллионам советских людей известны книги любимых наших канадских писателей Сетона-Томпсона и Ликока. Но мы об этом никогда ничего не слыхали. Только в 1955 году Канада узнала, что ее литературу знают и любят в огромном Советском Союзе. Когда я пишу эти строки, известный канадский критик (представляющий газету «Глоб энд мейл») с изумлением рассказывает о том, что советские читатели раскупили три миллиона книг канадских авторов, переведенных на двадцать один язык *.

Для канадцев это звучит почти невероятно и, разумеется, очень внушительно. Но ведь об этом нужно было сообщить нам давно. Однако даже и теперь советские читатели, которые наслаждаются книгами Сетона-Томпсона, должны найти способ рассказать канадцам о том, каким успехом в Советском Союзе пользуются наши книги. Я убежден, что все сказанное относится и к литературе других стран.

Мне нелегко продолжать это письмо. Романы М. Шолохова были первыми книгами советского автора, которые я прочитал. Двадцать пять лет я любил эти книги, восхищался ими, изучал их. Поэтому-то мне нелегко спорить с Шолоховым.

А я вынужден с ним не согласиться. Ведь в своем письме Шолохов говорит, что у писателей разных стран мира могут быть разные взгляды, но их объединяет одно: стремление быть полезным человеку.

Советские друзья, *это неправильно!* Неприглядная действительность современного мира свидетельствует о том, что писателей можно найти и среди злейших врагов человечества. Максим Горький это понимал. Но, быть может, с того времени мир сильно переменился и теперь все писатели стали служить народу? Нет, это не так! Самое резкое осуждение, когда-либо брошенное Горьким в лицо продажным писателям капиталистического лагеря, прозвучало бы слишком слабо в наши дни. Ведь те самые враждебные народу интеллигенты, которые при жизни Горького служили эксплуататорам и колонизаторам лишь «в ограниченной степени», сейчас выступают в качестве

---

* По данным Всесоюзной Книжной Палаты на 1 апреля 1956 г. в СССР издано 4.582 тыс. экземпляров книг канадских писателей на 21 языке.

глашатаев водородной войны против всего человечества.

Я понимаю, что недостаточно только критиковать, нужно также обосновать и разъяснить свою точку зрения. Что ж, объяснение найти нетрудно. Вы, советские писатели, занятые своими неотложными творческими задачами, часто выступаете со взаимной резкой критикой, иной раз недостаточно учитывая исторические завоевания Великой Октябрьской социалистической революции в области культуры. Октябрьская революция впервые в истории раскрепостила человеческий интеллект. Вы росли в этом освобожденном мире. Гуманизм вашего социалистического государства кажется вам столь же естественным, как свежий воздух, которым вы дышите.

У нас в Канаде есть старая поговорка: «Привычка рождает равнодушие».

Нет, вы не равнодушны к прекрасной свободе, рожденной гуманизмом. Но я неоднократно замечал, что вы слишком привыкли к ней и считаете ее чем-то само собой разумеющимся. Вот почему вам грозит опасность поддаться той или иной чудовищной иллюзии, когда вы смотрите на человеконенавистнический мир эксплуататоров.

Отвечая некоторым газетным репортерам, Н. С. Хрущев прямо сказал, что они были бы обречены на безработицу, если бы писали правду о Советском Союзе. Это очень правильное замечание. Но, говоря об этом положении в применении к литературной жизни, можно пойти дальше. В капиталистическом мире писатели обрекают себя на голодную смерть, даже если они говорят правду о странах, в которых живут.

Вы хотите примеров? Могу назвать самого себя. До начала «холодной войны» мой роман (к тому же не очень удачный) был отмечен благосклонными рецензиями в большинстве крупных газет и распродан более, чем в семи миллионах экземпляров в Канаде, Англии и США. Его можно было купить в любом американском книжном киоске. Но о двух романах, выпущенных мной после этого (по общему мнению, гораздо лучших, чем первый), не было сказано ни слова ни в одной из газет «с весом»; ни один книготорговец не станет и смотреть на книгу, написанную мною.

То, что случилось со мной, особенно знаменательно потому, что я был не «просто» романистом, но пользовался известностью у многих миллионов читателей во всех странах английского языка еще и как автор брошюр и журнальных статей. Канадское радио передавало на всю страну мои специально для радио написанные пьесы. Радиосеть «Колумбия» в США транслировала мои постановки для детей в своих межконтинентальных передачах.

Но достаточно было одного приказа повелителей «западной культуры», чтобы от моего литературного имени не осталось и следа. И сразу же пропало то, что торгаши называют рынком. За одну ночь я был лишен всех источников дохода.

С голоду я не умер только потому, что сумел прокормить себя другой работой; но писать мне приходится «в свободное время». Вместе с тем следует отметить, что в Канаде мы пока сумели избежать отвратительных болезней, распространенных в Соединенных Штатах,— маккартизма, «охоты на ведьм» и расправ по «суду Линча». Но и в таких условиях правящие классы нашей страны в состоянии заглушить, или, точнее, вырвать с корнем, почти каждый росток правды в литературе. Я мог бы назвать здесь, по крайней мере, нескольких талантливых канадских писателей — молодых и пожилых,— ввергнутых в отчаяние, ищущих выход в горьком цинизме из-за того, что их произведения покрываются пылью на полках, а «жемчужины», созданные их продажными современниками, — книги, столь точно названные Н. С. Хрущевым макулатурой,— объявляются подлинной канадской литературой.

Выдающийся поэт Канады Уилсон Макдональд, которого Бернард Шоу назвал величайшим из современных поэтов, пишущих на английском языке, даже теперь, в возрасте 75 лет, остается непризнанным. Университет, который он окончил, отказывается включить его в число общепризнанных канадских поэтов. На каком основании? Чем он провинился? Целых полвека Макдональд неустанно обрушивал проклятья на головы поджигателей войны. Великий вождь китайского народа Мао Цзэдун однажды выступал на эту тему. Он ответил на жгучий вопрос: каким образом эксплуататорам и поджигателям войны удается сохранить свое господство? Мао Цзэ-дун сказал, что они в состоянии заставить людей выполнять свои приказы только потому, что и в области идеологии применяют принуждение и насилие. С моей точки зрения, это — величайшая истина для литературы нашей эпохи.

Но задайте себе вопрос: кто же поставляет поджигателям войны оружие в области идеологической борьбы?

Не генералы, не члены правления корпорации «Дженерал моторс». Наемные писатели, люди таланта. Именно они, эти отвратительные существа, и пользуются своим интеллектом для того, чтобы ослеплять и лишать рассудка своих ближних!

Я понимаю, что, настаивая на этой точке зрения, я могу быть неправильно понят. Позвольте заверить вас, что я не отворачиваюсь ни от кого из писателей только из-за того, что он (или она) не являются активными поборниками дела мира и социального прогресса.

В Европе, на Дальнем Востоке, в Южной Америке и, в меньшей степени, в Англии, Канаде и США работают писатели, которых можно назвать «братьями по перу», хотя то, что выходит из-под этого пера, не во всем отвечает вкусам культурных людей в странах социализма.

Вы, советские писатели, решите задачу

исключительной важности, если сумеете найти пути к сближению с такими писателями из капиталистических стран. Очень часто их неприязнь к советской литературе вызывается не злобой, а неосведомленностью.

Вспоминая тех из них, кто мне лично знаком, я прошу вас, советские писатели, найти нужный подход к таким честным художникам в разных странах мира.

Проявляйте терпение, не поддавайтесь чувству обиды, будьте тверды и знайте, что не вы, а они нуждаются в вашей помощи, в вашем вдохновляющем примере. Вы знаете, я в этом уверен, что для небольшой группы иностранных писателей, которые идут в ногу с вами по пути социалистического реализма, ваша поддержка, ваше поощрение и, когда оно заслужено, ваше признание дороже жизни. Я говорю это от всего сердца: ведь мы участвуем в жестокой борьбе и часто ведем ее в одиночку.

Когда я читаю о ваших спорах и дискуссиях, мне кажется, что даже в мире социализма еще не до конца решен волнующий вопрос о роли и месте писателя в обществе.

Если это так, то вы сможете понять, как порой тернист путь прогрессивного писателя в капиталистических странах. Я сейчас говорю не столько о закаленных жизнью людях, которые, подобно мне, имеют счастье «быть сделанными из другого теста»; я говорю о блестяще одаренных, незрелых юношах.

Можете ли вы, советские писатели и издатели, протянуть руку дружбы молодым, неизвестным, растущим поэтам, драматургам и прозаикам за рубежами вашей страны?

Я не могу закончить это письмо, не коснувшись вопросов, которые всегда возникают в беседах между честными писателями: я говорю о вопросах творчества. Прежде всего, я должен напомнить вам, советские писатели, что перед писателями, подобными мне, стоит один «творческий вопрос», заслоняющий все остальные. Это вопрос о том, как заработать на жизнь себе и семье и в то же время продолжать писать. Иногда он стоит особенно остро. Однако есть известные преимущества и в том, что приходится творить в таких условиях: писатель становится довольно равнодушным ко многим «психологическим» тонкостям, с которыми он обычно возится, если обеспечен и процветает.

Когда передо мной встают творческие проблемы, я считаю нужным искать помощи и совета. Вот почему английские переводы советских книг, журнал «Советская литература» и издания ВОКС'а, питают мое творчество, как хлеб голодного.

Как писатель, я учусь у советской литературы. Мне не хватает слов, чтобы выразить свою благодарность советским писателям и критикам. Я люблю Шолохова, Фадеева, Эренбурга, Полевого — все ваши «большие имена». И в то же время я рад встретить каждое новое имя на обложках ваших книг.

Когда я был в вашей стране, я обсуждал с группой советских писателей проблему изображения труда в современном романе.

Эту проблему я пытался раскрыть в своей последней книге «Сыновья без отцов», посвященной канадским шахтерам.

Я уже получил чудесные письма от некоторых шахтеров. Но я очень хотел бы услышать отзывы советских людей и притом не только критиков, но и рабочих.

Я убежден, что у писателей всех стран, в том числе советских писателей, впереди большие творческие достижения в изображении поэзии труда.

Для своего творческого роста я считаю необходимым изучать особенности родного языка, отбирать слова. Я хотел бы высказать вот какое пожелание: изучайте языки мира, и вы найдете в них огромные богатства, целые россыпи слов, полных истинной страсти и глубокой мысли, повествующих о человеческой трагедии, слов, способных выразить все обиды и всю горечь, испытываемые страдающим человечеством. И разве может быть иначе, друзья? Ведь язык — продукт нашего исторического развития. И весь он пропитан слезами и кровью, пролитыми человечеством за многие столетия классовой борьбы.

Сегодня вы, советские писатели, творите новую литературу Торжествующего Человека. Вы должны пойти еще дальше. Вам предстоит дать миру литературу Счастливого Человека. Чтобы сделать это, вы должны искать, бережно развивать и обогащать словарь Счастья.

В заключение скажу: от всего сердца поддерживаю предложение Шолохова о том, чтобы публиковать в вашем журнале письма советских читателей о произведениях иностранных авторов. Для меня лично такие отзывы были бы бесценными. Мне кажется, что в журнале «Иностранная литература» нужно отвести целый раздел для таких критических материалов.

Дорогие советские товарищи! Мы с женой шлем наш теплый привет всем тем, с кем мы встречались в 1953 году в Союзе писателей в Москве и в Ереване, и всем тем, с кем мы пока встречались только на страницах ваших книг. Наше самое горячее желание увидеть вас когда-нибудь в нашей родной стране.

Пусть крепнет и процветает прогрессивная народная культура во всех странах мира!

Общая цель писателей: счастье человечества и мир во всем мире!

***Ба Цзинь**, Китай*

Я прочел письмо товарища Шолохова в редакцию журнала «Иностранная литература». По-моему, предложения его очень

интересны. Но сейчас я хочу поговорить лишь об одном — о конференции писателей мира. Я полностью согласен со следующими словами: «У писателей всего мира должен быть свой «круглый стол». Действительно, мы уже достаточно много говорили со своими читателями; почему бы нам теперь не поговорить друг с другом лично, в непринужденной обстановке? У всех нас наверняка найдется, о чем поговорить. Мы смогли бы назвать место для созыва всемирной конференции писателей, приемлемое для всех наших коллег из других стран. Это чрезвычайно важное мероприятие.

Не следует думать, что между нами, писателями разных стран, существуют какие-то неразрешимые споры или недоразумения. Вовсе нет. Каждому из нас может быть присуща индивидуальная творческая манера, и мы свободны в выборе той или иной темы. Естественно, и наш образ жизни не таков, как у наших коллег в Америке, Англии и в других странах, а наш взгляд на вещи, возможно, не совпадает с их взглядами. Однако как писатели — и американцы, и японцы, и китайцы — все мы имеем общую цель: счастье человечества и мир во всем мире.

Я думаю, что не существует писателей, которые мечтали бы нажиться на страданиях человечества и на ужасах мировой войны, если только такие писатели не состоят советниками при фабрикантах оружия или не живут на подачки военного министерства. Однако подобные люди были бы недостойны звания писателя, да никто и не пожелал бы назвать их писателями. Все литераторы берутся за перо лишь для того, чтобы способствовать взаимопониманию между людьми и укреплять дружбу между различными нациями. Все писатели служат народу своими произведениями, зовут людей вперед, укрепляют духовные связи между народами, пробуждают своими творениями все прекрасное, доброе и светлое в душе человека. Все писатели любят родину, народ, человечество, жизнь. В этом и состоит великое назначение литературы, это и есть то бессмертное дело, которое поддерживалось общими усилиями наших великих предшественников — Данте, Шекспира, Сервантеса, Гете, Гюго, Толстого. Но вот уж много лет заговорщики, пытающиеся расколоть человечество, авантюристы, пытающиеся монополизировать мировые рынки, всевозможными средствами стремятся нанести ущерб этому делу и погубить его. Они не перестают сеять конфликты, пытаясь расколоть и ввергнуть мир в страдания. И мы, писатели разных стран, обязаны укреплять взаимопонимание между людьми, содействовать устранению конфликтов, раскола и страданий, существующих на земле. Поэтому мы прежде всего должны усилить сплоченность писателей разных стран, укрепить нашу дружбу. Мы должны выделить то общее, что нас объединяет, и дружно сплотиться на этой основе. Давайте же поговорим откровенно друг с другом, давайте совместно подумаем над тем, как защитить наше общее дело — литературу, как лучше приложить творческие силы, чтобы принести счастье и надежду человечеству, нашим бесчисленным читателям.

Я думаю, что сейчас для нас настало время собраться. Люди ждут от нас этого. Ждут этого и все наши читатели.

Такая встреча была бы только на пользу нашему кровному делу — литературе.

Все китайские писатели поддержат предложение Шолохова

***Лао Шэ**, Китай*

Приветствую и поддерживаю предложение Шолохова относительно созыва конференции писателей всех стран. Я уверен, что все китайские писатели также будут приветствовать и поддерживать это предложение.

Созвать такую конференцию для обогащения писательского опыта на основе обмена мыслей, конференцию для укрепления мира во всем мире путем развития дружественных связей между писателями — совершенно необходимо. Горячо желаю, чтобы эта конференция состоялась как можно скорее.

Народы мира стремятся к расширению культурного обмена

***Мао Дунь**, Китай*

С огромной радостью прочел я обращение товарища Шолохова к писателям мира и полностью согласен с его своевременным, ценным предложением. Писателям уже давно следовало бы собраться за своим «круглым столом» для содействия международному культурному обмену и для установления дружеских отношений и единства писателей всех стран. Предложение о созыве писательской конференции выражает чаяния не одного только Шолохова, но и отвечает пожеланиям писателей всех стран мира. Это видно уже по тому живому интересу, с каким они откликнулись на это предложение.

Некоторые опасаются, что на писательской конференции «круглого стола» между писателями возникнут разногласия. Я думаю, что опасаться этого не следует. Конечно, взгляды различных писателей на политику, литературу, искусство и т. д. не могут быть полностью тождественны, но в одном вопросе, касающемся судьбы всего

человечества, их взгляды могут и должны сойтись: это вопрос упрочения мира во всем мире и расширения международных культурных связей. Что плохого в том, если писатели соберутся за «круглым столом», откровенно и свободно выскажутся и обменяются мнениями по интересующим их всех вопросам, чтобы еще больше углубить взаимопонимание между народами.

Каждый народ хочет видеть культуру своей страны богатой и цветущей, хочет сделать свои культурные ценности достоянием всех народов мира и вместе с тем желает обогатиться за счет больших культурных достижений других стран. Если обратиться к истории мировой культуры, то можно увидеть, что с глубокой древности народы мира стремились к установлению всеобъемлющего, тесного общения в области культуры, и пионерами в этом деле были именно писатели. Однако за последнее время культурные связи между некоторыми странами были искусственно прерваны и несколько наладились лишь в прошлом году благодаря общим усилиям народов всех стран. Все же это улучшение в области международного культурного обмена еще совершенно недостаточно и в дальнейшем необходимо стремиться к его расширению. Этого желает как китайский народ, так и народы всего мира.

Я надеюсь, что писатели всех стран, напутствуемые своими народами, соберутся на конференцию «круглого стола» для дружеской беседы. Я глубоко уверен, что очень легко понять язык, на котором говорит народ, и что писатели хорошо владеют этим языком. Они бы очень скоро нашли общий язык для своих бесед.

Нельзя больше медлить с установлением отношений взаимоуважения, взаимопонимания между писателями мира, необходим обмен творческим опытом. Сегодня более чем когда-либо чувствуется настоятельная необходимость расширить международный культурный обмен, установить искренние дружеские отношения между народами всех стран. Так соберемся же под одной крышей, писатели, если вы любите народ, свободу, культуру!

Я предлагаю, чтобы эта международная конференция была созвана Бюро Всемирного Совета Мира. Ведь всем известно, что писатели, участвовавшие во Всемирном (Венском) конгрессе народов в защиту мира в 1952 году и в других конгрессах, следовавших за ним, неоднократно выражали такое пожелание. Будем же надеяться, что в недалеком будущем писатели всех стран встретятся за «круглым столом».

Нам нужен мир и тесное культурное сотрудничество

Цао Юй, *Китай*

Я полностью присоединяюсь к предложению Шолохова относительно созыва конференции «круглого стола» писателей мира, так как оно отражает общие чаяния, наши и наших читателей.

Нам нужен мир, дружба, тесное культурное сотрудничество, а не холодная война и искусственно созданная отчужденность, существующая в отношениях между некоторыми странами. Мы, китайские писатели, будем только рады беседе с людьми различных с нашими взглядов, с писателями разных направлений.

Многочисленные гости из стран с иным, чем у нас, общественным устройством, посетившие Пекин после его освобождения, могли воочию убедиться в нашем желании установить тесные культурные связи с народами всех стран мира. Мы считаем, что мирное сосуществование и расцвет человеческой культуры — это то, к чему мы должны стремиться в интересах грядущих поколений.

Писатели всего мира должны прийти к взаимопониманию. Нам недостаточно обмениваться мыслями и суждениями лишь с помощью произведений, которые мы пишем. Мы должны встретиться для свободного и непринужденного обсуждения вопроса, который нас повседневно волнует — как добиться того, чтобы наш труд стал еще более полезен для человечества в его настоящем и будущем. В Китае есть старинная поговорка: «Проточная вода не гниет». Мы должны стремиться к тому, чтобы и наши взгляды напоминали проточную воду, чтобы они легко и свободно развивались и совершенствовались. Пусть наши глаза видят не только то, что находится прямо перед нами; пусть желание узнать ближе друг друга при личной встрече, любовь к миру и культуре, стремление быть полезным человечеству ярко вспыхнут в сердцах наших коллег из других стран.

Я верю, что наша конференция будет успешной. Наши намерения искренни, мы сможем найти общий язык.

Международная конференция писателей будет плодотворной

Реви Аллей, *Новая Зеландия*

Я считаю, что Международная конференция писателей, проведенная в той форме, которую предлагает Михаил Шолохов, будет очень плодотворной. Широкое распространение лучших произведений мировой литературы, несомненно, принесет бо́льшую пользу, чем популяризация водородных бомб и бактериологического оружия.

Мне кажется, что в этой конференции должны принять участие не только писатели, но также переводчики и редакторы. Издание журнала на наиболее распространенных языках, безусловно, явилось бы положительным результатом конференции, проведение которой предложено так своевременно.

„Круглый стол“ желателен

Камил Петреску, Румыния

Можно сказать, что существует два рода писателей. Одни, чемпионы виртуозности, предпочитают удивлять своими победами над техническими трудностями. Подобные писатели в той или иной степени предпочитают заточать себя в башни из слоновой кости. К другому роду писателей относятся те, кто проникает разумом в окружающий мир. Свет их имени обогащает зрение поколений, отвоевывает часть пространства у областей, издревле находящихся во власти тьмы, устраняет всевозможные препятствия, украшает человеческое существование, сближает тех, кто на разных широтах склоняется над страницами книг. Может быть, только они и достойны звания писателей.

На мой взгляд, не может быть никакого сомнения, что в настоящее время встреча подобных людей принесет миру только благо.

Нужно приветствовать и решительно поддерживать проявленную одним из крупнейших романистов нашего времени, представителем великой литературы, инициативу объединить всех ведущих писателей мира для разговора за «круглым столом».

Общий язык

Чезар Петреску, Румыния

Призыв Михаила Шолохова, советского романиста с мировой славой, к писателям всего мира собраться за «круглым столом» для того, чтобы лучше узнать друг друга и обсудить основные принципы творчества в нашу подлинно переломную эпоху в истории человечества, не остался без ответа.

Как и можно было ожидать, от Италии до Индии откликнулось множество голосов, пытающихся найти наиболее практический способ для того, чтобы перейти от слов к делу. Необходимость в этом чувствовали и чувствуют все писатели повсюду, независимо от их стремлений, писатели всех стран и широт, живущие под разными созвездиями.

Но то, что эта мысль исходит от Михаила Шолохова, соотечественника и последователя Льва Толстого,— это не просто случайность. Это логическое историческое развитие давней традиции.

За будущим писательским «круглым столом» каждый предстанет со своими вопросами и своим опытом, приобретенным за рабочим столом, для того, чтобы вернуться домой, на родину к тому же письменному столу с сознанием, обогащенным новыми понятиями и опытом, позаимствованным за «круглым столом» международного писательского собрания. И каждый, что в особенности важно, вернулся бы с окрепшей уверенностью, что он может служить своим творчеством великому человечеству, миру, прогрессу, добру и возвышению людей тем больше, чем тоньше и точнее он сумеет передать сущность его родины, его народа. Ибо завтрашняя гармония человечества будет основана на различиях между народами, на полном расцвете национальной специфики, а не на серости и невозможном для природы единообразии, точно так же, как божественные симфонии Бетховена родились из соответствия и гармонизации самых разнообразных звуков, издаваемых самыми различными инструментами благодаря единой оркестровке.

«Глубоко убежден, что мы найдем общий язык» — заключает свое письмо Шолохов. Кто же может в этом сомневаться, если язык писателей из самых отдаленных и отличных друг от друга стран нашел доступ к миллионам и миллионам читателей на других континентах, говорящих на других языках, имеющих иные традиции и общественные формации, живущих под другими созвездиями? Писатель, постигший все тайны и оттенки слова, все равно найдет общепонятный язык; как американские читатели понимают Пьера Безухова или Григория Мелехова, героев другого мира и другого материка, так и американский писатель разве не найдет общепонятный язык с писателями советскими?

Трудным будет только первый шаг. Правильнее его было бы назвать не «первым шагом», а продолжением шагов, предпринятых передовыми людьми нашего поколения по дороге, которая должна быть теперь расширена и утоптана, очищена от колючек и шипов, усеявших ее в последнее время. Внимательно всматриваясь в прошлое, мы видим, что связь между писателями различных народов и стран, так далеко отстоящих друг от друга на карте, возникала не однажды, не в одной единственной форме и не под единственным предлогом.

Разве что-нибудь иное, а не эту связь представляет собой гигантский вклад литературных переводов, этот подлинный литературный осмос, который осуществляют писатели-побратимы, понимающие один и тот же язык, хотя дома у себя они и говорят по-разному? Что, как не такую связь (в другой форме ее проявления), представляло собой письмо Анатоля Франса в 1905 году, которое способствовало освобождению молодого и далекого собрата по перу, Максима Горького, арестованного полицией после «кровавого воскресенья»? Разве это не был голос писателя, адресованный другому писателю через страны и границы, через головы тех, кто верил тогда, что властвует над границами и народами? Все они исчезли, и праха от них не осталось. А книги Анатоля Франса и Максима Горького остались живыми, существуют, чтобы руководить умами народов и людей. Пусть они всех нас ведут к тому общему

будущему человечества, о котором они мечтали, за которое боролись вчера своим творчеством и которое созидается сегодня на наших глазах и при нашем всеобщем участии.

Вот на что хотел я в основном указать, если есть еще надобность в какой-либо поддержке выдвинутой идеи.

Я считаю предложение Шолохова своевременным

Мунир Сулейман, *Сирия*

Я считаю, что арабские писатели не могут отнестись безразлично к предложению знаменитого советского писателя Шолохова собрать вокруг «круглого стола» писателей всех убеждений и всех стран.

Арабская литература в лучшие периоды своей истории всегда провозглашала необходимость сотрудничества между людьми всего мира в области философии, науки и искусства.

Я считаю предложение г-на Шолохова своевременным и заслуживающим поддержки.

Кроме того, публикация журналом «Иностранная литература» произведений современных писателей, представляющих литературы отдельных стран, также не может не вызывать интереса у арабских писателей, так как самая сущность арабской литературы заключается в том, чтобы способствовать распространению произведений культуры и быть орудием установления лучших отношений между всеми цивилизациями и всеми странами.

Будучи арабским писателем, сохраняющим верность традиции нашей литературы и нашей эпохи, я не могу не отнестись положительно к этой дискуссии как в политическом, так и в культурном плане.

Я приветствую «круглый стол» и автора «Поднятой целины»

Мы от всего сердца присоединимся к вам

Рокуэлл Кент, *США*

С глубоким интересом прочел я письмо Михаила Шолохова.

Как известно, отказ в выдаче паспортов американцам, которые на основании слов, действий или членства в той или иной ассоциации считаются принадлежащими к левому направлению, не дает нам возможности (по крайней мере в течение некоторого времени) участвовать в конференциях, вроде той, которая проектируется в настоящее время, если только она не состоится в Мексике или Канаде. Кроме того, нажим экономического порядка, примененный по отношению к американцам, якобы занимающимся подрывной деятельностью, не дает большинству из нас возможности производить расходы, связанные с поездкой. Поэтому мы фактически можем высказывать свое мнение об этом предложении в качестве «посторонних»; более того, мы вынуждены делать это в качестве частных лиц, не входящих ни в одну писательскую организацию, так как проводящиеся сейчас репрессии, при которых применяется запугивание, полностью уничтожили наши объединения.

Та социальная ответственность, которую чувствуют и отражают в своих произведениях наши писатели, является скорее выражением социального сознания отдельных лиц, чем движением. Вследствие этого (я говорю сейчас только от своего имени) я пришел к заключению, что творческая индивидуальность, способная устоять против «укусов» критики, является качеством, которое может придать работе художника неповторимый характер, а также сделать ее ценной не только в настоящее время, но, возможно, и в будущем. Каким образом должен я писать или рисовать, это касается только меня самого и никоим образом не может быть изменено в результате дискуссии с другими писателями.

С другой стороны, то сознание, которое, по моему мнению, должно найти собственную форму выражения, является продуктом социальным, могущим подвергаться воздействию всевозможных советов, критики и примеров, черпаемых из жизненного опыта. Конференция, предложенная г-ном Шолоховым, могла бы содействовать развитию этого сознания у художников в целях более активной и верной службы человечеству. Но значительно большей услугой, которая, по моему мнению, могла бы быть оказана им, это указать художникам на их долг по отношению к человечеству, добиться их участия в различных собраниях работников умственного труда всех стран, а также участия их объединений — в массовых движениях и всемирных конгрессах. Короче говоря, я склонен думать, что дискуссия, проведенная на профессиональном уровне, не имеет такого значения, как более активное участие в массовых движениях. Но, как я говорил уже в начале этого письма, для участия американских писателей требуется, чтобы в Америке было восстановлено старое право свободы путешествий и исчез тот страх, который парализует наше искусство. Сейчас эту задачу должны решать мы сами. И я заверяю вас, братья, что недалек тот час, когда наши свободы будут восстановлены, и мы от всего сердца присоединимся ко всем вашим мероприятиям.

Американцы должны участвовать в международной встрече писателей

Говард Фаст, США

Я считаю, что международная конференция писателей принесла бы неоценимую пользу делу защиты мира. Однако это в значительной мере будет зависеть от ее состава и того направления, которое будет ей придано. Если допустят, чтобы конференция превратилась только в обмен мнениями относительно идеологических убеждений, который повлечет за собой оскорбления и личный антагонизм, результаты будут противоположны тем, которых ожидают, и это лишь усилит аргументы, выдвигаемые лагерем войны. Из всех видов международных конференций писательская конференция ставит самое большое число вопросов и должна быть проведена с наибольшим пониманием дела и с наибольшим тактом. В тот период истории, который мы сейчас переживаем, она никоим образом не должна носить политического характера; более того, ее состав не должен быть ограничен писателями, присоединившимися к движению сторонников мира.

Как вам, конечно, известно, крупнейшие американские прогрессивные писатели не могут покинуть пределы своей страны. Вопрос об их праве на поездки должен быть рассмотрен со всей серьезностью; нужно требовать восстановления этих прав, что является одним из основных факторов в деле подготовки такой встречи. Организаторы встречи должны приложить все усилия к тому, чтобы добиться участия в ней американцев.

Встречи писателей всех стран могли бы быть полезными

Андре Моруа, Франция

Я считаю, что встречи писателей всех стран могли бы быть полезными. Люди похожи друг на друга больше, чем они это думают. Такая встреча дала бы им возможность выявить их общие страсти и увлечения.

Однако, такой «круглый стол» не должен служить целям пропаганды. Диалог будет плодотворным лишь в том случае, если он будет свободным. Возможно ли это? В этом заключается весь вопрос.

Нас объединяет стремление быть полезным человеку

Эммануэль Роблес, Франция

Я всегда присоединяюсь к любому начинанию, которое направлено на разрушение (если не полное, то хотя бы частичное) крепости взаимного непонимания. Я полностью присоединяюсь к утверждению Шолохова относительно того, что у нас могут быть различные мнения, но всех нас объединяет одно стремление — быть полезным человеку. Я одобряю как мысль о печатном органе, где писатели могли бы регулярно обмениваться мнениями, так и предложение о проведении встреч, которые позволили бы каждому из них установить столь же необходимый личный контакт.

Эта конференция явится зеркалом, в котором весь мир сможет увидеть себя

Хироси Нома, Япония

С большим удовольствием я ознакомился с предложением г-на Шолохова.

Я уверен, что в момент, когда дух Женевского совещания способствовал тому, что над Японией взошла заря нового мира, и когда в связи с этим должна значительно улучшиться внутренняя и международная обстановка, предложение Шолохова расширить культурный обмен, в основе которого лежал бы «дух Женевы», является весьма своевременным.

Эта конференция явится зеркалом, в котором весь мир сможет увидеть себя.

Молодые японские писатели ждут с большим нетерпением от народов всех стран объективной оценки их литературных произведений.

Различные мнения, высказанные со всей искренностью иностранными читателями, будут, несомненно, восприняты с большим удовлетворением заинтересованными писателями. Чем больше были страдания, которые им пришлось перенести во время последней войны, когда они не переставали мыслить и писать, тем сильнее охватывает их желание мыслить.

Наши писатели хорошо знают различные произведения зарубежной литературы, не говоря уже о произведениях советских, американских и немецких писателей, но японские произведения очень мало известны читателям других стран.

Предложение г-на Шолохова, касающееся деятельности нового журнала, пробуждает во мне надежду, что значительно большее число литературных произведений японских писателей будет переведено и получит оценку в международном масштабе.

Я полностью поддерживаю предложение относительно встречи за «круглым столом», которая объединит наших собратьев по перу из всех стран.

Хотя я и плохо знаю иностранные языки, я хотел бы принять участие в этой конференции и установить более тесный контакт со многими талантливыми иностранными писателями, общение с которыми поможет мне обогатить свои мысли и улучшить качество своих произведений.

От души приветствую предложение Шолохова

Такасуги Итиро, Япония

Уважаемый Михаил Александрович! Я один из старых почитателей вашего таланта. Вашу книгу «Тихий Дон» я впервые прочитал на немецком языке. На ее обложке был помещен ваш портрет. Вы на нем — молодой, в шапке-ушанке и черной рубашке. Там же была помещена фотография борцов революции — в шапках и с винтовками в руках.

Обнаружил я эту книгу на полке у букиниста в 1932 году. В то время я был еще студентом.

В этом романе замечательно показана жизнь многих людей, такая же полная и многообразная, как и сама великая река Дон.

С этого времени я начал по-новому относиться к советской литературе.

Я от души приветствую ваше предложение о создании международного «круглого стола» писателей.

Я помню, что в тридцатых годах, когда в мире началось наступление фашизма, в Париже и Мадриде состоялись съезды писателей мира в защиту литературы. В этих съездах приняли участие писатели и Советского Союза, и Англии, и Америки, и Франции, и Испании и многих других стран независимо от их политических взглядов. Словом, в работе этих съездов принимали участие писатели, выступавшие за мир и свободу. От Японии, страдавшей в то время под гнетом военно-фашистской диктатуры, не было ни одного представителя.

Если же в настоящее время будет создан «круглый стол» писателей всего мира, то я надеюсь, что и Япония сможет послать туда своих представителей.

Это — очень важное предложение

Эма Накаси, Япония

С большим волнением прочитал я о предложении Шолохова и думаю, что это замечательное и очень важное предложение. Выдвинуть его мог только советский писатель.

Я считаю, что мы, японские писатели, должны приложить все силы для его реализации. Думаю, что одновременно с этим нужно создать «круглый стол» и в самой Японии, чтобы японские писатели различных направлений могли обмениваться между собой мнениями, мыслями и т. д. Это будет способствовать созданию международного «круглого стола» писателей.

Стив Нелсон

Тринадцатый присяжный

(Подоплека моего процесса)

Перевод с английского Юрия Смирнова

«Вас только двенадцать человек, но среди вас есть тринадцатый, хотя он физически и не сидит рядом с вами на скамье присяжных. Тринадцатый присяжный — это предрассудки, ханжество, изуверство. Тринадцатый присяжный — это узость взглядов, невежество, страх перед тем, что скажут люди. Это ваш босс, на предприятии которого вы работаете, который держит вас в страхе тем, что может уволить вас, и который наверняка не относится ко мне дружелюбно», — заявил на суде видный деятель коммунистической партии США Стив Нелсон.

Осужденный по федеральному закону Смита (закон о борьбе с так называемой «подрывной деятельностью») на пять лет тюремного заключения, Нелсон затем был, по аналогичному закону штата Пенсильвания, приговорен еще к двадцати годам тюрьмы*.

Подоплеке процесса, явившегося характерным примером расправы монополистических кругов США с прогрессивными деятелями в период разгула маккартизма, посвящена книга Стива Нелсона.

Нельзя без волнения читать этот «дневник бойца, славного сына американского рабочего класса», как назвала книгу Нелсона газета «Дейли уоркер».

«Больной, измученный, без денег, необходимых для ведения процесса,— писал о Стиве Нелсоне известный американский публицист Герберт Аптекер, выступивший на суде в качестве свидетеля защиты,— он боролся за свою реабилитацию и за реабилитацию чести Америки и американских свобод, и его борьба ... завоевала поддержку каждого честного человека, которому стали известны факты судебного преследования».

Перевод публикуемых с небольшими сокращениями глав из книги Стива Нелсона «Тринадцатый присяжный» сделан по тексту издания «Мэссиз энд мейнстрим пабликейшн» (Нью-Йорк, 1955 г.).

ИЗ ЖЕЛЕЗНОГО ГОРОДА В БЛОНОКС

— Нелсон! С вещами на выход! — раздался крик надзирателя в коридоре девятнадцатой линии тюрьмы Железного Города, где я находился с 26 июня 1952 года, с того самого дня, как судья Монтгомери приговорил меня к двадцати годам тюремного заключения за «подстрекательство к мятежу».

Я не мог понять, что произошло. Судья распорядился держать меня в тюрьме графства на время рассмотрения апелляции, пока велась борьба за мое освобождение под залог. А теперь, ровно через шесть недель, мне говорят: «На выход!».

Когда я пришел на контрольный пост, стражник с другой стороны зарешеченной двери крикнул:

— Один на выход!

Дверь растворилась, и я со всем своим имуществом — это были главным образом письма друзей, книги и немного белья — вошел в «клетку».

Затем обыск. Каждый мельчайший предмет тщательно исследован, каждая книга перелистана от корки до корки, все швы прощупаны, все вывернуто наизнанку.

Один из тюремщиков, внимательно рассматривавший иностранные марки на конвертах, сказал:

— Австралия! Гм! Страна за железным занавесом... Вот откуда твои сторонники пишут письма!

— Посмотрите внимательнее — марка-то австралийская.

— А я что говорю? Австралия. За железным занавесом.

Слишком многое происходило вокруг, чтобы вступать с ним в спор. Движение в обе стороны было прекращено. Начальник

---

* Когда материал уже был подготовлен к печати, пришло сообщение, что под давлением общественного мнения Верховный суд США признал приговор суда штата Пенсильвания подлежащим отмене, поскольку при наличии федерального закона Смита аналогичные законы отдельных штатов не должны применяться.

тюрьмы, крупный седой мужчина, бывший конный полицейский, который в начале тридцатых годов избивал забастовщиков и безработных, с важным видом «отдавал распоряжения». Ему незачем было так пыжиться — почти все делалось стражниками механически по раз и навсегда заведенному порядку. Но сегодня начальник тюрьмы проявлял «деятельность» неспроста: нужно было показать присутствующим репортерам и фотокорреспондентам, как он обращается с «опасным преступником». И он, действительно, распоряжался:

— Стой! — закричал он тюремщику, который собирался отпереть внутреннюю дверь и прийти к нему на помощь. — Дверь держать на запоре! Никого не впускать и не выпускать!

Затем он стер с лица пот и посмотрел на наружную дверь, где стоял шериф со своими помощниками. Наконец он подошел проверить документы, которые шериф вытащил из внутреннего кармана и положил на стойку. Как правило, начальник сам никогда не читал официальных бумаг: этим занимался кто-то другой. Покончив с проверкой документов, он пересек комнату и нервно остановился у окна, словно в ожидании сигнала, потом он крикнул охранникам и помощникам шерифа:

— Все в порядке. Один на выход!

Помощники шерифа повторили:

— Все в порядке! Один на выход!

— Фамилия? — спросил часовой. Глупый вопрос, ведь со времени моего первого ареста, 31 августа 1950 года, я неоднократно попадал в эту тюрьму, где стражники уже называли меня просто по имени. Он повторил вопрос с циничной усмешкой.

— Нелсон,— ответил я.

— Полностью.

— Стив Нелсон.

— Все в порядке. Забирайте вашего человека, шериф.

Тут появились наручники: я уже было протянул руки, как вдруг помощник шерифа сунул их обратно в карман: главный помощник достал кожаный, скрепленный железными скобами ремень, шириной дюйма в четыре и толщиной в полдюйма, опоясал меня и защелкнул на запястьях наручники, высевшие на этом ремне. Смотритель и шериф сделали знак стражникам, стоявшим по обе стороны двери, и два огромных железных ключа заскрежетали в замках. Дверь открылась, и я с помощниками шерифа по сторонам спустился по гранитным ступеням на улицу как раз позади здания суда.

Сверкнули лампы. Защелкали затворы фотоаппаратов. Операторы телевидения включили свет, так как снаружи, перед тюрьмой Железного Города, было слишком темно для съемки. Десятки принадлежащих Меллону зданий нависали над судом графства, бросая вокруг свою тень.

У выхода на ступеньках собралась толпа, хотя обычно в этот час владельцы деловых контор и чиновники не показывались на улице. В том, что́ это за сборище, нельзя было ошибиться... Это были все те же, кого призывали судья Мусманно или Монтгомери, когда им надо было освистать меня или моих друзей, а то и банда, называющая себя «Американцы, борющиеся против коммунизма». Как это уже бывало, две старухи конторщицы из окружной налоговой канцелярии вопили:

— Почему же ты не возвращаешься в Россию?

Я посмотрел на них в упор. Одна оглянулась, желая убедиться, видит ли ее хозяин, одобряет ли он ее поведение. Другая кричала:

— Коммунистическая собака, посмотрим, как тебе понравится в исправительной тюрьме. Это самое подходящее для тебя место!

Узнал я и обрюзгшего, коротко остриженного молодого блондина в старом армейском плаще, одного из тех, кто пытался спровоцировать моих друзей в коридоре суда во время процесса и который старательно кланялся Мусманно и провокатору Цветичу, когда они проходили мимо него. Тогда он пытался выдать себя за некую важную персону. А сегодня он вопил и злорадствовал:

— Это твой последний путь, коммунистический ублюдок!

Кричали и другие, но немногие. Я запомнил их всех, слабоумных истериков в крахмальных рубашках, решивших, что это наилучший способ доказать свою лояльность и американизм. Другие растерянно переминались с ноги на ногу. Один из знакомых мне репортеров смотрел перед собой остекленевшими глазами. Большинство из них знало меня, но в это утро они молчали: ни вопросов, ни замечаний.

Машина шерифа тронулась с места первой. Заработали кинокамеры. Поперечное движение уличного транспорта было перекрыто. Гранитная тюрьма на Росс-стрит осталась позади: мы направлялись в исправительную тюрьму в Блоноксе.

Небо было покрыто облаками, улицы полны гари. Запах серы бил в нос. Мне не нужно было объяснять, что сталелитейные заводы работали на полную мощность, конечно, выполняя военные заказы для войны в Корее. Машины проехали по бульвару мимо станции Пенсильванской железной дороги. Впереди показались река Аллегейни и северный район города. Вдали я мог разглядеть принадлежащие Стальной корпорации Соединенных Штатов доменные печи в Этне. Красновато-желтый дым наполнял долину реки мглой и копотью.

После короткого молчания помощник шерифа произнес:

— Вы ведь живете где-то здесь неподалеку, Стив?

— Да, — ответил я.—Вон там, на холме. Мы только что проехали школу, в которую ходят мои дети.

— Да? Какой позор! — И он отвернулся.

— Быть может, в этот самый момент, — продолжал я, — учитель рассказывает им,

что в Корее мы воюем за демократию и свободу ради того, чтобы без страха думать и говорить все, что пожелаем. А я — лучший этому пример. — И я остановил взгляд на своих наручниках.

Помощник шерифа промолчал. Я еще раз обернулся, чтобы взглянуть на пригорок, где жили мои жена и дети,— на мой «дом». Он стоял чуть-чуть за холмом, как раз позади высоких зданий и деревьев; но в направлении я не мог ошибиться, потому что мы живем на самой высокой точке района, как говорили мои Бобби и Джози. Рядом с нашим домом находятся водохранилище и старый железный флагшток. Я чуть не свернул себе шею, желая получше разглядеть его.

Вспомнилось, как однажды — не так давно это было — я сидел у водоема, наблюдая за Джози и Бобби, которые бегали наперегонки. После того как началась война в Корее, нам больше не пришлось там бывать. Так называемая Гражданская оборона подняла тревогу, как бы кто-нибудь не отравил водоем — в конце концов, надо же было внушить нам, что мы находимся «в состоянии войны»! В последний раз я видел водоем, когда уже был под судом. Но я еще не знал, что дорожка вокруг водохранилища стала «запретной зоной». Из маленькой сторожевой будки вышел человек и заорал на меня и детей:

— Эй вы, там! Стойте! Кто вы такие? Я могу забрать вас!

Мороз пробежал у меня по коже. Дети растерянно остановились: они знали этого человека, и он знал нас... Почему же и он тоже хотел «забрать меня»? Я и впрямь встревожился, поняв, как можно использовать эту ситуацию для того, чтобы быстро состряпать новое дело. Для этого надо было какой-нибудь газете или одному из столпов местной организации «Американцев, борющихся против коммунизма», заявить, что я был «замечен слоняющимся вблизи резервуара городского водопровода». И если бы хоть один свидетель присягнул, что в эту ночь «кое-что» было обнаружено в водоеме, немедленно поднялся бы вой: «Шпион! Саботажник!» И — электрический стул... Но этого не случилось. Это был кошмар, который не претворился в жизнь. Беда заключалась в том, что подобные вещи были вовсе не кошмаром, а реальной действительностью сегодняшней Америки.

Я ВСТРЕЧАЮ НАПОЛЕОНА

Бесконечно тянулись стены исправительной тюрьмы, становясь выше по мере того, как местность понижалась к реке Аллегейни; на этих стенах были архитектурные строения, похожие на башни замка. Хотя и расположенные в строгой симметрии, башни эти были выстроены не только с декоративными целями: они служили караульными помещениями, в каждом из которых торчал безликий человек с винтовкой. Лишь в дальнем конце стены, обращенном к реке и долине, был один-единственный «разрыв» — ворота.

Меня провели за железную дверь и сняли «пояс целомудрия». Сопровождавшие меня помощники шерифа обменялись бумагами с человеком в воротах, очевидно, бессловесным созданием, напускавшим на себя важный вид. На его черной, надетой набекрень фуражке, какие носят лифтеры в отелях, были две золотые полоски. Когда он, наконец, соизволил раскрыть рот, его первыми словами было:

— Заберите ремень. Теперь он долго ему не понадобится.

Помощники шерифа ушли. Передо мной растворилась внутренняя дверь, и «человек» знаком велел мне войти:

— Стань у стенки и жди.

Я очутился в большом, широком, словно зал, коридоре, с окном в потолке на высоте двадцати пяти футов. Я прислонился к белой кафельной стене. Некоторое время мне казалось, что я стою в полном одиночестве, настолько бесшумно проходили здесь люди. Они двигались, словно муравьи, молча, с любопытством разглядывая новичка в «уличном костюме». Сами они были одеты в серые, в заплатах, бесформенные штаны и рубахи. Рубахи были немного почище штанов, но такие же латаные.

Близ меня прошел заключенный. Я спросил, не видел ли он здесь одного человека, которого я встречал в тюрьме графства. Заключенный испуганно посмотрел на меня и ничего не ответил. Может быть, он глухой? Только я собрался задать этот же вопрос другому заключенному, проходившему мимо, как «человек» по ту сторону железной решетки произнес:

— Не разговаривать! Хочешь, чтобы я посадил тебя в карцер?

— Нет. А что я сделал?

— Умничаешь, Нелсон! Я знаю таких! — И он холодно посмотрел на меня. — Вы в тюрьме, мистер, не забывайте!

Миновав охранника, какой-то заключенный остановился в узком, но глубоком дверном проеме и стал делать мне знаки. Приложив одну руку ко рту и жестикулируя другой, он словно говорил мне: «Молчи, молчи, молчи!» Затем он довольно громко прошептал:

— Не разговаривай, приятель. Они тебя за это бросят в карцер, — и скрылся в катакомбах.

Я устал стоять на одном месте, меня охватило нетерпение. Хотя я и знал, что меня не ждет ничего хорошего, стоять так было невыносимо. Я переминался с ноги на ногу.

Откуда-то появился толстобрюхий молодой охранник, от которого за версту несло духами, и махнул мне рукой:

— Эй, ты, сюда!

Я последовал за ним по узкой бетонной лестнице, которая вела вниз, в парикмахерскую и душевую. Здесь «работало» человек двадцать заключенных, похожих друг на друга благодаря своему бесформенному обмундированию. Они глазели на меня и молодого охранника по прозвищу Щеголь.

Тот молча посмотрел на них с животной ненавистью. Они продолжали бритье и стрижку. Надпись «Не разговаривать!» висела над столом, за которым устроился стражник. Он вытащил из кармана плитку жевательного табаку и, надзирая за происходящим, набил себе полный рот. Его взгляд упал на высокого юношу негра, который плескался под душем, растираясь маленькой тряпкой. Щеголь подошел к нему и крикнул:

— Эй, ты! Где ты взял эту тряпку?

Негр вышел из-под душа и ответил:

— Я подобрал ее в тряпичной мастерской, где работаю. А что? Разве нельзя, сэр?

— А вот узнаешь — можно или нельзя! — Щеголь нацарапал что-то на листке бумаги и добавил. — Девять суток в яме научат тебя не трогать того, что тебе не принадлежит.

Когда я помылся под душем, охранник подошел ко мне и, указывая на старый морской вещевой мешок с деревянной биркой дюйма два шириной и дюймов восемнадцать длиной, сказал:

— Это для твоего имущества.

Масляной краской на бирке были написаны мое имя, арестантский номер и «20 лет».

— Твои вещи столько не продержатся, — хмыкнул охранник. — Можешь отправить их жене, она найдет для них лучшее применение.

— Я просто положу их в мешок, — ответил я, не отводя глаз от бирки с невероятными словами. Мне казалось, что прошли долгие часы, хотя на самом деле прошло всего несколько секунд. Это уж было обязанностью охранника следить, чтобы ни одна минута не пропадала даром.

Новая партия заключенных уселась на низенькие деревянные скамьи и прошла ту же процедуру, что и я. Вошли еще двое тюремщиков, и по поведению Щеголя я понял, что это было начальство. Человек в черном костюме с двумя золотыми полосками на лифтерской фуражке был здешним боссом. У него было много прозвищ, в том числе Генерал и Герой. Первое ему дали за то, что он оставался боссом независимо от того, кто бы официально ни занимал эту должность, а второе, как говорили, за то, что был ранен на фронте в первую мировую войну. Якобы из-за этого ранения у него была странная походка, особенно когда он торопился. Говорили также, что он получает пенсию как инвалид войны. Но один старый заключенный, который сам был ветераном первой мировой войны, рассказывал другое: однажды Генерал чистил свой пистолет, произошел выстрел, пуля оторвала ему большой палец на ноге. Это случилось во Франции как раз перед отправкой его части на фронт. Ему дали работу в Блоноксе в начале двадцатых годов, когда он был ревностным республиканцем, но он сжился и с демократами и стал одним из их преданных сторонников. Больше всего ему подходила кличка Маленький Наполеон. Это прозвище стало мне понятно в первый же раз, как я увидел его за конторкой: он был ниже среднего роста и всегда сидел на высоком стуле, чтобы казаться выше и напускал на себя величественный вид.

Второй важной персоной был мистер Блек из попечительской комиссии штата в Гаррисберге. Он был важен, если не по другим причинам, то хотя бы потому, что очень редко посещал эту тюрьму. Однако в последнее время он стал чаще появляться здесь, видимо, из-за того, что получил свое назначение от губернатора-республиканца, а исправительной тюрьмой заправляла кучка демократов-маккартистов, а также из-за многочисленных бунтов в различных тюрьмах, находившихся в его ведении. Во всяком случае, Блек был тут, когда меня привезли для отбытия моего двадцатилетнего срока наказания.

Блек один сидел в углу. А молодой стражник занимался обычной процедурой:

— Сколько у вас при себе денег?.. Получили ли расписку на 84 цента?..

Он то и дело поглядывал через плечо в сторону мистера Блека, желая удостовериться, что тот слышит его. Как я впоследствии узнал, этот охранник слегка нервничал. Оказывается, у него выработалась привычка внимательно присматриваться к одежде вновь прибывающих заключенных, и если она была в хорошем состоянии, то он отвозил ее в Питтсбург и закладывал в ломбард. Это особенно практиковалось с одеждой людей, приговоренных к трем и более годам тюремного заключения. Охранник не беспокоился о том, что будет через несколько лет; к тому же он был достаточно изворотлив при любых обстоятельствах. Однажды он заявил Генералу, что в чьей-то одежде завелась моль, и если ее не выбросить, то вещи всех остальных заключенных тоже будут испорчены. Таким образом, он воспользовался одеждой с разрешения Генерала. Все же мистер Блек получил от заключенных несколько жалоб относительно исчезновения их одежды и явился сюда для обследования. Но, конечно, он не обнаружил ничего предосудительного в действиях охранников. Напротив, все заключенные, которые жаловались ему, попали на два месяца в изолятор.

Наконец, Генерал сам приступил к делу. Молодой стражник раскрыл перед ним книгу в черном переплете и приказал первому заключенному приблизиться:

— Встань к свету и стой прямо!

— За что попал сюда? — допрашивал Генерал.

— За неуплату алиментов.

— А, бабские дела! Что ж, мы исправим эту ошибку. Профессия?

— Шахтер.

Генерал оглядел молодого негра-шахтера и изрек:

— В котельную. Постой у двери, пока мы кончим, потом я отведу тебя на твою работу. Будешь иметь дело с углем в кочегарке.

— Следующий!

Другой заключенный сделал несколько шагов вперед и остановился; повторилась та же процедура.

— Следующий!

Моя очередь. Выйдя из строя, я снял шапку и сунул ее за пазуху. Я заметил, что молодой охранник развлекается тем, что обучает заключенных правилам хорошего тона. Его урок обычно начинался словами:

— Сними шапку! Дикарь ты, что ли?

То же произошло и с заключенным, шедшим передо мной, и я решил не давать мистеру «Бонтону» возможности поучать меня. Но он был хитер. Поднявшись с места, он приблизился ко мне и, осмотрев с головы до ног, спросил:

— Эй, Нелсон, разве у тебя нет шапки?

— Есть.

— Почему же ты не носишь ее на голове?

— Потому что, как мне кажется, здесь это не полагается.

Было совершенно очевидно, что Генерал одобряет бдительность стражника, но сам он не произнес ни слова. И мистер Блек все так же молчал.

— Фамилия? — спросил меня Генерал.

— Стив Нелсон.

— За что сюда попал?

– Политический заключенный.

– А здесь сказано другое, — он кивнул на сопроводительные бумаги.

— Что же там сказано?

— Вот тут сказано — подстрекательство к мятежу.

— Это то же самое, сэр, только выраженно другими словами.

— Вот как?

— Да, так, но я не собираюсь приводить вам статьи закона.

— На какой срок осужден? — Он взглянул на меня так, словно никогда и не слыхал обо мне, и продолжал задавать один положенный вопрос за другим, хотя ответы на них были у него перед глазами, на бумаге, которую он держал в руках. Чувство садистского удовлетворения было написано на его побагровевшем лице.

— В мастерскую стульев, — приказал он наконец. — Поместить в Западный корпус, в камеру П-47. Отведите его в мастерскую, там его пристроят на работу.

Генерал поднялся с места и, направляясь к выходу, обернулся и подмигнул Щеголю. Затем он сделал жест большим пальцем, словно говоря: «Идите же, чего вы тут толчетесь?» Щеголь и его любимчик из заключенных Боунс подскочили, будто их ударили по лицу. Щеголь тут же стал отдавать распоряжения («Пошли, пошли, ребята, чего вы тут толчетесь, работать надо!»), а Боунс, словно щенок, бежал впереди, показывая новичкам дорогу во двор и в мастерские.

Генерал уселся на высокий стул и сурово взирал на проходивших мимо него новых арестантов: молодых и старых, стройных, сутулых, прихрамывающих. Удовлетворенный тем, что ему удалось произвести впечатление на них и на мистера Блека, он спрыгнул со своего насеста, сжал и без того тонкие губы, пристроился к шеренге и зашагал в ногу с заключенными, выходившими из душевой.

В ЯМЕ НА ХЛЕБЕ И ВОДЕ

Последний дневной обход надзирателей. Ко мне в карцер просунули доску и перед дверью бросили старое одеяло. Схватив это одеяло, я протащил его сквозь решетку, сложил и постелил на доске. Я так быстро сел на эту постель, что едва не потерял сознание — мои босые ноги нестерпимо болели от бугристого бетонного пола. Одеяло было пропитано потом, запахом грязных ног и затхлостью бочки, в которой оно хранилось. Вытянувшись на доске, я стал шарить рукой по полу в поисках крошек хлеба, которые мог бы съесть позже. Нашел что-то, но не был уверен, что именно. Во всяком случае, я положил найденное на перекладину решетки, чтобы рассмотреть, когда стражник зажжет свет. Ночью они заходили сюда с поверкой каждый час.

Сбросив с себя рубашку и штаны, я туго свернул их наподобие подушки и все же не мог лечь спать. Стоя на одеяле, расстеленном на доске, я наслаждался мягкостью, которую ощущал под ногами. Пот градом катился по мне, словно я только что вышел из-под душа.

Никогда прежде я не замечал, как может быть неприятен свой собственный запах... В карцере было смрадно... Я снова лег, и тут мне вспомнилось, отчего так ужасно пахло одеяло: ведь оно служило кому-то и полотенцем и одеялом каждую ночь с тех пор, как семь лет назад эти одеяла были куплены у армии.

Одна мысль о том, чтобы прикоснуться лицом к этому зараженному паразитами тряпью, вызывала у меня отвращение. Но выбора не было, и я, как и все прочие, лег на спину и вскоре уснул.

Открыв глаза, я услышал, что заключенные беседуют между собой.

— Который час, ребята? Я уснул... Долго ли я спал? — торопливо спросил я, словно боялся опоздать на поезд.

— Да всего минут двадцать пять, — ответил сосед.

Боже, только двадцать пять минут, а мне-то подумалось — наверно потому, что другие разговаривали, — ночь уже прошла.

Устав от пения, ребята рассказывали разные случаи из своей жизни, но больше не поднимали шума. Правда, каждое слово приходилось повторять, чтобы сидевшие в одном конце знали, что говорилось в другом. Маленький Миссури — его привели сюда после полудня — повторял сказанное для нашего конца; Миссури сидел в самом центре, в восьмой камере, и слышал все, что говорилось в обоих концах.

Кличка Миссури — по штату, откуда он был родом, — следовала за ним повсюду,

включая и эту тюрьму. Как-то раз его прозвали Малышом, но это ему не понравилось — в свои семнадцать лет он хотел быть взрослым. Итак, он предпочитал, чтобы его звали Миссури, хотя совсем недавно убежал из этого штата. Там был его родной дом. Но в родном доме он был нежеланным — или, по крайней мере, так ему казалось, — и он ушел. В этот день он рассказал нам, что отец с матерью у него умерли. Старшие братья и сестры вырастили его и остальных малышей. Они жили на ферме, были очень бедны, работе конца не было, и старшие братья и сестры сделали жизнь для него невыносимой: никогда никаких радостей, никогда никаких денег.

И вот Миссури, по его словам, «сорвался» и покинул дом, покинул без гроша в кармане. Первые недели, скитаясь по дорогам, он питался хлебом, прихваченным с собой, и домашним сыром. Малыш шатался по всей стране: был на востоке, на севере — всюду, куда только приводили его дороги. Иногда подворачивалось счастье — и он брался за случайную работу: мыл посуду в ресторанах, чистил овощи, выносил мусор. Но когда ему начинало казаться, что он слишком долго засиделся на одном месте, и желудок его был набит, он, пользуясь удобным случаем, уезжал в кузове первого попавшегося грузовика.

Так он добрался до Пенсильвании, направляясь в Эри, где, по слухам, можно было найти постоянную работу. Но в городе Уоррен его схватили за бродяжничество и осудили на шесть месяцев заключения в Блоноксе.

Это был долговязый парень с высоким лбом и копной каштановых волос, всегда аккуратно зачесанных на пробор.

Россыпь веснушек делала его похожим на подросшего Геккльбери Финна. Хотя здесь нельзя было увидеть его лица, все знали, как он выглядит: он был хорошо известен на прогулочном дворе. За четыре месяца, проведенных в тюрьме, он уже третий раз сидел в карцере. Миссури написал своей сестре о том, в какой переплет он попал, и просил у нее несколько долларов, а также прощение за то, что бежал из дому, но ответа не получил.

Миссури был довольно застенчивый и в общем приятный парень. Даже самые равнодушные заключенные относились к нему с участием, а некоторые очень жалели его. Но тюремщики не испытывали таких чувств. Они придирались к парню и ни за что сажали его в карцер.

— Ну, а на этот раз ты за что влип, Миссури?

— Съел яблоко.

— Значит, ты украл его и спрятал в камере?

— Нет, — отвечал Миссури. — Это было вот как... Меня назначили в консервную бригаду — видели, наверно, мы работали на дворе: сортировали овощи и фрукты, теперь все уже в банках... Мы приготовляли яблочное пюре. Через наши руки прошел не один грузовик яблок. Как они пахли! Я просто слюной исходил — так мне хотелось попробовать хоть одно. Ну, я и съел, а Голливуд заметил. Он потащил меня к начальнику — и вот я здесь.

— Сколько тебе дали?

— Девять суток, потому что это мое третье нарушение.

— Кто сидит рядом с тобой?

— В седьмом карцере?

— Да.

— А! Его зовут Моряком.

Моряк был негр-ветеран, служивший в армии в конце второй мировой войны. Ему самому пришлось быть тюремным надзирателем, но не в Блоноксе, а совсем наоборот. У него была видная и почетная служба: он стерег нацистов во время Нюрнбергского процесса. Он рассказывал нам, как несколько раз водил Геринга в камеру и, разглядывая его сквозь волчок, думал: «Ишь ты, кто смотрит на меня!»

— А тут, черт, никто меня не замечает! Просто втолкнули сюда и забыли выпустить. Во время войны армия взяла несколько негров в военную полицию. Но теперь я не могу устроиться на хорошую работу, чтобы свести концы с концами. Тогда они нуждались в нас: надо было показать миру, будто расовой дискриминации не существует. А вот здесь, подумайте только, они не разрешили мне работать даже в парикмахерской.

Моряк работал в кирпичной мастерской и был хорошо известен среди заключенных Блонокса, хотя никто из них не знал его настоящего имени. Он был одним из тех, кто провел шесть недель в изоляторе и девять дней в карцере в связи с забастовкой в апреле, когда заключенные потребовали, чтобы администрация платила десять центов за рабочий день: «жалованье», положенное в тюрьмах штата.

Побывав в карцере не один раз, Моряк знал все, что имело отношение к этой дыре. Большинство вопросов было обращено к нему, и он охотно отвечал на них. Он знал значение каждого звука и шороха вокруг нас.

— Последний обход. Сейчас будут промывать уборные, — говорил он. И действительно, вода начинала бурлить в отхожих ямах, от которых шло отвратительное зловоние.

Вдруг один заключенный закричал:

— Проклятие, у меня сортир засорился! Моряк, как остановить воду?... Эта гадость уже растекается по камере!

— С этим ты ничего не поделаешь, приятель, заткни нос и постарайся не запачкать одежду и одеяла. Когда будет обход, тебя переведут в другой карцер.

— Ох, задыхаюсь от вони... Ужас... Боюсь двинуться с места, тут темно, ничего не видать, а дрянь все прибывает... Моряк!

— Успокойся, приятель, ты ничего не можешь поделать... Наберись терпения,— спокойно продолжал Моряк. — Сволочи держат нас в этих норах, засадили в клетки, куда канализационная линия подходит

в последнюю очередь. Вот почему нас и затапливает! Так уж тут устроено! Очень сильное давление из верхнего яруса, четырьмя этажами выше со всех сортиров, а их в этом крыле триста! К тому же промывают все одновременно, вот и получается такая история... Ребята рассказывали, что бывали случаи, когда эта гадость заливала пол на три дюйма, пока успевали устранить повреждение... Надзиратели напяливали резиновые сапоги и вброд добирались до карцеров, чтобы отпереть их.

— Ты шутишь, Моряк, — сказал молчаливый заключенный из шестого карцера. — Факт, придумываешь!

— Друг, ты считаешь, что я смеюсь над тобой? — как-то подчеркнуто произнес Моряк. — Ты меня знаешь, друг, и я просто удивляюсь. Разве я когда-нибудь обманывал тебя?

— Нет, Моряк, никогда не обманывал, но я подумал, может, парень, который рассказал тебе, выдумал все это,— оправдывался заключенный из шестой камеры.

— Это правда, правда, будь они прокляты, — вмешался Джемисон из первого карцера. — Я сам слышал об этом от парня из северного крыла. Он сидит уже черт знает сколько времени и как раз был в яме, когда это произошло... Выйдешь — спроси у него.

— Слыхал? — спросил Моряк. — Разве я не говорил тебе? Тогда даже велось какое-то расследование властями графства и штата, и признали, что эта дыра непригодна... Но это было давным-давно, и ни черта с тех пор не изменилось.

— Да... здесь ничего не меняется и никогда не изменится.

Заключенный, у которого затопило карцер, пробурчал:

— Лучше бы тут что-нибудь изменилось, да поскорее, не то мне придется ночевать, как канализационной крысе...

— Надзиратель идет! Шшш... Шшш...

Дверь отворилась, щелкнул выключатель, зажегся свет, и тюремщик стал пересчитывать заключенных.

— А это еще что за чертовщина? — спросил он, подходя к зловонной луже, вытекающей в коридор из затопляемого карцера.

— Мой сортир заливает, — объяснил заключенный.

— Тьфу, ну и вонища, будь ты проклят! И как на зло в мое дежурство, сукин ты сын!

Он подошел к рычагам, открывающим подвальные окна, сквозь которые — если ветер дул в эту сторону — в помещение проникало немного свежего воздуха. Отвернув до отказа все рычаги, он сказал:

— Пойду за подмогой, — и ушел, не погасив света.

Вскоре он вернулся и привел с собой еще двоих охранников... Один из них был Голливуд. Он подошел прямо к моему карцеру, прислонился к стене, сдвинул фуражку набекрень, уперся руками в бока и сказал:

— Вот ты и попал в самое для тебя подходящее место! Что скажешь, а, умник?

Отвернувшись, я ничего не отвечал, словно не понимая, что это изысканное остроумие относится ко мне.

— Эй, оглох ты, что ли?

Я продолжал лежать лицом к стене.

— Эй, ты, там, Нелсон, отвечай, когда к тебе обращаются! — Он пересек коридор и вплотную подошел к моей камере.

Я молча лежал на одеяле.

— Хочешь, чтобы я вошел и научил тебя уважению, хитрый ублюдок?

Я сел, обхватив колени руками.

— Не думал, что на ваши оскорбления надо отвечать, поэтому решил не обращать на них внимания.

— А я советую тебе обращать внимание! Ясно? — И он направил мне в лицо луч карманного фонаря.— В другой раз слушай, когда я буду с тобой разговаривать. Тут я твой босс, не забывай! И вот еще что — встать, когда с тобой разговаривают!

Я не встал. Он отошел к стене и стал наблюдать за уборкой затопленной камеры и переводом заключенного в другую. Все это время он искоса поглядывал на меня. А я вытянулся на доске и больше не обращал на него никакого внимания.

Надзиратели ушли.

— Сволочь, — сказал Моряк. — Он имеет на тебя зуб, Стив... Я сразу понял, что он прицепится к тебе, как увидел, что он затопал в твою сторону. Ты перехитрил его тем, что встал, когда он велел. Ведь он только и ждал, чтобы ты ослушался. Молодец, здорово отбрил его! После этого можно было и встать. Факт, ты счастливчик! Дурак, он даже не понял, как ты подцепил его... Только и видел, что ты лежишь. Ведь ты лежал сперва, верно?

— Нет, Моряк, я только сел. Он злился, но так и не дождался, чтоб я встал.

— Ну, не встал, говоришь? А я подумал, когда он отошел от тебя, что ты встал. Прежде такого никогда не случалось с горбоносым, будь я неладен!.. Стив! — закончил он серьезно, — а ведь он станет придираться к тебе еще больше прежнего.

Ночь была жаркая, душная. Из затопленного карцера все еще несло дурным запахом. Я ворочался с боку на бок на моей жесткой постели. А когда мое лицо касалось вонючего одеяла, я ложился на спину.

Мне сунули три ломтя хлеба и кружку воды — я проснулся. Другие заключенные выталкивали из карцеров доски и просовывали одеяло сквозь решетки.

— Давай постель, Нелсон, — сказал надзиратель. Нам некогда ждать тебя.

Я просунул им доску и одеяло и ступил босыми ногами на колючий бетонный пол.

Не успели надзиратели уйти, как я уже покончил с моим хлебом. Вода отдавала тошнотворным вкусом жести; из такой кружки я пил, осторожно приложив ее край под нижнюю губу. «До какой глупости я могу здесь дойти»,— подумал я и рассмеялся над самим собой. Чтобы удержать начинавшуюся икоту, я хотел выпить еще воды и оглянулся в поисках водопроводного кра-

на, хотя знал, что вода подается в камеры лишь во время очистки отхожего места. Надзиратели придут не раньше десяти утра. Три с половиной часа ожидания. Я потянулся за старой ржавой кружкой и выпил оставшиеся на дне несколько капель. Надо ждать надзирателей, будь они прокляты! Я питал отвращение к любому человеческому существу, которое могло пасть так низко, чтобы стать здесь тюремщиком. И все же сейчас я хотел, чтобы кто-нибудь из них пришел и дал мне напиться. «Вот тебе — единство противоположностей и взаимная необходимость», — подумал я, но тут же удержал себя от философских размышлений на таком уровне.

— Давайте играть в вопросы и ответы,— предложил я.

— Нет,— буркнул Шахтер из Западной Виргинии.— Не люблю я этого занятия, слишком много тут нужно образования. А у меня его недостаточно.

Никто не возразил ему, хотя я и надеялся, что кто-нибудь подхватит мою идею. Этого не случилось, и я продолжал с несколько меньшим жаром.

— Будем играть по-своему. Придумаем новые правила. Вовсе незачем умничать и не надо ставить друг друга в тупик. Кое-чему мы научимся и убьем время.

Меня поддержал Моряк.

— Эй, Виргинец,— раздался его голос,— давай послушаем, в чем тут дело. Что мы теряем? Начнем, потом увидим.

— Нет, не хочу. Мне не интересно. А вы играйте.

— Ладно, Стив,— сказал Моряк,— начинай! Я хочу обыграть де Сото и скажу, что меня послал Граучо! — Он рассмеялся собственной шутке.

— Что тут смешного, не понимаю,— произнес человек из какого-то карцера. Очевидно, он просидел в тюрьме много лет и не видел телевизионной передачи с участием Граучо Маркса. Один из новеньких рассказал ему, в чем тут соль, и даже разыграл несколько шуток Граучо.

К этому времени я собрался с мыслями. С чего следует начинать? Я понимал, что эти люди наиболее осведомлены в области спорта. Боясь, как бы дело вновь не дошло до ссор и брани, я быстро задал вопрос:

— Кто из вас знает результаты матчей по бейсболу, боксу или какому-нибудь другому виду спорта?

— Я знаю по боксу, бейсболу, футболу,— ответил Моряк.

— А я знаю по баскетболу,— добавил кто-то.

— Ладно, Моряк,— сказал я,— ты и начинай. Давайте вспоминать факты, касающиеся чемпионов тяжелого веса, вплоть до сегодняшнего дня.

Больше часа мы занимались боксерами, затем перешли на другие виды спорта. Игра продолжалась, даже когда пришли надзиратели.

— В каком городе Джонсон дрался с Джессом Виллардом?— спросил Моряк.

Молодой надзиратель, недавно поступивший на работу, занимался своим делом, не замечая ничего необычного в нашем поведении. Но сержант Стэзи, невысокий охранник с бесцветными волосами и еще более бесцветными глазами и одутловатым, словно у трупа, лицом, пошел по коридору посмотреть, кто это разговаривает. Приближаясь к карцеру Моряка, он уже собирался заорать на него, но тот опередил его:

— Послушай, Стэзи, ты все знаешь о боксе! Вот мы спорим, где Джесс Виллард и Джонсон дрались на первенство? Тут один парень утверждает, что в Солт Лейк Сити, а я говорю, что в Гаване, на Кубе. Кто из нас прав?— Он обращался к надзирателю, словно они были закадычными друзьями.

Впервые на памяти всех Стэзи, который проработал в исправительной тюрьме девятнадцать лет, вежливо ответил заключенному в карцере. Он сказал:

— Дай-ка вспомнить... Конечно, ты прав, Моряк, это было в Гаване, на Кубе.

— Вот видите, ребята,— воскликнул Моряк,— я же говорил вам, что Стэзи должен знать. Он все знает о старых боксерах. Он сам был боксером в молодости. Разве не правда, Стэзи?

Я живо представил себе Моряка, подмигивающего украдкой и внутренне смеющегося над тем, как он ловко обошел надзирателя. А Моряк продолжал задавать Стэзи вопросы, «которые мы никак не могли разрешить».

Наконец надзиратели ушли. Джемисон издал крик «Ого-го!» и шлепнул себя ладонями по бедрам; это было похоже на выстрел в глубоком ущелье.

— Хо-хо, в первый раз нам удалось поговорить в присутствии надзирателей. Молодец, Моряк, здорово ты его облапошил!

Все ликовали, словно одержали большую победу, и продолжали толковать о том, как бы закрепить свой триумф. Договорились, кто и как заведет разговор с надзирателями, когда они придут в следующий раз. День прошел; мы все чувствовали, что сделали важный шаг, проявив чувство собственного достоинства даже в этой страшной яме.

В следующие дни, продолжая игру, мы переходили от спорта к литературе, к именам писателей и ученых, исследователей и изобретателей, к важным историческим датам. Многое из того, что мы затрагивали в этой игре, тут было в новинку. Так, участники игры узнали, что Александр Дюма, французский писатель, был негром. Об этом с гордостью сообщил Моряк. Подвиги Бенджамина Баннекера и Туссена Лювертюра, негритянского вождя, который громил армии Наполеона; открытие Карвера и многих других произвели сильное впечатление на большинство белых заключенных, особенно на Долговязого Джона из тряпичного цеха, который сел в карцер за то, что своими антинегритянскими раз-

говорами вызвал на драку одного заключенного негра.

Казалось, ночи не будет конца, и, положив голову на жесткую доску, я задумался над событиями прошедшего дня. Меня поразили судьбы людей, которых обстоятельства свели здесь вместе. Эта яма была создана для того, чтобы принизить человеческое достоинство. Тюремные власти надеялись усилить антагонизм между неграми и белыми. И все же я готов был побиться об заклад, что сейчас в городе Стали нет лучшего места, где можно отучиться от расовой ненависти. Я не мог заснуть почти до самого утра. Я был слишком возбужден, так же как и мой друг Моряк. Мы беседовали вполголоса, надеясь, что наш разговор не мешает остальным спать. Никто не жаловался. И у меня было такое чувство, что другие заключенные тоже не могут уснуть.

В конце четвертого дня меня навестили мои адвокаты Пау, Эдайсиз и Шлезингер. Они сообщили, что в ближайшее время должен начаться новый судебный процесс по обвинению меня в нарушении закона Смита и, возможно, даже завтра я буду переведен в тюрьму Железного Города. Несмотря на всю мою ненависть к этим сфабрикованным фальшивкам, называемым «процессами» (я уже прошел через три таких процесса за последние два с половиной года), я был рад выбраться отсюда и хотя бы этим досадить банде, упрятавшей меня в карцер.

— Что случилось, Стив? Что тебе сказали адвокаты?— спросил Моряк, как только ушли стражники.

Я рассказал о предстоящем процессе.

— Замечательно, — воскликнул кто-то, думая, что мое дело будет пересматриваться.

Но я объяснил, что состоится новый процесс, на этот раз в федеральном суде.

— Да, но что это, новое обвинение или выделили какое-нибудь преступление?

— Нет,— сказал я,— обвинение то же самое, и так называемое преступление то же самое, и судить будут по аналогичным законам, предусматривающим то же преступление.

— Как же так? Они не могут дважды судить человека за одно и то же преступление!— негодующе воскликнул Моряк.

— Моряк, ты же знаешь, что обращаться с неграми так, как с ними обращаются, тоже противозаконно,— отвечал я.

— Знаю,— произнес Моряк.— У нас отняли наши права, они существуют только на бумаге... Конституция, Декларация прав и различные поправки к конституции очень хороши, но они нарушаются, как только дело доходит до негров. Вот и с тобой то же самое, потому что ты коммунист. Мусманно и Монтгомери могут бросить тебя в тюрьму, рассмотрев дело при участии двенадцати присяжных, которые все до одного будут предубеждены против тебя. Точно так же на юге банды присяжных расистов судят негров, и если обвиняют «в изнасиловании», ну, тогда пиши пропало..!

— Да, вроде того. Но раз они могут засадить меня и лишить прав, значит, никто не может чувствовать себя в безопасности,— сказал я.

Я предупредил ребят, что, возможно, завтра утром меня увезут. Так оно и случилось. Но они предложили на тот случай, если я из городской тюрьмы вернусь сюда для отбывания срока, встретиться на прогулочном дворе и организовать «общество питомцев ямы». Я заметил, что не всех здесь знаю, но Моряк знал всех и каждого и обещал проследить, чтобы наш план был осуществлен.

Уходя из этой норы, я был голоден, истощен, немыт, небрит, неодет, в грязи, с больными ногами. И, несмотря на это, мне было жаль оставлять людей, которых я даже не мог бы узнать, столкнись мы за этими стенами. Здесь они были номерами карцеров и голосами, и все же это были люди, с которыми я хотел бы встретиться. Я был убежден, что они никогда не забудут этих дней в яме. Я и сам никогда не смогу забыть их.

„ДОСТАВИТЬ В СУД ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТВЫМ!"

В конце мая, в полночь, после дня, проведенного в суде, я ехал на машине из Питтсбурга в Филадельфию, чтобы выступить там на митинге, организованном друзьями с целью сбора средств, необходимых для ведения первого процесса по обвинению Онды, Долсена и меня в подстрекательстве к мятежу. Был конец недели, и мои дети решили прокатиться со мной в Филадельфию. Мы редко бывали вместе, и эта поездка сулила развлечение для них, так же как и для меня.

Приближаясь к Филадельфии, я заехал навестить одного приятеля, и затем мы двинулись дальше. Вдруг авария: у меня все завертелось в голове, лицо залило кровью. Я протянул руку направо, где сидел Бобби. Он молчал. Я ощупал его грудь. Мальчик дышал. Я был зажат между сидением и баранкой. Острая боль раздирала мне грудь, голову, ноги и руки. Я сделал попытку шевельнуть ногой, но она не слушалась меня. В это время я услышал голос Джозефины.

— Джози? Что с тобой?— спросил я.

— Ничего, только я очень перепугалась, когда вылетела из сидения. А как ты? Как Бобби?

— Он без сознания. Не знаю, серьезное ли у него повреждение. Я сломал правую ногу в том же месте, где и прошлый раз.

— Ну?! В том же месте?— и испуганно добавила:— у тебя лицо и вся рубашка в крови.

— Джози, посмотри, что с Бобби...

Это последнее, что я сказал. Больше ничего не помню.

Когда я очнулся в больнице, молодые врачи-практиканты готовили меня к опера-

ции, а Джози стояла в сторонке и не сводила с меня глаз. Она рассказала, что у Бобби сильный кровоподтек на лице и ссадина на голове, но в остальном как будто все в порядке.

Тогда я еще не знал всех произошедших со мной неприятностей, но ужасно огорчился тем, что у меня опять был перелом правой ноги как раз над лодыжкой, в том же самом месте, что и в прошлом году. Снова сложный перелом! Я еще не подозревал, что умудрился разбить и коленную чашечку.

Джози уже сообщила по телефону дурные вести матери в Питтсбург и позвонила в Филадельфию нашему другу Гарольду, который должен был скоро приехать, чтобы отвезти ее к себе домой.

Пришел хирург, и меня перевезли в операционную, слишком хорошо знакомое мне место. Доктор сделал надрез на моей ноге и вынул погнувшуюся стальную пластинку, которая удерживала кости в правильном положении после прошлого перелома.

— На этот раз обойдемся без пластинки,— сказал он врачу-практиканту.

Начав накладывать на нижнюю часть ноги шины, хирург увидел опухоль на колене и спросил:

— Это еще что?

Просвечивание показало, что у меня разбита коленная чашечка. Тут я забеспокоился всерьез. Колено у меня плохо сгибалось из-за того, что уже раньше находилось в гипсе около четырех месяцев, и доставляло мне куда больше неприятностей, чем сломанная нога. Теперь его снова не согнешь несколько месяцев.

— Нельзя ли оперировать сейчас? — спросил я доктора.

— Нет, сэр! Пока не срастется перелом выше лодыжки, на колено необходимо наложить гипс. Иного выхода нет.

На всю ногу была наложена гипсовая повязка. Когда медсестры перевозили меня в палату, я ощущал жжение от гипса.

Очнувшись от короткого сна, я увидел около себя моего адвоката Мактернана, Маргарет и еще несколько друзей. Они спросили, как я себя чувствую.

— Отвратительно! Мне трудно дышать,— отвечал я.

Кроме перелома ноги и колена, у меня были сломаны четыре ребра и вывихнута левая рука! Пальцы онемели, голова кружилась и гудела. Меня успокоили, что Бобби был вне опасности, хотя и пострадал немного. Вскоре сиделка попросила посетителей удалиться, но перед уходом они рассказали мне, что прокурор Льюис и его помощник Хелвиг находятся внизу, где изучают историю болезни и рентгеновские снимки, и требуют, чтобы меня немедленно доставили в Питтсбург — судебное разбирательство во что бы то ни стало должно продолжаться в понедельник, пусть я даже буду лежать на носилках. Эта настойчивость Льюиса и Мусманно скоро нашла свое объяснение: они были выдвинуты кандидатами на выборах, которые должны были состояться осенью. Мусманно баллотировался в Верховный суд штата, а Льюис — в суд графства. Они оба достигли своей цели, устраивая для этого процессы по обвинению в «подстрекательстве к мятежу», а также благодаря тому, что «охоту на ведьм» объявили девизом своей избирательной программы.

Проведя июнь и июль в больнице, я уже был в состоянии переехать в Филадельфию, в дом моего друга, чтобы отдохнуть и окончательно поправиться. Я должен был оставаться в Филадельфии до новой операции, которую сделал другой врач, применивший стальные гвозди, ввинчиваемые в кость,— они держали ногу на вытяжке. Колено же оперировали немедленно, чтобы не допустить окостенения. Нога требовала ежедневного наблюдения, что не давало мне возможности вернуться в Питтсбург, несмотря на неоднократные требования Льюиса, Мусманно, кровожадных членов союза «Американцев, борющихся против коммунизма», и их друзей в прессе, телевидении и радио.

В августе в филадельфийских квартирах очень жарко. Я был один в доме. Мои друзья ушли на работу. Маргарет, перед тем как пойти за покупками, растворила окно настежь в надежде, что хоть легкий ветерок проникнет в душные комнаты. Она еще не вернулась, когда кто-то постучал в двери. Я пластом лежал в постели. Моя правая нога в металлической шине была подвешена так высоко, что я не мог двинуться. Натянув на себя простыню, я сказал:

— Войдите!

Дверь отворилась, и в сопровождении двух неизвестных мне рослых мужчин в комнату вошел — кто бы вы думали?— Мусманно собственной персоной! Оглядевшись, он увидел, что я один, и, ухмыляясь, подошел ко мне. У него хватило наглости спросить:

— Как себя чувствуете, Стив?

— Что вам здесь нужно? Какое право вы имели войти в этот дом?!— закричал я на него, на это ничтожество в черном одеянии, выдающее себя за человека.

— Пришел выяснить, скоро ли вы явитесь в суд.

— Убирайтесь отсюда, грязная крыса!— воскликнул я, пытаясь дотянуться до костылей.

Он выбежал из квартиры, даже не оглянувшись. Один из сопровождавших его людей остался в комнате.

— Я очень сожалею.

— О чем вы сожалеете и кто вы такой?

— Мне было приказано прийти сюда вместе с ним. Я городской сыщик, имею предписание всюду сопровождать его на время предвыборной кампании.

В этот момент началась гроза. Потоки дождя, подхваченного сильным ветром, заливали комнату. Видя мое беспомощное положение, сыщик произнес:

— Разрешите мне помочь вам закрыть

окна... Поверьте, я действительно сожалею о случившемся.

Это потрясло меня: филадельфийский сыщик был смущен поведением члена Верховного суда штата! Шпик оказался порядочным человеком.

На следующее утро газеты сообщили, что избирательный митинг, который должен был состояться вчера вечером и где ожидалось выступление Мусманно, был сорван из-за дождя. Друг Мусманно Алесандрони из Американского легиона (Мусманно выдвигал его на пост «национального командора» легиона) выразил сожаление, что судья не имел возможности произнести свою речь на тему «Демократия в Пенсильвании находится в опасности».

После предварительного голосования выяснилось, что благодаря удивительным избирательным законам, которыми руководствуются при избрании членов Верховного суда штата, Мусманно прошел, хотя получил меньше восьми процентов голосов всех избирателей. Эта легкая победа подогрела его стремление пробраться на более высокую государственную должность.

Квартира, в которой я лежал, находилась на оживленной улице, где в определенные часы не разрешалось стоять машинам. Мои друзья обратили внимание, что за углом, недалеко от входа в дом, притаились три автомобиля, в которых засело несколько похожих друг на друга молодчиков. Они сидели в машинах днем и ночью, наблюдая за тем, кто посещает меня. Черный ход также был блокирован. Мои дети сообщили, что эти люди разговаривают по телефону прямо из машин. Когда я вместе с Маргарет поехал на очередной осмотр к врачу, две машины следовали за нашим такси до самых дверей больницы. Одна машина остановилась у главного подъезда, а вторая — у заднего. Человек восемь заняли стратегические позиции, а двое пошли за мной, дыша мне в шею, пока я медленно ковылял на своих костылях.

Дети стали дразнить этих фебеэровских гестаповцев, сидевших в машинах и привлекавших всеобщее внимание как к себе, так и к дому. Эти молодчики надеялись спровоцировать прохожих на какой-нибудь акт насилия по отношению к нам. В то время пресса была полна сообщениями о кровопролитии в Корее. Инициаторы надзора за мной пытались нажить капитал на антикоммунистической истерии. Они думали, что люди, живущие по соседству, будут, по меньшей мере, настаивать на том, чтобы хозяин квартиры предложил мне уехать, или же домовладелец выселит его.

Некоторые из моих друзей поговорили с соседями и рабочими крупной фабрики платья, расположенной напротив. Они рассказали им о дармоедах в машинах — молодых парнях, которые целый день только и делали, что приставали к проходящим мимо женщинам, отпуская им вслед разные непристойности.

Так продолжалось почти две недели. Судебный процесс над Ондой и Долсеном в Питтсбурге — мое дело было выделено ввиду произошедшего со мной несчастного случая — подходил к концу. Пока Онда приводил присяжным свои доводы, надзор за моим филадельфийским местопребыванием был усилен. Агенты ФБР под разными предлогами появлялись у моих дверей. Мои друзья знали, что против меня затевается какая-то новая каверза. Но что им от меня нужно? Я все еще лежал почти без движения на спине, четырехдюймовые гвозди торчали из моих искалеченных ног. Я уже был обвинен в подстрекательстве к мятежу. Что же им еще надо?

Однажды утром двое довольно возбужденных молодых людей вошли в квартиру, когда я, пристроив сломанную ногу на столик, сидел и брился в ванной комнате. Без всяких предисловий один из них сунул мне под нос какую-то фотографию.

— Нелсон, вы знаете этого человека?— пока я разглядывал карточку, он продолжал: — Это Джэксон, бежавший из заключения. Если вы знаете его местопребывание, значит, вы виновны в укрывательстве. Где он прячется?

— Вон отсюда, гады! Думаете, я похож на вас?

Должно быть, я кричал очень громко. Оба молодчика отступили из ванной и бежали, все же предварительно проверив, не скрывается ли кто-нибудь в стенном шкафу.

В тот же самый день в четыре часа сорок пять минут раздался стук в дверь. Мои друзья и Маргарет готовили обед, а я сидел в постели, дезинфицируя рану.

На этот раз шесть человек заполнили маленькую квартиру; все они держали руки в карманах, как гангстеры в кинофильмах. И все же они проявили некоторое замешательство, когда Маргарет спросила, по какому праву они явились сюда. Один из них вытащил из кармана какую-то бумагу и сказал:

— Нелсон, вы арестованы по обвинению в нарушении закона Смита.

— Вы же видите, он болен,— закричала Маргарет.— Есть у вас разрешение из больницы? Как можно забирать в тюрьму калеку?

— А у нас есть такое разрешение,— рискнул заявить один из них.

— Я вам не верю! Смотрите, если у него начнется заражение, вы ответите за это!

Я оценил ситуацию и стал одеваться.

— Куда вы забираете его? Какой нужен залог? — допытывалась Маргарет. — Подождите, я должна дать ему с собой лекарство.

Шестеро молодчиков спешили убраться, а Маргарет вступила с ними в бурные пререкания, и если среди них был хоть один, не потерявший совести, он понял, что значит быть крысой и гестаповским бандитом под сенью Вильяма Пенна.

Они вывели меня через заднюю дверь. Выходившие в это время из ворот фабрики рабочие, члены объединенного союза ра-

бочих швейной промышленности, с удивлением смотрели на развернувшуюся перед ними картину. Предполагалось, что вторая мировая война велась за то, чтобы покончить с преследованиями людей за их политические взгляды. А тут, спустя всего каких-нибудь четыре года, рабочие стали свидетелями этой невероятной драмы. Они видели, как пять машин с двадцатью агентами сорвались с места, увозя меня в канцелярию ФБР, расположенную неподалеку от здания муниципалитета.

Когда меня ввели в федеральное здание на Честнат-стрит, где судья должен был определить сумму залога, там уже были фебеэровцы и Алесандрони — приятель Мусманно — со своими закадычными дружками. Не моргнув глазом, судья определил «справедливый залог» — пятьдесят тысяч долларов, хотя до этого во время процесса, проводившегося на основе законов штата, залог уже был назначен в десять тысяч долларов.

Репортеры телевидения и газет вовсю щелкали своими камерами. Стервятники прессы строчили свои сообщения, пока я, опершись на костыли, стоял перед судьей — этим политическим наемником. Подписав бумаги, он удалился в сопровождении нескольких женщин.

— Пойдемте,— услышал я его слова.— Мы опаздываем на обед, дорогая.

Небольшого роста человек в шляпе техасского образца, в высоких сапогах подошел ко мне:

— Следуйте за мной, Нелсон. Я судебный исполнитель Соединенных Штатов. Мое имя Конвей. Я везу вас в Мэйоменсингскую тюрьму.

В машине судебного исполнителя было включено радио. Обычная программа прерывалась сообщениями о моем аресте и об аресте Долсена и Онды прямо в зале суда, как раз в тот момент, когда Онда выступал перед присяжными заседателями. Новыми жертвами, добавленными к списку, оказались Бен Каритерс, Билл Альбертсон и Ирвинг Вайссман. Я был возмущен этими неслыханными действиями клики Мусманно в отношении Онды и Долсена. Разве мог какой-нибудь присяжный оправдать моих друзей, если правительство Соединенных Штатов вторгалось в зал окружного суда и надевало на них наручники? Если бы люди могли ознакомиться с материалами дела и не становились жертвами массового психоза, они бы осудили эти фашистские инсценировки.

Онда и Долсен были признаны виновными, а сумма их залога — увеличена. Внести залог они не могли, и их бросили в тюрьму Железного Города. Именно там, перед самым окончанием суда, у Онды был первый сильный сердечный приступ.

Судебный исполнитель Конвей весело болтал со своими помощниками, толкуя обо всем, начиная с игры в бейсбол и кончая марками виски. То и дело оборачиваясь ко мне, он твердил:

— Не беспокойтесь о ноге, Нелсон. Я велю начальнику тюрьмы положить вас в больницу.

Молча, с отвращением я смотрел на него. Потуги этого человечка выдать себя за важную персону были смехотворны. Он сидел на груде подушек и думал, что находится на вершине мироздания.

— Помните, где вы впервые меня увидели? Помните, судебный исполнитель привез вас на самолете из Питтсбурга в Вашингтон? Он еще надел на вас наручники: нужно было немедленно увезти вас с аэродрома, чтобы отвязаться от репортеров. Это я увез вас тогда.

— Да, отлично помню, как председатель Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности Томас и члены конгресса Вуд и Никсон передрались из-за того, кому первому вонзить в меня клыки. Мусманно тоже участвовал в этом соревновании, а вы делали грязную работу.

— А что вы хотите от меня? Служба есть служба. Я не жалуюсь на свою и не собираюсь просто так уступать ее другому.

Когда мы подъехали к тюремному зданию в южной части Филадельфии, выстроенному в 1859 году, была уже ночь, и я не увидел никого, кроме тюремщиков. Меня привели в маленькую низкую камеру, где уже сидело двое; они молча глазели на незнакомца, потревожившего их сон. Потолок в камере был сводчатый, выложенный кирпичом, вроде как в старинных винных погребах. Тускло светила маленькая электрическая лампа. Тюремщик принес одеяло и мешок соломы вместо подушки; бросив все это на соломенный тюфяк, он сказал:

— Увидимся утром, дружок.

Заключенный напротив меня был небольшого роста, коренастый смуглый парень. Он лежал на своей койке совершенно голый. У него было мускулистое, сильное тело. Ворочая глазами, он разговаривал сам с собой. Другой, чья койка стояла в ногах моей, сел и заговорил:

— Того парня зовут Коротышка, а меня — Ветеран, или просто Вет. Я только что вернулся с корейской войны. Контужен снарядом. Говорят, я сумасшедший, хе-хе-хе! Это я-то? Подожди, вот увидишь Коротышку, тогда узнаешь, что такое настоящий сумасшедший.

Коротышка вдруг вскочил и стал одеваться.

— Я должен идти. Меня зовут,— бормотал он себе под нос.

Внимательно посмотрев на него, потом на меня, Вет тоже стал одеваться. Я осторожно наблюдал за ними.

— Да, на этот раз мне действительно надо идти, они пришли за мной,— произнес Коротышка, надевая шапку и скатывая одеяло. Перекинув скатку через плечо, он попрощался со мной и направился к небольшой двери под кирпичной аркой. Там он остановился.

— Хо-хо-хо, он думал, что выйдет отсюда, сумасшедший болван! Хо-хо-хо!— истерически хохотал Вет.

— Не называй меня сумасшедшим!— сказал Коротышка.— Я слышал. Они звали меня. — И, обернувшись ко мне, спросил:— Разве это не так? Ведь вы слышали, как меня звали?

Затем он приблизился к Вету, и, хотя Вет был, по меньшей мере, на фут выше того, он перестал смеяться и взмолился:

— Пожалуйста, Коротышка, не трогай меня. Может быть, я не прислушивался и поэтому ничего не слышал.

Коротышка уставился на него, и Вет спрятал голову под одеяло. Подойдя к моей койке, Коротышка посмотрел на стальную шину у меня на ноге и, покачав головой, спросил:

— Очень больно, дружище?

— Да, Коротышка, больно.

— Надо бы прикрыть рану. В камере так грязно,— серьезно произнес он и добавил:— Тяжело, друг, но тут этого не сделаешь.

— Да, здесь этого не сделаешь,— согласился я, дивясь маленькому человечку, который, несмотря на свою больную психику, был огорчен несчастьем другого.

Не меньше двадцати раз за день Коротышка одевался, собираясь идти на зов, который ему слышался. Вет издевался над ним, но стоило Коротышке подойти к нему, как тот молил не трогать его. Я так привык к этому, что даже не смотрел на них. Они нуждались в лечении, а попали в руки бессердечных полицейских властей.

Лежа без дела в грязной камере, я стал испытывать зуд от стальных гвоздей в ноге и испугался осложнений. К счастью, Маргарет и несколько друзей знали о моем бедственном положении. Когда адвокат Льюис Мак Кейб пришел навестить меня, я рассказал ему о моих психически больных соседях и о грязи в камере. Был подан протест, который возымел силу, и меня перевели в «больницу», где я провел еще целую неделю, пока друзьям не удалось вырвать меня из тюрьмы под залог.

ПОИСКИ ЗАЩИТНИКА

Хотя я еще плохо чувствовал себя: болела нога и я вынужден был пользоваться костылями (гвозди были вынуты только за день до этого),— я должен был предстать перед судом в Питтсбурге 28 сентября, когда было назначено слушание моего дела, ровно через четыре месяца после автомобильной катастрофы.

Я заявил председательствующему судье, что не могу явиться в суд по состоянию здоровья и что если это ему самому не очевидно, то он может прислать доктора для осмотра. Судья назначил двух врачей: Хьюбера Вагнера — главного врача Стальной корпорации Соединенных Штатов, и доктора Вайнберга — невропатолога из Вестпеннской больницы. Осмотрев меня, они рекомендовали отложить суд только на два месяца. Я огорчился, так как был уверен, что двух месяцев не хватит для того, чтобы окончательно поправиться и подготовиться к процессу.

Все попытки найти для меня защитника провалились. Жена и друзья посетили более восьмидесяти адвокатов в Питтсбурге, но все они отказывались: «Очень занят...» «Не занимаюсь уголовными делами.» «Не могу пойти на жертву...» «Не желаю оказываться вторым Шлезингером...» (Шлезингер —прогрессивный питтсбургский адвокат, арестованный местными маккартистами, желавшими пришить ему дело, как они сделали это в отношении меня.)

Вернувшись в Питтсбург, я сам посетил многих юристов — не менее двадцати пяти — и написал еще пятидесяти другим в Филадельфию, Нью-Йорк, Чикаго, Калифорнию, Вашингтон и в Западную Виргинию. Кто-то сказал мне об одном адвокате, который мог бы взяться за мое дело. Его контора помещалась во внушительном здании, неподалеку от суда. Хотя я предварительно созвонился с ним по телефону, мне пришлось долго ждать, пока он принял меня. Его библиотека состояла из тысяч законоведческих книг; стоявшие вдоль стен длинные полки были набиты до самого потолка. От нечего делать я порылся в книгах. Судя по пыли, которая их покрывала, они служили лишь для того, чтобы «производить впечатление на клиента». На стене висели портреты Линкольна, Эрскина, Джефферсона и нескольких местных судей, включая Мусманно. Тут была и медная плита с изречением: «Я могу не соглашаться с тем, что вы говорите, но буду бороться на смерть за ваше право говорить это». В это время меня пригласили в кабинет. Я вежливо приветствовал адвоката, с которым несколько раз случайно встречался, и замолк в ожидании, что он предложит мне сесть. Вместо этого он произнес:

— Нелсон, я знаю, чего вы хотите. Но не стоит об этом говорить. Я не могу помочь вам. Слишком занят. Кроме того, я не принесу вам никакой пользы.

— В таком случае...— на мгновение я растерялся.— В таком случае не можете ли вы указать, к кому мне обратиться?

— Нет, не могу. Никто не захочет рисковать своей головой ради вас... Вы же сами знаете положение вещей. Люди настроены против ваших взглядов. Возьмите любую дюжину мужчин и женщин, посадите их на скамью присяжных — и они повесят вас.

Я стоял перед его столом, опираясь на костыли и посматривая на свободный стул, но он так и не предложил мне сесть.

— А как же мои права?— спросил я.— Я не требую, чтобы вы соглашались со мной, но требую, чтобы мне было позволено верить в социализм и отстаивать свои взгляды, если я того пожелаю. Я не совершал никаких преступлений. И вы отлично знаете, что меня вообще не за что отдавать под суд. Но раз уж меня будут судить, я хочу осуществить эффективную защиту. Я хочу разоблачить моих преследователей. Хочу разоблачить судью и об-

винителя, которые оболгали и оклеветали меня с целью добиться политической власти. Я не ищу такого защитника, который соглашался бы с моими взглядами. Я хочу найти человека, который защищал бы меня в духе вольтеровских слов, выгравированных на плите, висящей в вашей библиотеке.

— Нелсон, я ничем не могу помочь вам. Я не желаю загубить свою практику. Будьте благоразумны. Нельзя быть юристом в этом городе и идти на неприятности с судьями, которые настроены против вас и ваших друзей. Кроме того, я уже не юнец. Раньше я бывало лез на рожон, но теперь я уже не тот глупый идеалист, каким был когда-то.

— Значит, нет никакого смысла разговаривать с вами? Не так ли?

— Сожалею, но это именно так. Ничем не могу помочь.

— Тогда не следует ли вам снять медную плиту с изречением Вольтера и продать ее старьевщику? Медь пойдет тем, кто изготовляет снаряды для войны в Корее! (Плита весила, по меньшей мере, тридцать фунтов, судя по большим винтам, которыми она была прикреплена к стене.)

Позеленев, он даже не сделал усилия посмотреть мне в глаза, но и не попросил меня уйти. Я сам понимал, что мне не за чем здесь оставаться, и направился к двери.

— В том-то все и несчастье с вами, Нелсон, что вы не знаете, когда надо отступить,— вдруг проговорил он.— Желаете, чтобы в наши дни, в наше время я жил согласно девизу Вольтера? Вам следует быть более практичным и сдерживать свои чувства. Я не увлекаюсь вашим слепым идеализмом.

Он пытался оправдать себя, продолжая в том же духе. А я представлял себе, как он катается на своем новом кадиллаке, и завершает прогулку отдыхом в излюбленном клубе, где за рюмкой вина перебрасывается шутками с такими же крахмальными рубашками, как он сам, и хвалится своими успехами на бирже. В понедельник он заполучит клиентов, «которым может помочь» — одного, двух, трех — торговца опиумом, рэкетира, «денежного» человека. О, этим-то он поможет: у него есть подходящие связи. Работы немного, никакой необходимости копаться в законах или готовиться к процессам. Он в приятельских отношениях с несколькими судьями и уж сумеет проследить, чтобы его дело попало в верные руки.

Уже в дверях я сказал:

— Вам следовало бы повесить плиту с изречением Мусманно, это куда больше соответствует вашим «зрелым» взглядам. Но, пожалуйста, снимите Вольтера! Ведь если Мусманно увидит его рядом со своим портретом, он арестует вас по обвинению в подстрекательстве к мятежу, так же как он арестовал Шлезингера — единственного адвоката в городе, который был готов помогать таким людям, как я.

Шли дни. Я продолжал посещать адвокатов в Питтсбурге и писать в другие города. Вот содержание письма, которое я разослал в разные места, и несколько ответов на него:

Уважаемый сэр!

Я предан суду на основании закона штата Пенсильвания о подстрекательстве к мятежу в суде общинных тяжб в городе Питтсбурге. Выдвинутое против меня обвинение — «подстрекательство к мятежу». Суд надо мной и моими двумя сообвиняемыми, Энди Онда и Джеймсом Долсеном, шел уже пятый месяц, когда я пострадал при тяжелой автомобильной катастрофе, в результате чего дело мое было выделено. Суд над моими сообвиняемыми продолжался и окончился их осуждением.

Из-за полученных травм, а также из-за юридического крючкотворства в связи с обвинением меня по закону Смита я не имел возможности подготовиться к процессу, начало которого назначено на 1 октября. Адвокат, который защищал нас — мистер Джон Мак-Тернан — на этот раз не имеет времени вести мое дело из-за обязательств, данных им прежде другим клиентам, поэтому я обращаюсь к Вам с надеждой, что Вы найдете возможность защищать мои интересы.

По моему мнению, дело, возбужденное против меня, возникло из-за нынешней антикоммунистической истерии и из-за отрицательного отношения моей партии к войне в Корее. Нет нужды говорить, что я не совершал никакого преступления. Все материалы обвинения основываются лишь на том, что я «верил в определенные идеи», «имел и читал определенные книги», которые обвинение признало «подрывными».

Надеюсь, что Вы как член адвокатуры Пенсильвании согласитесь вести мое дело. В случае Вашего отказа я окажусь в большой опасности, представ перед судом без защитника.

Если Вы заинтересуетесь моим делом, прошу сообщить мне по адресу Айова-стрит, 3120, Питтсбург, либо по телефону — Музей 1-0197. Любое содействие с Вашей стороны будет высоко оценено мной.

Искренне Ваш

Стив Нелсон.

* * *

Уважаемый сэр!

Я получил Ваше письмо от 25 сентября. Ваше дело меня интересует, но я не имею возможности взять на себя ответственность за Вашу защиту. Основываясь исключительно на том, что мне известно из газет, я признаю настойчивую необходимость принять меры в связи с этим делом, но не в состоянии пойти на жертву, которая потребуется в данном случае.

С уважением

Т. Генри Уолнат.

1420, Уолнат-стрит
Филадельфия 2, Пенсильвания.

* * *

Дорогой мистер Нелсон!

Настоящее письмо является ответом на Вашу просьбу от 25 числа текущего месяца выступить в качестве Вашего защитника на суде...

...Я не в состоянии взять на себя Вашу защиту. У меня есть другие обязательства, которые требуют моего присутствия в суде здесь, в Филадельфии, 1 октября. Кроме того, у меня нет достаточного опыта защиты по уголовным делам.

Сожалею, что не могу быть Вам полезен.

Искренне Ваш

Уолтер С. Лонгстрет.

704, Бейли-билдинг
1218, Честнат-стрит, Филадельфия 7, Пенсильвания.

* * *

Дорогой сэр!

Получил Ваше письмо от 27 сентября 1951 года с просьбой представлять Ваши интересы. Я не занимаюсь практической деятельностью. Рекомендую Вам, в случае если Вам не удастся найти защитника, довести об этом до сведения суда и просить о назначении судом юриста для оказания помощи в Вашей защите.

Искренне Ваш

Луи В. Шварц,
профессор юриспруденции.

Пенсильванский университет
Филадельфия 4, Пенсильвания.

* * *

Дорогой мистер Нелсон!

По личным мотивам я не имею возможности представлять Вас в судебном разбирательстве, имеющем начаться 15 октября в суде четвертной сессии графства Аллегейни, на котором Вы предстанете в качестве обвиняемого.

Ваш

Лоуренс Дж. О'Тул.

Плаза-билдинг
Питтсбург 19, Пенсильвания.

* * *

Дорогой мистер Нелсон!

Как я уже сообщал Вам, меня глубоко волнует угроза гражданским свободам, которая заключается в Вашем деле. Однако до Вашего сегодняшнего посещения я не имел представления о том, что разбирательство предыдущего дела затянулось на целых шесть месяцев. Я думал о нескольких неделях в самом крайнем случае.

Мне приходится заниматься адвокатской деятельностью одному, без компаньонов, которые могли бы вести дела во время моих отъездов. При данных обстоятельствах не может быть и речи о том, чтобы я оставил свою практику и уехал в Питтсбург на то время, которое займет Ваше дело.

С почтением

Дарлингтон Хупс.

26, 6 улица
Ридинг, Пенсильвания.

* * *

Уважаемый сэр!

Настоящим подтверждаю получение Вашего письма от 25 сентября. Я не имею возможности взять на себя Вашу защиту, так как в настоящее время в качестве кандидата чрезвычайно занят предвыборной кампанией и не смогу уделить время для дел до 6 ноября.

Ваш

Виктор Х. Бленк.

1528, Уолнат-стрит
Филадельфия 2, Пенсильвания.

* * *

Дорогой мистер Нелсон!

Я весьма сочувствую Вам в создавшемся положении и особенно сожалею, что обязательства, которых у меня так же много, как и дел, находящихся в производстве (мне предстоит заниматься ими начиная с 1 октября в течение осенней и зимней сессий), лишают меня возможности представлять Вас в Вашем весьма важном судебном разбирательстве в Питтсбурге.

Мне представляется невозможным покинуть Филадельфию в настоящее время. Вероятно, Вам знаком процесс, в котором я был занят с 4 января по 20 июня в Трентоне, штат Нью-Джерси. Он широко известен по всей стране под названием «Дело шести из Трентона». Этот процесс тянулся около пяти долгих месяцев. В течение этого времени у меня скопилось большое количество дел, которые я начал в филадельфийском округе и должен был продолжить по окончании трентонского процесса. Эти старые дела, наряду с текущими делами, начали рассматриваться в суде в этом месяце. Начиная с этого времени и до поздней зимы я буду постоянно занят, наверстывая потерянное в Трентоне время.

Вдобавок, я выдвинут кандидатом от демократической партии Филадельфии в наш муниципалитет. До 6 ноября я буду днем и ночью занят в избирательной кампании как своей, так и всех кандидатов демократической партии, и надеюсь, что наш список пройдет на выборах целиком.

Я искренне хочу, чтобы Вам удалось найти компетентного защитника, который окажет Вам помощь в ожидающем Вас серьезном деле.

Искренне Ваш

Раймонд Пэйс Александер

40, 19 улица
Филадельфия **3, Пенсильвания.**

* * *

Дорогой мистер Нелсон!

У меня имеются очень большие сомнения в том, что я подходящий для Вас человек, а Вы — для меня. По-моему, Вы состоите членом коммунистической партии. В этой партии — в противовес существующему во всем мире положению — ложь и лжесвидетельство являются обычными приемами, по крайней мере. мне удалось это извлечь из работ Ленина и других. Ни один адвокат не должен прощать лжесвидетельства; и если в Вашей защите оно будет иметь место, я спокойно разобью Вас.

Кроме того, я никогда не вел уголовных дел и не думаю, что у меня хватит физических сил довести до конца Ваш процесс, если судебное разбирательство затянется.

Поэтому самое большее, что я могу или что я должен сделать для Вас, заключается в следующем: если Вы договоритесь с питтсбургским или каким-либо иным адвокатом в Пенсильвании, хорошо разбирающимся в вопросах уголовного процесса, чтоб он взял на себя всю работу (за исключением тех случаев, когда мое вмешательство в судопроизводство может показаться мне целесообразным), а также ответственность перед Вами по всем вопросам процедуры, то я, при определенных условиях, выражу согласие действовать в качестве Вашего второго защитника.

Прежде всего я должен твердо знать, являетесь ли Вы членом коммунистической партии или нет (тут Ваше личное отрицание, боюсь, не удовлетворит меня). Если Вы являетесь членом этой партии, я должен получить от Вас письменное согласие на то, чтобы весь процесс был под моим полным контролем. Надеюсь, что Вы понимаете, что я не прощаю никакой лжи, и поэтому если Вы на любой стадии судопроизводства нарушите данное мне обязательство ничего не говорить и не делать без моего одобрения, то я оставляю за собой право тотчас же отказаться от Вашей защиты. Это соглашение, разумеется, должно быть заранее сообщено судье и прокурору округа и одобрено ими.

Разрешите мне внести еще большую ясность. Я полагаю, что мой долг защитника заключается в следующем: 1) добиваться, чтобы любое предъявленное Вам обвинение было доказано, и 2) охранять Ваши конституционные права и с этой целью говорить все, что может быть честно сказано в Вашу пользу. Возможно, это покажется Вам недостаточным. И, конечно, я настаиваю на том, чтобы Вы подобрали в качестве моего коллеги по защите лицо, заслуживающее моего одобрения.

Если Вы пожелаете прислать обвинительный акт и другие имеющиеся у Вас материалы вместе с чеком на 250 долларов, я с удовольствием ознакомлюсь с Вашим делом. Само собой разумеется, что к этому должны быть приложены любые данные, какие Вы сочтете необходимыми, по поводу Вашей принадлежности к коммунистической партии.

Прежде чем я дам свое согласие выступать в качестве защитника, прошу внести на мой текущий счет достаточную сумму в счет гонорара или гарантировать оплату из расчета 350 долларов за каждый день судопроизводства плюс расходы за время моего пребывания в Питтсбурге.

Разрешите мне добавить еще одно слово, которому Вы можете верить или не верить, как Вам будет угодно. Я не занимаюсь уголовными делами. Это не привлекает меня. Я бы и мизинцем не шевельнул, если бы это дело касалось Вас одного — Вы, по-моему, ссстоите в коммунистической партии,— но меня беспокоят судьбы других: я считаю, что никого нельзя лишать свободы или выслать без соблюдения предусмотренного законом процессуального порядка.

Прошу Вас верить, что это не увертка с моей стороны.

С почтением

Айра Джюэлл Уильямс-младший.

19-й этаж, Лэнд Тайтл-билдинг,
Филадельфия.

Нужно ли комментировать это наглое письмо? Естественно, что я даже не ответил на него.

Я ОТКАЗЫВАЮСЬ ПЛАТИТЬ ЗА ВЕРЕВКУ, НА КОТОРОЙ МЕНЯ ХОТЯТ ПОВЕСИТЬ

Наступило 3 декабря, день начала процесса, а я все еще был без адвоката и все еще чувствовал себя больным. Я ковылял на костылях, и голова у меня раскалывалась от боли.

Я рассказал об этом судье Монтгомери, хотя он и сам все знал, и попросил отложить слушание дела.

— И так уже было слишком много отсрочек,— отвечал маленький, кругленький судья.— Суд продолжается!— Он неуклюже дернул плечом, словно хотел силой подтолкнуть суд вперед.

Я указал ему, что любой рэкетир может получить и получает отсрочку по малейшему поводу. Но судья заявил мне, что нечего «болтаться без дела». Я потребовал, чтобы меня освидетельствовали врачи. Монтгомери не возражал, поскольку от него зависело, каких врачей выбрать. Моя жена и друзья опасались, что я подвергаюсь большому риску. Но я был готов пойти на это. У меня еще была надежда, что удастся найти юриста к тому времени, когда я поправлюсь.

Но у судьи Монтгомери были свои веские основания для того, чтобы торопиться с процессом. Ему надо было успеть попасть в списки кандидатов в Верховный суд штата, а для этого он должен был закончить дело моим осуждением. Он только следовал примеру других официальных

лиц, которые фигурировали в предыдущем моем процессе, таких, как судья Гантер, который стал членом высшей судебной инстанции; прокурор округа Рахаузер, ставший судьей графства; Лорин Льюис, который попал в судьи графства, а был обвинителем в моем первом процессе по обвинению в подстрекательстве к мятежу. Но в особенности Монтгомери следовал примеру Мусманно, который лично участвовал в налетах на помещение коммунистической партии, сам назначил Монтгомери судьей по этому делу и добился своего избрания в Верховный суд штата Пенсильвания сроком на двадцать лет и с ежегодным окладом в 22 тысячи долларов! Этот мелкий политический выскочка не желал упустить СВОЕГО шанса!

Судья Монтгомери дал материал для нескольких крикливых заметок в газетах Питтсбурга, жалуясь на мою «тактику уверток и проволочек», а потом предложил доктору Хьюберу Вагнеру, главному врачу Стальной корпорации Соединенных Штатов, положить меня на исследование в Вестпеннскую больницу, куда обычно доставляли рабочих сталелитейной промышленности, получивших повреждения на заводах.

Мне должны были сделать различные анализы, включая пункцию спинномозговой жидкости, которая берется из позвоночника, а туда вводится контрастное вещество для того чтобы при просвечивании можно было увидеть, нет ли у меня трещин черепа. Процедура эта сложная и очень болезненная, и после нее пациент во избежание осложнений должен лежать неподвижно на спине целые сутки.

Прошло пять часов после того, как мне была сделана пункция, и я лежал в постели, а тем временем в больнице появился какой-то человек, беспрепятственно прошел по длинному коридору мимо канцелярии и потребовал свидания со мной. Мои дети, находившиеся в приемной, слышали, как этот человек грозил по моему адресу. Затем он явился в палату и спросил больного, лежащего рядом со мной:

— Вы Стив Нелсон?

Я не сразу разглядел ворвавшегося, но потом убедился, что никогда раньше не видел его. Он подошел ко мне, держа руку в кармане:

— Так это вы Стив Нелсон?

— Да, а вы кто такой?

— Я пришел сказать вам, что сегодня получил телеграфное извещение о гибели двух моих братьев в Корее!

Он еще глубже сунул руку в карман, вытащил револьвер и направил его на меня. Несмотря на жгучую боль в голове, я вскочил и оттолкнул его руку. Мой сосед, старый шахтер, спрыгнул с койки и, схватив бандита, закричал:

— Стыдитесь нападать на больного человека!

Только тогда доктор, сестры и дежурные, которые находились в палате, подбежали к нам.

— Вам... вам запрещено вставать!— негодующе сказал один из врачей.

Я потребовал ареста хулигана. Моя жена, которая была свидетельницей нападения, также настаивала на его задержании. Но все было тщетно. Пока что этот убийца кричал, глядя на мою жену:

— Дайте мне добраться до нее! У меня чешутся руки! Так бы и вцепился ей в глотку!

Он вышел из палаты: никто не помешал ему. Как он вообще мог проникнуть в больницу, где к больным допускались только близкие люди? Почему он вышел и исчез и никто не сделал даже попытки задержать его? Было ли это сделано с ведома Мусманно или судьи Монтгомери? Кто подослал его? И он ли, или кто-то другой выстрелил в окно моего дома вскоре после этого инцидента?

Некому было ответить на все эти вопросы. Ни городская полиция, ни власти графства не старались разыскать налетчика. На что мог рассчитывать больной инвалид, не имеющий адвоката, в этом городе, знаменитом своими фальсифицированными процессами и хладнокровными убийствами бастующих рабочих?

Но Монтгомери твердо решил судить меня со всеми надлежащими атрибутами: двенадцать присяжных; библия для принесения присяги осведомителями и шпиками; мрачный судебный зал с единственным для меня выходом — в тюрьму на весь остаток жизни! Зато никто не посмеет утверждать, что Нелсон не был судим, что американское правосудие не было равным и нелицеприятным «даже по отношению к коммунисту», как благоговейно заметила «Нью-Йорк таймс».

День был холодный и тоскливый. Питтсбург — некрасивый город. Когда мы прибыли, зал суда был почти пуст. Меня знобило, и я чувствовал головокружение. Маргарет тревожно поглядывала на меня. Я решил снова просить судью отсрочить суд и помочь мне найти защитника.

Но его ответ был прост:

— Никаких отсрочек.

И я сделал последний отчаянный шаг.

— Ваша честь, так как вы, очевидно, не верите тому, что я не могу найти себе защитника в этом городе, прошу вас дать мне список адвокатов, с которыми бы я мог обсудить свое дело и выбрать одного из них для моей защиты.

Судья колебался и смотрел на прокурора.

— Хорошо, я назову вам имена четырех юристов. Можете повидаться с ними сегодня же и подготовиться к суду, который будет продолжен завтра утром.

Я запротестовал:

— Какой адвокат возьмется выступать завтра по моему делу? Если он вообще достойный адвокат, у него должны быть другие обязательства, которые он и не подумает нарушать ради того, чтобы взяться за мою защиту. Кроме того, ему надо

ознакомиться с материалами дела, не так ли?

Судья сделал нетерпеливое движение:

— Больше я ничего не могу сделать. Один из помощников прокурора передаст вам список.

Имена этих адвокатов передал мне Джон Льюис — человек, только и мечтавший сделать себе карьеру на моем процессе.

«Все же лучше какой-нибудь адвокат, чем никакого»,— думал я. В этот вечер мне пришлось здорово поработать. Я посетил адвокатов, упомянутых в списке, но они дали мне один и тот же ответ. Я был в отчаянии. За пятнадцать минут до начала слушания дела мне удалось поймать в коридоре суда последнего адвоката из списка судьи. Это был человек лет тридцати, если не меньше, высокий, плотный, пахнущий помадой. Не успели мы поздороваться, как он спросил:

— Вы согласны платить пятьдесят долларов в день?

Я взглянул в его расчетливые глаза и вспомнил о его репутации. Он был хорошо известен в качестве «тюремного адвоката», который жил за счет отчаявшихся людей; паразит худшего сорта, он вымогал у заключенных любую сумму, начиная с десяти долларов, обещая добиться для них условно-досрочного освобождения. Но стоило ему только вырвать эти деньги, и он больше не показывался на глаза. Боксер Ник рассказывал мне, как этот тип выманил у него двести долларов, пообещав добиться для него досрочного освобождения, но только и сделал, что написал обычное заявление в комиссию, ведающую этими делами.

А теперь он хочет пятьдесят долларов в день!

Я спросил у него, приходилось ли ему когда-нибудь вести серьезные дела, читал ли он что-нибудь о делах по обвинению в подстрекательстве к мятежу, знает ли он что-нибудь о законе, по которому меня собираются судить, и считает ли он необходимым ознакомиться с материалами предыдущего процесса надо мной? Он увильнул от ответа на эти вопросы и только заявил, что за пятнадцать минут вполне успеет просмотреть обвинительный акт, на основании которого сможет затем действовать. Я сказал ему, что обвинительный акт занимает четырнадцать больших листов, напечатанных на мимеографе через один интервал.

— А знаете ли вы,—спросил я,— что оно содержит более тридцати четырех длинных выдержек из книг? Не должны ли вы ознакомиться с этими книгами и цитатами, прежде чем дать согласие на ведение дела?

— Что поделаешь,— отвечал он,— судья обязательно хочет продолжать процесс сегодня же утром.

— Это он вам так сказал?— в упор спросил я.

На мгновение тот растерялся, поняв, что совершил промах.

— В состоянии ли вы платить мне пятьдесят долларов в день? — снова задал он тот же вопрос.

— У меня нет ни цента,— отвечал я.— Мои друзья собирают деньги, чтобы помочь мне, но будь я проклят, если заплачу за веревку, на которой меня хотят повесить!— Я посмотрел на него.— Разве вы не заинтересованы в защите моих прав? Как юрист, вы должны знать, что тщательная подготовка к суду так же важна, как и присутствие защитника при разборе дела.

— Суд идет! — закричал судебный пристав.

— Вы готовы?— спросил судья Монтгомери.— Наняли ли вы себе адвоката, мистер Нелсон?

Я сказал, что к сегодняшнему утру мне не удалось найти адвоката, но что трое выразили согласие вести мое дело, если им предоставят от тридцати до шестидесяти дней на подготовку.

— А как мистер..?— спросил судья.

Это был тот самый «пятидесятидолларовый» мошенник, который считал, что он может взяться за ведение дела, потратив четверть часа на ознакомление с ним.

— Совершенно очевидно, что на него пал выбор обвинения,— произнес я.— Он полон необычайного рвения... и готов взяться за мое дело. Я не считаю его подходящим для себя. Полагаю, что конституция гарантирует мне право иметь защитника по моему собственному выбору. Поэтому я возобновляю ходатайство об отсрочке.

Судья ответил, что, представив мне список юристов, он выполнил свой долг и что я фактически отказываюсь от всех, кого он мне рекомендует.

Я пожелал узнать, обязан ли я соглашаться на услуги адвоката, назначенного мне судьей.

— Я вам никого не назначал,— сказал он.

— Разве защитнику не предоставляется время для подготовки?— спросил я.

— До некоторой степени да, — отвечал судья.

Тогда я вновь повторил, что у меня есть трое адвокатов, которые готовы защищать меня, но им требуется один-два месяца для изучения дела.

— Я вам не дам больше отсрочек,— бросил судья.

— Не мне, а юристам нужно время, чтобы прочитать толстые книги, объемистые протоколы судебных заседаний.

— Мне известно,— сказал судья,— что на предыдущем процессе упоминалось много книг... Но я не собираюсь разрешать ненужные отсрочки... Настоящее дело будет рассматриваться как обычное судебное дело именно здесь, в этом зале суда...

— Но ведь это не обычное судебное дело,— сказал я.

— У нас есть и другие серьезные дела — дела об убийствах,— произнес судья.

— Но ведь меня обвиняют не в убийстве,— запротестовал я.— Никаких преступ-

лений я не совершал. Это суд над политическими убеждениями.

— Вы так думаете,— усмехнулся судья,— а точка зрения государственного обвинения...— Он напустил на себя официальный тон:— Я не могу предоставить защитнику, которого вы наймете, возможность прочитать большое количество книг в порядке подготовки к данному разбирательству.

Собрав все свое терпение, я подчеркнул, что поскольку мной не совершено никакого преступления, то под судом находятся мои взгляды и мнения, а они не могут быть судимы нигде и никаким судом.

Монотонно, словно машина, судья объявил:

— Продолжаем судебное разбирательство.

— Меня принуждают к суду без защитника,— запротестовал я.— Есть ли это приказание суда участвовать в процессе без защитника?

— Я приказываю вам предстать перед судом, будь то с защитником или без защитника!

Вот уж слегка и обнаружился нрав этого человека: я не шел на «сотрудничество» с ним!

— Протестую против подобного образа действий,— заявил я.— Все эти вынужденные короткие встречи с юристами, иногда на пятнадцать минут в коридоре суда — и вы еще ждали, что я вернусь с адвокатом! Это фарс и обман! Я протестую! Мне необходимо сделать несколько запросов, а я даже не имею возможности проконсультироваться с адвокатом... Никакой уважающий себя юрист не может стать участником столь скоростной процедуры. И, как я уже говорил, я не буду платить за веревку, на которой меня хотят повесить!

Судья разгневался.

— Последнее ваше замечание является некоторым неуважением к суду, но на данном этапе судопроизводства я посмотрю на это сквозь пальцы, мистер Нелсон!— И пролаял:— Дело начинается слушанием немедленно!

Итак, суд начался. Мне предстояло быть своим собственным защитником. Всю прошлую ночь я знакомился со старыми судебными отчетами, пытаясь стать адвокатом до восхода солнца. Никогда ни один студент юридического факультета не зубрил так усиленно. Я знал, что можно начинать с возбуждения ходатайств перед судом, и попросил судью дать мне на это время. И он дал пятнадцать минут. В эти четверть часа мы с Маргарет заготовили несколько ходатайств, и я представил судье исписанные карандашом листки. Он едва взглянул на них. Затем я обратился за разрешением возбудить несколько устных ходатайств. Он с раздражением разрешил мне и это.

Это были формальные ходатайства, обычные в большинстве судебных процессов. Но при моем последнем ходатайстве судья чуть не взорвался от ярости. Я потребовал, чтобы он отвел себя ввиду того, что не может разбирать мое дело: он слишком тесно связан с лицами, подстроившими мой арест и подготовившими мой процесс. Я подчеркнул, что одним из доказательств его предубежденности является приговор, который он вынес Натану Альберту за попытку сломить джимкроуистские барьеры в купальнях Хайландского парка. Судья Монтгомери со злорадством засадил Альберта за решетку на двадцать три месяца за то, что, как сказано в протоколе, «Натан Альберт отказался отрицать, что он коммунист».

Я попросил судью рассказать, правда ли, что он один из основателей организации «Американцы, борющиеся против коммунизма», которая потребовала моего ареста и распространяла против меня различные вымыслы. Да, он признал, что является одним из должностных лиц этой организации, но «в настоящее время не находится при исполнении своих обязанностей» (он имел в виду время, когда находился в зале суда).

— Правильно ли, по-вашему, что вы ведете мое дело, несмотря на все указанные обстоятельства?— спросил я:

Он ответил, не моргнув глазом:

— Да, правильно.

И тут же благочестиво добавил, что сумеет судить меня по справедливости: «Он в этом уверен». После этого слащавого лицемерия мне ничего не оставалось, как только умолкнуть.

Так окончился первый раунд. Попытка судьи Монтгомери оседлать меня «тюремным адвокатом», который содействовал бы моему скорейшему осуждению, провалилась.

«ЭТИ КНИГИ ОПАСНЕЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ»

Как же воспользоваться моим беглым знакомством с «искусством перекрестного допроса»? У меня не было даже протоколов судебного заседания за предыдущий день. Не было времени выписать какие-либо вопросы. Маргарет видела, в каком затруднительном положении я находился, и сказала:

— Ты же знаешь, что такое Мусманно! Это же пузырь! Проткни его — и он лопнет!

К счастью, я знал о нем почти все. Знал, что он страшно эгоцентричен, что он написал книгу, в которой предлагал себя в качестве кандидата на пост президента. Знал, что он тщеславен до сумасшествия. В другой его книге о Германии он изображен на всех шестидесяти с лишним фотоснимках, помещенных в ней, включая фотографии, на которых был увековечен рядом с собакой Гитлера, а также вместе с его фотографом, шофером и секретарем.

Он был готов на все, лишь бы его фотография появилась в газете. Будучи судьей, он однажды приговорил самого себя к трем

суткам тюрьмы за нарушение правил уличного движения.

Я знал также, что он восхвалял Муссолини и был очень огорчен, когда Рузвельт не сделал того, что ему предлагали Херст и Джон Фостер Даллес: не поддержал Гитлера и Муссолини против Советского Союза. В моем распоряжении было письмо, в котором Мусманно восхвалял фашистский режим в Италии в 1926 году.

Бесспорно, Мусманно был психически неуравновешенный человек, у него уже было однажды нервное расстройство. Когда тринадцать из четырнадцати судей в графстве Аллегейни выступили против него — он слегка помешался.

Крайне беспринципный, лживый, он, не задумываясь, связывался с кем угодно ради получения временной политической выгоды. Он очень поверхностно мыслил, хотя и считал себя культурным человеком с литературным вкусом.

Несмотря на все это, я знал, что он опасен. Во-первых, он был в демократической партии все еще скрытым маккартистом с «профсоюзным» прошлым, и многие из тех, кто впоследствии поняли, что он собой представляет, пока еще не раскусили его. Во-вторых, он пользовался поддержкой председательствующего судьи, который позволял ему говорить все, что угодно, в присутствии репортеров газет и радио, готовых разнести его ложь по всему миру.

Было бы недостаточно назвать его дураком и шутом. Я знал, что он вожак местных фашистов, которые используют «красную опасность» для более зловещих дел, чем данный процесс. Мусманно был связан с теми, кто пытался привлечь к суду Хаймана Шлезингера, чтобы запугать местную адвокатуру.

Я познакомился с этими материалами еще до суда: прочитал его книги и внимательно перелистал газеты. Но как может вести перекрестный допрос, и к тому же опрашивать свидетеля обвинения, члена Верховного суда, несведущий в юридических тонкостях человек?

Я задал вопрос:

— С какой целью он заходил в помещения коммунистической партии в июле 1950 года?

— Покупать литературу.

— Было ли это сопряжено с какими-либо затруднениями?

— Нет, — ответил он наконец после моих долгих стараний выжать из него этот простой ответ.

— Знал ли он, или не знал, что в течение восьми лет помещение коммунистической партии находилось напротив здания суда?

Чтобы услышать в ответ короткое «да» понадобилось почти полчаса.

Он называл эти помещения «тайными убежищами», но уже через двадцать минут признал:

— Нет, они не были тайными.

— Пришлось ли ему испытать какие-либо трудности при покупке тех книг, которые он хотел приобрести?

Снова долгие пререкания. Даже судья № 1 вынужден был вмешаться и сказать, что «ответ, который дал свидетель, указывает на то, что у него не было никаких трудностей при покупке того, что он хотел приобрести».

На мой вопрос:

— Обнаружили ли вы какое-нибудь оружие в помещении коммунистической партии?

Он ответил:

— Да, помещение было заполнено оружием, потому что я рассматриваю эти книги как оружие.

Протестуя против этого ответа, я радовался, что свидетель попадается на приманку.

Вопрос: Одну минуту! Что следует понимать под словом «оружие»?

Ответ: Оружие — это предметы, которые причиняют вред и наносят ущерб другим людям, и я считаю, что эти книги гораздо более опасны, чем огнестрельное оружие!

После длительного препирательства, когда мне пришлось задать около пятнадцати вопросов, Мусманно наконец признал:

— Я не видел там огнестрельного оружия.

Далее я спросил, имели ли место в его прошлой практике случаи, когда бы он лично осуществлял аресты и занимался наложением ареста на имущество? При выдаче ордера на арест он под присягой в качестве «частного гражданина» подтвердил наличие оснований к аресту: процедура, разрешенная по закону о подстрекательстве к мятежу. Судья № 2 заявил протест. Судья № 1 поддержал его, и стало трудно добиваться прямого ответа. Но через некоторое время свидетель все же признал, что в прошлом он никогда этого не делал.

Как судья № 1 пытался защитить судью № 3, видно из протокола:

Мистер Нелсон: Итак, прежде местные власти, местные полицейские органы, шериф и полиция штата управлялись с этими делами без вашего вмешательства, а теперь это должно совершаться только при вашем личном присутствии?

Мистер Льюис: Я протестую.

Председатель суда: Протест принят... Думаю, что ваше замечание немножко несправедливо. (Несправедливо!)

К этому времени я почувствовал, что можно переходить к вопросам, разоблачающим фашистские связи и взгляды Мусманно.

Я спросил, не ездил ли он в фашистскую Италию для изучения юриспруденции. Разве он не мог изучать юриспруденцию в Соединенных Штатах? Разве здесь нет хороших правовых учебных заведений? Что можно подумать о человеке, который из Соединенных Штатов отправляется в Гер-

манию для изучения чего-либо в то время, когда там у власти Гитлер.

Судья № 2 протестует.

Судья № 1 принимает протест.

Судья № 3 начинает чувствовать себя неважно: ему не нравятся подобные вопросы. Но я не отступаю.

Судья № 1 активизируется, пытаясь столкнуть меня с дороги и закрыть мне рот.

Председатель суда: Погодите. Я не собираюсь судить здесь ни Муссолини, ни Гитлера, ни... какую-либо философию, касающуюся их, или то положение, которое было в тех странах.

Я настаиваю на том, что настоящий процесс представляет собой суд над моими политическими взглядами и что у меня есть очень важный пункт, который я хотел бы выявить.

Мистер Нелсон: Но я не могу этого сделать при тех ограничениях, которые принимаются в отношении меня... Свидетель, будучи в Италии, подцепил там фашистского клопа и теперь пытается расплодить этого клопа в Соединенных Штатах.

Свидетель просит у суда защиты, а я требую, чтобы к нему относились, как и ко всем прочим свидетелям. Выражение лиц трех судей не оставляло сомнения в том, что мои слова попадают не в бровь, а в глаз. Некоторые из присяжных были этим довольны, а некоторых это задело за живое. Мне удалось вернуться к вопросу об изучении свидетелем Мусманно права в Риме, и я забросал его вопросами относительно его деятельности в Италии. Как я ни пытался заставить свидетеля высказаться против фашистского режима, он всячески увиливал от этого.

— Были ли у него какие-нибудь осложнения с фашистской полицией при запросе разрешения путешествовать по стране?

— Нет.

— Были ли у него затруднения при получении визы?

— Нет.

Не было у него затруднений и при посещении муссолиниевской палаты депутатов. Ему была предоставлена полная свобода.

Вопрос: Можете ли вы назвать какого-либо видного противника Муссолини, который имел возможность присутствовать на заседаниях этой палаты?

Ответ: Да. Корреспонденты всех газет, находившихся в оппозиции к Муссолини, были представлены там. Они присутствовали на заседаниях и ежедневно публиковали отчеты о том, что происходит в палате депутатов.

Увидев, что он заглатывает крючок, леску и поплавок, я продолжал:

Вопрос: Ведь это факт, не правда ли, мистер Мусманно, что незадолго до того, как вы приехали в Италию, там был убит Маттеотти — депутат-социалист и что противники фашизма не могли больше присутствовать на подобных сборищах. Правда ли это?

Ответ: Нет, неправда. Маттеотти был похищен и убит в 1924 году...

Вопрос: Правда или неправда, мистер Мусманно, что видный противник режима Муссолини по имени Нетти находился в то время в тюремной крепости на острове Лепари?

Протест. Принят.

Вопрос: Противников фашистского режима бросали в тюрьмы, а вас без всяких затруднений, не так ли, пропускали на заседания фашистского органа власти?

Ответ: Без всяких затруднений...

Вопрос: И это происходило в то время, когда фашистские власти знали о вашей речи, в которой вы «проклинали» Муссолини, но которая никогда не появлялась в печати, пока семнадцать лет спустя не была опубликована в газете оккупационных войск Соединенных Штатов, известной под названием «Амгот», где вы были ответственным сотрудником?

Ответ: Это вопрос или речь?

Судья № 2 заявляет протест.

Нелсон. Вы прекрасно знаете, что́ я имею в виду. В противном случае, я могу по-другому сформулировать вопрос.

Трудный был разговор о письме, появившемся в то время, когда Мусманно служил в оккупационных властях, и которое позже поместил в гринсбургской газете (штат Пенсильвания). Все сказанное в этом письме свидетельствовало о том, что для Мусманно фашисты были хороши, потому что они боролись с коммунизмом Моим попыткам вывести его на чистую воду препятствовали судьи № 1 и № 2, которые изо всех сил старались защитить свидетеля и помочь ему выпутаться. Но, несмотря на эту судебную блокаду, я загнал его в угол.

Теперь я перешел к книгам, автором которых был свидетель. Тут я хотел еще раз опровергнуть его утверждение, что он якобы является защитником демократии. На мой вопрос, сколько книг им написано, он ответил: «Семь».

Критиковал ли он хоть в одной из этих книг фашистские режимы Гитлера и Муссолини, или фашизм вообще?— «У него никогда не было случая говорить об этом в своих книгах».

Имел ли он возможность, находясь в Италии, покупать или читать книги, которые предъявлены суду в качестве вещественных доказательств, например «Коммунистический манифест».

Он пытался уклониться от ответа, ссылаясь на то, что бывал в Италии не один раз — в 1924 году и в 1925 году, когда учился там, и позже — во время второй мировой войны, когда был назначен военным губернатором одной из провинций.

Вопрос: Хорошо. Но я спрашиваю, имели вы возможность во времена фашистского режима, когда вы изучали римское право, свободно купить эту книгу (я держал перед ним «Коммунистический манифест») в Италии?

После долгих увертoк он сказал, что не знает, не уверен, но осмеливается предполагать, что «она была нелегальна».

Вопрос: Иными словами, эти книги были нелегальны, и тот, у кого их нашли бы, попал бы в тюрьму?

Ответ: Ну, теперь вы просто строите догадки...

Вопрос: Я задаю вам вопрос.

Ответ: Не знаю.

Вопрос: Хорошо. Вы ответили, что не знаете.

Ответ: Совершенно верно.

Вопрос: Но во всех демократических странах, где существует свобода, эти книги общедоступны, все имеют право иметь их и все имеют право читать их. Верно?

Ответ: Я считаю, что Соединенные Штаты — демократическая страна, самая демократическая страна в мире.

Забавный образец изворотливости: его друзья, очевидно, решили, что он сразил меня своим ответом.

Я перешел к вопросам о законодательной деятельности и к законопроектам, которые, по утверждению свидетеля, он поддерживал. Мусманно расхвастался тем, что внес в законодательный орган штата законопроект о запрещении коммунистической партии и выступал с подобными же проектами на съезде Американского легиона. Да, он боролся против коммунизма многие годы. Я дал ему поговорить, а потом задал вопрос.

Вопрос: Хорошо. За то время, что вы были законодателем, судьей или политическим деятелем, вносили ли вы законопроект о запрещении в нашей стране нацистского Бунда, Ку-клукс-клана или фашистов?

Ответ: Довольно об этом. (Он замолчал и взглянул на судью № 2, словно говоря: «Протестуй».)

Судья № 2, в конце концов, заявил протест. Судья № 1 поддержал его. Они назвали мой вопрос «слишком общим». Глядя на присяжных, я думал, что некоторые из них понимают причину увертoк трех судей, и продолжал:

Вопрос: В то время, когда вы были членом законодательного органа в 1928—1931 годах, вносили ли вы законопроект о запрещении Ку-клукс-клана, который был тогда весьма активен в штате Пенсильвания?

Судья № 2 заявил протест. Судья № 1 принял его.

Но, казалось, судья № 1 обеспокоен тем, что так грубо прерывает меня. Он сам спросил свидетеля:

— Вносили ли вы законопроект о запрещении Ку-клукс-клана, будучи членом законодательного собрания?

Ответ: Нет. Подобного законопроекта я не вносил.

После ряда вопросов он признал, что не вносил законопроектов против нацистского Бунда, фашистов или клана. Протокол ясно показывает это (стр. 880—882), но он не может показать жалкого выражения лица свидетеля, когда я вырывал у него эти ответы. Передо мной стоял демагог, претендующий на то, что он «великий демократ», но изобличенный как друг итальянского фашизма, как человек, не ударивший палец о палец, чтобы обуздать разгул нацистского Бунда или клана. Я был уверен, что он радуется тому, что уже избран в Верховный суд и что ему не нужно больше выступать в предвыборной кампании в той грязной коричневой рубашке, которая вылезала наружу.

Серконе продолжал дергать Льюиса за рукав. «Протестуйте, протестуйте: это не существенно, это не относится к делу»,— нашептывал он на ухо обвинителю так громко, что и я и присяжные слышали. Но то ли Льюис был слишком медлителен, то ли его голова была занята предстоящим банкетом в его честь и тем, как он будет выглядеть в своей черной шелковой мантии, которую он принес с собой в суд сегодня утром,— во всяком случае, когда он спохватывался и заявлял протест, Монтгомери, еще не дослушав, поддерживал его.

Монтгомери спешил закончить перекрестный допрос до торжественного вступления Мусманно в должность члена Верховного суда и до банкета. За день до этого банкета Монтгомери решил проводить ночные заседания, чтобы поскорей покончить с допросом и спасти своего друга, оказавшегося в затруднительном положении, но я заявил, что не могу пойти на это, что тут важны мои права, и раз уж он подстроил этот процесс и принудил меня явиться на суд без защитника, то и несет ответственность за нарушение порядка.

Он хочет знать, долго ли я еще буду подвергать свидетеля допросу? На это я отвечал, что мне потребуется некоторое время. — Да, но я слишком подробно докрашиваю...

— Не моя вина,— сказал я, что свидетель отказывается отвечать на вопросы и прибегает к агитационным речам; это обязанность суда наблюдать за тем, чтобы он вразумительно отвечал на вопросы. И в доказательство, что судья оказывает помощь обвинению, я привел увертки и попытки увильнуть от ответа на вопрос: «Кто назначил судью для председательствования в настоящем процессе?»

Этот вопрос отнял очень много времени. Действительно, я поднимал его четыре раза. Он занимает, по меньшей мере, пятьдесят страниц протокола, но если кто-либо из присяжных или из вышестоящих судебных инстанций захотел бы узнать, кто назначил Монтгомери, он не мог бы этого выяснить ни из ответа Мусманно, ни из «объяснений» Монтгомери. Я понимал, что не могу заставить этих двоих признать простую правду, что Мусманно назначил судью Монтгомери. Поэтому я и возвращался к данному вопросу, как только мне нужно было выиграть время и когда я хотел скрутить хвост лжецу. Мне доставляло

удовольствие видеть, какую тонкую юридическую работу проделывали эти двое ради того, чтобы прикрыть свою ложь; и при этом они сохраняли бесстрастные лица! В таких случаях мне лишь оставалось повторять: «И все же я не знаю, кто назначил председательствующего судью»,— и они оба снова принимались «объяснять» при общем смехе всех умных и порядочных людей, присутствовавших в зале суда.

В одном случае эти пререкания окончились следующим образом:

Вопрос: Знаете ли вы, кто назначил судью для данного процесса? Отвечайте, да или нет?

Протест.

Вопрос: Когда я спрашиваю «кто», я хочу сказать, кто лично.

Ответ: Я уже объяснял вам порядок распределения дел.

Вопрос: А не объясняется ли ваше нежелание внести ясность в этот вопрос тем, что вы лично имели к этому какое-то отношение? (Тот же неясный, запутанный ответ.)

Вопрос: В ином случае вы сами были бы судьей?

Ответ: Как можно быть одновременно председательствующим судьей и свидетелем?

Вопрос: Вы справляетесь с этим довольно хорошо!

Ответ: Вы просто смешны с этими вашими вопросами.

Вопрос: Но ведь я не член Верховного суда. Мне и подумать противно, каким приобретением вы явитесь для Верховного суда штата.

Свидетель: С позволения суда, прошу оградить меня от оскорблений... Я просил бы, чтобы он извинился за свои слова.

Мистер Нелсон: Мне извиняться перед вами?

Председатель суда: Я знаю, как мне поступить со свидетелем, и знаю, как поступить с обвиняемым.

Тут я повернулся к председательствующему судье и сказал:

— Вы уже не один раз запугивали меня, но еще ни разу ничем не угрожали ему!

Конечно, я не ждал, чтобы учредитель союза «Американцев, борющихся против коммунизма», и один из его руководителей помогал мне. Его задача была засудить меня. Но я знал, что были люди, которые не понимали, что это за человек и что это за процессы по контролю за мыслями. И моя задача была вывести все это на чистую воду.

Время от времени Монтгомери принимал мои протесты: это делалось им для того, чтобы выглядеть в протоколах «беспристрастным». Но в тех случаях, когда мои протесты действительно имели значение, он отклонял их. «Я отклоняю ваш протест или ваше заявление, но принимаю их во внимание»,— говорил он. Еще один трюк! Для меня это звучало так: «Я перережу вам глотку, но если вы пожелаете зашить ее, предоставлю вам это право». Всякий раз, когда Монтгомери пользовался этим приемом, мне хотелось плюнуть ему в лицо, но я был вынужден молча принимать это жульничество и даже называть его «ваша честь».

В день банкета я снова заговорил о пребывании Мусманно в Римском университете, втирая соль в рану. Свидетель вопил и извивался. Льюис, более настороженный, чем обычно, заявлял протесты. (Монтгомери заметил ему: «Я не могу выносить определение, если вы не заявляете протестов».) Мусманно скрежетал зубами из-за того, что вопрос об опубликовании в «Амготе» письма снова стал темой разговоров. Льюис опротестовал это как «повторение», и Монтгомери удовлетворил его протест. Несмотря на противодействие суда, я продолжал давить на эгоманиака, и он не мог выпутаться.

На следующий день Мусманно выглядел больным на своем свидетельском месте. Рабочий-коммунист, а не юрист собирался продолжать допрос члена Верховного суда. Я уже выжал все, что мог из этого сухого лимона, но не хотел отпускать свидетеля без того, чтобы не показать его истинное лицо еще некоторым людям. В частности, я хотел вспомнить ряд судебных дел, по которым его действия были признаны неправильными тем самым судом, членом которого он стал вчера.— Не он ли добивался того, чтобы не допустить Алису Рот в состав Большого жюри только потому, что, по предположениям, она была коммунисткой?

Мусманно признал это.

— А знал ли он, что подобное действие противоречит закону? Не было ли оно отменено Верховным судом?

Он едва слышно произнес, что его решение было «пересмотрено».

— Не прибегал ли он к противозаконной попытке опечатать помещение коммунистической партии? Не установил ли он сумму залога за мое освобождение в 100 тысяч долларов, которая была сокращена высшей судебной инстанцией до 10 тысяч? Не осадил ли Верховный суд его и по этому вопросу?

Да, Верховный суд отменил его решение.

— Не он ли в нарушение законов арестовал адвоката Хаймана Шлезингера и бросил его в тюрьму? И разве Верховный суд не шлепнул его за это?

Да, его решение было отменено.

— Не осудила ли Ассоциация адвокатов ваше незаконное и неэтичное поведение?

После всяческих увертюк он признал, что была принята резолюция, осуждающая его действия.

— Не потворствовали ли вы судье Гантеру и Гарри Алану Шерману — одному из основателей союза «Американцев, борющихся против коммунизма», в их противодействии неграм, переезжающим в новые районы города?

Он «ничего не знал об этом».

И, наконец, я сказал:

— Больше вопросов не имею.

Обвинение и трое судей облегченно вздохнули.

На радостях судья Монтгомери даже объявил длительный перерыв.

«НА ВАШЕЙ СОВЕСТИ»

Прокурор закончил свою обвинительную речь типичной для Дня четвертого июля фразой. Он обратился к присяжным с призывом выполнить свой долг — спасти страну, спасти христианство. Приспешники обвинения как прежде, так и теперь находились в зале суда, реагируя на речь прокурора, как от них и требовалось. Монтгомери не делал попыток прекратить их вой, ни разу не произнес обычную судебную угрозу: «Очистить зал суда!» Только после того, как я выразил протест против этого грубого нарушения судебной процедуры, судья раскрыл рот и сказал:

— К порядку!

Когда закончилось выступление Серконе, рассчитанное на то, чтобы вызвать неистовство толпы, судья стал выносить определения, отклоняя все заявленные мной ходатайства. Он «забыл» даже свои обещания, и множество незаконных материалов осталось в деле. Монтгомери нисколько не беспокоили «ошибки». Он хотел сперва перерезать мне глотку, а потом уж «пусть колесо правосудия займется ошибками». Он высоко парил, и у него не было времени на то, чтобы «цацкаться» со мной.

В то утро, когда судья должен был выступать со своим напутствием к присяжным, зал суда был заполнен приблизительно равным числом друзей и врагов. В 9 часов 30 минут утра Монтгомери был готов начать, но один из присяжных запаздывал. Я не знал, чем это объяснить. Он ежедневно присутствовал на заседаниях суда в течение всего длинного процесса, неделю за неделей, и никогда не опаздывал... И вот сегодня отсутствовал. Одно-единственное место на скамье присяжных оставалось незанятым.

После короткого ожидания судья Монтгомери жестом подозвал прокурора и меня.

— Один из присяжных до сих пор не пришел,— сказал он.— Как вы смотрите, джентльмены, на то, чтобы заменить его одним из двух запасных присяжных? Согласны? Вы согласны, мистер Серконе?

Вопросительно глядя на меня, они ожидали моего решения. Но вместо ответа я спросил судью:

— А где присяжный? Не пытались ли вы его найти?

— Нет,— несколько раздраженно отвечал судья, словно обидевшись на то, что я подсказывал ему, как он должен действовать.

Но я настаивал на том, чтобы Монтгомери приказал детективам отправиться на розыски отсутствующего присяжного, и подчеркивал, что имею право знать, почему присяжный не явился в суд. В сгущавшейся атмосфере вспыхнула эта стычка между судьей, обвинителем и мной. Мы пикировались и прощупывали друг друга. Я все больше убеждался, что случилось нечто новое и зловещее, и все время задавал себе вопрос: «Почему они с такой готовностью хотят заменить неявившегося присяжного?» Разумеется, не потому, что этот присяжный согласен с обвинением. По испытанному и проверенному опыту я знал: что хорошо для обвинения, плохо для меня,— и потребовал, чтобы суд разыскал отсутствующего. Если человек мог и захотел все это время выполнять обязанности присяжного, если шесть или семь недель процесса он каждое утро без опоздания появлялся в суде, то ему должно быть предоставлено право явиться с опозданием на час или два, прежде чем выносить решение о его замене. К тому же, мне это было отлично известно, никаких попыток разыскать его не предпринималось.

Наконец судья отдал распоряжение детективам отправиться на поиски. Через два часа детективы вошли в зал № 8 вместе с присяжным, которого мы ждали. При его появлении весь суд пришел в смятение. Почти все лицо присяжного было смазано иодом и переносица заклеена пластырем. Подбитые глаза нервно перебегали с судьи на обвинителя, с обвинителя на меня. Посовещавшись с детективами, судья объявил, что присяжный попал «в небольшую аварию», но сейчас в полном порядке.

Теперь судья мог зачитать свое напутствие присяжным. Он принялся «объяснять закон» под таким углом, что перед присяжными оставался только один путь — осудить меня. Больше я ничего не мог поделать. Мне оставалось только предоставить судье закончить свою речь и ждать вердикта присяжных.

Наконец присяжные удалились на совещание. Мои друзья и я ждали. Время шло, а мы все еще смотрели на часы и на лампочку над дверью в совещательную комнату. Эта лампочка загорается, когда присяжные постановят вердикт. Наступило четыре часа, время занятий в суде окончилось, а решения все еще не было. Судья предложил мне отправиться домой, с тем что он вызовет меня, когда вердикт будет постановлен.

В 9 часов вечера присяжные прервали совещание до утра. Многие друзья пришли к нам домой. Даже играя, дети прислушивались к разговорам взрослых. Их юные головки были полны судом. Уходя спать, они пожелали нам счастья. Бобби душили слезы, и он быстро взбежал по лестнице, чтобы не заплакать при всех. И он и Джози понимали, что такое двадцать лет тюрьмы...

На следующее утро в 9 часов 30 минут мы позвонили судебному приставу и узнали, что совещание присяжных все еще продолжается. В полдень вердикт тоже еще не был постановлен. Мы отправились в суд, надеясь, что лампочка уже будет

гореть над дверью в совещательную комнату присяжных...

Но этого не случилось. По мере того как тянулось время ожидания, наши надежды росли. Мы не осмеливались думать, что хотя бы один присяжный может обладать силой, достаточной для того, чтобы держаться... Но все может быть.

Судья вновь угрюмо предложил мне поехать домой. Но только мы успели добраться до дома, как раздался телефонный звонок. Звонил судья. Присяжные постановили вердикт. Мы бросились в суд. К нашему удивлению, зал был переполнен. Все другие дела были отложены. Вошли присяжные. Я взглянул на них и понял, что надежды нет. Они глядели куда угодно, но только не в мою сторону.

Монтгомери попросил доложить о решении, и старшина присяжных выступил вперед:

— Виновен по всем пунктам.

Я потребовал, чтобы присяжные были опрошены каждый в отдельности. Когда они отвечали один за другим, некоторые — тихо, некоторые — невнятно, в зале стояла такая тишина, какой мне никогда не приходилось здесь наблюдать. Я стоял перед присяжными, пока они отвечали. Произнося «виновен», кое-кто опускал голову. (Установленная формула была: «Виновен по всем пунктам».)

Когда последний присяжный сказал свое слово, я подошел вплотную к ним и воскликнул:

— *Вы знаете, что я невиновен. Пусть это будет на вашей совести, не на моей.*

Судья побледнел. Он растерялся, впервые не зная, что ему делать. Это было большим нарушением со стороны обвиняемого: обращаться к присяжным после объявления вердикта.

Друзья не верили случившемуся. Присяжные вышли, некоторые ликуя, а другие с болью на лице и со слезами на глазах. Толпа была в напряжении, но не торжествовала. Стол прессы опустел: газетчики, которые провели за ним несколько недель, побежали сообщить большие новости, пожимая по пути руку прокурору.

Мы вышли на улицу, обсуждая вердикт присяжных. Вдруг нас остановила женщина, торопящаяся в зал суда, чтобы узнать, чем все кончилось. Когда мы сообщили ей о вердикте, она воскликнула:

— Какой стыд! Какое беззаконие! — и пожелала нам счастья.

Мы не знали, кто она такая, но видели ее в зале суда во время слушания дела. Эта встреча как-то облегчила мне задачу сказать детям, что они не должны падать духом: народ в конце концов отменит вердикт.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

Е. Кибрик

МЕКСИКАНСКАЯ ГРАФИКА

Во многих странах мира растет и крепнет реалистическое искусство, вдохновляемое борьбой за мир, за лучшее будущее человечества. Тесно связанное с прогрессивными силами своих народов, оно решительно прокладывает новые пути по бездорожью абстракционизма, разросшегося на протяжении полустолетия, подобно раковой опухоли, и разложившего мировое искусство. Для абстракционизма сейчас характерны черты дряхлости, обветшания и удручающего однообразия; он завел в безвыходный тупик своих последователей, руководимых желанием уйти от жизни в область отвлеченных идей, смутных видений и снов, порожденных цинизмом и отчаянием одиночества.

Творчество прогрессивных художников-реалистов весьма разнообразно. Достаточно напомнить произведения Рокуэлла Кента и негритянского художника Чарльза Уайта (США), Жана Эффеля (Франция), Васко Прадо (Бразилия), Ренато Гуттузо (Италия), Поля Хогарта (Англия).

Ярким и своеобразным является творчество коллектива мексиканских художников, объединенных „Мастерской народной графики". Эта организация была создана в 1937 году выдающимся гравером Леопольдо Мендесом и интересным мастером литографии Пабло О'Хиггинсом. Темы работ мастеров народной графики крайне целеустремленны: эпизоды мексиканской революции, портреты выдающихся деятелей мексиканского народа, сцены из его жизни, типы мексиканских тружеников города и деревни, борьба за мир, сопротивление американскому империализму. Это активное искусство, идущее от горячего сердца художника, не может оставить зрителя равнодушным. В лучших произведениях „Мастерской народной графики" такая убедительная, не-

Вверху и внизу — заставки Альберто Бельтрана к рассказу Хосе Мансисидора «Мокрая спина»

Леопольдо Мендес. «Расстрелян!».

сомненная правда жизни, такое искреннее и самоотверженное чувство бескорыстного служения народным интересам, что знакомство с ними оставляет ощущение, подобное встрече с близким другом.

Весьма разнообразны и формы этих работ. Чаще всего это листы, объединенные в серии, многосторонне трактующие одну тему и предназначенные для передвижных выставок. Наряду с этим—гравюры и литографии, имеющие самостоятельное станковое значение, либо предназначенные для печати—газет и журналов.

Очень интересны и с большой силой выполнены огромные гравюры-плакаты (главным образом работы талантливого Альберто Бельтрана) и, наконец, совершенно новая форма — серии гравюр Леопольдо Мендеса к кинофильмам „Рио Эскондидо", „Эль Ребосо де Соледад" и „День жизни".

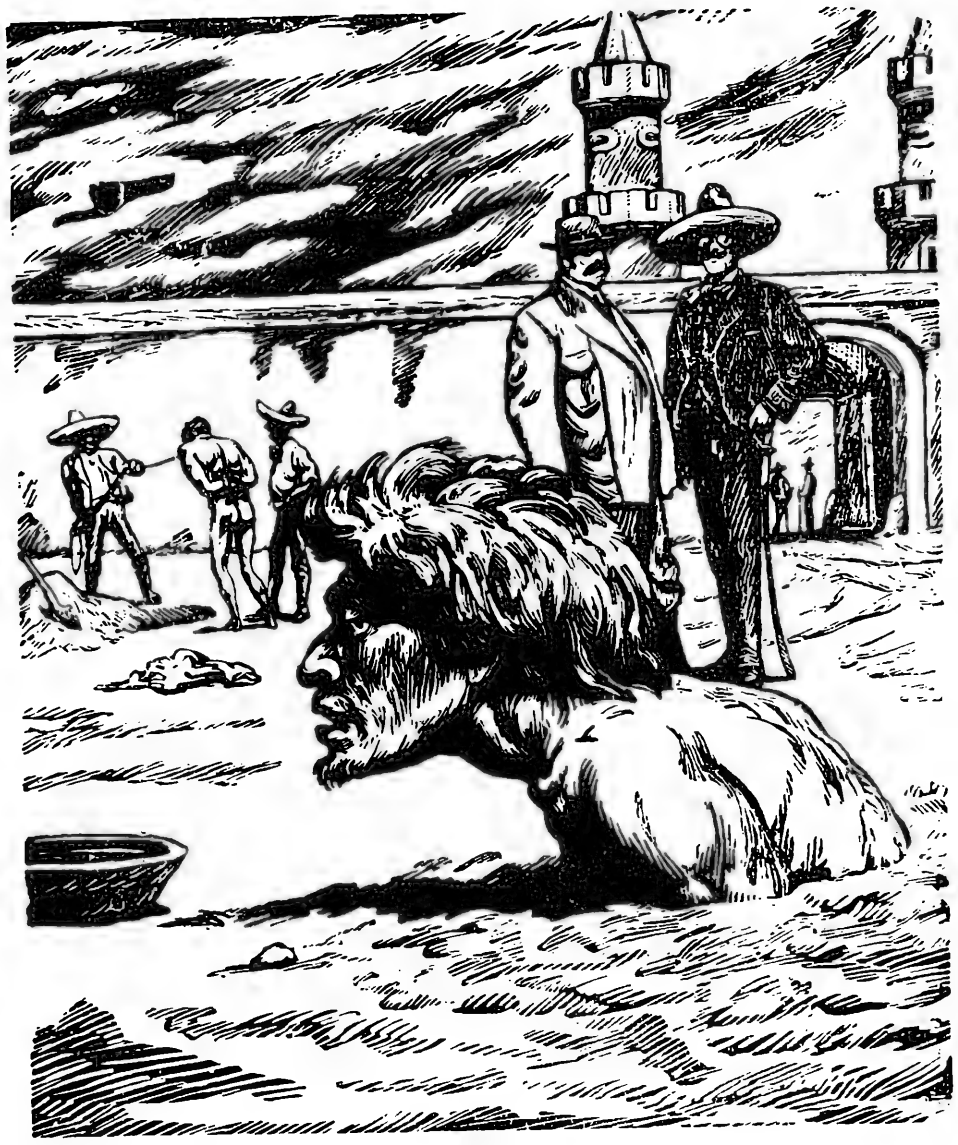
Для произведений „Мастерской народной графики" характерно тяготение к монументальности, что неразрывно связано со значительностью содержания. В области гравюры, имевшей в прошлом преимущественно камерный характер, эта монументальность является новаторством, заставляющим по-новому звучать материал и открывающим новые художественные возможности гравюры на дереве.

По работам различных представителей „Мастерской народной графики" отчетливо виден процесс формирования реалистического мастерства, основанного на стремлении к твердому и ясному рисунку, материальной, объемной форме, к решению психологических задач, к конкретности индивидуальных характеристик персонажей.

Необходимость овладеть всеми элементами реалистического мастерства диктуется гуманистическим содержанием мексиканской графики. Оно наполнено любовью к человеку, заботой о его нуждах, гневом к его угнетателям, сочувствием к его труду, тревогой за его будущее.

Художники „Мастерской народной графики" создали школу, которая, преодолевая схематизм формы и символизм ранних работ, бурно развивается, овладевает полноценным реалистическим мастерством, говорит выразительным языком понятных каждому зрителю образов.

Леопольдо Мендес.
«Жестокость помещиков».



„Певец горняцкого каравана“ Альберто Бельтрана необыкновенно человечен и полон внутренней динамики. Ощущается зной, пыль, натруженный шаг певца, чувство, с которым он поет, его характер, угадывается его биография.

Мужественный, волевой и одухотворенный образ протестующего против войны и отвергающего винтовку рабочего, созданный Бельтраном на плакате „Национальная конференция в защиту мира“, одновременно индивидуален и типичен, приковывает к себе внимание и крепко запоминается.

Гневным протестом против поджигателей войны, против угнетателей мексиканского народа и глубокой любовью к трудящемуся человеку, защищающему свое право на мирную жизнь, наполнены работы Андреа Гомеса „Мать против войны“ и Артуро

Леопольдо Мендес
«Приставлен к стенке».

Леопольдо Мендес.
«Маленькая учительница, как огромна твоя воля».

Гарсиа Бустоса „Сделано в США".

Суровая правда жизни звучит в „Засухе" Фанни Рабель и „Женщинах Чамула" Адольфа Мехиака, так же как в литографиях Пабло О'Хиггинса „Плуг" и „Дом в Сан-Бальтазаро". Интересны и содержательны гравюры Марианы Ямпольски, Альфредо Сальсе и ряда других мастеров.

Исключительно плодотворна деятельность основателя и художественного руководителя мастерской Леопольдо Мендеса, художника, обладающего мощным дарованием, способного глубоко чувство-

Альберто Бельтран.
«Певец горняцкого каравана».

вать, честного и искреннего, умного и оригинального, в совершенстве владеющего реалистическим мастерством. Без преувеличения его можно назвать одним из сильнейших мастеров гравюры нашего времени.

Творчество художников „Мастерской народной графики" не только полностью оправдало название объединения, но и приобрело серьезное международное значение благодаря его подлинной народности и тому благотворному, вдохновляющему влиянию, которое оно оказывает на прогрессивное искусство других стран, и в первую очередь стран Латинской Америки.

Леопольдо Мендес.
«Поль Робсон».

Альберто Бельтран.
«Защитники мира».

НАРОДНЫЕ АЛБАНСКИЕ ПЕСНИ

□

Kenge popullore legjendare, Instituti i Shkencave, Tiranë, 1955.

□

Албанские патриоты не раз предпринимали попытки собрать сокровища устного творчества своего народа. Много сделали в этом направлении Зеф Юбани, издавший в 1871 году небольшой сборник фольклора, Тими Митко, выпустивший в том же году сборник «Албанская пчела», а позднее — Спиро Дине, книга которого «Морские волны» приобрела широкую известность, и другие. Теми сокровищами албанского фольклора, которыми мы наслаждаемся сегодня, мы во многом обязаны труду албанских поэтов, эмигрировавших в Италию, де Рада Гавриила, Дара младшего и других, которые тщательно собирали и записывали народные песни и легенды.

Но до освобождения Албании, до установления народной власти не проявлялось подлинной заботы и интереса к собиранию, изучению и публикации произведений народного творчества. В изданиях часто допускались значительные искажения. Не печатались те произведения, в которых нашел свое выражение революционный дух народа.

Комиссия по фольклору при албанском Институте наук проводит большую работу по собиранию и изучению фольклора. Следует отметить плодотворную деятельность в этой области писателя Зини Сако, под редакцией которого издано несколько сборников фольклора и составлены учебные пособия для албанской школы. То же можно сказать и о писателе Димитре Шутеричи, под редакцией которого недавно вышла антология народной поэзии.

Сборник «Народные песни», составленный К. Хаджихасани и вышедший в 1955 году, — наиболее значительный труд в этой области. Песни распределены в сборнике по нескольким разделам, в соответствии с классификацией, выработанной албанскими учеными. Первый раздел включает так называемые «легенды о замуровываниях» Чаще всего в них разрабатывается мотив замуровывания женщин, в соответствии со старинным поверьем, по которому считалось, что если не принести человеческой жертвы перед постройкой дома, здание рухнет.

Во второй части собраны песни, которые основаны на легенде о Константине и Гарентине. Вот один из вариантов этой популярной в народе баллады: пришелец из дальних краев стал просить руки красавицы Гарентины. Младший брат ее, Константин, уговаривает мать согласиться на брак Гарентины и дает клятву, что как только мать станет тосковать по дочери, он привезет сестру в отчий

дом. Сестра уехала. Прошли годы. Все братья погибли на поле битвы. Мать идет к могиле Константина и, рыдая, напоминает о клятве, которую он дал ей. Тогда ночью Константин поднимается из могилы:

Камень могильный
Стал конем небывалым
Под кожаным черным седлом.
Кольцо, что было на камне,
Стало уздой серебряной.
Он вскочил на коня
и помчался...

Константин прискакал к сестре, посадил на коня и привез в родной край. Когда мать увидела Гарентину и рассказала обо всем, что произошло в их доме, они обнялись, горюя, и так и умерли вместе, друг у друга в объятьях.

В третьей части сборника представлен цикл легенд о встречах после разлуки и узнаваниях влюбленных. Их

обычно поют во время свадебных обрядов и на весенних праздниках. Это легенды о неожиданных встречах двух любящих, которые долгие годы были в разлуке: мужа и жены, сестры и брата либо двух братьев. В четвертой части собраны так называемые легенды о братоубийствах.

Но больше всего места — две трети всего сборника — занимает цикл песен о богатырях. Сюда входит знаменитая песнь о Дьерде Элезе Алии — богатыре, который вызвал на бой чужеземца, хотевшего поработить страну, и поразил его на смерть. Здесь помещена и знаменитая песнь о женитьбе Халиля. Это даже не песнь, а эпическая поэма — в ней 673 стиха. Наравне с песнью о Дьерде Элезе Алии это одна из жемчужин албанского фольклора.

Вот кратко сюжет этой поэмы. Морозная ночь в горах. Все богатыри Ютбины собрались в доме Муйи, сидят вокруг огня, пьют вино и беседуют. Заходит разговор о том, что надо бы женить Халиля — любую из девушек в округе отдадут за него. Но Халиль считает, что все девушки в их роду — ему сестры. Он признается, что выбор его пал на Танушу, королевскую дочь. Когда путь стал свободен от снега, Халиль отправляется в королевские владения. Он встречает Танушу на берегу реки, у шатра. Девушка узнает Халиля. Она одевает его в женское платье и выдает за беднуюс девушку, которая пришла просить помощи. Мать Тануши догадывается об обмане и сообщает мужу, королю. Тот велит заточить Халиля в темницу. Но вот прибывает со своими всадниками Муйя. После жестокой схватки они освобождают Халиля, уводят с собой Танушу и с победой возвращаются домой.

Народное творчество всегда было близко албанским писателям. Классики албанской литературы черпали в нем свое вдохновение. Знаменитая поэма Наима Фрашери «История Скандербега» — блестящий пример освоения устного народного творчества.

Сборник, выпущенный Институтом наук, свидетельствует о большой заботе, с которой в сегодняшней Албании относятся к богатейшей сокровищнице албанского фольклора.

В. Гьечи.

ПАРТИЗАНЫ ЮГОСЛАВИИ

□

Vjekoslav Kaleb, Divota prašine, Mladost, Zagreb, 1954.

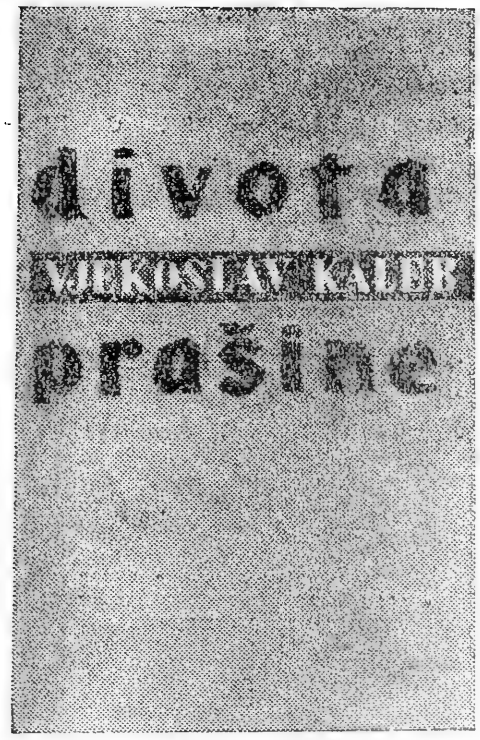
□

В дни войны каждый из нас с радостью и какой-то особой теплотой читал на страницах газет скупые сообщения о борьбе югославских партизан. Мы знали, что поднялась братская славянская страна, о которой один из ее поэтов сказал: «Маленькая? Нет, мера отчизны моей — сердце. Сердце, переполненное счастьем и болью». Мы знали, что далеко в горах и лесах Сербии, Боснии, Хорватии, Македонии, Словении и Черногории бесстрашно сражаются люди, с которыми нас связывают кровное родство и общие цели.

И вот теперь мы вновь встречаемся с героями народно-освободительной войны в Югославии на страницах произведений югославских писателей — Добрицы Чосича, Михайло Лалича, Бранко Чопича, Вьекослава Калеба и других, встречаемся, вглядываемся в их черты, чтобы еще лучше узнать их, чтоб еще больше полюбить.

Книга Вьекослава Калеба «Благодатная пыль» отличается романтической приподнятостью. Однако приподнятость эта видна не в манере повествования и даже не в том, как писатель рисует своих героев, а точно вопреки воле автора в самом величии изображаемых им людей.

В книге Калеба всего два действующих лица. Читая ее, вы как бы следуете за объективом киноаппарата видите суровые горные хребты, непроходимые заросли и останавливаетесь в тот момент, когда два усталых, изможденных человека — один постарше, ни на минуту не выпускающий из рук пулемета, другой совсем еще мальчик, с упорством прижимающий к себе винтовку, — оба оборванные, измученные, голодные, встречаются у трупа лошади, кусок мяса которой для них — спасение от голодной смерти. Сначала вас поражает удивительная перемена, которая происходит с героями в момент встречи. С этой минуты они больше не отступающие, потерявшие свою часть бойцы, а партизанское войско. Да, именно войсковая часть, идущая на соединение со своими! И писатель сумел показать, что это войско непобедимо, что оно глубоко верит в свою победу.



Полуголый человек в шоферской кожанке (остальную одежду унесла при

переправе горная речка), посиневший и дрожащий от холода, и тонущий в ворохе рваной, помятой одежды с чужого плеча тщедушный мальчик ощущают себя всесильной народной армией. Все их дальнейшие поступки, все их поведение диктуется именно этим мироощущением. И чем резче контраст между внешностью этих изможденных людей и их спокойной уверенностью в своей силе, чем больше вы замечаете их спокойное пренебрежение к невзгодам, тем больше они превращаются в ваших глазах в символ бессмертия народа.

Никаких громких слов ни писатель, ни его герои при этом не произносят. Калеб рисует дела и чувства своих героев с подчеркнутой будничностью. Все очень просто, общепонятно, и словно не стоит тут тратить лишнего слова.

«— Вперед! — Голый строго посмотрел на Мальчика. — Ты теперь будешь разведкой, а я — главные силы, пехота и артиллерия. Заметишь что впереди — докладай!» — так с иронической улыбкой, точно стесняясь величия совершающегося, рисует своих героев Вьекослав Калеб.

Они взбираются на дикие каменистые вершины, они натыкаются на четников, находят умирающих от голода партизан, спасают их, не взяв себе ни крошки из экспроприированной у богатых крестьян еды. К ним присоединяется молодежь, уверовавшая в партизанское войско, которое «отплатит за все муки народа, за все подожженные дома, за убитых людей и за все наши мучения». На их пути встречаются колонны фашистов, и Голый с Мальчиком не прочь даже «припугнуть» их, когда над ними пролетает вражеский самолет. Автор еще одной шуткой подчеркивает их слитность с всенародной армией освобождения: «если приблизятся — дадим о себе знать из этой моей бандуры. Пусть подумают, что войско здесь. Военная хитрость — дело немаловажное».

И снова без улыбки, как говорит автор, «деловито» пошутив, что «полный желудок только затрудняет движение», подбадривая друг друга, эти изможденные люди идут туда, куда ведет их долг. И пулемет бросить нельзя, потому что он «бригаде нужен», и пристать к встречной партизанской части нельзя, потому что своя часть ждет их, и, как бы мало сил ни оставалось, они не имеют права на слабость.

Калеб обладает особым умением легкими, мягкими штрихами, словно мазками акварельных красок, рисовать большие героические порывы и поступки простого человека, который, презирая громкое слово, точно походя совершает великий гражданский подвиг. За внешней грубоватостью он умеет обнаружить неподдельную чуткость, товарищескую внимательность, а за немногословной репликой, за непритязательным балагурством — бесконечную самоотверженность.

Правда, нам, полюбившим его героев, хотелось бы узнать о них побольше, узнать хоть имена этих людей — ведь они так и проходят по всей книге как Голый и Мальчик, — узнать побольше о среде, о прошлом, об их народе. Но, очевидно, форма, избранная писателем, заставила его быть чрезмерно скупым.

Наши читатели знают творчество известного хорватского писателя Вьекослава Калеба пока только по рассказу «Слезы», тоже повествующему о самоотверженной партизанской борьбе. Начал печататься Калеб еще до войны, и его книги «На камне», «Вне вещей», «Новеллы», «Бригада», «Униженная улица» — это все ступени, по которым серьезный и вдумчивый писатель поднимался к обобщению великого народного опыта борьбы за освобождение.

И. Радволина.

„...ТОТ НАСЛЕДУЕТ ВЕТЕР"

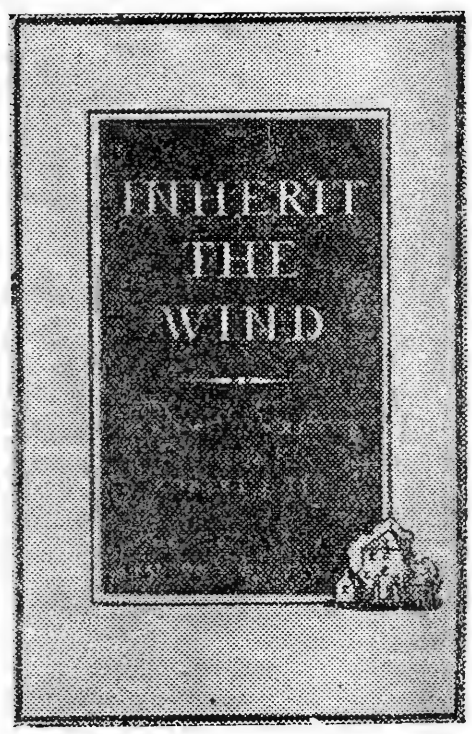
□

Jerome Lawrence and Robert Lee, Inherit the Wind, Random House, N. Y., 1955.

□

Лоуренс и Ли — уже около пятнадцати лет неразлучные соавторы произведений самых различных жанров. Название их нового произведения — пьесы, пользующейся большим успехом в Америке,— «...тот наследует ветер». Это слова из притчи Соломона. Более развернуто соломонова мудрость звучит так: «Кто расшатывает собственный дом, тот наследует ветер»

В пьесе использованы материалы суда, проходившего в 1925 году в городке Дэйтон штата Теннесси и ставшего всемирно известным под ироническим названием «обезьяньего процесса». Тридцать лет назад школьный учитель приводивший на уроках естествознания цитаты из дарвиновского «Происхождения видов», был предан суду по обвинению в богохульстве и развращающем влиянии на души молодых американцев. Материалы



судебного процесса иной раз дословно перенесены в пьесу, и сам он стал ее сюжетом, но авторы в общем сумели драматизировать, художественно обработать этот материал, подчеркнув в предисловии его злободневность и свое нежелание связывать поставленную в пьесе проблему о «праве мыслить» только с реальными фактами суда 1925 года. В сценических ремарках о времени действия говорится: «Не слишком давно. Это могло быть вчера. Это могло бы быть завтра».

Нам трудно представить себе в качестве героической личности скромного учителя, ссылающегося на уроках естественной истории на Дарвина. И Кэйтс — герой процесса, изображенного в пьесе, действительно не очень героичен: он хоть и честен, но бесцветен, трусоват и, пожалуй, не в состоянии понять, какие же общественные силы вступили в борьбу из-за священного писания и книги Дарвина. И думается, что та трагикомическая тональность, в которой выдержана пьеса, вполне соответствует возрожденной в столь сниженном и прозаическом виде средневековой борьбе религиозной догмы и научной истины.

Хорнбек, корреспондент, прибывший на процесс от балтиморской газеты, персонаж, очень оживляющий пьесу остротами, отдающими циничной горечью, кричит, подражая розничному торговцу: «Приобретайте билеты в средневековье! Вам только казалось, что вы прозевали коронацию Карла Великого!»

Маленький провинциальный городишко взбудоражен сенсационным процессом. Утомительная летняя жара с первого до последнего действия висит над ним, создавая ощущение затхлой, удушающей атмосферы, в которой, однако, так оживилось все мещанское, консервативное, невежественное и тупое, боящееся любого проявления живой человеческой мысли. В городе много людей, желающих отстоять свое достоинство и богоподобный человеческий облик от навета и клеветы безбожного Дарвина и его грешного последователя, школьного учителя Кэйтса: они не хотят быть в родстве с обезьянами. Облик города очень удался авторам.

Перед лицом надвигающейся в лице Дарвина опасности обыватели Хиллсборо вызывающе религиозны. Толпа с плакатами и знаменами приветствует обвинителя Брэди, политического деятеля, трижды кандидата в президенты, защитника религиозных устоев и человеческой души от дарвиновской ереси.

Брэди — живой и острый образ опытного демагога-политикана. Каждое его движение, слово, шутка рассчитаны на вкусы тех, кого он называет представителями «простого американского народа», но кто, в сущности, представляет собой его реакционно-мещанский стандарт. Он расточает перед восторженными слушателями и репортерами свой пафос христианина, который «здесь, в Хиллсборо, ведет борьбу верующих всего мира», доходчивые остроты, задушевные разговоры, делающие «великого человека» «своим, славным парнем»... Он вовремя прерывает библейские проклятья пастора Броуна в адрес грешника-дарвиниста, чувствуя, что пастор хватил через край и что неплохо, кстати, было бы проявить христианское милосердие к заблудшей овце.

Зритель и читатель должны ощутить прозаичность и внешнего и внутреннего облика Брэди — обжорливого и потливого толстяка, земные интересы которого, стремление завоевать души не людей, а избирателей так легко уживаются с его «высокими» библейскими фразами.

Адвокат Драммонд — в первую очередь защитник прогрессивной мысли, а потом уже учителя Кэйтса. Предпочитая выступать не против религии вообще, а против религиозного догматизма, он прибегает к испытанным, скучноватым для читателя и, повидимому, для зрителя сопоставлениям библейских текстов с научными теориями мироздания эволюции и т. д. Он загоняет в тупик Брэди и в большой мере завоевывает симпатии присяжных и публики на сторону своего подзащитного. Но Драммонд, который должен представлять прогрессивное общественное мнение Америки и, по замыслу авторов, вызывать живые симпатии зрителей, бесплотен рядом с Брэди. Стремясь, повидимому, сделать образ полнокровнее и человечнее, авторы неудачно и нелогично превращают его в конце пьесы в какого-то всеядного гуманиста. Неожиданная смерть Брэди, не выдержавшего своего очевидного морального поражения на процессе, вызывает у Драммонда настроение примиренности: «В этом человеке было много величия»; «Брэди имел то же право, что и Кэйтс: право ошибаться», и т. д.

Стремясь к максимальной достоверности и правдоподобию, авторы во втором действии оказались в плену у документов подлинного процесса, слишком много времени посвятили проблеме догматического и недогматического толкования библейских текстов. Третье действие, претендующее на раскрытие психологических противоречий, углубленность и широту, испортило и без того не слишком удачный образ Драммонда и снизило звучание пьесы.

И все же пьеса Лоуренса и Ли, воскресивших в наши дни материалы обезьяньего процесса и подчеркнувших злободневность своей темы, не может пройти незамеченной; авторы выступают в защиту права мыслить, в защиту науки и человеческой совести от напора политической и идеологической реакции.

Н. Эйшискина.

АЛЖИРСКИЕ РАССКАЗЫ

□

Mohammed Dib,
Au Café, nouvelles,
Callimard, Paris, 1955.

□

В Париже вышел сборник рассказов Мухаммеда Диба, автора романов «Большой дом» и «Пожар».

Рассказы сборника — он носит название «В кафе» — неравноценны. Некоторые из них — **«Маленькая сестричка»**, «Богатая свадьба», «Ожидание» — лишь небольшие наброски к роману «Большой дом», не вошедшие в его окончательный текст, и в целом дают мало нового по сравнению с романом.

Разговора заслуживают остальные рассказы.

Мало удачной нам кажется новелла «Очарованный наследник», написанная от лица молодого аристократа, наследника огромных поместий. Праздный и бессильный, болезненно ощущающий в себе власть прошлых поколений, он одновременно и представитель и жертва отмирающего строя. Он во власти смерти, и само его бесплодное существование есть смерть. Все это, разумеется, верно. Но мысль о власти смерти над людьми старого мира выражена здесь в литературной форме, явно заимствованной из арсенала сюрреалистов. Рассказ изображает распад старого мира «изнутри». композиция его алогична, в нем смешаны реальность, сон, бред, галлюцинации. Такая литературная форма не может быть органичной для писателя, утверждающего жизнь и будущее, говорящего от имени народа, охваченного пафосом национально-освободительной борьбы. Эта форма и не удается М. Дибу. То, что должно звучать трагически, выглядит почти пародийным.

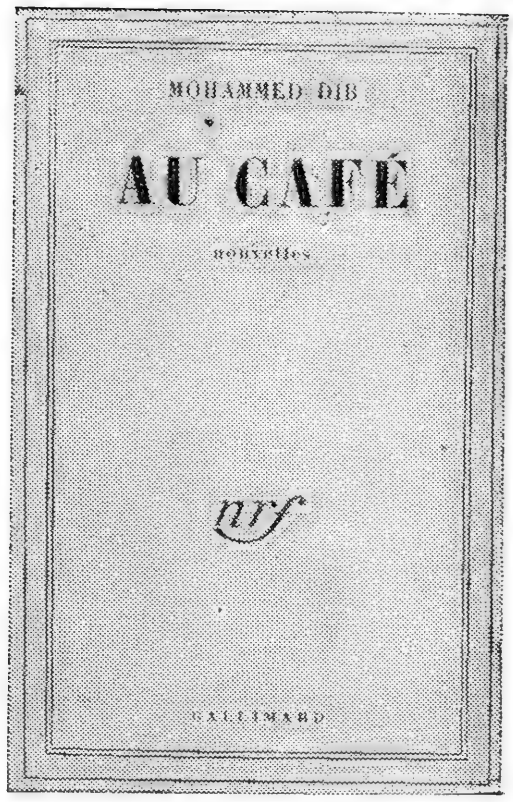
Можно пожалеть, что формирование столь одаренного и своеобразного прозаика, как М. Диб, порой осложняется давлением чуждых ему литературных традиций, в которых он, видимо, ищет — и совершенно напрасно! — мастерство и утонченность стиля.

Совсем иное впечатление производят рассказы «В кафе», «Спутник» и особенно «Запретные земли», в которых голос Диба звучит самостоятельно. В них воплощена тема, являющаяся основной для автора: пробуждение алжирского народа, конец вековой покорности, осознание простыми людьми Алжира их человеческого достоинства, их права на свободную жизнь. Мы видим портреты людей с которых спадает пелена невежества и смирения.

Но в отличие от двух первых романов Диба перед нами Алжир самых последних бурных лет, когда рост сознания в людях народа, на который раньше нужны были годы, происходит зачастую за месяцы, а то и за дни.

В судьбе случайно встреченного человека («В кафе») автор видит судьбу множества людей, жизнь которых может быть искалечена из-за украденной булки. Но этот человек, пройдя через годы тюрьмы, уже отличен от тех, кто еще не осознал ужаса своей жизни. Он научился ненавидеть окружающий мир, этот «нарыв, который никак не может прорваться». И в этом постаревшем и, казалось бы, уставшем человеке Диб дает почувствовать нам новую силу.

Беспечному бродяге, веселому нищему Джехе («Спутник») глаза раскрывает встреча с молодым алжирцем Зубиром, вернувшимся из Франции. Зубир — один из новых людей Алжира, сбросивший оковы смирения, идущий вперед с гордо поднятой головой. Еще более просвещает беспечного Джеху жизненный опыт, столь характерный для Алжира последних лет. Джеха попадает в массовую полицейскую облаву, видит смерть избитого Зубира, узнает цену колониального «правосудия».



В нем рождается ясность мысли, внутренняя сила; он понимает, что эти зверства властей свидетельствуют об огромной пробудившейся силе народа. И он думает о своих братьях горцах, восставших против власти колонизаторов.

Восставшим горцам посвящен лучший рассказ сборника «Запретные земли». Высоко в горах в крошечной деревушке собираются горцы. Скоро выборы; они хотят выбрать своего человека и, рискуя жизнью, в темноте ночи разносят бюллетени по окрестным поселкам. В эту ночь умирает после зверских избиений полиции один из горцев. И в эту же ночь в хижине рождается среди нищеты и грязи ребенок, будущий борец за то дело, за которое боролся погибший. Рассказ очень поэтичен. М. Дибу несвойственны динамический сюжет и четкая композиция. Но он бесспорно, умеет «создать настроение», дать в нескольких чертах остро очерченный пейзаж и поэтически передать облик своих героев — горцев Алжира, молчаливых, немного торжественных, нищих, но полных достоинства, а теперь вступивших в непримиримую схватку с врагом.

И привычные образы неодолимой силы будущего — рождение ребенка, рассвет

в горах — хороши, на месте в этом рассказе. Они не навязчивы, это не абстрактные символы, а естественные картины быта или пейзажа. И вместе с тем в них поэзия сегодняшней борьбы и завтрашней победы.

Таким образом, и в сборнике рассказов М. Диба ясно видны и некоторые трудности его литературного развития и большие возможности его как тонкого и сильного прозаика.

Е. Гальперина.

ИСТОРИЯ ДЖЕНЕТ ПРЕНТИС

□

Nevil Shute, Requiem for a Wren, London, William Heinemann Ltd., 1955.

□

Авиаинженер, конструктор и летчик Невил Шют уже долгие годы занимался литературой лишь в свободное время и относился к этой своей второй профессии с большой осторожностью. Однако многочисленные его романы (первый вышел в свет в 1926 году, когда автору было 27 лет) пользовались все возрастающим успехом. Романы Невила Шюта, как правило, очень занимательны. «Принц рассказчиков»— именует его издательская реклама. Вместе с тем, как верно заметил рецензент английской газеты «Дейли уоркер», Шют обладает и такими качествами, которые не сразу разглядишь за атрибутами популярного романиста.

«Реквием зенитчице» — это последняя книга Невила Шюта, еще один роман о второй мировой войне, о столкновении двух эпох в жизни и сознании молодого поколения англичан, ушедшего на войну почти со школьной скамьи.

Героиня книги Дженет Прентис попала в армию на девятнадцатом году жизни. Дженет Прентис — дочь преподавателя литературы Оксфордского университета, провела детство в спокойной академической среде. Когда началась война, она ушла в армию. Эта «крупная, широкоплечая девушка, с повадками еще чуть неуклюжего и порывистого щенка» быстро вошла в непривычную армейскую жизнь, стала младшим сержантом, квалифицированным артиллерийским техником женского морского корпуса, повидала смерть и разрушения, превратилась в «заправского солдата» — независимое, выносливое, умеющее постоять за себя существо. Невил Шют сумел показать и женственность «бравого» сержанта Прентис и ее сдержанное, но горячее чувство к Биллу Дункану, с которым она познакомилась в армии Билл и Дженет строят планы на будущее, но вот начинаются катастрофы: гибель Билла у берегов Нормандии, гибель отца Дженет, ушедшего добровольцем в армию, смерть матери. Дженет демобилизуют по болезни — нервы вчерашней школьницы не выдержали напряжения, утрат самых близких людей.

Кончается война. Не зная, куда деть себя, Дженет уезжает в США к больной тетке. И все время с настойчивостью, почти маниакальной, бомбардирует письмами английское адмиралтейство: она хочет вернуться в армию. В ее поведении уже есть нечто от не вполне здорового душевно человека, но истоки этого поведения объяснимы. Дженет Прентис хочет быть полезной, хочет быть с людьми, и только армия давала ей это чувство полезности, «чувство локтя», общей сплоченности во имя защиты своей страны. Наконец, под чужим именем она поступает горничной в дом родителей Билла, живущих в Австралии, надеясь, что с годами они будут действительно нуждаться в ней. Она скрывает, что была невестой Билла. Однако эта жизнь обрывается с предстоящим приездом брата Билла, Алана, который встречался с Дженет в Англии и может, как думается ей, заподозрить в ее действиях какие-то корыстные цели. Перед Дженет стоит выбор: либо немедленно уехать и продолжать свои бесцельные скитания по свету, либо умереть. Желание уйти из жизни уже не однажды возникало у нее, и теперь она поддается ему.

Несмотря на то, что конец сделан писателем умело, самоубийство Дженет явно искусственно. Невил Шют создал такой достоверный образ девушки на редкость ясного и крепкого душевного склада, что нельзя поверить в ее безвольный уход из жизни, в ее абсолютное земное одиночество, в ее полное равнодушие к окружающим людям.

Инвалид войны Алан Дункан, от лица которого ведется повествование, и приятельница Дженет по флоту Виола Даусон охвачены той же грызущей тоской по своему армейскому прошлому; для них это были не только годы трагедий, но и годы борьбы против фашизма, годы боевого братства и товарищества. И этого они не могут найти в том эгоистически

разобщенном обществе, где им приходится жить. Правда, Невил Шют в согласии со своими социальными симпатиями находит для Алана Дункана точку опоры в деятельности австралийского «прогрессивного помещика» на обширных отцовских землях. Однако остается в памяти от книги не сладковатая «патриархальная» концовка, а образ очень славной молодой англичанки Дженет Прентис, ее немногословное мужество, прямота и сердечность.

Но как бы ни тянулась Дженет Прентис к прошлому, она тоже жертва войны. «Война, словно щупальцы спрута, — говорит Невил Шют, — проникла и в этот тихий угол, прикоснулась к этой девушке и принесла ей гибель. Подобно адскому чудовищу, которое и мертвое источает яд, война еще долго убивает людей даже тогда, когда все уже кончено».

Многое в этой книге недосказано, изображено узко, произвольно смещено автором в область нетипичного. Смутная, тягостная неудовлетворенность наполняет талантливую книгу Невила Шюта. Главное в ней — «обыкновенные» англичане, вызывающие большое уважение и подлинную симпатию: люди сдержанные, неизменно стойкие в беде, глубоко привязанные к своей родине, люди живые и понятные. Именно этим и объясняется популярность нового произведения Невила Шюта, очень хорошо встреченного в Англии и опубликованного уже и в других странах.

И. Левидова.

КНИГА, КОТОРУЮ ОТРАДНО ЧИТАТЬ

□

ø. Bolstad, Spøkefuglen på Toska, Falken Forlag, Oslo, 1955.

□

«Книга, которую отрадно читать» — так озаглавила газета «Фрихетен» рецензию на последний сборник рассказов известного норвежского писателя Э. Болстада «Насмешник с острова Тоска».

Рассказы Болстада — итог его долголетней жизни среди рыбаков «страны тысячи островов», рассыпанных, «точно пригоршня горошин», у западного побережья Норвегии. Жители этого края, в жилах которых течет кровь многих поколений рыбаков и которые даже на суше «сохраняют в походке ритм моря», почти ежедневно рискуют жизнью в борьбе за кусок хлеба. О нелегком труде и полной опасности жизни рыбаков, об их борьбе с суровой стихией и эксплуататорами-торговцами повествует книга Болстада. Действие большинства рассказов происходит в первые два десятилетия нашего века. Однако социальная проблематика книги во многом сохраняет свою значимость и для современной Норвегии. Недаром автор говорит о том, что после второй мировой войны, как и после первой, «вновь настали времена, когда беднякам пришлось расплачиваться за все безумие войны».

Книга Болстада родилась из устных рассказов местных жителей. Писатель облек эти рассказы в литературную форму, бережно сохранив при этом национальное своеобразие и свежесть их фольклорного источника. Многим рассказам в качестве эпиграфа предпосланы народные пословицы, мудрое и свежее содержание которых раскрывается в ходе повествования. Брызжущие юмором рассказы Болстада о жизни рыбацкой бедноты превращаются в повествование о торжестве народной смекалки, находчивости, трудолюбия над стяжательством, ханжеством, эксплуатацией. Во многих рассказах реальные поступки героев приобретают почти фантастический характер. Но эта фантастика вырастает из той же фольклорной стихии, она дает почувствовать суровую романтику жизни норвежских рыбаков. Повествование ведется от имени одного из хранителей норвежских народных преданий — старого рыбака, образ которого накладывает отпечаток на всю книгу. Запоминается образ другого рыбака — героя большинства рассказов книги, которому она обязана своим названием,— рыбака по прозвищу Единорог.

Обладающий особым «морским счастьем», острым глазом, умелыми руками независимым характером, неистощимым запасом юмора, Единорог выступает в рассказах как защитник бедных и бесправных, обиженных и угнетенных, ловко одурачивающий купцов ленсмана, пастора. Смелые и неожиданные поступки Единорога составляют сюжетную канву большинства рассказов сборника. В одном из них Единорог сооружает мельничное колесо, чтобы отогнать лосося от того участка берега, который богатый купец неправдой выманил у бедняка, в другом заставляет

трех торговцев в поисках несуществующего клада перекопать и осушить болотистый островок, принадлежащий бедному земледельцу, в третьем превращает аукцион, на котором продается имущество мелкого торговца, в западню для хищного оптовика.

Болстад принадлежит к тем норвежским писателям, которые по-настоящему знают и любят простых людей своей страны. Неслучайно его книга полемически заострена против тех туристов, которые, созерцая народ с борта увеселительной яхты, позволяют себе судить о нем с высокомерием невежд.

Написана книга сочным, выразительным, подлинно народным языком, изобилующим чудесными пословицами и поговорками. Ее действительно «отрадно читать!»

Ю. Яхнина.

„МАЛАЙСКИЕ ПАНТУНЫ"

□

„Pantun Melaju". Balai Pustaka, Djakarta, 1952.

□

Пантуны — это четверостишия, во многом напоминающие наши частушки. В Малайе и Индонезии они необычайно популярны среди различных народностей, населяющих острова обширного Малайского архипелага, и известны под разными названиями. Так, например, батаки называют их «энде-энде», яванцы — «парикан», сунданцы — «сувалан».

В Джакарте вышел уже шестым изданием большой сборник «Малайские пантуны», включающий около тысячи шестисот четверостиший — чудесных образчиков устного народного творчества. Среди них есть пантуны шутливые и грустные, лирические и нравоучительные. Малайцы и индонезийцы обращаются к пантунам во всех случаях жизни: дети напевают их за игрой, влюбленные обмениваются ими в беседе, старики поучают молодых, читая им пантуны, насыщенные народной мудростью.

Вот несколько примеров лирических пантунов в подстрочном переводе:

Драгоценный камень упал
в траву,
Упал в траву, сверкая
и переливаясь.
Любовь, как роса на травинках,
Солнце восходит — и она исчезает.

Я поранил ногу о щепку,
Маленькую щепку, что лежала
посреди огорода,
Я поранил сердце, глядя
на пучок волос,
Небольшой пучок, украшенный
цветком.

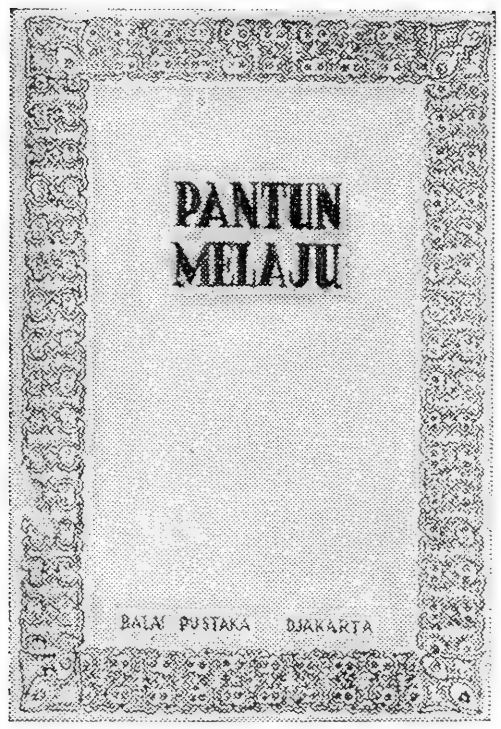
Многие люди носят браслеты
на руках,
Один я ношу браслеты на ногах.
Многие люди говорят: „Не делай
того, не делай этого!"
Один я поступаю так, как велит
сердце.

Надо сказать, что далеко не всегда связь между первой и второй частями пантуна столь же ясна, как в этих примерах. Во многих случаях она кажется туманной, а иногда ее вообще уловить невозможно.

Существуют разные точки зрения на то, как сложилась форма пантуна. Одни исследователи полагают, что логическая связь между первой и второй частями в нем вовсе не обязательна. Первая часть, по их мнению, является как бы ритмическим прологом ко второй части, звуковым узором, на фоне которого раскрывается поэтический образ.

Другие ученые считают, что связь эта всегда имеется, хотя ключ к ее разгадке не всегда можно обнаружить, что объясняется своеобразием речи индонезийцев, а также древними индонезийскими обычаями.

По древнему обычаю индонезиец вскоре после свадьбы дарит молодой жене рыбу беланак. Рыба эта ничем не примечательна, кроме своего названия: слово «беланак» звучит почти так же, как «беранак», что означает «иметь детей». На острове Ява владельцы закусочных зазывают прохожих, вывешивая у входа



ветвь дерева «чемара». Намек несложный, по крайней мере для яванца: «чемара» включает в себя слово «мара», которое означает «заходить». Среди жителей острова Суматры батаков распространен «язык древесных листьев». Например, возлюбленный посылает девушке листья растений, которые на батакском языке называются ситарак, хадунг-дунг, ситата, ситанггис, подом-подом и пау. Смысл же послания таков: «С тех пор как мы с тобой расстались, я не могу заснуть без слез». Разгадкой этого «зашифрованного» письма служат четкие и привычные звуковые ассоциации: «ситарак» созвучно слову «марсарак» (расставаться), «ситанггис»—«тангис» (плакать), «подом-подом» — «модом» (спать) и так далее.

На Яве существует даже особое понятие — «вангсалан», фраза или группа слов, внешне лишенных

смысла, но в действительности представляющих собой как бы звуковое отражение того, что имеется в виду на самом деле. Если вы зададите индонезийцу вопрос, ответ на который и без того заведомо известен, он ответит: «Кура-кура далам праху». Это значит в переводе: «Черепаха в лодке»; но подразумевал он нечто совершенно иное, а именно: «Пура-пура тидак таху» («прикидываешься, будто не знаешь»).

Следует сказать также, что многие предметы, растения и животные имеют для индонезийцев глубокий символический смысл совершенно независимо от каких бы то ни было звуковых ассоциаций. Так, например, ушные серьги «субанги» символизируют девственную чистоту, лимон — отказ сватающемуся, цветы дерева кемболжа — смерть, горький плод «помпун» — разочарование и т. д.

Казалось бы, для самих индонезийцев связь между первой и второй частями пантуна всегда должна быть ясна. Но в действительности это не так. В Индонезии около трех тысяч островов со своими речевыми и бытовыми особенностями, которые накладывают определенный отпечаток на создаваемые народом пантуны. То, что понятно балийцу, далеко не всегда понятно яванцу. Символ, знакомый с детства батаку, ничего не говорит сунданцу. Многие пантуны, переходящие из уст в уста и кочующие с острова на остров, претерпевают всевозможные изменения, что делает их еще более загадочными.

Индонезийские ученые продолжают изучать и разрабатывать проблему пантунов — одну из интереснейших проблем малайско-полинезийской филологии.

В. Островский.

ВЕТВИ ДЕРЕВА СВОБОДЫ

□

Eva Priester. Vom Baume der Freiheit. Globus Verlag, Wien, 1955.

□

Ева Пристер — австрийский историк, автор переведенной на русский язык и изданной в 1952 году «Краткой истории Австрии». Ее недавно вышедшая книга «С дерева свободы» составлена из шести исторических рассказов-очерков, построенных на документальной, фактической основе — о Туссен-Лувертюре, о Вольтере, о Сун Ят-сене, о борцах за свободу и независимость Австрии.

Замысел автора заслуживает самого горячего одобрения. Рассказы о борцах за свободу, сражавшихся в разные времена и в разных странах, связаны с мыслью о единстве «бесконечной борьбы за свободу и человеческое достоинство» во все времена и у всех народов. Рассказ согрет искренней взволнованностью писательницы, ее сочувствием к людям, посвятившим свою жизнь освободительной борьбе, и к целям их борьбы — раскрепощению народов от национального, политического и социального гнета. В очерках правильно подчеркнута решающая роль народных масс как творцов истории. В них убедительно и отчетливо переданы сочувствие и любовь всех борцов за свободу к революционной России, к Октябрьской революции, к советской стране.

Наиболее удачны рассказы, посвященные Австрии «Гроза в августе» описывает революционное движение в Вене 1848 года, дает портретные зарисовки его деятелей, рассказывает о приезде в Вену Карла Маркса и его выступлении, о разгоне и расстреле демонстраций и баррикадных боях. Живо и образно воспроизведена сначала радостная, а потом тревожная атмосфера Вены в 1848 году, описаны венские улицы и предместья, уличные бои и мужество борцов на баррикадах Автор говорит о погибших борцах: «Можно ли сказать, что ветер времени развеял их следы, унес их прах в даль? Нет, такой прах ветер не развеял. Он собрал этот прах и превратил его в землю, в ту почву, на которой мы стоим, в плодородную почву, которая через столетие принесла плоды».

Рассказ «Встреча в предрассветных сумерках» посвящен революционному выступлению в 1918 году матросов австрийского флота в Катарро, захвативших на два с половиной дня весь флот в свои руки. В нем очень интересны короткие, но убедительные рассказы матросов, бывших в плену в России, о революции, о выстреле «Авроры», о Ленине. Немедленно после захвата кораблей восставшие матросы радировали Советскому правительству и не отходили от аппаратов, ожидая ответа.

Последний рассказ «Венок из многих цветов» посвящен движению сопротивления австрийского народа против гитлеровских оккупантов. Он состоит из

пяти коротких новелл, объединенных темой общенародной борьбы с немецкими захватчиками. Они основаны — как и все в книге — на действительных эпизодах и убедительно показывают широту движения сопротивления. Автор так передает слова коммуниста-подпольщика: «Теперь самое важное показать, что мы здесь, что Гитлер не мог нас разгромить». И на вопрос, заданный недоверчивым слушателем: «Кого ты имеешь в виду, говоря «мы» — вас, коммунистов, или кого? — подпольщик твердо ответил: «Я имею в виду нас — австрийцев».

Австрийский патриот, заключенный в тюрьму гестапо, которому угрожает смерть, при каждом свидании спрашивает — держится ли Сталинград? Он называет бойцов Красной Армии друзьями и товарищами, борющимися за освобождение всех народов от гитлеровского ига.

Книга Евы Пристер говорит о национальных освободительных традициях австрийского народа. Сегодня, когда предпринимается немало попыток моральной «реабилитации» гитлеризма, с радостью встречаешь появление книги Евы Пристер, показывающей, что для лучшей части австрийского народа вечно цветут ветви с дерева свободы.

Н. Стальский.

КНИГА ЛЮДВИГА РЕННА

□

Ludwig Renn, Trini, Die Geschichte eines Indianerjungen. Kinderbuchverlag, Berlin, 1954.

□

Мексика. Первое десятилетие нашего века. Пылают помещичьи усадьбы; крестьяне, которые из поколения в поколение голодали, собирая для землевладельцев богатый урожай маиса, становятся хозяевами полей. По стране разносится клич Эмильяно Сапаты: «Земля и свобода!» В его революционную армию отовсюду стекается восставший народ. Соединенные войска Сапаты и Панчо Вильи вступают в столицу Мексики.

Иностранные предприниматели, лишенные возможности грабить страну под видом торговли, требуют от президента Каррансы решительных мер. Бьют тревогу и местные либералы, напуганные бурным ходом революционных событий. Каррансе, который тоже числится либералом, удается заманить Сапату в ловушку. Приехав для переговоров, крестьянский вождь оказывается в руках убийц; вместе с ним гибнут и его верные соратники. Но дела, совершенные ими, навсегда остаются в памяти мексиканских тружеников...

Людвиг Ренн, немецкий писатель, прожив годы изгнания в Мексике, полюбил ее мужественный народ. К тому времени, когда он поселился в Мексике, у него за плечами уже был опыт народно-освободительной борьбы в Испании, где он был командиром батальона имени Тельмана. Не приходится удивляться тому, что в недавнем прошлом Мексики писателя увлекла история революционной войны, которую вела армия Сапаты. Эта история творчески воссоздана в повести «Трини», выпущенной в 1954 году берлинским издательством детской литературы. В Германской Демократической Республике, где живет и плодотворно работает Людвиг Ренн, его повесть удостоена Национальной премии за 1955 год.

Трини, чьим именем названа книга, — индейский мальчик. Переплетая вымышленные события с действительно совершившимися, художник тесно связывает судьбу героя с историей мексиканского революционного движения. Трини родился в деревне Сан-Бартольдо в крестьянской семье. Испанский граф, владелец поместья, обращался с крестьянами, как с бесправными рабами, людьми низшей расы. Но рабы восстали, и господам пришлось спасаться бегством. В эти дни для маленького Трини началась новая жизнь. В армии Сапаты он сперва был связным, потом стал разведчиком.

Мужая в опасностях, Трини вырастает в настоящего человека. Книга Людвига Ренна, предназначенная для юношества, полна романтики гражданского подвига. В то же время она реалистически достоверна в отображении сущности исторических событий. Такие, как Трини, воплощают в себе надежду мексиканского народа на лучшее будущее. Книга Людвига Ренна, написанная о прошлом, оказывается современной. В ней утверждается преемственность народно-освободительной борьбы, которая будет продолжаться до победы.

Незадолго до четвертого съезда немецких писателей журнал «Нейе дейче литератур» обратился ко многим немецким писателям с вопросом: «Если бы вы были не писателем, а литературным критиком и должны были бы высказаться об одном из своих последних произведений, что бы

вы по этому поводу написали?»

Людвиг Ренн ответил на поставленный вопрос небольшой заметкой, опубликованной в том же журнале. По словам Ренна, его ранние книги — «Война» (1928) и «После войны» (1930) — находятся «на грани репортажа»: они представляют собой своего рода «документальное сообщение» об исторических событиях времен империалистической войны 1914—1918 годов и ближайших послевоенных лет. Все свои последующие книги, кроме «Трини», художник также причисляет к разряду «документальных сообщений». Таким образом, с точки зрения самого писателя, роман «Трини» — первый шаг по новому пути: попытка творческого воплощения истории в эпическом жанре. Критическую заметку о самом себе писатель заканчивает так: «Хватит ли у Ренна дыхания, чтобы идти вперед в этом направлении?»

Л. Симонян.

ЛИВАНСКИЕ ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ

□

Anis Fraiha, Modern Lebanese Proverbs, Beirut, 1953, v. I, II.

□

Кто читал собрание арабских сказок «Тысяча и одна ночь», тот восхищался их поэтическим языком, цветистой образностью речи, обилием мудрых пословиц и поговорок. Однако не следует думать, что метафоричность языка, любовь к неожиданным сравнениям и метким пословицам присуща лишь арабским сказкам и арабской поэзии. Все это встречается в обычной речи простого араба — феллаха или ремесленника, где бы он ни жил: в знойном Египте, среди гор Ливана или песков Сахары. Арабы дорожат сокровищами своей народной мудрости. В 1953 году в Бейруте на английском языке вышла в двух томах книга ливанского ученого-филолога Аниса Фрайха, известного своими трудами по ливанской диалектологии: «Современные ливанские пословицы, собранные в Рас-аль-Матн Ливан» (Рас-аль-Матн — небольшая деревушка к востоку от Бейрута, родины Аниса Фрайха).

В книге собрано 4228 пословиц и поговорок. Эти пословицы автор располагает в порядке арабского алфавита, приводя их так, как они звучат в устах ливанского крестьянина — не на литературном арабском языке, а в разговорной его форме, распространенной в Ливане. Каждая пословица сопровождается английским переводом и объяснением ее происхождения.

Книге предпослано введение, где автор высказывает много интересных мыслей о происхождении ливанских пословиц и об их связях с пословицами других народов. Во вступлении автор, между прочим, пишет: «То, что мне удалось собрать свыше четырех тысяч пословиц и поговорок в маленькой деревушке Ливана, достаточно ярко свидетельствует об их популярности в обычной речи простого народа. Народ любит украшать свой разговор метафорой или сравнением». Среди пословиц, записанных Анисом Фрайхом, есть такая: «поговорка для народа, как соль для пищи».

В пословицах, словно в зеркале, отражаются жизнь и духовный мир ливанского крестьянина. Вот некоторые из пословиц, приведенных в сборнике:

«Сорняки своей страны лучше пшеницы на чужбине».

«Постись и молись, и нужда непременно оседлает тебя».

«Я — эмир и ты — эмир, кто же будет погонять ослов?»

Важное и полезное дело сделал Анис Фрайха, познакомив мир с пословицами и поговорками своего народа.

Л. Степанов.

Наша ПОЧТА

Китайский писатель Чжао Шу-ли в письме в «Иностранную литературу» рассказывает о своей работе над романом «В деревне Саньливань», опубликованном в нашем журнале в 1955 году.

«Когда наша страна, — пишет Чжао Шу-ли, — вступила в период социалистических преобразований, большая часть писателей направилась на социалистические стройки в промышленности и сельском хозяйстве. Я хотел писать о деревне и, конечно, должен был поехать в деревню, чтобы понять происходившие там перемены. Весной 1951 года я поехал в Тайсиншань, который хорошо знаю.

...Я направился в один из местных комитетов партии особого района Чанчжи провинции Шаньси и там узнал, что товарищи на местах изучают далеко не просто разрешимые проблемы социалистического преобразования сельского хозяйства. Исходя из местных условий, изучив опыт Советского Союза и стран народной демократии, они остановились на методе кооперирования и решили в виде опыта создать в своем районе десять сельскохозяйственных кооперативов. Я принял участие в этой работе, а затем побывал в двух деревнях, население которых изъявило желание создать у себя кооперативы. Результаты опыта оказались весьма успешными. Крестьяне соседних деревень решили последовать этому примеру.

Раньше я никогда не писал о сельскохозяйственном производстве. После того как этот опыт дал положительные результаты, я решил написать о нем. Однако я принимал участие лишь в предварительном этапе создания кооператива. В моих мыслях еще не сформировалась полная картина общественной жизни. Нужно было активно включиться в нее и лишь затем приниматься за работу. На следующий год я снова поехал в этот кооператив, чтобы участвовать в его жизни и работе. Зимой 1953 года я начал писать. Несколько раз я прерывал работу для того, чтобы побывать в других кооперативах, и лишь весной прошлого года роман «В деревне Саньливань» был закончен».

«То, что я пишу, — продолжает Чжао Шу-ли, — по-моему, большей частью предназначено для грамотных людей в деревне, которые могут пересказать прочитанное неграмотным. Поэтому в вопросах стиля мной было обращено большое внимание на традиции... Традиционных форм ознакомления широких масс с произведениями литературы и искусства много: крестьяне слушают пересказ книг, сказ под барабан, слушают чтение классического романа, пение оперных арий, устные рассказы, народные песни, смотрят пьесы; люди, обладающие особым даром, пересказывают другим интересные события, создают песни, которые затем поют повсюду... Я сжился с крестьянами, узнал их привычки — это помогло мне выработать понятный крестьянам стиль. В то же время стиль моего произведения нельзя резко отделять от стиля большинства других современных писателей нашей страны; ведь хотя я и происхожу из крестьянства, но являюсь интеллигентом; моя литературная учеба находится под влиянием не только китайской народной традиции, но и прогрессивной литературы мира — именно поэтому я стал профессиональным писателем и именно на этом пути следует преодолевать недостатки в традиционной китайской народной литературе...»

* * *

Итальянское издательство **«Эдитори риунити»** прислало в адрес Союза писателей СССР экземпляр журнала «Вие нуове»; в нем опубликовано письмо простого итальянского труженика, которому образ Алексея Мересьева из книги Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке» помог преодолеть большое горе.

«Мы хотим довести до сведения советских писателей, — говорится в сопроводительном письме издательства, — эпизод, имеющий глубоко человеческое значение и свидетельствующий о том, какое влияние оказывают на итальянский народ издающиеся у нас произведения советских авторов».

Ниже печатается перевод письма, опубликованного в журнале «Вие нуове».

«Дорогая редакция!

Несколько дней тому назад в Риме один человек убил своего новорожденного ребенка. Убийца был портным. Когда он увидел, что у ребенка искалечены руки, он удушил его. А затем газеты много писали об этом случае с ложным милосердием, рассчитанным на то, чтобы растрогать или поразить читателей. Я не хочу здесь осуждать портного Палла, совершившего этот поступок. Мне хотелось бы рассказать читателям «Вие нуове» об аналогичном случае, который в прошлом году произошел со мной. После долгих часов ожидания в коридоре родильного дома мне показали моего ребенка, который только что появился на свет. Это была девочка. Она родилась калекой.

Конечно, нелегко передать чувства и мысли, которые в эту минуту овладели моим сердцем и умом. Я также зарабатываю на хлеб трудом, хотя и не физическим; и я, в конце концов, только бедняк. И вот я смотрел на свою дочь, на калеку, и мне показалось, что у нее даже затруднено дыхание. В эти страшные минуты я подумал о ее будущем. Я видел ее в коляске, лишенную возможности двигаться; я видел, как несчастная девочка сидит у окна моего дома и печально глядит на мир, не надеясь даже на то, что ей удастся когда-нибудь ходить по улицам этого города, гулять с подругами, смеяться, петь и найти себе друга, подобно тому, как это делают другие девушки.

Когда передо мной возникли эти образы,— и у меня появилась мысль убить ребенка. Ведь жизнь новорожденного кажется столь незначительной, у него такое мягкое тельце и закрытые глаза. И все же, когда эта мысль овладела мной, мне стало страшно за самого себя, и само побуждение показалось мне преступным. Я помню, что в ту минуту на моем лице выступил холодный пот и даже рубашка и воротничок стали мокрыми. С болью смотрела на меня сестра милосердия, присутствовавшая при этой сцене. Она тоже подумала, должно быть, что этот ребенок предназначен богу, и хотела утешить меня, выразив надежду, что ребенок не останется жить. Я услышал как она пробормотала: «Может быть, бедняжка...»

В эту минуту со мной произошло нечто необычное. Это покажется странным, но слова монахини подействовали на меня, как удар бича, и я тотчас же вышел из охватившего меня мучительного оцепенения. Ее набожный взгляд, ее слова не только не вызвали во мне смирения, но я вспомнил о делах, которые были прямой противоположностью религиозному смирению.

Как ни странно это покажется, но и меня и мою дочь спасла книга, потому что дела, о которых я вспомнил, были рассказаны в книге. Перед моими глазами была картина несчастья, постигшего мою семью, но наряду с этой картиной передо мной возникала подлинно драматическая фигура человека, запечатлевшаяся в моей памяти после чтения книги Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке», — фигура советского летчика Алексея Мересьева.

Сколько добра может принести книга, особенно хорошая книга, в известных обстоятельствах! Я подумал о герое книги, вспомнил о гибели его самолета над заснеженным лесом, окруженным врагами, вспомнил о том мучительном пути, который он, несмотря на раны, прошел, чтобы добраться до линии фронта, вспомнил о том, как ему ампутировали обе ноги, вспомнил о его стремлении к жизни, к тому, чтобы быть мужчиной среди мужчин, бойцом среди бойцов. Алексей Мересьев ходит и без ног; он скрывает свою инвалидность от начальников и снова вступает в бой как летчик. И лишь позднее, когда его героизм был отмечен высшими наградами, люди узнали о том, что он ходил на протезах особого устройства, им самим придуманных, чтобы жить полнокровной жизнью. Зачем же должна была умереть моя дочь? Почему я должен был потерять надежду? Почему я должен был решиться на ее смерть? Разве не мог я поверить, что в этом мире и она сможет жить достойной человека жизнью? Я сам пошел к жене, чтобы сообщить ей о том, как обстояло дело. Мне удалось передать жене свои мысли и чувства.

Теперь наша девочка растет; она достигла возраста, когда другие дети начинают ходить, но не ходит. Ее ноги попрежнему искалечены, а руки удалось вылечить. Врачи не очень меня обнадежили, но я жду. У меня красивая, умная, хорошая девочка с черными блестящими глазами. Она еще не знает о своей инвалидности. Она еще не может это понять. Что же станет с ней в жизни?

В тяжелые минуты я вижу рядом с ее креслицем фигуру Алексея Мересьева. Он стоит и улыбается. Он будет хорошим ее другом и защитником на всю жизнь...

Разрешите мне подписать это письмо инициалами М. У.»

* * *

Известный японский литературный критик **Дзюнити Иваками** в своем письме в редакцию «Иностранной литературы» сообщает ряд интересных подробностей об участии японских писателей в движении, связанном с «делом Мацукава», имеющим уже почти семилетнюю историю.

«Существо «дела Мацукава», — пишет Иваками, — заключается в том, что в ночь на 17 августа 1949 года неизвестные злоумышленники вывинтили гайки, скрепляющие рельсы железнодорожного полотна близ станции Мацукава в префектуре Фукусима. Произошло крушение товарного состава. Это послужило поводом для ареста большого числа железнодорожников, а также рабочих близлежащих заводов Электрокомпании Токио — Сибаура. 6 июня 1950 года суд в Фукусима вынес приговор этим ни в чем не повинным людям — пять человек были приговорены к смертной казни, пятеро —

к пожизненному заключению, девятнадцать человек осуждались на разные сроки тюремного заключения. Эта вопиющая несправедливость вызвала гнев широких слоев японского народа.

Многие честные представители интеллигенции, юристы, деятели литературы опубликовали заявление протеста. Прогрессивные писатели собрали стихи, написанные заключенными в тюрьму рабочими — обвиняемыми по «делу Мацукава» — и издали их под названием «Правда проходит сквозь стены» (1952 г.). Были напечатаны и письма заключенных — они составили сборник «Любовь проходит сквозь стены» (1954 г.). Стихи, в которых поэты протестовали против этого несправедливого приговора, были изданы в виде специального сборника «Стихи о «деле Мацукава».

Книга «Правда проходит сквозь стены» поведала многим честным людям Японии правду об этом зловещем деле. Прочитав ее, маститые писатели Кадзуо Хироцу и Кодзи Уно присоединились к движению за пересмотр «дела Мацукава». Оба писателя лично обследовали место крушения, посетили обвиняемых в тюрьме города Сэндай и выразили протест членам суда. Кодзи Уно написал книгу «Самая удивительная история на свете», в которой разоблачал несправедливость приговора, вынесенного в Фукусима. Кадзуо Хироцу опубликовал об этом серию статей. В конце 1953 года к протесту Кадзуо Хироцу и Кодзи Уно присоединились старейший и известнейший писатель Японии Наоя Сига, а затем Косэй Кавабата, Тацудзо Исикава, Масудзи Ибусэ, Фумио Нива и другие видные деятели современной японской литературы.

22 декабря 1953 года после вторичного рассмотрения дела суд в городе Сэндай вынес новый приговор: четверо человек были приговорены к смертной казни, четверо — к пожизненному заключению, остальные — на разные сроки тюремного заключения.

Протестуя против этой новой несправедливости, Кадзуо Хироцу начиная с весны 1954 года опубликовал в журнале «Нихон хёрон», самом старом и «толстом» журнале Японии, освещающем вопросы политики, экономики, общественной жизни и искусства, серию статей, в которых убедительно показал всю необоснованность вторичного приговора. Эти статьи вышли в свет в мае 1955 года отдельной книгой под названием «Суд Мацукава». Половину гонорара, полученного за эту книгу, Кадзуо Хироцу передал Комитету помощи заключенным по «делу Мацукава».

Осенью 1955 года около двухсот деятелей японской литературы собрались по случаю годовщины со дня выхода в свет книги писателя Кадзуо Хироцу «Дело Мацукава», чтобы выразить свою горячую солидарность с этим выдающимся борцом за справедливость и демократию. Присутствовали на встрече Кодзи Уно, Тацудзо Исикава, Фумио Нива, Суэкити Аоно, Кэндзо Накадзима, Сунао Токунага. Двести литераторов собрались в одном зале! Это — необычное событие в литературной жизни Японии.

Сейчас следствие по «делу Мацукава» передано в верховный суд Японии. Двести адвокатов по своей инициативе приступили к подготовке защиты обвиняемых. Издается журнал «Мацукава». Театральная труппа Тюгэй поставила пьесу драматурга Киити Охаси «Правда проходит сквозь стены». Многие честные интеллигенты вслед за Кадзуо Хироцу выступают с заявлениями протеста, требуя освобождения невиновных».

Далее Иваками делится своими соображениями о вышедшей в свет осенью 1955 года второй части романа Сунао Токунага «Тихие горы». «Это произведение, — как пишет Иваками, — способствует укреплению метода социалистического реализма в японской литературе».

«Первая часть романа, — говорится в письме, — уже переведена в Советском Союзе, в Китае и во многих других странах. Книга рассказывает о том, как с помощью заводских рабочих крестьяне поднимаются на борьбу за земельную реформу...

Главные герои «Тихих гор» — молодой рабочий Дзиро Фурукава, работница Хацуэ Яманака, старый революционер Бунъя Торидзава, его сын Мотоя Торидзава. Это люди, отчетливо осознавшие путь, ведущий к освобождению их родины. Это люди активного действия.

Токунага показал нам, что в психологии его героев сохранилось еще немало пережитков старого, противоречивого.

Наряду с главными героями во второй части романа «Тихие горы» выведено еще большое количество персонажей — людей из народа. Лесоруб Дзэнгоро Яманака, крестьянин Екити Торидзава — храбрые прямодушные люди — обладают теми чертами характера, которые издавна любимы в японском народе. Удались писателю образы бедной солдатской вдовы Тиё Эндо, инвалида войны батрака Киёдзи Торидзава, крестьянина-середняка Тосаку Яманака».

* * *

Редакция получила два письма от алжирского писателя Мухаммеда Диба; в одном из них он, в частности, пишет: «Честь, которая мне оказана опубликованием русского перевода моей книги «Большой дом», меня крайне тронула. Я вижу в этом знак уважения к моему народу.

Мне хотелось бы, чтобы советские читатели оценили это произведение. Я стремился вложить все свое сердце в написанные мной книги, и если они чем-то ценны, то прежде всего тем, что они воссоздают, хотя и в очень незначительной степени, жизнь людей моей родины... Поддержка и симпатия советских литераторов и читателей, которые они оказывают нам, молодым писателям, помогают преодолевать трудности, стоящие на нашем пути...»

В своем втором письме Мухаммед Диб касается опубликованной в журнале рецен-

зии на его книги *. «По правде говоря, — пишет Диб, — в этой статье содержится больше похвал, нежели я заслуживаю. Но основной замысел обоих моих произведений, в частности, то, что они пронизаны мечтой о будущем (о чем до сих пор не писал ни один из моих критиков), раскрыт в статье. Само собой разумеется, что мне еще надо много работать, чтобы повысить художественный уровень моих произведений.

Несмотря на то, что статья обращена прежде всего к советским читателям, с целью ознакомления их с моими книгами, она будет полезна для работы и мне».

В заключение писатель сообщает, что он опубликовал новую книгу — сборник новелл «В кафе» **.

* * *

Индийский писатель **Мулк Радж Ананд** в письме, направленном в Иностранную комиссию Союза писателей СССР, вспоминает о различных этапах своей творческой биографии.

«Еще в те годы, когда Индия была английской колонией и я жил как изгнанник в Западной Европе, — пишет он, — у меня были друзья среди английской интеллигенции, разделявшие мои взгляды. Они поддерживали меня в стремлении создать «Человеческую комедию» моей страны. Та оценка, которую дали моим ранним произведениям прогрессивные люди Западной Европы, также помогла сложиться реалистическому направлению моего творчества.

Но это направление явилось результатом поисков формы, в которой я мог бы сказать то, что хочу, — поисков, начавшихся под влиянием великого советского писателя М. Горького. Меня вдохновило творчество Горького, которого я читал в дни юности. Большим толчком в моей писательской работе послужило творчество Толстого. Поэтому если у меня и есть какие-то достижения в области литературы, то я в большой мере обязан ими вашей замечательной стране. После первого посещения Советского Союза в 1948 году я бывал в СССР почти каждый год. Когда я спрашиваю себя, почему во мне всегда живет желание поехать в Москву, я нахожу объяснение этому глубокому стремлению в своем отношении к СССР, как к своего рода символу. Советская земля для многих из нас является первоисточником энергии...

Я знаю, что тысячи нитей связывают меня с той эрой достижений человечества, которая началась в СССР...

Обет дружбы, данный рядом самых замечательных общественных деятелей наших двух стран, дан и теми из нас, кто своим скромным трудом хочет принять участие в великом стремлении к укреплению индийско-советской дружбы в качестве гарантии мира...»

Касаясь своей творческой работы и дальнейших литературных планов, Ананд пишет: «Сейчас я целиком погружен в работу над большим романом в семи томах, который освещает целую эпоху — с 1905 года до освобождения Индии. Я почти закончил работу над вторым томом. Думаю вскоре написать небольшой роман «Размышления на белом слоне», а затем возьмусь за третий том своего семитомного произведения».

---

* См. журнал «Иностранная литература» № 1 за 1955 год, рецензия Е. Гальпериной «Страдания и надежды Алжира».

** См. раздел «Среди книг» этого номера, стр. 254—255.

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АЛЖИР

НОВАЯ АЛЖИРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Еженедельник «Леттр франсез» опубликовал статью алжирского ученого Мухаммеда Абделли «Новая алжирская литература». Анализируя книги трех современных писателей Алжира — Мухаммеда Диба, Мулуда Маммери и Мулуда Ферауна, автор статьи приходит к выводу, что эти писатели сказали новое слово в литературе своей страны и глубоко отобразили национальную действительность.

Мухаммед Абделли напоминает о том, что и раньше в Алжире выходили книги писателей арабов, рассказывавшие о жизни народа, о его горькой доле. Но авторы этих книг обычно стремились лишь к тому, чтобы вызвать у читателя жалость и сострадание к изображаемым персонажам из народа; подобную литературу принято в Алжире называть «голосом униженных». Что касается новой алжирской литературы (М. Абделли имеет в виду книги Диба, Маммери и Ферауна), то она звучит совсем по-иному.

Далее в статье дается обстоятельный анализ основных произведений М. Маммери, М. Ферауна и М. Диба, раскрывается творческий путь каждого из этих писателей.

В своем романе «Забытый холм», вышедшем в 1952 году, Мулуд Маммери изобразил картину жизни арабской деревни накануне и во время второй мировой войны. Основным достоинством романа Маммери автор статьи считает правдивый, высокохудожественный показ социальных конфликтов, борьбы новых веяний с вековыми предрассудками и обычаями.

Роман Мулуда Ферауна «Земля и кровь» (1953) также рисует современную жизнь алжирского крестьянства. Книга рассказывает о том, как «голос земли» и «голос крови» заставляют возвратиться из Франции домой героя романа, Амера. Но родная земля не может прокормить алжирцев; с большой трагической силой изображает писатель голод, терзающий народ его страны.

Характеризуя романы Мухаммеда Диба «Большой дом» и «Пожар», М. Абделли пишет, что основным их мотивом является требование права на жизнь. И если талантливые и правдивые книги Маммери и Ферауна звучат, по мнению Абделли, пессимистически и не говорят прямо об изменении социальных условий, то книги Диба требуют установления новых условий жизни.

Если же взять творчество всех трех писателей в целом, то оно дает, по словам М. Абделли, весьма полную картину жизни современного алжирского крестьянства. И не случайно на изображении крестьянства, феллахов как раз и сосредоточено все внимание новой алжирской литературы: феллахи — самый многочисленный класс страны. Именно этот класс «больше всего нуждается в том, чтобы его узнали, поняли и полюбили. А подлинная любовь — основа правды», — пишет Абделли.

В заключение статьи критик утверждает: «Люди, боровшиеся за свободу и демократию, не хотят больше жить так, как они жили в прошлом. Они стремятся войти в сообщество всех народов и трудиться во имя мира и всеобщего благополучия. Наша интеллигенция, поняв эту эволюцию в сознании нашего народа, активно встает в ряды всемирного фронта исторического развития».

АНГЛИЯ

НОВЫЙ РОМАН ДОРИС ЛЕССИНГ

Действие нового романа Дорис Лессинг «Возврат к невинности» («Retreat to Innocence») происходит в Лондоне в 1955 году. Герои-

ня, молоденькая студентка, увлекается немолодым человеком, писателем-антифашистом, еще в 30-х годах эмигрировавшим в Англию. Разница между ними существует не только в возрасте, но и в убеждениях. Она — хорошенькая, легкомысленная девушка, которую «тошнит» от политики; он — активный участник антифашистского движения, которому очень дороги его взгляды. Однако в послевоенные годы он не видит перед собой ясного пути.

Традиционная любовная история только как бы обрамляет поставленную в романе важную общественную проблему. Как отмечает газета «Дейли уоркер», Дорис Лессинг старалась объективно поставить вопрос о судьбах тех антифашистов, которые после войны оказались между двумя лагерями.

В рецензии, помещенной в «Уолрд ньюс», подчеркивается, что «не только тема делает роман «Возврат к невинности» таким хорошим».

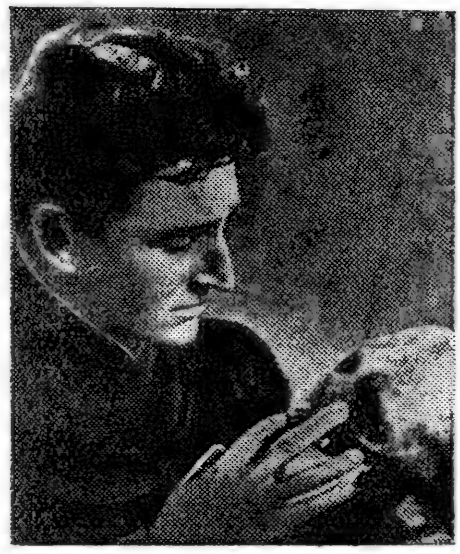
Критик отмечает мастерство писательницы, раскрывающей без излишней сентиментальности, но с большой силой и глубиной внутреннюю жизнь своих героев.

ГВИН ТОМАС НА ТЕЛЕЭКРАНЕ

Гвин Томас написал новую пьесу для телевидения. Герои ее вышли все из той же среды простых людей Уэльса, которых писатель обычно изображает в своих романах. В данном случае — это участники одного из хоров, очень распространенных в Южном Уэльсе, чье население славится любовью к песне и высокой эмоциональностью исполнения.

Участники хора «Орфеяне» терпят ряд злоключений из-за того, что их руководитель подпадает под влияние некой утонченной леди, отвергающей популярные народные песни и признающей только мадригалы елизаветинских времен.

По мнению прогрессивной печати, вся притягательная сила этого произведения заключена не в его сюжете,



Новый исполнитель роли Гамлета в Мемориальном Театре (Стретфорд-он-Эйвон) — Алан Бейдл.
(*Журнал „Иллюстрейтид Лондон ньюс"*).

а в изображении характеров действующих лиц; Гвин Томас и здесь показал, что он умеет мастерски раскрыть поэтичный, своеобразный и очень богатый духовный мир своих героев.

„БУРНЫЕ ГОДЫ"

«Бурные годы» — под таким названием вышли мемуары Джорджа Харди, одного из старейших деятелей международного рабочего движения. Это повесть о пятидесяти годах, проведенных на переднем крае революционной борьбы и на пяти континентах.

Харди был одним из создателей и генеральным секретарем крупнейшего профсоюзного объединения США — «Индустриальные рабочие мира». Когда в 1918 году при помощи лжесвидетельств, провокаций и террора был организован в Чикаго процесс против вождей рабочего класса США, Джордж Харди оказался среди подсудимых.

Он был делегатом первого конгресса Коминтерна в Москве, где встретился и беседовал с В. И. Лениным.

В 1923 году Харди участвовал в восстании гамбургского пролетариата, а в 1926 году был одним из организаторов всеобщей забастовки в Англии. В 1927 году он покинул Англию, чтобы принять участие в революционном движении китайского народа.

Все эти величественные и яркие события нашли отображение в книге, написанной не только их очевидцем, но и участником. Вот почему английская прогрессивная печать подчеркивает, что страницы мемуаров Харди овеяны дыханием живой истории.

РОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ „ТИЕТР УОРКШОП"

«Тиетр уоркшоп» — театр английских трудящихся, весьма успешно гастролировавший во Франции и Швеции, продолжает играть в одном из беднейших районов Лондона — Ист-Энде; до самого последнего времени он испытывал большие финансовые затруднения, из которых выходил с помощью местных профсоюзных организаций и районного магистрата.

Дела театра несколько улучшились после того, как он недавно поставил новый спектакль по классическому роману Я. Гашека «Приключения бравого солдата Швейка» (инсценировка принадлежит драматургу Юэну Макколу). Для показа этой работы «Тиетр уоркшоп» был приглашен на гастроли в один из театров Вест-Энда (аристократический район Лондона).

Выступления в Вест-Энде прошли с большим успехом. Однако «Тиетр уоркшоп» вовсе не собирается покинуть своего постоянного зрителя. «Дейли уоркер» приводит слова руководителя театра, который заявил: «Наш успех покажет людям, что мы играем в Ист-Энде вовсе не потому, что не можем играть в Вест-Энде».

БИРМА

РЕАЛЬНАЯ И БЛАГОДАРНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

В Рангуне состоялось торжественное вручение удостоверений Бирманского общества переводчиков выпускникам курсов, организованных Обществом повы-

шения грамотности и культурного уровня народа.

Присутствовавший при вручении У Ну выступил с речью, призвав бирманцев все настойчивее овладевать знаниями и подчеркнув, что «даже лесоруб или пахарь могут стать деятелями международного масштаба, если они овладеют теми знаниями, какие содержатся в книгах, издаваемых Бирманским обществом переводчиков».

БОЛГАРИЯ

БОЛГАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ

За последние годы во многих странах возрос интерес к болгарской литературе. По данным Болгарского библиографического института, со дня установления в Болгарии республики — 9 сентября 1944 года и до конца 1955 года за рубежом переведены и изданы на 38 языках 462 произведения 69 болгарских писателей. Кроме того, сотни произведений болгарских авторов печатались в различных зарубежных газетах и журналах.

Шире всего пропагандируется болгарская книга в Советском Союзе: с 1944 по 1955 год на русском языке и 18 языках народов СССР издано 137 произведений болгарских писателей.

О живом интересе к болгарской литературе свидетельствует количество изданий болгарских книг в Чехословакии, Польше, Венгрии и других странах народной демократии. Большой интерес к болгарской литературе проявляется в Италии, Франции, Англии, Швеции, Турции.

Наряду с классиками широкую известность за рубежом приобретают такие современные болгарские писатели, как Г. Караславов, Л. Стоянов, Ст. Даскалов, П. Вежинов, О. Василев, А. Гуляшки, К. Калчев, М. Марчевский и др.

Газета «Отечествен фронт», помещающая все эти данные, отмечает, что интерес, проявляемый за рубежом к болгарской литературе, еще в большей степени повышает ответственность писателей и вдохновляет их на новые творческие достижения.

ВЫСТАВКА ИТАЛЬЯНСКОЙ КНИГИ

В Софии была организована выставка современной итальянской книги. В ней приняли участие 24 издательства Рима, Флоренции, Болоньи, Турина, Милана, в том числе издательство итальянской компартии «Эдитори риюнити».

На выставке были представлены произведения классиков итальянской литературы, труды по истории литературы, альбомы репродукций с картин великих итальянских художников, издания, посвященные театру, кино, архитектуре и т. д. Среди экспонатов значительное место заняли произведения современной итальянской художественной литературы.

По сообщениям болгарской печати, выставка привлекла внимание широкой общественности столицы.

Выступая на открытии выставки, директор итальянской книжной лавки «Ринашита» Мацино Монтинари сказал: «...Мы в Италии радуемся тому, что так велик интерес болгарского народа к нашей культуре. Точно так же велик в Италии интерес и к вашему народу. Все итальянские демократы знают, что ваши успехи, ваши усилия по строительству социализма, за укрепление мира — это ценнейший вклад в то дело, за которое смело и самоотверженно борется большая часть итальянского народа».

„НЕДЕЛЯ ЮГОСЛАВСКОГО ФИЛЬМА"

В Софии состоялась «Неделя югославского фильма». Писатель Петр Динеков выступил с докладом о достижениях киноискусства Югославии. Болгарские зрители познакомились со следующими фильмами: «Решающие моменты», действие которого развертывается в годы фашистской оккупации страны; «Цыганка», картиной, посвященной положению Сербии конца прошлого века; кинокомедией «Дитя из приюта» по одноименному роману Бранислава Нушича, представляющему собой острую сатиру на нравы буржуазного общества, и картиной «Брат Бэрне», высмеивающей лживую мораль и лицемерие далматинских монахов в прошлом веке.

„ОТКРЫТИЕ ИНДИИ" НА БОЛГАРСКОМ ЯЗЫКЕ

В Софии состоялся литературный вечер, посвященный книге Джавахарлала Неру «Открытие Индии». На вечере присутствовали деятели культуры, представители общественности столицы и гостившие в Болгарии индийские художники Бабеш Санял и Хари Гаде. Директор Софийской городской библиотеки просил индийских художников передать Неру экземпляр книги «Открытие Индии» в переводе на болгарский язык.

ВЕНГРИЯ

КНИГИ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ

Венгерское издательство «Уй мадьяр кёньвкиадо» любезно предоставило в распоряжение нашего журнала свой издательский план на текущий год. План этот заслуживает того, чтобы познакомить с ним советских читателей.

«Уй мадьяр кёньвкиадо»— издательство особого профиля: задачей его является выпуск произведений художественной литературы зарубежных стран. План издательства на 1956 год красноречиво говорит о живом и все растущем интересе к жизни, истории, чувствам, мыслям других народов, запечатленным в их литературе.

В плане значатся произведения классической и современной литературы более 15 стран, не считая многонациональной советской литературы. Здесь и произве-

дения Бределя, и рассказы Садовяну; и «Баллады южных славян», и сказки «Тысячи и одной ночи»; и «Антигона» Софокла, и книга молодого польского писателя Чешко «Поколение». В план издательства включены произведения Гомера, Шекспира, Лессинга, Гёте, Теккерея, Мольера, Бальзака, Франса; антология вьетнамской поэзии; рассказы Лу Синя; «Рыбачка» Бьёрнстерне-Бьёрнсона; стихи Мицкевича; «Под игом» Вазова; «Мартин Эрроусмит» Синклера Льюиса; «Сперанца» Бонфанти и многие другие книги писателей разных стран.

Обращают на себя внимание тиражи книг, довольно значительные для такой страны, как Венгрия. Ни одна книга не издается тиражом менее двух тысяч экземпляров.

Особенно большими тиражами намечено издать произведения русских и советских писателей. Нашему читателю небезинтересно узнать, что «Тихий Дон» Шолохова, например, вновь издается в 20 тысячах экземпляров; что «Разгром» Фадеева и «Как закалялась сталь» Н. Островского выйдут вновь тиражом по 50 тысяч; что «Герой нашего времени» Лермонтова выйдет в 52 тысячах экземпляров; рассказ Чехова «Анна на шее» — в 55 тысячах, а «Поднятая целина» — в 70 тысячах. Значительны и тиражи таких книг, как «Время, вперед!» В. Катаева, сборники рассказов А. Толстого и статей И. Эренбурга, произведений М. Горького, В. Маяковского, В. Лациса, М. Ауэзова, В. Овечкина, а также Короленко, Достоевского, Франко и других писателей. В этом году в Венгрии появится в переводе на венгерский язык и «Слово о полку Игореве».

Невозможно, конечно, перечислить здесь имена всех авторов и цифры тиражей, содержащиеся в обширном плане издательства «Уй мадьяр кёньвкиадо» на 1956 год. Но и приведенные здесь данные позволяют судить о развитии книгоиздания в народно-демократической Венгрии, о расцвете культуры, который эти данные отражают.

МАСТЕРА СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Так называется цикл популярных лекций о советских писателях, организованный Венгеро-Советским обществом и Союзом венгерских писателей. Лекции читают видные венгерские литературоведы, критики, писатели. Уже состоялись лекции о творчестве М. Горького, А. Толстого, В. Маяковского. Читали их профессора Будапештского университета Ласло Бока, Иштван Шётер и переводчик Ласло Кардош. С лекцией о творчестве Шолохова выступил известный венгерский писатель Петер Вереш.

ГЕРМАНИЯ

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

НАИВЫСШИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Советский читатель знаком с творчеством Отто Готше по его книге «Глубокие борозды», переведенной на русский язык. В настоящее время писатель опубликовал новый роман —«Между ночью и утром». Это историческая хроника, созданная на документальной основе. В ней воспроизведена героическая борьба группы рабочих-антифашистов за мир и демократию как в последние годы нацистского господства, так и в послевоенные годы.

Газета «Нейес Дейчланд» отмечает, что тема, избранная писателем, представляет собой «широкое и плодоносное поле литературного творчества». Однако Отто Готше, попытавшись превратить хронику в роман, по мнению газеты, не справился со своей задачей. «Ни один из исторически достоверных главных героев не изображен с достаточной психологической обоснованностью, ни одно из их стремлений и побуждений не показано с такой глубиной, чтобы они стали подлинно художественными образами, зовущими за собой, потрясающими, порождающими любовь и ненависть, глубоко воздействующими на читателя».

Газета «Нейес Дейчланд» подчеркивает, что Отто Готше, как и любой другой писатель, обязан предъявлять самому себе наивысшие требования, упорно добиваясь полного единства формы и содержания.

СТИХИ МОЛОДЫХ ЗАПАДНОГЕРМАНСКИХ ЛИРИКОВ

Под названием «Окно на пути» вышел в Галле сборник стихов трех молодых поэтов Западной Германии: Рихарда Салиса, Гюнтера Бруно Фукса и Дитриха Кирша. Газета «Фрейес фольк», поместившая статью о сборнике, пишет, что в стихах трех молодых авторов не чувствуется жизнерадостности и уверенности в завтрашнем дне. Поэты Западной Германии как бы наблюдают жизнь через «окно на пути». Тем не менее поэтический призыв Дитриха Кирша «Быть верными, всегда верными», то есть быть верными себе, быть противниками войны и подлинными выразителями настроений немецкой молодежи, — этот призыв в условиях сегодняшней Западной Германии звучит достаточно смело и недвусмысленно.

Все три поэта в своем творчестве, по мнению газеты «Фрейес фольк», имеют много общих черт. Это уход от реальных фактов жизни, это — их близость к экспрессионизму и, наконец, их общее сходство с Вольфгангом Борхертом, которого автор рецензии в «Фрейес фольк» считает самым крупным из писателей, отобразивших неприглядную послевоенную действительность Западной Германии. Сборник «Окно на пути», изданный в ГДР, — еще одно свидетельство наличия культурных связей между Восточной и Западной Германией.

КНИГА О НАРОДНОМ ВЬЕТНАМЕ

Живыми и яркими описаниями бамбуковых лесов, банановых плантаций и рисовых полей северных провинций Вьетнама изобилует книга Франца Фабера «Красным цветом отливает река Сонг Кай». Журналист Франц Фабер пробыл в Вьетнаме до 1955 года и явился свидетелем не только героической освободительной борьбы народа, но и его самоотверженного труда по восстановлению экономики и строительству молодой республики.

Панорама сегодняшнего Ханоя, репортажи о земельной реформе, о проведении оросительной системы помещены в книге рядом с рассказами об истории Вьетнама, о народных традициях свободолюбия. Как явствует из отзыва, напечатанного в журнале «Бухбешпрехунг», автор показывает и трудности, которые приходится преодолевать населению ДРВ, и причины, порождающие эти трудности.

Ценность книги Фабера, пишет тот же журнал, не только в наличии богатого фактического материала, но и в том, что, давая правдивое представление о мужественном вьетнамском народе, она способствует росту и укреплению дружеских симпатий к нему.

НЕИЗВЕСТНЫЕ ПИСЬМА ВЕЕРТА К ГЕЙНЕ

Обнаружены ранее не известные девять писем Георга Веерта, этого, по определению Энгельса, «первого и самого значительного поэта немецкого пролетариата» к своему другу Гейне.

В связи с 100-летием со дня смерти Георга Веерта в издательстве «Ауфбау» выходит снабженное комментариями издание его произведений, где впервые будут опубликованы и вновь найденные письма.

НЕМЕЦКИЕ ЧИТАТЕЛИ О КНИГЕ Д. ГРАНИНА

В Берлине состоялось оживленное обсуждение романа Д. Гранина «Искатели». Корреспондент газеты «Берлинер цейтунг» сообщает, что в дискуссии приняли участие читатели самых разнообразных профессий и возрастов. «Все сошлись на том, — пишет корреспондент, — что современным писателям редко удавалось столь яркое изображение людей в их повседневных отношениях».

Вместе с тем ряд ораторов указал на то, что характеры некоторых героев книги развиваются недостаточно последовательно; по их мнению, это в первую очередь относится к женским образам.

Один из выступавших сообщил, что рабоче-крестьянский факультет университета имени Гумбольдта в Берлине включил роман «Искатели» в обязательный список художественной литературы, изучаемой на третьем курсе.

Об интересной инициативе упомянул в своем выступлении инженер национализированного предприятия «Ганс Беймлер» в Хеннигсдорфе. Он взялся распространить среди рабочих и служащих предприятия 50 экземпляров «Искателей» Гранина, чтобы затем провести читательскую конференцию по роману. Аналогичная инициатива проявлена и на заводе «Лауххаммерверк», где должны быть распроданы 200 экземпляров книги. «Берлинер цейтунг» отмечает, что такое сильное воздействие художественного произведения на читателя должно привлечь внимание литературоведов.

В заключение корреспонденции говорится: «Почему же нет подобной немецкой книги? Где же наши писатели? Прямого ответа на этот вопрос не последовало, ибо среди участников этой читательской дискуссии было слишком мало немецких писателей. Союзу немецких писателей следовало бы провести в своем кругу обсуждение этой книги. Возможно, что дискуссия о ней и анализ причин ее небывалого успеха поможет нашим авторам создать такие же, а может быть и лучшие произведения о нашем времени».

„ФИОРЕНЦА" ТОМАСА МАННА В РОСТОКЕ

В начале февраля Бремен посетили артисты росток-

Бременский «Театер ам Гетеплац» показал в Ростоке (ГДР) пьесу Томаса Манна «Фиоренца». На снимке: участники спектакля — Альдобрандино (Гейнц Бауман), Фиоре (Ирмгард Бромбахер) и Леоне (Фридль Баушульте).

(*Газета „Нейес Дейчланд"*).

ского Народного театра; показом пьесы Брехта «Добрый человек из Сычуани» они положили начало установлению культурных связей между двумя старыми ганзейскими городами. Недавно артисты бременского театра ответили на этот визит, показав в Ростоке единственную пьесу Томаса Манна «Фиоренца».

В Германской Демократической Республике бременскому театру был оказан радушный прием. В Бремене же некоторые влиятельные круги пытались под разными предлогами воспрепятствовать постановке пьесы Брехта. «Уместно напомнить, — писала газета «Нейес Дейчланд», — что любекские коллеги этих господ изо всех сил противились присвоению... Томасу Манну в связи с восьмидесятилетием звания почетного гражданина его родного города».

Однако население Бремена вопреки позиции, занятой этими кругами, оказали артистам, прибывшим из Ростока, теплый прием; пьеса Брехта в их исполнении пользовалась очень большим успехом.

* * *

Пьеса Т. Манна «Фиоренца» — не театральное произведение в обычном смысле слова. Это скорее диалоги, написанные на темы искусства, политики, религии.

Действие происходит во Флоренции в XV веке. Соперничество Лоренцо Медичи и Савонаролы, каждый из которых хочет господствовать во Флоренции, — это соперничество эстета и патриция, выше всего ставящего наслаждение жизнью, и сурового аскета, проповедующего смирение. Одно из действующих лиц пьесы — куртизанка Фиоренца — символизирует Флоренцию. По ее имени и названа пьеса.

«Фиоренца» написана более полувека назад. И хотя пьеса проникнута шутливо-иронической философией молодого Томаса Манна, в ней, как подчеркивает газета «Нейес Дейчланд», сквозит здоровая, самобытная жизнерадостность, а ряд мыслей отмечен подлинным гуманизмом.

КНИГА ОБ ИСКУССТВЕ ЭСКИМОСОВ

Богато иллюстрированная книга Ганса Гиммельхебера посвящена искусству эскимосов на Аляске. Автор известен рядом исследований художественного творчества африканских племен и народов. Он собрал, обработал и опубликовал большое количество мифов, сказок и сказаний жителей Золотого Берега и Либерии.

В своей последней работе, являющейся результатом длительного пребывания на Аляске, Гиммельхебер дает очерк художественного творчества эскимосов, живущих в долине реки Кускоквим. Газета «Нейе цейт» дает весьма высокую оценку новой книге Гиммельхебера и напоминает, что первым исследователем этого вопроса был русский путешественник Колмаков, живший в 1820 году среди предков нынешних обитателей побережья Кускоквима.

Рецензент «Нейе цейт» подчеркивает чрезвычайное богатство форм и яркую выразительность произведений эскимосского народного творчества.

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ

ГОЛОС ПРАВДЫ

«Запрещается быть человеком» — так озаглавлен безымянный репортаж, опубликованный газетой «Фрейес фольк». Имя автора не названо по вполне понятным причинам: ведь это репортаж о тюрьме и из тюрьмы, где томятся коммунисты.

«Человек, приговоренный к молчанию, говорит». Он рассказывает о том, что выстрадано им самим и его товарищами. «Каждое слово, каждая строка, каждая страница — все пережито на собственном опыте».

Тюремный режим таков, что заключенному запрещается быть человеком. Но коммунисты везде и всюду остаются настоящими людьми, благородными, мужественными, несгибаемыми.

«Дни и ночи в одиночестве. Только твои мысли и воспоминания сопровождают тебя как спутники. Хорошие и плохие думы, множество воспоминаний, одно за другим. Если тебя мучит забота (о жене, о ребенке), не пытайся раздвинуть стены, стараясь не задохнуться. Ты бы хотел раздробить их кулаками, но они стоят крепко! И еще теснее смыкаются вокруг тебя.

Тогда камера перестает быть жильем. (Она и не была им никогда.) Тогда она — твой враг, твой мучитель. В ее безжалостной тесноте пылает твой мозг...

А потом, потом ты становишься больше, чем твоя камера. Больше, чем тюрьма. Вырастают твоя сила и твоя ненависть. Силу ты черпаешь из твоего самосознания: ведь ты честен перед людьми. Силу ты обретаешь из чувства солидарности с партией. И вот ты снова среди людей. С рабочими и крестьянами, в этом городе и повсюду; они тебя нашли и не оставят одного...»

ПРОТИВ „КОМИКСОВ"

В городе Мелле (Нижняя Саксония) недавно происходило совещание представителей школы, церкви, издательств, книготорговли и воспитательных учреждений. Участники совещания потребовали усиления законодательных мер, направленных против ввоза из США «комиксов», наводняющих западногерманский книжный рынок. С таким же требованием выступил журнал западногерманских книготорговцев «Берзенблатт фюр ден дейчен буххандель».

ДАНИЯ

НОВЫЙ РОМАН КНЮТА БЕККЕРА

После 12 лет молчания крупнейший датский прозаик К. Беккер написал новый роман — «Марианна». Это первая часть его заключительной трилогии о Кае Гетше — герое предыдущих романов Беккера («Хлеб насущный», 1932; «Мир ждет», 1934; «Беспокойная весна», 1938—1939; «Поезд идет», 1944). В новом романе мы видим Кая в годы первой мировой войны, когда он проходит военную службу в одном из ютландских городков. Кай тяготится унылым и бессмысленным однообразием солдатской жизни, грубым обращением офицеров, жестокой муштрой. Тягостные воспоминания детства (Кай воспитывался в приюте для дефективных детей), неудачи в личной жизни, неудовлетворенная склонность к литературе обостряют одиночество Кая в солдатской среде. Его жизнь скрашивает только дружба с Андерсом, юношей из рабочей семьи, который мечтает стать актером.

Андерс знакомит Кая со своей сестрой Марианной, которая работает прислугой в богатых домах; встреча с ней озаряет жизнь Кая чувством настоящей большой любви. Х. Кирк, рецензируя роман Беккера, отмечает высокое мастерство, с каким изображена автором семья Андерса.

«Эта рабочая семья описана с безграничной теплотой и юмором,—пишет Ханс Кирк.— Мать Андерса после смерти пьяницы мужа осталась вдовой с кучей ребятишек. Они бедны, но ее суровый юмор помогает им справляться с житейскими трудностями. Здесь во всем блеске проявляется мастерство Беккера-рассказчика. Это чистейшей воды реализм: тысячи таких мужественных рабочих семей мы встретим и в сегодняшней Дании. И в то же время повествование окрашено истинной, большой поэзией, проникнутой сердечным теплом и сочувствием... Это большой роман большого писателя. Никогда еще Беккер не писал так хорошо. Его ютландская речь неподдельна и в то же время мастерски отделана, его персонажи — живые люди, он описывает ютландские гарнизонные города и особенно свой родной Вендельбю так, что вы можете пройти по ним с закрытыми глазами. Но лучше всего образ самой Марианны... Любящему сердцу великого поэта редко удавалось создать такой нежный и живой женский образ».

ЕГИПЕТ

НОВИНКИ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Современный Египет — страна развитого книгопечатания. Еженедельно выходят новые книги, посвященные различным проблемам культуры и литературы.

Так, например, недавно вышла монография М. А. Хальфаллаха об Абдаллахе ан-Надиме, выдающемся египетском просветителе конца прошлого века. Автор показывает, как сын простого пекаря стал писателем, властителем дум патриотов, боровшихся против иностранного ига.

Вторым изданием вышла «История арабской литературы» М. С. ар-Рафии.

Проблемам культурного строительства в современном Египте посвящена книга писателя Абд ар-Рахмана аш-Шаркави «В защиту египетской культуры».

К числу новинок в области художественной литературы следует отнести сборник рассказов Абд ар-Рахмана аш-Шаркави «Маленькие сны», пьесу Тауфика аль-Хакима «Исис» («Изида») на сюжет из древнеегипетской мифологии и новый сборник рассказов молодого писателя Юсефа Идриса «Республика Фархата».

В сборнике «Республика Фархата» — три небольших рассказа и повесть. Как утверждает сирийская газета «Ан-Нур», эти произведения являются несомненной творческой удачей молодого писателя, реалистически изображающего жизнь египетского народа.

Сборник назван по рассказу «Республика Фархата», герой которого — полицейский Фархат, а его маленькая «республика» — это полицейский участок.

Повесть «История одной любви», занимающая большую часть сборника, посвящена борьбе египетских патриотов против деспотического режима короля Фарука. Это — первое крупное произведение Юсефа Идриса; как отмечает газета «Ан-Нур», он показал себя мастером и в этом новом для него жанре.

ИЗДАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ МАО ЦЗЭ-ДУНА И ЛУ СИНЯ

В переводе на арабский язык вышел сборник статей Мао Цзэ-дуна по вопросам литературы и искусства. В связи с этим журнал «Роза аль-Юсеф» пишет: «Это призыв человека, прошедшего школу борьбы против империализма и феодализма, обращенный ко всем писателям и художникам, живущим в сходных условиях».

В арабском переводе вышел также один из романов Лу Синя.

РАДИОПЕРЕДАЧИ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ

По сообщению газеты «Аль-Идаа», в настоящее время египетское радио ведет передачи на многих языках мира, в том числе на английском, французском, испанском, португальском, древнееврейском, индонезийском, персидском, турецком, амхарском и суахили. Предполагается ввести передачи на языке хауса, который наряду с суахили и амхарским является одним из распространенных языков Африки.

КИНОТЕАТР СОВЕТСКИХ ФИЛЬМОВ

Как сообщает журнал «Роза аль-Юсеф», в связи с большим успехом советских фильмов в Каире предполагается открыть специальный кинотеатр для их демонстрации.

О ПОЛОЖЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ КИНЕМАТОГРАФИИ

Среди арабских государств Египет — единственная страна, имеющая свое национальное киноискусство. Уже около тридцати лет на экранах кинотеатров Египта и других стран Ближнего Востока демонстрируются египетские фильмы.

Особенно широкую популярность они приобрели во многих арабских странах (объясняется это, в частности, тем, что фильмы выпускаются на разговорном, понятном народу диалекте, а не на классическом литературном языке).

О значении египетской кинематографии свидетельствует хотя бы тот факт, что, по сообщению газеты «Аль-Гумхурия», в производстве фильмов занято более 25 тысяч человек.

Египетское кино воспитало плеяду молодых талантливых актеров. Имена Фатен Хамамы, Марьям Фахр эд-Дин, Тахии Кариоки, Фарида Шауки, Яхьи Шахина, Абд-аль-Халима Хафиза широко известны и за пределами Египта.

И все же египетская общественность вынуждена признать, что в настоящее время кинематография Египта переживает серьезный кризис. За один месяц в Каире закрылись три студии, и многие кинодеятели остались без работы. Газета «Аль-Гумхурия» не так давно уделила различным аспектам этой проблемы очень много места. В многочисленных статьях деятелей египетского искусства и кино, а также в интервью министра национального руководства Фатхи Рыдвана вскрываются причины, вызвавшие нынешний кризис.

К их числу газета «Аль-Гумхурия» относит: малочисленность сюжетов, которые удовлетворяли бы широкие массы зрителей, а также и то, что подавляющее большинство фильмов изготовляется на скорую руку; ограниченные возможности киноэкспорта за границу; конкуренцию иностранных фирм; отсутствие цветных фильмов.

Только в настоящее время готовится первый египетский цветной фильм «Всадник пустыни» с участием видного египетского артиста Хусейна Сидки.

ИНДИЯ

ПЕЧАТЬ О КИНОФИЛЬМЕ „ДРУЖБА ВЕЛИКИХ НАРОДОВ"

В Калькутте состоялся просмотр советского документального фильма «Дружба великих народов». Индийская печать высоко оценивает работу советских кинооператоров. В рецензии, помещенной газетой «Свадхината», говорится: «Советская кинокартина «Дружба великих народов» является поистине невиданным зрелищем, свидетельствующим о дружбе двух великих стран. В едином возгласе сливаются идущие от сердца слова: хинди руси — бхай бхай. Так и кажется, что язык индийского народа вложил всю свою внутреннюю мощь в этот клич. Чувство это не оставляет вас во время демонстрации картины. Фильм не является просто документальным, он полон жизни. Именно в этом отличительная особенность советской кинокартины».

ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА

24 января 1957 года исполняется сто лет со дня основания калькуттского университета. Администрация университета готовит обширную программу, посвященную празднованию этой даты. Предполагают, что торжества начнутся 19 января и закончатся специальным собранием в день юбилея.

Особое значение этого события, как подчеркнул вице-канцлер университета Сиддханта, заключается в том, что оно знаменует столетие существования современного высшего образования в стране. Кроме того, дата эта совпадает со столетием восстания в Индии, ныне известного как первая война за независимость (1857 год).

В связи с юбилеем будет проведена в Калькутте очередная сессия Конгресса индийских ученых.

В конце января 1957 года будет отмечаться столетний юбилей бомбейского университета, а на первой неделе февраля — столетие мадрасского университета.

КНИГА О ТЕАТРЕ

В Калькутте вышла книга Х. Вильсона, В. Рагхавана, А. С. Видьябхушана и К. Р. Пишароти «Индийский театр». Она состоит из 12 глав. Авторы в хронологической последовательности рассматривают возникновение и развитие индийской драмы, характеризуют ее персонажи, а также описывают оформление театральных представлений. Специальная глава посвящена языку индийской драмы. В ней указывается на такие особенности, как сочетание прозы и стихов или различие языка действующих лиц в зависимости от занимаемого ими социального положения.

В главе, написанной профессором К. Р. Пишароти, приводятся подробности о малоизвестном театре в Керале (Южная Индия) с его шестнадцатью разновидностями драматических представлений.

По мнению индийской критики, книга представляет собой ценный труд и может служить учебным пособием для театральных школ Индии.

АЛЬБОМ О ГАНДИ

В Дели издан альбом, посвященный жизни и деятельности Махатмы Ганди.

Джавахарлал Неру, которого индийские дети обычно зовут «Чача Неру» (дядя Неру), среди калькуттских детей, участвовавших в спектакле, данном для открытия «Театра детей» в Дели.

(*Газета „Амрита базар патрика"*)

В альбоме собрано свыше 600 фотографий Ганди и приведена его краткая биография. Этот альбом является первой книгой подобного типа, изданной в Индии.

„ТЕАТР ДЕТЕЙ"

Газета «Амрита базар патрика» посвятила большую статью существующему с 1950 года в Индии «Театру детей».

Впервые движение за его создание зародилось шесть лет назад в Калькутте и тогда же там был основан первый в Индии театр такого рода. Его отличительной особенностью является то, что на его подмостках в качестве актеров выступают только дети. Они поют, играют в небольших пьесах и танцуют в детских балетах.

В 1954 году выступления этого театра состоялись в Дели. Успех оказался столь велик, что решено было открыть такой же театр в столице Индии. Шефство над ним взяла Индира Ганди. Первая группа юных актеров была отобрана из десяти школ Дели. Занятия велись с детьми, говорящими на семи языках народов Индии, что, по мнению руководителей театра, поможет детям почувствовать единство своей огромной многонациональной страны.

В 1955 году подготовка была завершена — делийский «Театр детей» получил собственное здание; по просьбе детей премьер-министр Индии Джавахарлал Неру открыл первый сезон. Во время церемонии открытия Неру заявил, что хотел бы видеть «Театры детей» по всей стране.

ИНДОНЕЗИЯ

КНИГИ О СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

По сообщению литературно-библиографического журнала «Пембимбинг пембача», джакартское издательство «Гунунг Агунг» выпустило в свет второе издание первого тома книги Усмана Эффенди «Индонезийские писатели».

Профессор Усман Эффенди — выдающийся лингвист и литературовед, специалист в области малайско-полинезийской филологии, хорошо знающий языки и литературу народов Суматры, Явы и Борнео.

В первом томе своей книги профессор рассказывает о таких видных современных писателях, как Сутан Такдир Али-шахбана, Идрус, Армейн Пане, Татенгкенг и других.

Вторым изданием вышла также книга индонезийского критика Х. Б. Яссина «Критические статьи и очерки о современной индонезийской литературе». В сборник вошло около сорока статей, анализирующих творчество писателей старшего и молодого поколений.

* * *

В Джакарте, как сообщает журнал «Сиасат», в конце прошлого года вышло в свет третье издание двухтомного труда голландского профессора доктора А. Тэу «Темы и писатели». Эта книга представляет собой подробный систематический обзор современной индонезийской литературы.

Профессор Тэу, известный, в частности, как один из авторов «Индонезийско-голландского словаря», с ноября прошлого года возглавляет кафедру индонезийского языка и литературы в Лейденском университете.

Книга «Темы и писатели» выпущена в свет издательством «Пембангунан» на индонезийском языке.

ЮБИЛЕЙ ГАЗЕТЫ „ХАРИАН РАКЬЯТ"

Не так давно индонезийская общественность широко отмечала пятилетие со

дня выхода в свет первого номера прогрессивной газеты «Хариан ракьят».

В юбилейном номере газеты были помещены публикуемые нами зарисовки, которые сделал художник «Хариан ракьят». Они свидетельствуют о популярности газеты среди местного населения: ее читают всюду — и на улице, и в семейном кругу...

Зарисовки из юбилейного номера газеты «Хариан ракьят».

ИСЛАНДИЯ

ЮНОШЕСКИЙ РОМАН ХАЛЛДОРА ЛАКСНЕССА

В датском литературном журнале «Виндрозен» напечатаны отрывки из неопубликованного романа Халлдора Лакснесса, написанного им в 22-летнем возрасте. В специально предпосланном предисловии Лакснесс сообщает, что рукопись этого произведения была им в свое время оставлена в одном французском монастыре; спустя много лет ее обнаружил один из его друзей. Как указывает рецензент газеты «Ланд ог фольк», эти отрывки читаются с большим интересом. В центре повествования находится во многом автобиографический образ 16-летнего самонадеянного и вместе с тем застенчивого исландского парня, который освободился от влияния религии и полагал, что достиг вершины знаний.

По мнению той же газеты, уже в этом раннем романе весьма ощутимо проявляются многие типичные черты творчества Лакснесса.

ИТАЛИЯ

ЛИТЕРАТУРА СОПРОТИВЛЕНИЯ

Еженедельник «Контемпоранео» опубликовал обзор вышедшей за последнее время в Италии литературы о периоде движения Сопротивления.

«Библиотека Сопротивления», выпускаемая римским издательством «Эдитори риунити», постепенно обогащается новыми произведениями. Борьбе за освобождение Италии от господства фашизма посвящены книги Сильвио Микели «Дни, опаленные огнем» и Марко Чезарини «Модена-М — Модена-П». Автор первой из них — писатель-коммунист Микели — с большой художественной силой, на основании строго документального материала показывает, что партизанское движение в Италии представляло собой не только серию смелых налетов и неожиданных засад, как хотят его некоторые изобразить, а широко развернувшуюся и планомерно проводившуюся народную борьбу. В книге Чезарини рассказывается об освобождении провинции Модена — одного из очагов антифашистского и партизанского движения. Как утверждает журнал «Контемпоранео», по глубине политиче-

Новый фильм, поставленный режиссером Де Сика, называется «Крыша». На снимке: кадр из этого фильма.
(*Журнал „Синемонд“.*)

ского анализа и серьезности исторического исследования эта книга выходит далеко за рамки хроники событий чисто местного характера.

Вышедшая в «Библиотеке Сопротивления» книга известного журналиста Феличе Киланти посвящена Гастоне Соцци — одному из руководящих работников итальянской коммунистической партии, замученному в фашистском застенке.

В издании «Аванти» вышла книга Энеа Ферньяни «Человек и три цифры» — записки антифашиста, заключенного в гитлеровский концентрационный лагерь и чудом избежавшего смерти.

Элио Филиппо Аккрокка и Валерио Вольпини составили обширную «Антологию поэзии итальянского Сопротивления», в которую вошли стихи поэтов самых различных направлений, посвященные борьбе за освобождение Италии. Наряду со стихами таких известных поэтов, как Саба, Унгаретти, Монтале, Квазимодо, в антологии немало стихов молодых поэтов, сложившихся в послевоенный период.

СТОЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МАТИЛЬДЫ СЕРАО

Литературная общественность Италии отметила столетие со дня рождения Матильды Серао — талантливой и очень плодовитой писательницы, автора множества романов, в большинстве которых описывается жизнь неаполитанской бедноты. Произедения Серао пользовались 30—40 лет назад необычайной популярностью в Италии; ее романы были переведены на многие языки, в том числе и на русский. Ряд итальянских газет и журналов опубликовал статьи о творчестве Серао и отрывки из ее произведений.

ПРЕМИЯ „ОСКАР“ АННЕ МАНЬЯНИ

Итальянская общественность приветствовала присуждение в Голливуде ежегодной премии «Оскар» за лучшее исполнение женской роли в 1955 году известной итальянской киноактрисе Анне Маньяни. Премия присуждена Маньяни за игру в роли сицилийской эмигрантки Серафины в американском фильме «Розовая татуировка».

Отмечая мастерство Анны Маньяни, газета «Унита» пишет о глубоко национальном, демократическом характере творчества актрисы, создавшей ряд весьма выразительных в художественном отношении образов — простой женщины римлянки Пины в фильме «Рим — открытый город», жительницы столичного предместья Анджелины в фильме «Депутатка Анджелина», Аниты Гарибальди в фильме «Красные рубашки».

„КАК Я СТАЛ УМБЕРТО Д.“

Клуб американских кинокритиков признал лучшим иностранным фильмом, демонстрировавшимся в 1955 году в США, итальянский фильм «Умберто Д.», поставленный режиссером Де Сика по сценарию Дзаваттини.

«Как я стал Умберто Д.» — так называется недавно вышедшая в Риме книга Карло Баттисти, исполнителя главной роли в фильме «Умберто Д.».

Карло Баттисти — семидесятилетний университетский преподаватель, создавший в фильме Де Сика образ одинокого старика-пенсионера, прослужившего тридцать лет в одном из министерств и выброшенного затем за дверь, как никому не нужная тряпка.

В своей книге Карло Баттисти рассказывает о том, как и почему он приобщился к киноискусству. Но в книге нет ничего о работе над фильмом «Умберто Д.»; она заканчивается рассказом о встрече автора с Де Сика.

НЕОБЫЧНЫЙ КОНКУРС

По сообщению газеты «Унита», широкий отклик вызвал факт объявления Международной ассоциацией художников конкурса на лучшую картину, созданную по теме последнего фильма Де Сика «Крыша». Более двухсот художников уже заявили о своем желании принять участие в конкурсе.

КИТАЙ

ПЛЕНУМ СОЮЗА КИТАЙСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Обсуждению проблем дальнейшего подъема идейного и художественного уровня литературы был посвящен второй расширенный пленум Союза китайских писателей, состоявшийся в Пекине.

Открывая пленум, председатель Союза китайских писателей Мао Дунь отметил, что в настоящий момент основной задачей писателей является всестороннее отражение развивающейся в стране социалистической революции и успехов социалистического строительства, а также более быстрое создание высокохудожественных литературных произведений.

Дискуссия, развернувшаяся на пленуме, длилась девять дней. В обсуждении насущных творческих задач, стоящих перед современной китайской литературой, приняли участие китайские писатели и деятели литературы национальных меньшинств Китая, представители общественности.

В докладах и речах выступавших подчеркивалось, что за последние годы творческая активность писателей возросла, теснее и многообразней стали их связи с жизнью народа. Молодая китайская литература окрепла и идет по пути расцвета. Большую роль сыграла в этом успешная борьба демократических сил против различных проявлений буржуазной идеологии в литературе и искусстве, за очищение рядов творческой интеллигенции от контрреволюционной группировки Ху Фына и активное противодействие сектантским группировкам. Вместе с тем пленум признал, что современная китайская литература еще далеко не отвечает требованиям, предъявляемым к ней народом.

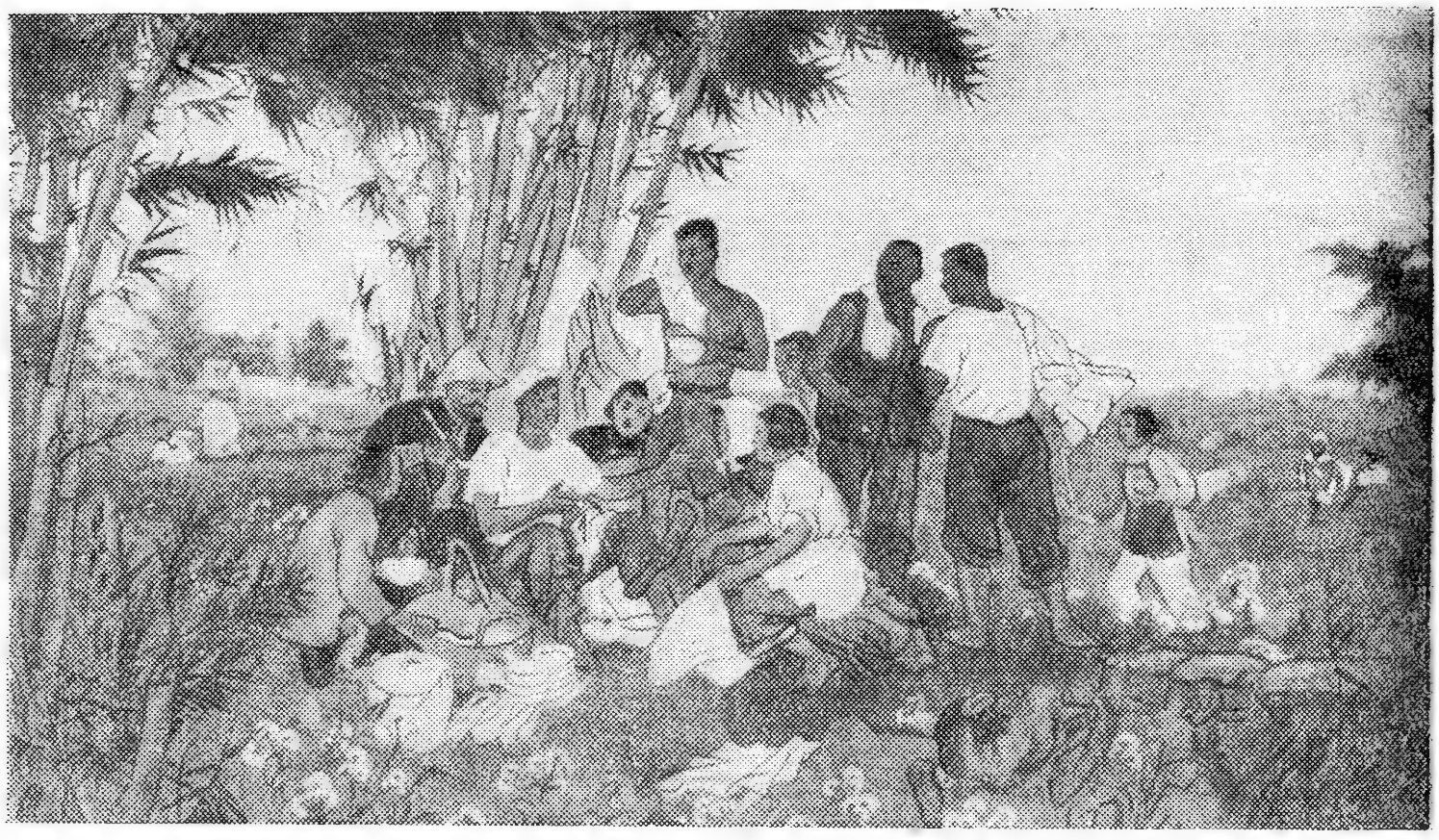
«Наша задача,— подчеркнул в своем докладе заместитель председателя Союза китайских писателей Чжоу Ян,— состоит в том, чтобы продолжать решительную борьбу с разного рода проявлениями реакционной буржуазной идеологии в литературе и искусстве. Мы призваны с научных позиций освоить наше весьма богатое литературное наследство, изучить и обобщить живой опыт литературного движения нашего времени и на этой основе создать марксистское литературоведение и литературную критику».

Большое внимание пленум уделил вопросам воспитания молодых литераторов. Разгром группировки Ху Фына открыл двери в литературу перед талантливой молодежью из народа. «Велики потенциальные силы молодого поколения нашей литературы,— сказал Мао Дунь.— Эти новые авторы стали в нашей литературе новыми голосами, они влили в нее новую кровь. Общее для них — это острое, живое чувство нового, то, что они полны энтузиазма и в жизни и в борьбе».

Мао Дунь говорил далее о необходимости воспитания молодого поколения литераторов в духе трудолюбия и скромности, призвал к решительной борьбе с основным недостатком в работе Союза в области воспитания молодых литераторов, который можно выразить так: «руководство отстает от масс, познание отстает от действительности»; Мао Дунь напомнил о том, что в течение долгого времени силы молодых вообще недооценивались, им не только не уделяли должного внимания, но относились к ним с барским безразличием либо воспитывали при помощи палки.

Докладчик говорил также и о ценном опыте некоторых журналов в области воспитания молодежи и предложил ряд конкретных мер для коренного улучшения работы с ней. В частности, Мао Дунь внес предложение о создании «Литературных приложений» к газетам, которые уделяли бы один-два раза

«Вести из дома» — картина художника Ли Ху.
(*Альбом китайской живописи*)



«Полдник во время сбора урожая», — картина художника Дэн Яо-пина.

(*Альбом китайской живописи*)

в неделю специальное место для произведений начинающих молодых писателей.

Суровому осуждению были подвергнуты сторонники формализма и натурализма в литературе, писатели, упрощающие борьбу с трудностями, а также авторы бледных и немощных книг. Пленум указал на то, что Союз китайских писателей должен считать основной задачей дальнейший рост литературного творчества, повышение идейного уровня и художественного мастерства писателей. Союз призван усилить политико-воспитательную работу, ширить и укреплять связь литературы с жизнью народа, бороться с сектантством и затворничеством, сдерживающими творческую активность, ведущими к снижению идейного уровня литературы.

Было также обращено внимание на усиление контакта между литературоведами и писателями. «Никто никогда не утверждал,— отметил литературовед Тан Тао, выступая в прениях,— что работники, занимающиеся теорией, не нуждаются в знакомстве с жизнью. Однако на деле мало кто из литературоведов изучает жизнь, как это делают писатели. Некоторые из нас считают, что можно обойтись без этого, писать, как пишется». Тан Тао уделил также внимание и борьбе с вульгарным социологизмом; он отметил необходимость более глубокого освоения марксистской теории, установления более тесной связи между теорией и практикой и применения теми работниками, которые занимаются вопросами теории, более широких и разнообразных форм ознакомления с практикой.

Состоянию и развитию литературы национальных меньшинств посвятил свой доклад писатель Лао Шэ. Об этом же говорил поэт Н. Сеинчокту из Внутренней Монголии. Лао Шэ подробно остановился на вопросе об изучении богатейших памятников литературного наследия национальных меньшинств Китая, а также устного народного творчества. Он призвал китайских писателей, посвящающих свои книги национальным меньшинствам, знакомиться с жизнью братских народов на месте, в национальных районах. Много внимания докладчик уделил также вопросам художественного перевода с языков и на языки национальных меньшинств.

Участники пленума единогласно одобрили и приняли Основные положения деятельности Союза китайских писателей на 1956—1967 годы. Это — творческий перспективный план Союза на 12 лет, составленный на основе индивидуальных планов более чем пятисот писателей, поэтов, драматургов.

ФИЛЬМ О МЭЙ ЛАНЬ-ФАНЕ

На экранах кинотеатров Китайской Народной Республики демонстрируется новый цветной художественно-документальный фильм «Сценическое искусство Мэй Лань-фана». Это своеобразный творческий отчет о пятидесятилетней сценической деятельности Мэй Лань-фана — выдающегося мастера китайской классической музыкальной драмы (так называемой пекинской оперы).

«Как артисту,— сказал Мэй Лань-фан,— мне хочется выступать перед все большей и большей аудиторией, хочется, чтобы мои

выступления мог видеть всякий. Теперь, после окончания съемок фильма, это стало возможным».

Подготовка к съемкам началась еще в 1953 году. Окончательная редакция была определена после всестороннего обсуждения сценария всеми участниками будущего фильма.

Как мы уже сообщали, в фильм включены фрагменты лучших, наиболее популярных спектаклей с участием Мэй Лань-фана.

По отзывам критики, создатели фильма добились определенного успеха. Фильм имеет не только познавательное, но и воспитательное значение: театральная молодежь может учиться неутомимому искательству на лучших образцах творчества общепризнанного мастера.

К недостаткам фильма китайская печать относит некоторую бессистемность компановки кадров в отдельных случаях, что отрицательно сказывается на завершенности, ясности и эмоциональности воздействия кинокартины в целом. Вместе с тем критика отмечает высокие художественные достоинства фильма, красочность костюмов и декораций.

«Чувство глубокой благодарности испытываю я за тот почет и уважение, которым пользуюсь,— говорит Мэй Лань-фан в связи с выходом фильма на экран.— Чувство благодарности — за то, что Коммунистическая партия Китая и народное правительство придают столь большое значение искусству классического театра. В 1947 году мы с друзьями экранизировали на свои средства пекинскую оперу «Смертельная вражда». Мы встретились тогда с огромными трудностями. Как все изменилось с тех пор, какая разница между старым и новым обществом! Только теперь сбылась моя мечта, и это вызывает радостное волнение».

В работе над фильмом приняли участие советские киноработники — оператор Яковлев и звукооператор Гордон.

МАРОККО

СОЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕАТРА

По сообщению выходящей в Рабате газеты «Вижи марокен», в Марокко создается национальный театр. В ближайшем сезоне предполагается показать «Гамлета», переведенного на арабский литературный язык (спектакль будет поставлен под открытым небом), «Малем Азуза» — адаптацию «Севильского цирюльника» на марокканском диалекте (перевод этот весьма высоко расценивается в литературных кругах Рабата) и пьесу египетского драматурга Тауфика аль Хакима «Пещера сновидений».

В постановках примут участие известные марокканские артисты Ахмед аль-Аидж, Тайб Адики, Барада Салим.

ПОЛЬША

„УДИВИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ"

Так назвал свою заметку о книге «Прядильщица» польский писатель Богдан Гамера.

«Прядильщица» — повесть Богуслава Кучинского, вышедшая недавно в издательстве «Искры». Это незамысловатый рассказ лодзинской текстильщицы о ее подруге, также работнице текстильной фабрики, коммунистке, убитой польской жандармерией. Попутно она рассказывает и о себе, и об окружающих ее людях.

Как пишет Гамера, в этой простой повести перед читателем встает во всем своем величии польский рабочий класс. Автор заметки, оценивая «Прядильщицу», вспоминает «Мать» М. Горького и «Ткачей» Г. Гауптмана.

ВОСПОМИНАНИЯ О ЮЛИАНЕ ТУВИМЕ

Краковское Литературное издательство опубликовало небольшой том воспоминаний и рассказов Ирены Тувим, сестры известного поэта, под названием «Лодзинские времена года». Автор рассказывает о детстве поэта, об атмосфере прежней Лодзи, в которой воспитывался Юлиан Тувим. Газета «Жице Варшавы» пишет: «Книгу читаешь с удовольствием. Любители поэзии Тувима с радостью ознакомятся с нею».

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ

В Закопане состоялась творческая встреча польских и чехословацких писателей, целью которой было совместное обсуждение различных форм сотрудничества и установление личных контактов.

С чехословацкой стороны во встрече приняли участие профессор Пражского университета Карел Крейчи, секретарь Союза словацких писателей Цтибор Штитницкий, переводчица произведений Стефана Жеромского и современных польских писателей Елена Тайгова и другие. Многочисленную польскую делегацию возглавлял драматург Л. Х. Морстин.

Из Закопане участники встречи направились в Ломницу Татжанскую (Словакия). Туда прибыли польские писатели Ришард Матушевский, Ялю Курек, Анджей Милош, Кристина Живульская и другие.

Во встрече приняли также участие коллективы редакций литературных журналов «Культурный живот» (Братислава) и «Жице литерацке» (Краков — Сталиногруд).

В одном из номеров журнала «Жице литерацке» в связи со встречей напечатаны статьи, стихи и рассказы словацких писателей Ладислава Мнячко, Цтибора Штитницкого, Владимира Минача, Войтеха Михалика и других.

ВЫСТАВКА ЭСКИЗОВ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

Организованная по инициативе ЮНЕСКО выставка

эскизов Леонардо да Винчи побывала уже во многих странах мира. В настоящее время она привезена из Голландии в Польшу. Среди 150 рисунков немалый интерес представляют анатомические эскизы человеческого тела и животных. О разносторонности интересов великого художника свидетельствуют многочисленные наброски карт различных районов Италии.

ПОРТУГАЛЬСКАЯ ГВИНЕЯ

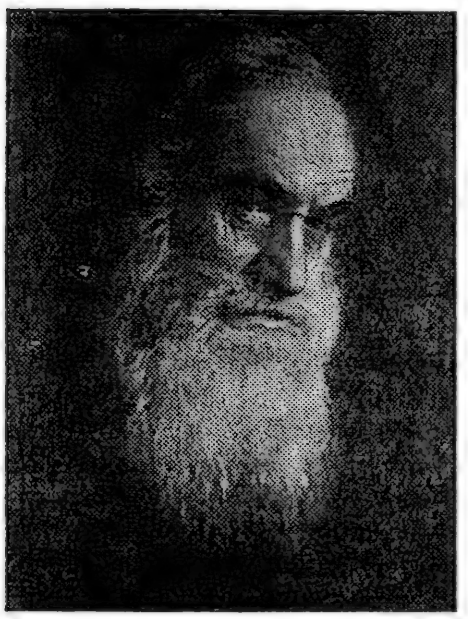
КРАСНОРЕЧИВЫЕ ЦИФРЫ

Как явствует из статистических данных, опубликованных Организацией Объединенных Наций, в Португальской Гвинее, расположенной на западном побережье Африки, только 0,3% всего населения умеет читать или писать. Это наиболее высокий процент неграмотности в мире (в самой Португалии 40,7% неграмотных). Согласно данным, приведенным в газете «Джерусалем пост», в Алжире среди мусульманского населения 94% неграмотных, а в Южной Африке 71% среди негров банту.

РУМЫНИЯ

„ЛЮДИ И МЫСЛИ МОЕГО ВЕКА"

Так называется сборник, объединяющий статьи и выступления одного из старейших румынских писателей Гала Галактиона. Еще в юности Гала Галактион принял священнический сан. Но неутомимое стремление активно помочь своему порабощенному, задавленному нищетой и эксплуатацией народу вдохновило его на то, чтобы взяться за перо. Острое чувство справедливости заставляло Гала Галактиона всегда выступать на стороне тех, кто боролся за права народа, за его счастье. «Писатель и священник Гала Галактион,—



Гала Галактион.

пишет «Газета литерарэ»,— выше всего ставил любовь и уважение к униженным и эксплуатируемым, уважение к правде и обязанность бороться за торжество справедливости и истины; он был другом рабочего класса и его партии».

Статьи, собранные в сборнике, наглядно показывают, что Гала Галактион на протяжении всей своей долгой жизни был и сейчас является неизменным борцом за идеалы трудящихся. Он призывал поставить литературу и искусство на службу этим идеалам. В статье «Поэт и пролетарий» (1919) он писал о том, что литература и искусство должны отражать социалистические идеалы, мечтал о приходе «долгожданного революционного поэта».

В 1946 году, когда откровенные защитники буржуазного искусства и всякого рода лжетеоретики пытались опорочить и оклеветать ведущих румынских писателей, без колебаний включившихся в борьбу рабочего класса, Гала Галактион выступил со статьей о Садовяну, в которой присоединился к нему и встал на защиту его позиции. Он писал: «В глазах Садовяну небо и сталь. Мы верим его глазам».

«Провозглашенный в 1946 году Гала Галактионом призыв о необходимости создать величественную литературу современности,—указывает «Газета литерарэ»,— остается актуальным и по сей день». «Я упорно думаю, — писал Галактион, — о крупных произведениях, которые отразили бы биенье сердца эпохи и остались бы в веках как свидетельство о бурях и идеалах настоящего времени». Публицистика Гала Галактиона, подчеркивает та же газета, «еще раз подтверждает, насколько широк фронт прогрессивных писателей в любую эпоху».

КНИГА О БОЕВОМ СОДРУЖЕСТВЕ

В библиотеке «Лучафэрул» вышла книга рассказов Аурела Михале под названием «Последний бросок». «Рассказы Аурела Михале,— пишет журнал «Вьяца ромыняскэ», — объединены одной темой — темой борьбы румынских и советских солдат против фашистских орд, развернувшейся на румынской земле, в Плоешти и на берегах Муреша, на венгерской равнине, в горах Татра и в Моравии, вплоть до «последнего броска» почти под Берлином. В книге воспроизведены величественно-героические моменты этой борьбы».

Аурелу Михале, как отмечает журнал, удалось показать героизм простых людей, рабочих и крестьян, вынесших на своих плечах всю тяжесть войны и совершавших подвиги со свойственной им простотой и скромностью. Молчаливый Глича выносит своего товарища из боя и делает это так, как если бы все происходило в самой обычной обстановке. Описание того, как Митрица жертвует своей жизнью, воскрешает в памяти читателя подвиг Александра Матросова. Много выдержки, хладнокровия и солдатской сметливости проявляют Силе Врангел и Барбу, когда, пробравшись в тыл врага, сеют панику и заставляют фашистов стрелять друг в друга.

Отмечая достоинства книги, журнал «Вьяца ромыняскэ» указывает вместе с тем на то, что Михале не всегда проявляет умение индивидуализировать образы.

„БРАТЬЯ ХУЦУЛЯ"

Вышел в свет первый сборник повестей молодого писателя Алеку Ивана Гиля. В новом сборнике наряду с повестью «Братья Хуцуля» помещены рассказы «Вышли в люди», «Пути-дороги» и другие.

Действие повести «Братья Хуцуля» происходит в одном из коллективных сельских хозяйств Румынии. Братья Михай и Ион Хуцуля — люди совершенно различного склада характера, различных устремлений. Красавец Михай считает, что его жизнь должна быть «сплошным праздником». Он кутит, растрачивает средства, принадлежащие коллективному хозяйству, и совершает другие преступления.

Совершенно иным является его брат Ион. Это внешне ничем не примечательный, но глубоко человечный, вдумчивый и трудолюбивый крестьянин. Он смело вступает на путь новой жизни, борется за интересы односельчан, завоевывает их любовь и уважение. Ион старается воздействовать на Михая, спасти его. Однако, убедившись в том, что Михай — враг, он находит в себе силу окончательно порвать с ним и первым требует, чтобы он был достойно наказан.

По мнению «Газеты литерарэ», первая книга Алеку Ивана Гиля — многообещающее начало. Газета «Ромыниа либера» также отметила, что столкновение между братьями Хуцуля, описанное автором с большим знанием психологии крестьянства, является подлинно драматичным и убедительным.

О достоинствах повести «Братья Хуцуля» говорилось и на втором республиканском совещании молодых писателей Румынии.

В настоящее время Алеку Иван Гиля работает над новым произведением — романом «Свояки».

США

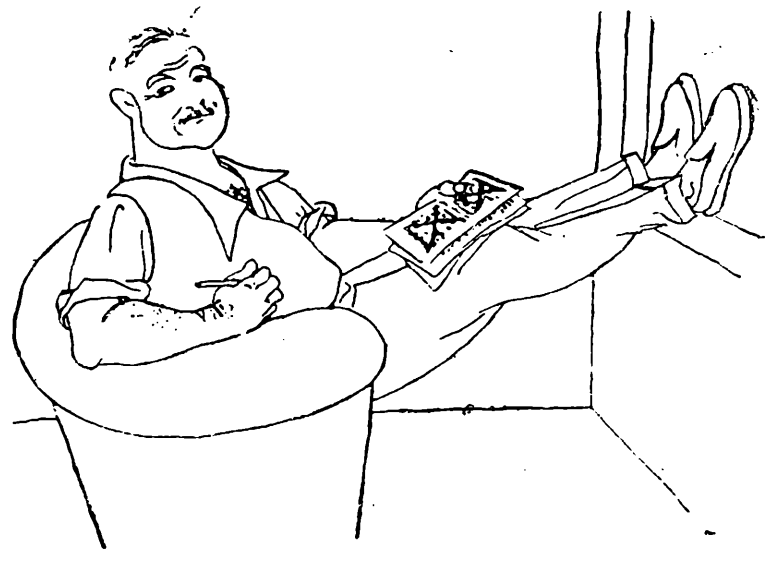
„И ДА ПОМОЖЕТ МНЕ БОГ..."

Эти слова, взятые из текста присяги, которую обычно произносят американцы, вызванные для допроса, составили название первого романа Феликса Джексона — книги, разоблачающей разгул маккартизма в США. Рецензент газеты «Дейли уоркер» подчеркивает, что автор — человек явно консервативных убеждений и что возмущение «охотой на ведьм», звучащее в его романе, носит весьма ограниченный характер. «И все же появление этой книги и особенно предварительное опубликование ее (частями) в одном из самых распространенных журналов «Редбук» можно всячески приветствовать», — говорится в рецензии. По мнению «Дейли уоркер», в этом факте налицо один из признаков тех серьезных сдвигов, какие произошли в общественном мнении страны.

ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ В ИЗОБРАЖЕНИИ АДОЛЬФА ГОФМЕЙСТЕРА

Один из американских журналов обратился к писателю Эрнесту Хемингуэю с вопросом: в чем состоит тайна лаконичности его стиля? Хемингуэй ответил: «Моя тайна весьма проста. Я пишу стоя и стою притом на одной ноге. Напряжение, в котором я нахожусь, занимая подобную позицию, побуждает меня выражаться как можно короче. Когда же я просматриваю то, что написал, я сажусь в глубокое кресло. Эта удобная поза позволяет мне вычеркивать все то, что мне кажется излишним».

Мы помещаем своеобразные «иллюстрации» к этим шутливым словам Хемингуэя, сделанные чешским художником Адольфом Гофмейстером и напечатанные в № 1 чехословацкого журнала «Мировая литература».



Сюжетно книга Джексона построена по типу замысловатого «детектива». Адвокат Донован, человек вполне консервативных взглядов, берет на себя защиту крупного ученого — международника, специалиста по Дальнему Востоку, обвиненного в «коммунистической деятельности» (фигура, заставляющая вспомнить о «деле» эксперта государственного департамента Оуэна Латтимора). Затравленный людьми, преследующими его, обвиняемый кончает с собой. Его защитника глубоко взволновала эта смерть, по существу являющаяся убийством. И он решает предпринять что-либо для разоблачения подлинного лица американского правосудия и сущности «гражданских свобод». С этой целью он пишет анонимный донос, в котором самого себя обвиняет в принадлежности к компартии и в подрывной деятельности, оплачиваемой «московским золотом». Донос отослан в «комиссию по расследованию антиамериканской деятельности», после чего машина немедленно приходит в движение... Лишь с огромным трудом удается Доновану, уже в самой последней стадии своего дела, доказать, что он — не «виновный», а скорее обвинитель. Однако пока идет «разбирательство» ничем не подтвержденной анонимки, добровольная жертва «правосудия» претерпевает множество несчастий: его всячески травят, лишают работы, от него отворачиваются друзья, его бросает возлюбленная, его имя обливают грязью в печати.

В своей сенсационной разоблачительной речи, произнесенной на заседании комиссии конгресса, Донован говорит: «Я уже видел это прежде, господин председатель, и вы это также видели; каждый гражданин США видел это и читал об этом в газетах. И вот, господин председатель, все это произошло снова... Я превратил самого себя в наглядный пример с тем, чтобы американский народ мог убедиться: вот что может произойти сейчас в нашей стране с любым ни в чем не повинным человеком...»

ВТОРАЯ КНИГА ЛАРСА ЛОРЕНСА

Писатель Ларс Лоренс известен как автор романа «Утро, полдень, ночь». Сейчас газета «Дейли пиплз уорлд» сообщает о выходе продолжения этой книги, названного «Из праха», которое вместе с подготовляемым автором следующим томом составит трилогию под названием «Семена».

В новом романе Лоренс продолжает повествование о борьбе рабочих шахтерского городка Реата (в штате Нью-Мексико) против крупных землевладельцев, прибегающих к самому жестокому террору. В книге очень много действующих лиц, и все это, по отзыву той же газеты,— живые люди, показанные правдиво и ярко. Удачей писателя является образ коммуниста Хэма Тернера — вожака, который после мучительных поисков и серьезных ошибок начинает хорошо разбираться в обстановке и обретает непоколебимую веру в народ.

«Обе книги — «Утро, полдень, ночь» и «Из праха»,— пишет «Дейли пиплз уорлд», — не лишены недостатков; но недостатки эти отступают на второй план перед тем единством формы и содержания, которого удалось достичь Лоренсу, перед глубиной раскрытия человеческих слабостей и страстей, перед прозорливостью, с которой он изображает «заурядную» ситуацию,— борьбу рабочих в маленьком городке, едва заметном на карте».

РАССКАЗЫ О ГЕРОЯХ РАБОЧЕГО ДВИЖЕНИЯ

Прогрессивная печать США положительно отзывается о недавно вышедшей книге двух авторов — Ричарда Буайе и Герберта Морэйса, озаглавленной «Еще не рассказанные эпизоды истории рабочего движения». «Авторы,— пишет «Дейли уоркер»,— построили свое произведение в форме отдельных, ярких, не связанных друг с другом коротких рассказов, знакомящих читателя с наиболее значительными эпизодами и героями рабочего движения Америки».

По ходу действия показаны также и основные противники рабочего класса, представители финансового капитала, — миллиардеры Морганы, Рокфеллеры, Гулды и им подобные.

Вместе с тем газета подчеркивает, что авторы сумели изложить в увлекательной форме весь материал и очень умело преподнесли его «тому читателю, которому было бы не по силам или просто неинтересно читать обыкновенный сухой курс истории».

Отмечая литературные достоинства книги и ее бесспорную политическую целенаправленность, «Дейли уоркер» вместе с тем говорит и о некоторых присущих ей недостатках. Наиболее существенным из них является, по мнению газеты, то, что авторы описывают сегодняшнюю американскую действительность значительно менее ярко и убедительно, чем события далекого прошлого.

„НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ПЬЕСЫ"

Пьеса Теодора Эпстайна «Трактирщики», премьера которой прошла с большим успехом в «Голден тиетр» на Бродвее, после четвертого представления снята с репертуара. Как сообщает газета «Дейли уоркер», это уже второй случай «экстренного снятия» пьесы в текущем сезоне на Бродвее. Недавно та же судьба постигла пьесу Шона О'Кэйси «Красные розы для меня»*.

Обе пьесы были поставлены известным режиссером Гордоном Поллаком. «Поллак, — пишет «Дейли уоркер»,— вложил много энергии и средств в дело борь-

---

* См. «Иностранную литературу», № 5 за 1956 год, раздел «Из месяца в месяц».

бы за хороший, социально направленный театр. Возможно, ему теперь придется искать площадку где-нибудь вне Бродвея. После небольших переделок пьеса «Трактирщики» может быть с успехом поставлена и в каком-нибудь маленьком театре. Зрители также ждут с нетерпением возобновления пьесы «Красные розы для меня».

Говоря о причинах запрета пьесы Эпстайна, «Дейли уоркер» подчеркивает: «Пьесу убили потому, что она говорила правду и затрагивала тему, к которой критики боятся прикасаться».

Сюжет ее сводится к следующему: американская супружеская чета вынуждена уехать из США в Мексику, поскольку муж уволен из правительственного учреждения по подозрению «в связях с красными». Увольнение произошло в результате доноса. Действие начинается в небольшом трактире в Коксако (Мексика). Муж боится отстаивать свои гражданские права и готов примириться с добровольным изгнанием. Жена, напротив, полна энергии и стремления бороться за справедливость. Сила воли, целеустремленность и смелость — таковы отличительные черты характера героини, не желающей покорно сносить последствия преследований воинствующей реакции.

«Вовсе не художественная слабость пьесы, как это утверждают критики, а ее сила и выраженные в ней свободолюбивые идеи как раз и явились истинной причиной того, что она больше не идет на Бродвее»,— пишет «Дейли уоркер».

НОВЫЙ КОМИЧЕСКИЙ КИНОАКТЕР

По сообщениям французской печати, в США завоевал себе широкую популярность новый комический киноактер — Том Ивэл. В Европе его фильмы пока еще почти неизвестны. Кинокритики США утверждают, что с момента появления звукового кино в американской кинокомедии не было ни одного столь выдающегося мастера, за исключением Чарли Чаплина.

Французская газета «Фигаро», ссылаясь на американские источники, утверждает, что Том Ивэл, прославившийся игрой в картине «Семь лет размышлений», достойно продолжает традиции знаменитых комиков немого кино — Бестера Китона, Макса Линдера, Гарольда Ллойда и других.

СУДАН

„СУДАНСКИЕ КАСЫДЫ"

По сообщениям печати, в Египте вышел сборник стихов молодых суданских поэтов Гейли и Таг ас-Сирра «Суданские касыды». В стихах-касыдах воспевается борьба суданского народа за независимость и дружбу с братским египетским народом.

ТУРЦИЯ

„ЖЕНИТЬБА" ГОГОЛЯ В СТАМБУЛЬСКОМ ТЕАТРЕ

«Что такое «Карманный театр»? — писала одна из стамбульских газет. — Это крохотное помещение, в котором с трудом можно поставить пять рядов по десять кресел в каждом. Если вы сидите впереди, то кажется, что можно до занавеса дотянуться рукэй».

«Карманный театр» начал свое существование совсем недавно. Его организовали молодые актеры, режиссеры, литераторы, требующие обновления отечественного театрального искусства.

В этом году театр открыл сезон комедией Н. В. Гоголя «Женитьба» в переводе известного поэта Мелиха Джевдета Андая. По отзывам стамбульской печати, этот спектакль, поставленный режиссером Халдуном Дорменом, явился выдающимся событием в культурной жизни страны.

«Какой блеск! Какое изящество!— восклицает театральный критик газеты «Ени Истанбул». — Игра актеров безупречна, в ней нет ни напыщенности, ни ложной театральности. Духу спектакля полностью соответствуют декорации Дуйгу Сагыроглу. Прекрасен перевод. Но самое главное — родилась новая надежда для тех, кто отчаялся под видом театра встретить что-либо иное, кроме ремесленничества, невежества и шаблона».

ФРАНЦИЯ

СТАТЬЯ АРАГОНА О КНИГЕ В. ОВЕЧКИНА

В парижском издательстве «Эдитер рэюни франсэ» вышел на французском языке сборник рассказов Валентина Овечкина «Гости в Стукачах». Это вторая книга В. Овечкина, выпущенная за последнее время во Франции (в прошлом году в том же издательстве вышла книга «С фронтовым приветом»).

Статью о рассказах Валентина Овечкина опубликовал на страницах «Юманите» Арагон. Кратко охарактеризовав творческий путь советского писателя, он подробно говорит о том жанре, к которому должны быть отнесены очерки Овечкина о колхозной жизни. Арагон считает, что во французском языке нет слова, могущего точно передать русское понятие «очерк», особенно в том его новом значении, какое придала ему советская литература. По мнению Арагона, очерк в советской литературе соприкасается с такими жанрами, как эссе, повесть и репортаж; он настоятельно советует французскому читателю обязательно прочесть книгу Овечкина — и для того, чтобы познакомиться с жизнью советских колхозников, и для того, чтобы узнать, что такое жанр очерка в советской литературе.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОБ АНРИ БАРБЮСЕ

Журнал «Эроп» посвятил один из своих последних номеров памяти Анри Барбюса.

В журнале опубликован ряд малоизвестных произведений Барбюса: новелла «Чужие», представляющая по своему содержанию как бы дополнительную главу романа «Огонь»; статья о Бетховене; предисловие к португальскому изданию «Огня»; антифашистская статья «Альтона» (1933 год), разоблачающая гитлеровских убийц; статья «Русская революция перевернет мир» и другие материалы.

В журнале помещены также статьи Луиса Карлоса Престеса, Арнольда Цвейга, Эрнста Толлера и других авторов, посвященные Барбюсу, и ряд неопубликованных фотографий, запечатлевших облик писателя в разные периоды его жизни.

ТЕСНЕЕ СВЯЗЬ ИСКУССТВА С ЖИЗНЬЮ!

По сообщению газет «Юманите» и «Либерасьон», в двух больших рабочих столовых заводов Рено были вывешены для обозрения полотна современных французских художников.

В связи с организацией этой необычной выставки возникли оживленные споры о состоянии и направлении современной живописи во Франции. Особенно часто раздавались пожелания о том, чтобы живопись и скульптура были значительно более тесно и непосредственно связаны с жизнью рабочих и их повседневным трудом.

ТВОРЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ЖАНА-ПОЛЯ ЛЕ ШАНУА

«Любовь к человеку, стремление прийти на помощь тем, кому не везет в жизни»,— так характеризует еженедельник «Леттр франсез» основные черты творческого облика кинорежиссера Жана-Поля Ле Шануа.

В беседе, опубликованной на страницах «Леттр франсез», Ле Шануа сообщает, что в ближайшие годы он намерен поставить несколько новых фильмов. Среди них — картина о положении женщины в обществе и фильм, показывающий, к каким катастрофическим последствиям приводит алкоголизм. В планах режиссера также и короткометражный фильм о воспитании детей в семье.

Интересен проект создания кинофильма, который Жан-Поль Ле Шануа хотел бы снять в творческом содружестве с режиссерами Советского Союза, Италии и Англии. Речь идет о следующем сюжете: в один и тот же день рождаются четверо ребят — один во Франции, другой в Италии, третий в Англии, четвертый в СССР. «Как будут расти эти четверо, так сказать, близнецов? Какое они получат воспитание? С какими трудностями придется им столкнуться, знакомясь с жизнью? Как, наконец, будут вести себя во всех этих четырех случаях их родители, какова будет их ответственность за воспитание детей?» Итальянский режиссер расскажет о первых карманных деньгах, полученных ребенком. Английская часть фильма будет посвящена воспитанию детей в интернате, вдали от родителей. Сам Ле Шануа избрал своей темой родительский авторитет. Наконец, в центре советской части фильма должно быть, по мысли Ле Шануа, наступление момента выбора профессии, когда каждый член семьи — дедушка, бабушка, отец, мать, сестра — по-своему смотрит на будущее героя и дает свой совет...

СПОРЫ ВОКРУГ АЛЬФРЕДА ДЕ ВИНЬИ

В конце 1955 года в Париже вышла книга известного французского литературоведа Анри Гийемена «Господин де Виньи, человек порядка и поэт». Приведя ряд новых фактов и документов о жизни и политической деятельности Альфреда де Виньи, Гийемен приходит к выводу, что автор «Чаттертона» и «Сен-Мара» был тайным осведомителем политической полиции Наполеона III, регулярно писавшим доносы на республиканцев.

Несмотря на то, что книга Гийемена строго документирована, ряд буржуазных критиков взял под сомнение факт существования связи между де Виньи и политическим сыском. Критик газеты «Монд», член Французской академии Эмиль Анрио защищает Альфреда де Виньи, так сказать, с принципиальной точки зрения. Э. Анрио считает, что доносы де Виньи на прогрессивных деятелей нельзя вменять поэту в вину, ибо он... выполнял тем самым свой гражданский долг. В аналогичном духе, всячески стремясь обелить Виньи и резко нападая на Гийемена, выступила также газета «Фигаро».

В полемику, завязавшуюся вокруг книги Анри Гийемена, включился и еженедельник «Ар», поместивший заметку, озаглавленную «Альфред де Виньи не был шпиком». Стремясь обосновать эту свою точку зрения, «Ар» приводит заявление Бальдансперже, профессора «Коллеж де Франс» и знатока творчества Альфреда де Виньи. «Ничто не позволяет утверждать, что де Виньи был шпиком... де Виньи был прежде всего сторонником порядка, и именно во имя порядка считал полезным давать полиции некоторые сведения...», — заявил Бальдансперже.

Рассказав далее о личных симпатиях де Виньи к Луи-Бонапарту и к бонапартизму, как политическому режиму, и приведя со своей стороны факты, показывающие де Виньи в качестве автора доносов на прогрессивно настроенных лиц, Бальдансперже пишет: «Термин «шпик» совершенно не подходит к де Виньи; но позволительно утверждать, что во имя порядка он заходил иногда слишком

далеко. Быть может, он делал это в отместку судьбе, в отместку беспорядку Французской революции, разорившей его семью? Весьма возможно».

В «Леттр франсез» выступил со статьей Пьер Декс. По его мнению, разоблачение Альфреда де Виньи, сделанное Гийеменом, не является неожиданностью для тех, кто хорошо знаком с творчеством и политическими взглядами поэта. Анализируя книгу де Виньи «Рабство и величие военной жизни», Пьер Декс видит в ней пропаганду слепого повиновения власть имущим и всей их политике. В другом номере «Леттр франсез», привлекая материал, почерпнутый из произведений де Виньи, Андре Вюрмсер показывает, что «де Виньи был одержим навязчивой идеей о «красных». Вюрмсер требует по-новому отнестись ко всему творчеству де Виньи, помня, что выражаемые им идеи «вполне уживались с функциями шпика». Критик считает, что Анри Гийемен, опубликовав книгу об Альфреде де Виньи, сделал нужное и важное дело.

«Альфред де Виньи — поэт и полицейский» — так озаглавлена статья Пьера Альбуи, напечатанная в «Юманите». Газета высоко оценивает работы Анри Гийемена, автора книг, в которых разоблачаются «низкие интриги, жестокий эгоизм, ненасытная ненависть к народу со стороны деятелей буржуазного государства XIX века, со стороны чванливых и в то же время циничных политиков партии порядка и частной собственности, лицемерие «благонамеренных людей».

Далее в статье Альбуи говорится: «Возможно ли, чтобы этот большой поэт был шпиком? Но факты налицо». «Юманите» приводит многочисленные примеры шпионской деятельности де Виньи, знакомит своих читателей с некоторыми его доносами. Таков, например, его донос на некоего Ришара, судью из Шатору, «революционера, социалиста и коммуниста», который, по утверждению де Виньи, сверх того «подстрекает молодых девушек не венчаться в церкви» и который «соблазнил четырнадцатилетнюю девушку, проданную ему ее отцом...»

Пьер Альбуи пишет, что ответственность за подобное моральное падение талантливого поэта ложится на буржуазное общество: «Буржуазия убивает своих поэтов не только при помощи нищеты и голода. Ее презрение убило Чаттертона, поэта и бедняка. Альфред де Виньи, поэт и собственник, был обесчещен ею. Он знал, что он делает».

В заключение «Юманите» пишет, что творчество де Виньи, поэта и буржуа, было весьма противоречивым: его поэзия отражает и его рабство, и его величие. Альфред де Виньи — «большой поэт, сам надевший на себя оковы, помимо своей воли разоблачавший — и порой с большой силой ясновидения — свой собственный класс, поэт лживый и вместе с тем патетичный. И можно понять, почему в стихах, полных надрывной тревоги, он мог лишь рыдать».

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

Недавно было торжественно отмечено приобретение 25-тысячной книги рабочей библиотекой заводов Рено. По этому случаю в театре «Комеди франсез» состоялся спектакль, на котором присутствовали исключительно рабочие и служащие этих заводов. Они смотрели «Севильского цирюльника» Бомарше и комедию Альфреда де Мюссе.

* * *

«Французская синематика» организовала в Париже цикл вечеров на тему «25 лет советского кино» (1930—1955). Среди нескольких десятков показанных фильмов — «Броненосец Потемкин», «Великий гражданин», «Встречный», а также «Неоконченная повесть» и другие.

ПОСТАНОВКА ПЬЕСЫ А. П. ЧЕХОВА

Не так давно французские газеты «Либерасьон» и «Экспресс» сообщили о том, что один из лучших театров Парижа — Национальный народный театр (TNP) готовит постановку ни разу еще не ставившейся ни в России, ни во Франции пьесы А. П. Чехова «Сумасшедший Платонов». Режиссером спектакля является Жан Вилар.

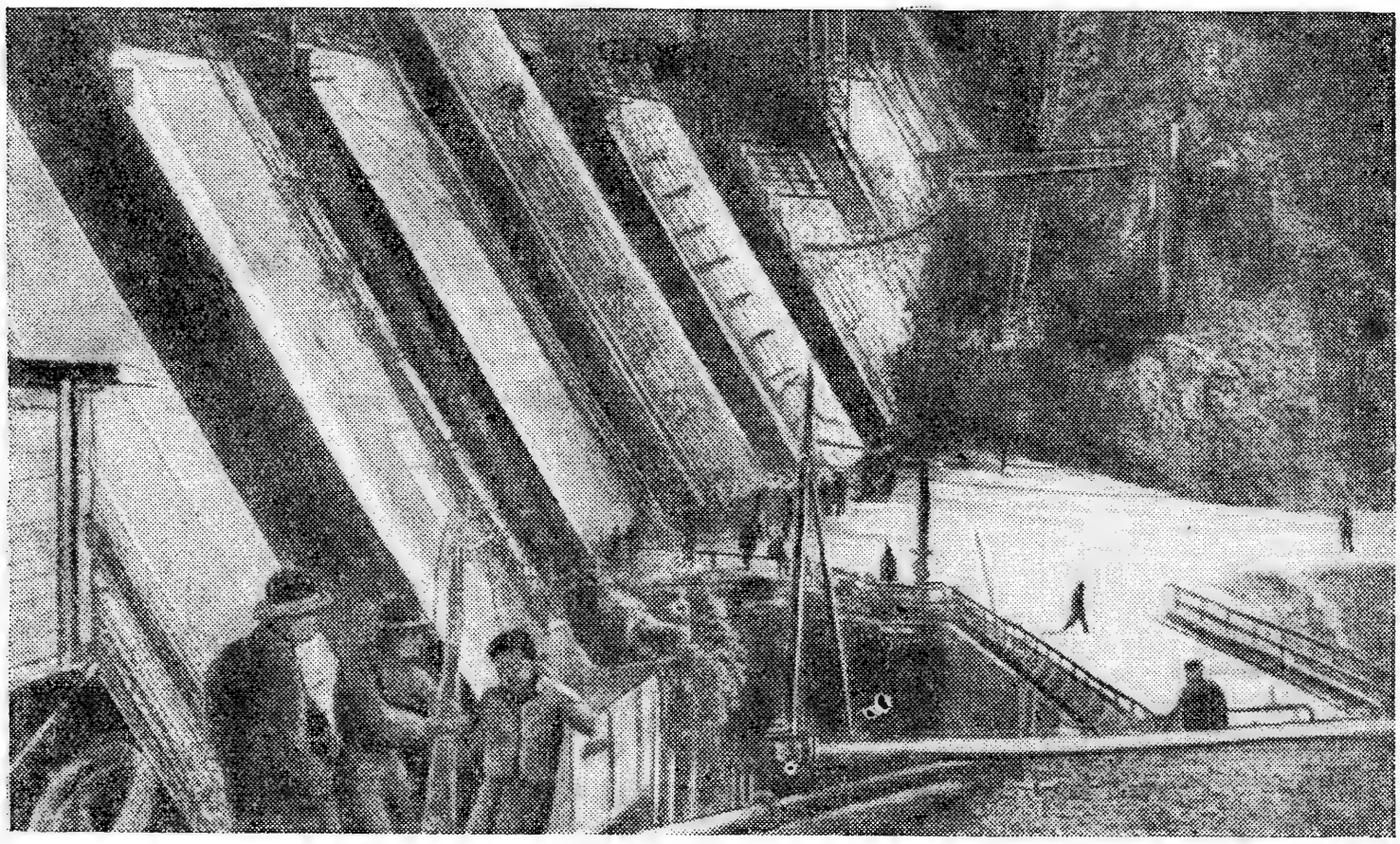
Речь идет о «драматургическом первенце» Чехова, опубликованном в полном собрании сочинений в качестве «пьесы без названия». Одним из ее героев является сельский учитель Михаил Васильевич Платонов. Пьеса написана в начале 1880-х гг., а впервые опубликована на русском языке Центроархивом в 1923 году.

Об этой пьесе вспоминает М. П. Чехов, рассказывая о том, как его брат носил ее в Малый театр и отдавал на прочтение М. Н. Ермоловой. Поставлена она не была. В собрании сочинений А. П. Чехова, выпущенном в 1933 году, ей было ошибочно присвоено название «Безотцовщина». Сам драматург ее никак не назвал и в дореволюционное собрание сочинений, выпущенное Марксом, не включил. Пьеса оставалась в рукописи до 1923 года. Любопытно, что фамилия одного из действующих в этой пьесе лиц — Войницевы — в «Дяде Ване» превращается в Войницких.

Название «Сумасшедший Платонов» дано французским драматургом Полем Кантеном, работавшим над текстом пьесы по поручению театра.

НОВЫЙ ФИЛЬМ С УЧАСТИЕМ ЖЕРАРА ФИЛИПА

«Лучшая доля» — так называется новый фильм о тружениках Франции: землекопах, каменщиках, сле-



Внешний вид плотины, строительство которой изображается в фильме «Лучшая доля».

(Газета „Леттр франсез")

сарях, монтерах, инженерах. сплоченный трудовой коллектив ее строителей.

Жерар Филип предстает в нем перед зрителем в роли инженера-строителя гидроэлектростанции.

«Мне всегда хотелось сделать фильм о труде, всегда хотелось сделать фильм о строительстве», — сказал представителям печати режиссер этого фильма Ив Аллегре. Прежде чем начать писать сценарий, постановщики отправились на одну из строек. Они выбрали плотину Оссуа в Альпах, сооружение которой, продолжавшееся уже пять лет, подходило к концу; здесь, на высоте 2000 метров, в самой гуще жизни строителей. Ив Аллегре, Жерар Филип и вся их бригада прожили два месяца. Здесь и родился сценарий.

Центральная фигура фильма — инженер Перрэн (Жерар Филип), вдохновенный энтузиаст своего дела. Тяжелая болезнь лишает его возможности присутствовать на празднике «пуска воды». Но все же не он главное действующее лицо картины, а весь крепко

«Сценарий мы взяли прямо из жизни,— рассказывает Ив Аллегре, — это сгусток жизни одного коллектива, воздвигающего такое огромное сооружение, как плотина... Впрочем, не столь уж огромное, — поправляет он сам себя, — длина его — 350 метров». Очень небольшой коллектив, зато как замечателен, как бесконечно многообразен его людской состав! Вначале нам было довольно трудно наладить с ними контакт. Они смотрели на нас, как на «артистов», устроивших для себя увеселительную прогулку. Стена между нами рухнула, как только они поняли, что и наша работа тоже тяжела и серьезна. С тех пор они нам очень помогали, старались все показать и объяснить. Со многими мы крепко сдружились... В конце мы приспособили их экран, добавили туда полотна и показали наш фильм. Тогда они осознали, почувствовали, как много величия в их труде».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

НЕИЗВЕСТНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ Я. ГАШЕКА

Журнал «Новый жи́вот» публикует сообщение о до сих пор неизвестных повестях и стихотворениях Я. Гашека, написанных в период жизни писателя в местечке Липнице. Гашек приехал туда вместе с художником Паноушкой в 1921 году, после окончания первого тома «Похождений бравого солдата Швейка» и жил там в течение двух лет. Автору сообщения — Вл. Стейскалу — удалось установить ряд неизвестных фактов из биографии Гашека; он приводит письмо писателя к другу Фр. Зауэру, помещает титульный лист книги Гашека «Конференция мира и другие юморески» с посвящением, свидетельствующим о принадлежности писателя к коммунистической партии в 1921 году.

В г. Ждярж, где несколько раз бывал Гашек, Вл. Стейскал обнаружил два неизвестных стихотворения, принадлежащих мастеру чешской сатиры. Одно из них под названием «Король Бабинских лесов» рассказывает о разбойнике, который жил в лесах, окружающих Ждярж; он грабил богатых, а награбленное раздавал бедным.

Во втором стихотворении — «Моль в шубе» — Гашек высмеивает барыньку, жену одного из фабрикантов Ждяржа.

Вл. Стейскал нашел также рукопись неизвестной повести Гашека «Как горожанин Колоушек вел кобылу Амалию на луну». Повесть не окончена, сохранилось лишь 10 страниц небольшого формата.

В городе Гумполецке найдена повесть «Патер Роубичек»; Гашек в сатирической форме рассказывает в ней о жизни монахов здешнего монастыря, который, по свидетельству местных жителей, он посетил.

ДВЕ ПЬЕСЫ О ПУТЯХ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Печать подвергла оживленному обсуждению две новых пьесы—«Интеллигенты» М. Яриша и «Пациент № 113» П. Карваша. В обеих пьесах поставлены проблемы, имеющие важное значение для чехословацкой интеллигенции.

В пьесе «Интеллигенты» молодая женщина-врач гибнет потому, что окружающие ее, по-своему неплохие, честные люди во-время не сумели проявить нужную чуткость по отношению к ней, протянуть ей руку помощи, когда она больше всего в этом нуждалась. Одни не сделали этого, исходя из ложно понятого призыва к бдительности. другие, чрезмерно занятые личными делами, не заметили тяжелого состояния женщины, нуждавшейся в поддержке, и равнодушно отнеслись к ее судьбе.

Центральной проблемой пьесы Карваша «Пациент № 113» является проблема принципиального отношения к своему долгу даже тогда, когда эта принципиальность в какой-то степени наносит ущерб личным интересам человека. Герой этой пьесы—хирург, создавший свой метод для одной из операций. Метод этот до конца не проверен, и потому применение его неизбежно связано с большим риском. И вот честолюбивый и эгоистичный хирург, для которого отказ от применения своего открытия в данном случае связан с крушением надежды на блестящее завершение карьеры, все же повинуется голосу долга и не применяет его. Печать считает, однако, что это верное решение в пьесе недостаточно мотивировано.

Вместе с тем отмечается, что обе пьесы перегружены конфликтами. Наряду с главным конфликтом в них есть ряд параллельных, переплетающихся друг с другом и при этом вовсе необязательных и недостаточно раскрытых. Это в свою очередь приводит к тому, что некоторые персонажи схематичны и недоработаны.

Тем не менее такие органы печати, как «Руде право», «Литерарни новины», «Дивадло», «Культурный жи́вот», отмечают, что обе пьесы выгодно отличаются смелостью постановки проблем и напряженным развитием действия.

ЛИРИКА ОЛЬДРЖИХА МИКУЛАШЕКА

Ольдржих Микулашек — один из наиболее известных чешских лириков; в 1953 году он выпустил сборник стихов «Пламенные песни». Сейчас вышла его новая книга — «Дикие утки».

«Микулашек, проявивший себя и в «Пламенных песнях» как поэт-мыслитель,— пишет журнал «Новый жи́вот»,— в новой книге оказывается им еще в большей степени... В «Диких утках» он поет торжественную, победоносную песню жизни, воспринимая жизнь не идеалистически, абстрактно, а во всей ее современной конкретности».

Вместе с тем, как указывает чехословацкая критика, Микулашек не во всех своих стихах сумел уйти от увлечения отвлеченными образами и понятиями, не связанными с повседневной действительностью. Эта особенность его поэзии является серьезной помехой на пути дальнейшего творческого развития талантливого поэта.

КОМЕДИЯ О КОМЕДИИ

Пражский «Театр Д 34» впервые включил в свой репертуар оперу. Автор и режиссер-постановщик Э. Ф. Буриан является давним и страстным собирателем фольклора; его новое произведение «Ярмарочная опера» написано на основе анонимной комедии XVII века о Франтишке, дочери короля английского, и Гонзике, сыне лондонского купца. В опере широко использован городской и ярмарочный фольклор. Ее исполняет труппа ярмарочных актеров, которые предстают перед зрителем в ролях турецкого султана, английского короля, киевского князя и их придворных и являются, в сущности, подлинными героями спектакля.

«Брызжущая юмором и весельем «комедия о комедии» сопровождается тонкой имитацией игры ярмарочных оркестров с их громко звучащими медными инструментами, — пишет «Руде право».— В речитативах Буриан удачно отражает приподнятую декламацию ярмарочных актеров. Слышатся в оркестре и отзвуки мелодики итальянских опер. Все это органически связано со всем развитием действия. Поэтому, несмотря на явную разнородность источников, которые использует Буриан, музыка его оперы сохраняет свое единство». «В постановке, — продолжает газета, — столько прекрасной режиссерской выдумки, что зритель подчас с трудом успевает следить за быстро развивающимся сценическим действием и сменяющими друг друга мизансценами». «Это спектакль, о котором

Два эпизода из «Ярмарочной оперы» Э. Ф. Буриана, поставленной на сцене пражского «Театра Д 34»: (вверху) — сцена при дворе турецкого султана; (внизу) — Гонзик просит у отца разрешения отправиться на поиски счастья по всему свету.

(*Еженедельник „Свет в образех"*).

будут еще долго говорить и с радостью вспоминать»,— утверждает «Свет в образех».

ШВЕЦИЯ

ЧЕСТВОВАНИЕ АРТУРА ЛУНДКВИСТА

Шведская общественность широко отметила пятидесятилетие со дня рождения выдающегося поэта и общественного деятеля А. Лундквиста.

В издательстве «Тиден» вышла книга «Артур Лундквист. 3 марта 1956 года» — юбилейный сборник, посвященный писателю. В нем объединен различный материал: воспоминания друзей писателя, его соратников по литературному творчеству, его спутников по многочисленным путешествиям, статьи шведских критиков, очерки, приветствия крупнейших деятелей зарубежной культуры — Х. Лакснесса, В. Незвала, П. Неруды и других.

«Сегодня, в этот краткий миг, я думаю только об одном и считаю, что только это одно и имеет значение: я хочу поблагодарить тебя за вклад, который ты внес в этот мир, где все люди — друзья, но где они должны бороться за свое дальнейшее существование, против политики войн», — пишет Лакснесс.

«Я приветствую Артура Лундквиста, продолжателя национальной шведской традиции, за его усилия, направленные на благо человечества, за то, что он представляет совесть мира, как один из самых мужественных людей нашего времени. Из Чили, страны, расположенной между Горами и Океаном, я прижимаю его к сердцу за его 50 щедрых творческих лет. Милый друг, благодарю тебя за твой благородный ум»,— пишет Пабло Неруда.

Газета «Ню даг» приветствует появление юбилейного сборника, который как бы заново продемонстрировал многогранный характер и значение творческой и общественной деятельности Лундквиста. Критик Б. Гуннес выражает надежду на то, что ценные материалы сборника положат начало глубокому изучению творчества Лундквиста.

«Среди нашего довольно ровного литературного ландшафта Лундквист возвышается, точно сверкающая альпийская вершина. Критика все еще не сумела подняться на эту вершину. Но юбилейный сборник послужит неоценимой базой на пути дальнейшего восхождения», — пишет Гуннес.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Ян Отченашек (Jan Otčenašek) — чешский писатель, родился в 1924 году. Его первый роман «Широким шагом» («Plným krokem», 1952), посвященный теме труда, был удостоен Государственной премии.

Роман «Гражданин Брих» («Občan Brych», Praha, 1955), который публикуется в нашем журнале, является вторым крупным произведением автора.

После второго съезда писателей Чехословакии, состоявшегося в апреле 1956 года, Ян Отченашек — первый секретарь Союза писателей.

Генрих Бёль (Heinrich Böll) — западногерманский писатель, родился в 1917 году. Его первые романы: «Где ты был, Адам?» («Wo warst du, Adam?», 1951) и «Он не сказал ни единого слова» («Und sagte kein einziges Wort», 1953). В 1955 году вышел его новый роман «Дом без сторожа» («Haus ohne Hüter»).

Генрих Бёль известен также как автор коротких рассказов, один из которых, помещенный в западногерманском журнале «Франкфуртер хефте», № 12 за 1955 г., мы печатаем.

Душан Костич (Душан Костић) — югославский поэт, родился в 1917 году. Первые стихи опубликованы в 1932 году.

Известны сборники его произведений «Стихи» («Песме», 1947), «Поэма о городе и любви» («Поема о граду и љубави», 1949), «Призыв листвы» («Зов лишћа», 1954) и др.

Печатаемое нами стихотворение взято из сборника «Сети» («Мреже», 1955).

Десанка Максимович (Десанка Максимовић) — югославская поэтесса, родилась в 1898 году.

Первая ее книга — «Стихи» («Песме») — вышла в 1924 году.

Публикуемое нами стихотворение взято из сборника «Аромат земли» («Мирис земље», 1955).

ПОПРАВКА

В № 6 журнала «Иностранная литература» в примечании на стр. 172 допущена ошибка. Рассказы М. Горького «Романтик» и «Федор Дядин» опубликованы в 1910 г., рассказ «Жалобы» — в 1911 г.

Главный редактор **А. Б. Чаковский.**

Редакционная коллегия:

И. И. Анисимов, М. Я. Аплетин, М. О. Ауэзов, Н. Н. Вильмонт, С. А. Герасимов, С. А. Дангулов (зам. главного редактора), **Т. Л. Мотылева, Л. В. Никулин, С. В. Образцов, С. П. Щипачев.**

Адрес редакции: Москва, ул. Воровского, д. 52, журнал «Иностранная литература».
Телефоны: Д 5-17-83, Д 5-17-10, Д 5-19-81.

Художеств. редактор *М. М. Милославский.* Технический редактор *А. Ф. Марков*

А07265. Сдано в производство 14/V 1956 г. Подписано к печати 20/VI 1956 г. Учетно-изд. листов 29,6. Бумага 70×108¹/₁₆=9,1 бум. л., 24,7 п. л., в том ч. 1 вкл. Зак. 855. Изд. № 19/3126. Цена 10 руб.

Министерство культуры СССР. Главное управление полиграфической промышленности. 13-я типография, Москва, Гарднеровский пер., 1а.

Цена 10 руб.